

Воспоминания
о Корнее
Чуковском

ВОСПОМИНАНИЯ

О КОРНЕЕ ЧУКОВСКОМ

Москва
«Никея»
2012

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

В 77

Издательство благодарит за предоставленные фотографии фотохронику ИТАР-ТАСС, Е. Ц. Чуковскую, Н. Н. Костюкову, Д. Н. Чуковского. В книге использованы фотографии Н. Акимова, К. Буллы, В. Веселовского, Д. С. Здобнова, Т. Золотухиной, Д. Д. Иваненко, Б. Игнатовича, А. Л. Лесса, М. С. Наппельбаума, Н. Носова, М. Окушко, Л. Радищева, Н. А. Решетовской, В. Савостьянова, А. Хлопонина

*Составители и авторы комментариев
Елена Чуковская и Евгения Иванова*

Воспоминания о Корнее Чуковском. Состав. и коммент. Е. Ц. Чуковская, Е. В. Иванова. — М.: Никея, 2012. — 512 с: ил.
ISBN 978-5-91761-140-2

Книга воспоминаний о Корнее Чуковском выходит к его 130-летию. Несколько поколений – миллионы детей – выросли на его стихах, сказках и переводах, которые воспитывают в детских сердцах лучшие чувства. И в своей большой семье Корней Иванович был замечательным отцом и дедом. В книге впервые собраны вместе воспоминания детей Корнея Ивановича – Николая и Лидии Чуковских, и его внуков – Натальи, Елены, Евгения и Дмитрия. В литературных воспоминаниях современников Чуковского предстает великая эпоха Маяковского, Ахматовой, рассказывается о жизни писателей в страшные тридцатые и военные годы, воссоздается выразительная картина его личности в кругу семьи и на фоне литературной жизни ушедшего двадцатого века. Книга хорошо иллюстрирована. Многие материалы в этом сборнике публикуются впервые.

**УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4**

ISBN 978-5-91761-140-2

© Е. Ц. Чуковская, состав, комментарии, 2012
© Е. В. Иванова, состав, комментарии, 2012
© Издательство «Никея», 2012

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

1

Корней Иванович был человек необыкновенно общительный. Он встречался со множеством людей, часто выступал по радио, в школах и детских садах, на переделкинских кострах. Гуляя по переделкинским дорожкам, он всегда обрастал спутниками – взрослыми и детьми. Таким его и запомнили те, кто писал о нем в 1970-е годы. Писали обычно те, кто был гораздо младше его. Корней Иванович дожил до восьмидесяти восьми лет, и ровесников, которые могли бы о нем написать, просто не было.

В 1977 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Воспоминания о Корнее Чуковском» (второе издание осуществлено в 1983 году).

В этот сборник вошли прекрасные воспоминания *Клары Лозовской*, помощницы и секретаря Чуковского, проработавшей с Корнеем Ивановичем семнадцать лет. Несомненный интерес представляют рассказы *Валентина Берестова*, еще школьником познакомившегося с Чуковским в Ташкенте в годы войны; *М. Петровского*, автора книги о Корнее Чуковском, вышедшей еще при жизни Корнея Ивановича; *Валентина Непомнящего*, сблизившегося с Чуковским в последние годы жизни.

В 1978 году издательство «Детская литература» выпустило сборник статей и воспоминаний «Жизнь и творчество Корнея Чуковского».

В начале 1970-х годов моя мать, Лидия Корнеевна, написала для этого детгизовского сборника свои воспоминания «Памяти детства». Это было трудное для нее время: после ее обществен-

ных выступлений и открытых писем сначала бесшумно подступил запрет на упоминание ее имени в печати, а затем в 1974 году последовало исключение из Союза писателей. Эти обстоятельства неизменно сказались на судьбе ее воспоминаний.

Составителями сборника для «Детской литературы» были В. Д. Берестов и я. Рукопись «Памяти детства» была встречена редакцией с большим энтузиазмом. О ней заговорили, и журнал «Семья и школа» предложил еще до выхода сборника полностью опубликовать воспоминания в нескольких последовательных номерах журнала.

Публикация воспоминаний, иллюстрированная портретами отца и дочери работы В. Маяковского, была резко оборвана цензурой уже на следующем, десятом номере журнала (Семья и школа. 1972. № 9–10). Редакция «Детской литературы» после всех восторгов вернула мне рукопись, заявив, что о ее публикации не может быть и речи. В ответ я сняла свое имя из составителей сборника.

«...Хозяйство-то у нас плановое: кому о ком вспоминать, что следует в памяти укоренить, а что из памяти выкорчевать, кто будет назначен в близкие Корнею Чуковскому, а кто в дальние, об этом не нам судить. Начальству виднее.

Мне о нем вспоминать — не положено».

Так написала об этой истории Лидия Чуковская в своей книге «Процесс исключения» (Глава 5).

Оба сборника о Чуковском выходили во времена жестокой цензуры, и я, как один из составителей обоих сборников, была свидетелем многих цензурных изъятий.

Особенно не повезло детгизовской книжке. В нее входили не только воспоминания, но и статьи. В частности, интересную, новаторскую статью написал и прислал из Электростали Я. Сатуновский. Статья называлась «Корнеева строфа». Рукопись статьи прочла Лидия Корнеевна и написала автору о своем одобрении его работы. Сатуновский сделал в статье примечание о том, что дочь Корнея Ивановича прочла его работу и согласна с выводами автора. Но имя Л. К. было уже под цензурным запретом, и редакция потребовала примечание снять. Автор отказался, и статью исключили из книги. Она вышла лишь через семнадцать лет в годы перестройки (см. журнал «Детская литература». 1995. № 1/2. С. 19–24, а также сайт www.chukfamily.ru).

Цензуре подвергся даже раздел библиографии статей о Чуковском. Были исключены все ссылки, относящиеся к «борьбе с чуковщиной».

Несмотря на все эти невзгоды и купюры, детгизовский сборник, оформленный замечательным художником Борисом Кыштымовым, представляет несомненный интерес.

Я так подробно пишу об этих книгах, вышедших более тридцати лет тому назад, потому что в настоящее издание не вошло ничего из обоих сборников (за исключением рассказов «Про Деда» Е. Б. Чуковского).

За годы, прошедшие после выхода сборников воспоминаний о Чуковском, был опубликован его дневник, давший обширные материалы для его биографии и для истории литературы двадцатого века, его «Чукоккала», его собрание сочинений в пятнадцати томах (Терра—Книжный клуб, 2001—2009), куда (наряду с широко известными сочинениями) впервые вошли два тома его избранных писем, три тома полных дневников и три тома дореволюционных критических статей и статей 1920-х годов.

Наряду с широкой публикацией его собственных работ продолжали печататься статьи и воспоминания о нем, разбросанные в журналах и малодоступных сборниках.

2

В этой книге собраны воспоминания, которые по тем или иным причинам не попали в названные выше сборники о Чуковском, вышедшие в конце 1970-х годов.

Уже сказано о судьбе книги Лидии Чуковской.

Старший сын Корнея Ивановича — Николай внезапно и скоропостижно скончался в 1965 году. Еще при жизни своего отца в начале 1960-х годов он написал «Литературные воспоминания» (1989), опубликованные через четверть века после смерти их автора (переизданы под названием «О том, что видел», 2005). Эти воспоминания посвящены в основном друзьям молодости автора. Страницы о Корнее Ивановиче относятся к началу 1920-х годов и дают выразительную картину времени.

В этот сборник вошли и воспоминания троих внуков Чуковского. Впервые публикуются воспоминания старшей внучки — Натальи Николаевны Костюковой (Таты), рассказавшей о жизни Корнея Ивановича в 1930—1940-е годы.

Младший внук Дмитрий Николаевич (Митя) вспомнил не веселые обстоятельства, касающиеся похорон Корнея Ивановича в конце октября 1969 года.

Еще один внук, Евгений Борисович Чуковский (Женя), остался без родителей: его отец, младший сын Чуковского Борис, ушел добровольцем в московское ополчение и погиб под Смоленском осенью 1941 года. Женя рос и воспитывался в доме Корнея Ивановича и в своих рассказах «Про Деда» красочно описал, как Дед относился к детским шалостям и проделкам, чему и как его учил.

Печатается мой рассказ о том, как Корней Иванович ходил вместе со мной поздравлять Бориса Пастернака с Нобелевской премией; сборник заканчивается моей статьей «Тень будущего» — о современном восприятии сказки Чуковского «Тараканище».

Разумеется, в книгу вошли не только воспоминания близких родственников.

Составителям хотелось показать отношение к Чуковскому разных людей из разных поколений в разные годы.

Сталкиваются мнения Василия Розанова, Мариэтты Шагинян и Бенедикта Лившица о дореволюционных лекциях Чуковского.

Несомненный интерес представляет собой довольно язвительно написанная статья В. Розанова о лекции Чуковского. Это не воспоминания — а именно впечатления современника по живому следу событий, еще в 1909 году. В это время молодой Чуковский в своих критических статьях о наступлении массовой культуры («Нат Пинкертон и современная литература», «Куда мы пришли») ополчился на сюжеты кинематографа, на «всемирного сплошного готтента». В сущности, он был одним из первых, кто забил тревогу по поводу возникновения массовой культуры, появился КИЧ (так неожиданно и мистически связанный с первыми буквами его инициалов и фамилии).

Другая современница Чуковского, Мариэтта Шагинян, высказывает противоположное розановскому мнение об этих лекциях. А в своих письмах к Чуковскому Шагинян неожиданно сопоставила Розанова и Чуковского.

Отрывок из книги Б. Лившица «Полутораглазый стрелец» повествует об отношениях Чуковского с футуристами. До революции Бенедикт Лившиц часто бывал в Куоккале у Чуковского. Альманах «Чукоккала» хранит несколько его остроумных стихотворных экспромтов. «Полутораглазый стрелец» вышел в 1933 году, а в 1937 году Б. Лившиц был арестован — и расстрелян в 1938-м.

По-разному смотрит на Чуковского Евгений Шварц в своем рассказе «Белый волк» и в юбилейной статье «Некомнатный человек».

Л. Пантелеев сперва недоверчиво и настороженно воспринимает оценки Чуковского, а потом выясняется, что именно Корней Иванович написал Горькому о «Республике Шкид» и привлек внимание Горького и к книге, и к ее авторам.

Стихотворение Вячеслава Иванова из «Чукоккалы», которое вошло в этот сборник, очень нравилось Корнею Ивановичу. Он писал: «...Я считаю его одним из лучших стихотворений в Чукоккале: такое оно классически четкое, остроумное, меткое. Начинается оно похвалами, а кончается суровой хулой» (Чукоккала. М.: Русский путь, 2007. С. 324).

Павел Бунин познакомился с Корнеем Ивановичем в 1944 году. Он был еще школьником и начинающим художником с поразительной памятью; ему было 16 лет, а Чуковскому 62 года. Внушительная разница в возрасте не помешала их отношениям, многочисленным встречам и разговорам. В 1978 году Бунин эмигрировал, а в годы перестройки вернулся в Россию. После того как он прочел воспоминания Лидии Чуковской «Памяти детства», он сильно расширил свои воспоминания, написанные еще в 1972 году, включив в свой текст и полемику с Л. К., и согласие с ней, а иногда просто ссылки на ее взгляды и утверждения.

Воспоминания Виктора Некрасова тоже не попали в сборники 1970-х годов из-за отъезда автора в эмиграцию. В те годы отъезд означал автоматический запрет на упоминание имени уехавшего в советской печати.

Рассказ Юрия Коваля «Слушай дерево» по жанру отличается от воспоминательного, но своей иронической манерой, меткой наблюдательностью и весельем, несомненно, порадовал бы Корнея Ивановича.

Зарисовка «На похоронах Корнея Чуковского» в 1970-е годы ходила по рукам в самиздате без имени автора. И только в ходе пу-

бликации переписки Оксмана с Чуковским (2001) А. Л. Гришунин установил, что текст принадлежит Ю. Оксману.

Особое место занимает письмо японского издателя Чуковского Р. Комиямы. Г-н Комияма создал издательство, которое выпустило в переводе на японский все сказки Чуковского с рисунками русских художников. Корней Иванович считал свои сказки непереводаемыми, писал об этом и иногда даже входил в конфликт с переводчиками на английский или немецкий язык, поскольку мог судить об этих переводах. Но своими книжками, изданными в Японии, всегда гордился. В переделкинском кабинете до сих пор сохранилась отдельная полка для нарядных и разнообразных японских изданий его сказок.

Письмо Рионея Комиямы пришло в Переделкино вскоре после кончины Корнея Ивановича. Письмо произвело сильное впечатление, и, когда в переделкинском доме сложился посещаемый музей, его часто читали посетителям на экскурсиях.

Печатается мой рассказ о том, как Корней Иванович ходил вместе со мной поздравлять Бориса Пастернака с Нобелевской премией, сборник заканчивается моей статьей «Тень будущего» — о современном восприятии сказки Чуковского «Тараканище».

Раздел рассказов и воспоминаний заканчивается речью А. Борщаговского, произнесенной на крыльце переделкинской детской библиотеки, построенной Корнеем Ивановичем и подаренной им государству.

Как видно из этого краткого предисловия, в книге собраны те произведения, которые были написаны вскоре после смерти Чуковского, но не вошли в сборники воспоминаний о нем по причинам внелитературным; включено также лучшее из того, что было написано позже, уже в 1990-е годы.

В отделе «Из старых писем и дневников» впервые печатаются письма из архива Чуковского, по которым можно судить об отношении к нему современников, а также записи о нем в дневнике Ф. Фидлера и Л. Левицкого.

Все материалы, помещенные в сборник, снабжены комментариями, а упоминаемые лица пояснены в «Указателе имен».

*Февраль 2012 г.
Елена Чуковская*

ЛИДИЯ | ПАМЯТИ
ЧУКОВСКАЯ | ДЕТСТВА



Портрет Корнея Чуковского работы Н. Войтинской. 1909 год

Я, впрочем, вовсе не бегу отступлений и эпизодов, — так идет всякий разговор, так идет самая жизнь.

А. И. Герцен. Былое и думы

I

Тогда, в нашем детстве, в Куоккале, он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату — в дверях голову непременно наклонит: не ушибиться б о притолоку! Посадит к себе на плечо — с высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. В оттепель подпрыгнет и лыжную палкой легко собьет сосульки с балкона второго этажа, а с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится: протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукий, длинноногий, узкий, длинный. Кто выше его? Нет такого! Им, его длиною, можно измерять заборы, ели, сосны, волны, людей, сараи, деревья, высь и глубину. Рост его был нам выдан судьбой как некий аршин, как естественная мера длины. Сидя в лодке и потрагивая через борт прозрачную серую воду, мы прикидывали, бывало, на глаз: а если считать до глубины, до самого-самого бездонного дна — сколько тут окажется пап: шесть или больше? «Да что ты! Какие шесть! Не меньше двенадцати будет!»

Это в море.

В лесу же, задрвав головы перед высоченной сосной:

— В этой-то уж наверняка десять пап! Если от земли до макушки!

Ноги у него великанские; какие сапоги ни купит себе в Выборге или в Петербурге — все не впору: малы. Узки. Коротки. Жмут. Натирают мозоли. Опять отдавать на растяжку сапожнику! Хоть примеряй тот, огромный, рыжий, что висит для рекламы под вывеской обувного магазина на станции. Да вот беда: тот, если бы



Корней Иванович с женой, Марией Борисовной. Куоккала. 1910-е годы

сгодился, рассчитан на какого-то одноногого великана, а у нашего, слава тебе Господи, две ноги, не одна.

И походка, и повадки у него великанские. Не только дети — взрослые едва равняются с ним. Шагает по песку вдоль моря, а я рысцой бегу рядышком. На один его шаг — пять моих мелких шажков. И с вещами обращается по-великански: норовит утащить их к себе в высоту. Молоток ли в доме пропадет или щетка — подставляй стул, ищи на крыше буфета или платяного шкафа: он, мимо идучи, там оставил. Ему на высоте сподручнее. А чих у него какой! Не люди — дача вздрагивает! А фырканье какое, когда умывается! Намылит щеки, грудь, шею и фыркает. Будто в фырканье главное мытье и есть.

Узкий, длинноногий и длиннорукий, подбрасывающий к потолку и ловящий без промаха палку, тарелку, кого-нибудь из нас. Тощий, но сильный; любит веселье и любит и занозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затесаться в нашу игру или изобрести для нас новую.

До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось в ту пору года три, до второй — около десяти, им не была написана еще ни единая строка для детей, но сам он, во всем своем физическом и душевном обличье, был словно нарочно изготовлен природой по чьему-то специальному заказу «для детей младшего возраста» и выпущен в свет тиражом в один экземпляр.

Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр получили в собственность. И, словно угадывая его назначение, играли не только с ним, но и *им* и в *него*: лазили по нему, когда он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали с его плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или проползали между расставленных ног, когда он объявлял их воротами. Он был нашим предводителем, нашим командиром в игре, в ученье, в работе, капитаном на морских прогулках и в то же время нашей любимой игрушкой. Не заводной — живой.

Впрочем, хотя детских книг он тогда еще не писал, веселые стихотворные строчки, обращенные к детям, сочинялись им уже и в те времена, однако всего лишь для домашнего употребления, играючи, проходя. Он тогда еще не записывал их в толстые тетради, как впоследствии, не соединял в стихотворения и поэмы, не обрабатывал месяцами, а то и годами, прежде чем передать редакции, не читал ни в школах, ни в детских садах, ни в больницах, ни в многолюдных залах среди белых колонн. Это были импровизации, домашние экспромты, однодневки — всего лишь.

...Лидо-очек,
Лучшая из до-очек! —

говорил он мне вкрадчивым, певучим, тоже каким-то длинным голосом. (Я же была так мала и глупа, что не могла догадаться, почему это я называюсь «ездочек»? Разве я на чем-нибудь езжу?)

Или весело рычал, топая на меня великанскими ножищами:

Ах ты, скверная девчонка!
Ка-ак болит моя печенка!

— Папа, — говорю я, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, понимая, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним, — папа! Посади меня на шкаф.

Он отступает на шаг. Грозно глядит со своей высоты. Наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец.

— Учишь вас, учишь! Проси как следует.

Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов: пострашней, поужасней, а кончилось чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошусь не куда-нибудь, а на вершину высоты, под самый потолок, на шкаф.

— Глу-бо-ко-у-ва-жа-е-мый папаша! — говорю я по складам, как положено в этой игре. — По-са-ди меня, пожалуйста, на шкаф!

— То-то же! — Палец исчезает. — А вниз не запросишься?

— Нет.

— Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу?

— Жить на шкафу.

Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь. И закрывает за собой дверь, чтобы страшнее.

Я сижу. Мне страшно. Как чужие, болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаюсь одним глазом заглянуть туда, вниз, в пропасть. Там, на полу, желтый линолеум с черным узором. Вот упаду и разобьюсь вдребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф! Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать... Все купаются, играют в пятнашки, и он вместе с ними... а я? Я живу на шкафу. И никогда, никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит, и никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье!

— Папа!

Молчит.

— Папа!

Не отвечает. Ушел, позабыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь...

Глядеть вниз — страх пробирает. Вверх — тоже, там потолок, там самая и есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. Выше. Еще. Еще выше! Но тогда он сам стоит под сосной и командует, и можно держаться за его голос.

Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна.



Дом Чуковского в Куоккале. Рисунок В. Н. Бокариуса

— Глубокоуважаемый папаша, — пробую я, ни на что не надеясь, — сними меня, пожалуйста, со шкафа. Мне здесь не понравилось жить. Пожалуйста!

Его шаги! Он тут! Он только притворялся, что ушел далеко! Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу, где все люди, и могу бежать куда хочу.

Рукам его довериться можно вполне. Вовремя подхватят, никогда не уронят, не сделают больно. Правда, завязать мне капор под подбородком, или всунуть в свои манжеты запонки, или изжарить яичницу, выгладить рубашку, упаковать чемодан — руки эти никогда не умели. Такие длинные, гибкие пальцы — а этого они не умели. Но вот подбросить чуть не до потолка меня или нашего младшего, Бобу, швырнуть нас обоих на диван, чтобы посмотреть, высоко ли нас подкинут пружины, — это для них нипочем. Взлетай, падай, не бойся: вовремя подхватят и удержат. А мучительства! Любимая наша игра. Уше-вывертывание. Голово-отрубание. Пополом-перепиливание (ребром руки поперек живота). Шлепс-по-попс. Волосо-выдергивание...

Надежные руки, большие, полные затей, с чисто-начисто промытыми круглыми ногтями. И всегда, даже на морозе, горячие.

...Вот, по Большой Дороге мы возвращаемся с ним вместе со станции. Ходили вдвоем на почту. Мороз градусов тридцать. По обеим сторонам пустые дачи, стреляющие промерзшими досками; заваленные снегом клумбы; утонувшие в снегу кольца заборов. Снега, снега по обочинам Большой Дороги, а посередине бежит, сверкая слюдяным блеском, твердый, накатанный санями, утоптаный лошадиными копытами бесконечный путь. Мороз незримой плотиной в воздухе. Почему это снег называется белый, когда на самом деле он синий, розовый, цветной, искрящийся? Но сегодня мне и снег не в радость. Я стыну. Замерзли губы, брови, лоб. Даже зубы. А ноги? — ног у меня просто нет. А ему мороз нипочем. Для него и сейчас жара. Пальто распахнуто, руки без перчаток, уши барашковой шапки развязаны. Я, укутанная, плачу от холода. Меня пробирает дрожь, словно я не в шубе, не в капоре, не в платке, не в гамашах, а в летнем платьишке. Плачу сначала потихоньку, потом все громче и громче, и от горячих слез мне становится еще холоднее. Он берет меня на руки, стягивает с меня промерзшие боты, засовывает боты в один свой карман, обе мои ноги в другой и опускает туда свою горячую руку.

Тесно. Счастливая теснота.

Через минуту, зажатые в его ладони, мои пальцы и пятки оживают, заражаясь его неистощимым теплом, прогреваются насквозь, горячают, словно мы уже дома и я уже примостилась в столовой у белой кафельной печки, где в квадратной пасти пышно тлеют березовые уголья.

Так он и несет меня сквозь мороз по дороге: обе мои ноги в тесноте его кармана, под его огромной, жаркой рукой.

II

В куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника; разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов.

И мы, с маленькими лопатками, следом за ним. Идешь по этой глубокой канаве, уравниваешь лопаткой бока; тронешь боковой вал рукою и сквозь шерстяную перчатку почувствуешь, как колетса снег.

Когда-то, одесской полуголодной юностью, случилось ему работать в артели маляров, и он навсегда сохранил пристрастие к превращению старого, обшарпанного забора в новенький, молодой, только что обласканный кистью. В этой работе было что-то праздничное. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж разумеется, неистово завидовали мы. А он — по-том-сойеровски! — снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье: мазнуть! Зеленой краской мазнуть разок по калитке.

— Стань передо мной, как лист перед травой!

Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр.

— Держи ровно! Не капай! Не капай! О-о-о, как я страшен в гневе!

Руки его, никогда не умевшие повязать галстук или пришить пуговицу, прекрасно справлялись с грубой, простой работой — сбросить ли с крыши снег, распилить ли бревно — и, как это ни странно, не умея вдеть нитку в иглу, с истинно жонглерской ловкостью показывали фокусы. Да, вот вдеть запонки в манжеты было для него делом непостижимым, а солонкой жонглировать — пожалуйста. Поставит на ладонь полную соли солонку, круто наклоненной ладонью совершит полукруг в воздухе; и не только сама она, словно гвоздями приколоченная, не падает на пол, но даже и соль каким-то чудом не сыпется.

Да что солонка! Его слушались стулья.

Стул покорно стоял минуты две на указательном пальце — и не падал. Жонглер извивался, приплясывал, гнулсЯ, удерживая стул от падения, а стул благодаря этим извивам не падал, стоял. Ножкой на указательном пальце.

Еще была палка. Короткая толстая дубина. Он подбрасывал ее и ловил, бросал и ловил, все быстрее, быстрее, быстрее; она кружилась в воздухе, как толстенная спица, а потом он внезапно бросал ее в грудь Коле, моему старшему брату, или ошеломленному гостю, трЕбуЯ, чтобы они не отклонЯлись от палки, а ловили ее на

лету и кидали обратно. Сам же стоял в ожидании удара, расправив узкие плечи и выпятив грудь. «Вот грудь моя — рази!» Но сразить не удавалось никому: длинная рука перехватывала палку на аршин от груди и снова запускала в противника.

Греб, плавал, нырял, ходил на лыжах... Бурно двигался на воздухе, в игре и в работе, среди волн, песков, детей и сосен.

Игру он любил и уважал чрезвычайно, не проводя при этом отчетливой грани между игрой и трудом. И во всякий труд норовил втянуть ребятишек, превращая для нас в игру всякий труд. На воле и дома.

Скромные наши владения лишь условно могли быть названы садом; скорее это был елово-сосновый перелесок, каких так много в Куоккале. С двух сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны — водою ручья, а с четвертой, от берега моря, его не отделяло ничто. Наши сосны свободно выбегали на желтый прибрежный песок, за которым — гряда корявых и округлых камней, то скрывааемых пеной, то сухих, надежно прогретых солнцем. Летом, в жару, земля наша была скользкой от хвои; иглы елей да сосен, пни да шишки, да змеящиеся ползучие корни, о которые мы в кровь разбивали босые ноги. Лесок как лесок; а сад, собственно, только возле крыльца: одна небольшая клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды.

Лесок как лесок, но хоть и был он скромнен, а доставлял Корнею Ивановичу немало хлопот.

Оборонять его приходилось от двойных набегов: медленных, коварных — ручья и бурных — морских.

В обороне принимали участие и мы.

Ручей имел обычай исподтишка, постепенно отмывать из-под сосен нашу беззащитную землю. Корней Иванович, обнаружив убыток, начинал с неистовством залечивать нанесенную рану, такая с берега моря песок, мешок за мешком, на спине, не хуже правского грузчика, а мы на бегу поспевали за ним, кто с лейкой, кто с ведром, кто с кастрюлей. Команда — и весь песок: «Раз, два, три, глаза закрой, с-сыпь!» — мигом ссыпается в воду.

Чтобы обороняться от ручья, достаточно было песчаной запруды; от моря не спасали и камни.

Каждую осень, в ожидании предстоящих бурь, выловив багром из моря штук десять принесенных из Кронштадта плетеных корзин (такой ширины и такой вышины, что Коля, Боба и я, все



М. Б. Чуковская (на скамейке), Коля (с лопатой), К. И. Чуковский (на лыжах).
Сзади Лида Чуковская с няней. Куоккала. Дача Анненкова. 1910-е годы

трое, забирались в одну), он расставлял их на берегу вдоль сосен, рядком, надеясь защитить участок от неминуемого набега волн; и каждую корзину доверху собственноручно наполнял камнями, что было отнюдь не легко: десятки раз надо было проделать путь с берега к корзине и обратно.

Так и вижу его: идет по песку, в закатанных штанах, босиком, согнутые руки над плечами и в каждой руке по увесистому камню. Глядит себе под ноги, боясь споткнуться: камень однажды, сорвавшись, чуть не перебил ему стопу.

Мы за ним, тоже с камнями, все, даже маленький Боба. Тоже — глазами в землю.

Он остановится возле корзины, подождет нас — камни над головой — мы станем кругом.

— Бросай! — скомандует он, и с каким веселым грохотом грянутся камни в корзину! Ради этого грохота мы и трудились — несли... Игра это была или труд?



Под зимним парусом на льду Финского залива. Впереди Лида Чуковская, за ней — Коля, К. И. Чуковский, художник И. И. Бродский и Павел Колляри. Куоккала. 1910-е годы

Таких слов, как «спорт», «соревнование», мы из его уст никогда не слышали, но он научил нас и на лыжах, и на финских санях — «поткукелке» — и грести и плавать. К лыжам мы привыкли не менее, чем к валенкам или рукавицам: выйдешь на крыльцо — и сразу ноги в ремни.

Сам он отлично играл в эти древние игры: лодка, лыжи, сани. И зимний парус.

Помнится, единственный во всей округе, умел он летать под парусом по замерзшему морскому простору в те зимние, тревожные дни, когда залив, дочиста подметенный ветром, светится зелеными пропlesiнами льда. Ветер гнал эту беззаконную бабочку по льду залива, на страх лошадям, волочившим тяжелые вozy со льдом, только что вырубленным из проруби. Лошади шарахались в стороны, рискуя опрокинуть свой зеленоватый хрусталь, а возчики долго еще грозили собранными в кулак вожжами этому внезапному парусу, неведь откуда принесенному ветром.

В самом деле, диковинка: человек стоит на особенных каких-то лыжах, со стальными короткими полозьями под каждой ступней; стоит, ухватившись за скрещенные у него за спиною палки, на которые натянут квадратный холст. Стоит — и летит.

В те дни, когда ветер был особенно мощен, Корней Иванович пристраивал парус не к лыжам, а к «поткукелке». Мы садились в сани: Коля, а я ему на колени. Или я и Боба. Когда, нахлебавшись колючей стужи, мы возвращались с открытого берега в наш прикрытый деревьями сад, — здесь, под защитой елей и сосен, в двадцатиградусный мороз нам казалось не только тепло, но душно. Насквозь каждая жилочка промыта была и обновлена стужей. А среди сосен духота. Мы поспешно развязывали тесемки под подбородками, расстегивали крючки на воротках, рассовывали по карманам рукавицы. Как и он, в эту минуту мы испытывали презрение к морозу: кто это выдумал, будто сегодня мороз? Жарища!

Все он умел для нас — даже, играючи, обратить мороз в жару.

III

Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в «Пенаты» за водой.

Вода в колодце на нашем участке годилась для стирки, для поливки цветов, для мыывания, но для питья не годилась. За питьевой мы и ходили в «Пенаты». Там был артезианский колодец.

«Айда!» — и работа (или игра?) начиналась.

Я бежала в сарай за палкой. Коля, позванивая, уже нес ведро. Боба, который давно уже понимал каждое наше слово, но сам не достаивал никого ни одним, первый хватался за конец палки, боясь, как бы не ушли без него. Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны: Матти, Павка, Ида.

Эти походы к Репину за водой были через много лет описаны Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти». А тогда он сам шагал по дороге рядом — долговязый, дочерна небритый, в старых штанах, худой и веселый, взрывая босыми ногами клубы теплой пыли с таким же удовольствием, как мы.

Вот и резные ворота «Пенатов». Он открывал их без скрипа и, вытянув губы трубочкой, громким свистящим шепотом требовал, чтобы мы замолчали. Репин работал, тишину мы обязаны были соблюдать полную. Еще и до ворот, едва достигнув репинского забора, он шикал не только на нас, — на прохожих. А уж в саду! Чуть не на цыпочках выступал перед нами, гневно оборачиваясь на каждый шорох. Мог и за плечо тряхануть ослушника.

Молчание давалось нам нелегко, но от напряженности этой тишины нам становилось еще веселее: выходило, будто мы не брали воду у Репина с его согласия, а крали ее.

Без звука вешал он ведро на округлую шею крана, а потом снимал и ставил на крупный гравий. Теперь наша очередь. Мы надевали тяжелое ведро на палку и, не спуская глаз с качающейся — вот-вот выплеснется! — воды, благоговейно несли ее.

— Тише, тише, тише, тише! — свистящим шепотом требовал наш командир.

Но вот он снова отворял перед нами резные ворота и снова заворял их. Вот наконец мы миновали забор, и тут накопившийся в нас шум победоносно вырывался на волю.

Все мы разного роста, палка больно бьет по ногам и бокам, вода норовит расплескаться, но нам это нипочем. Отойдя от «Пенатов», мы привольно выкрикиваем давно уже сочиненную, привычную и каждый раз заново веселящую песню:

Два пня,
Два корня,
У забора,
У плетня, —
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито...

Мы в ожидании смолкаем. Ожидание кажется долгим, хотя оно длится мгновение.

— Блямс! — выкрикивает он.

Мы по команде опускаем ведро на землю и плюхаемся рядом.

Он вместе с нами.

Боба смотрит в воду, с удивлением разглядывая, как комкает и корежит вода его лицо.

— Марш! — выкрикивает наш повелитель. — Одна нога здесь, другая там!

И снова мы затягиваем наш водяной гимн, ожидая блаженного «блямс!».

От него мы всегда ожидали веселого чародейства.

Если с ним, значит, уж так завлекательно — не оторвешься. Особенно: «идем путешествовать».

На почту ли, рукопись отправить, на берег ли моря, за водой ли в «Пенаты», в лавку ли на станцию, или шагать на край света, или отправиться в плавание — это уже все равно: лишь бы с ним.

Серьезной угрозой из его уст считали мы в детстве одну: «Не возьми с собой». «Завтра не возьму с собой». Куда не возьмет? Это уже и неважно. С собой не возьмет, вот куда. Оставит дома. Расстанется. Все будут с ним, все возле, вместе — а я одна. Без его шагов, голоса, рук, насмешек. Сиди в саду и делай вид, что читаешь. Гляди на калитку и прислушивайся: жди, когда с Большой Дороги в переулочек поворотят голоса, и вот ближе и ближе его голос, покрывающий все, высокий, с примесью свиста и шепота, командующий и насмешливый вместе.

К счастью, был он хоть и горяч, но отходчив. И устрашающая угроза «завтра не возьму» не исполнялась почти никогда. Он забывал ее, и мы снова оказывались вместе, в путешествии или труде.

Когда домашние припасы кончались (а родители наши ездили в город нечасто), мы всей оравой шли по Большой Дороге то на станцию Куоккала, то в сторону противоположную — к станции Оллила, в лавочку Кильстрем, и хотя дорога была самая обыкновенная, но если шли мы не с няней Тоней, а с ним, чего только не случалось во время этих двухверстных путешествий! Чего только он не изобретал!

Заметив, например, что Боба, молча принудивший нас взять его с собой, изнемогает под гнетом жары, усталости и фунта орехов:

— Несчастье! — вскрикивал вдруг Корней Иванович высоким голосом. — У меня приклеился нос! Я не могу сдвинуться с места! Я пропал! Помогите! Спасите!

Согнувшись в три погибели, он ерзает носом по стволу придорожного дерева. Руки растопырены, пальцы беспомощно шевелятся в воздухе. А вот нос — нос уже неподвижен. Он накрепко прилип к стволу. И ноги вросли в землю. Кончено. Отец наш останется тут навсегда.

— Хватайте меня и тяните меня! Бобочка! На твою помощь вся моя надежда!

Мгновенно позабыв об усталости, Боба вцепляется ему в колено. Тянем и мы с Колей за болтающиеся длинные руки, за полы его пиджака, за Бобин кушачок. Тянем-потянем, вытянуть не можем. Нос прочно приклеен к дереву, ноги стоят как столбы. Долго мы еще тянем-потянем. Бобе иногда удается сдвинуть одну огромную ногу, и он не теряет надежды. Но где там! Нога вросла в землю опять. И вдруг, от внезапного толчка, все мы летим на траву: великан освобожден, он распрямылся, закинул голову и с высоты протягивает каждому из нас по очереди свою благодарную руку. Особенно горячая благодарность выпадает на Бобину долю:

— Спасибо тебе, Бобочка, ты тянул сильнее всех. Если бы не ты, не видать бы мне родного дома!

И Боба радостно бежит вперед.

Когда начинала хныкать и отставать на дороге я, он возобновлял мои силы по-другому. Он пускался в рассказы о том, как я была маленькая. Как меня однажды купали в корыте, поставленном на две табуретки, а корыто возьми и опрокинься вместе со мной. Я сначала вскрикнула, а потом замолчала. Лежу под корытом, и от туда ни звука. Все думали, что я умерла. Боязно было приподнять корыто, взглянуть.

— Что я там лежу мертвая? — спрашиваю я. — И ты боялся?

— И я. «Ведь я вам несколько сродни»*.

— А потом?

— А потом я поднял корыто...

— И я была живая! — кричу я в восторге. — Лежала живая и не плакала!

Мне хотелось, чтобы он рассказал, как мама прижала меня к груди, как все радовались, обнимали меня и целовали, но его насмешливый ум не позволял размазывать умиление.

— Я была маленькая, но не плакала, — вымогала я. — Я сильно ушиблась, но не плакала.

— Зато плакали мы, — обрубал он. — До того ты нам всем насто-чер-те-ла. — И клал мне руку на плечо. — Голову мыть — рев! мыло, видите ли, попало в глаза... А сама толстая, красная, безбровая — фу!.. Колечка, кстати, скажи нам, как по-английски «брови»?

Я понимала, конечно, что он шутит, но все-таки больше, чем о корыте, любила другой его рассказ: о том, как при моем появлении на свет меня воспевали поэты.

Папа, мама и Коля жили тогда в Петербурге на Коломенской улице. Маму увезли в больницу неподалеку, на этой же улице, а оттуда она вернулась уже вместе со мной. Пришел поздравить родителей поэт Сергей Городецкий и написал на дверях маминной спальни:

О, сколь теперь прославлен род Чуковских,
Родив девицу, краше всех девиц.

(По этому случаю, чтобы я не слишком много воображала о себе, Корней Иванович называл меня попросту «Краше». «А скажи-ка нам, Краше, как по-английски “всадник”?», «Сбегай, Краше, приведи Бобу обедать».)

Кроме Городецкого, воздавал мне хвалы, оказывается, еще и сам Валерий Брюсов.

Я слушала с восторгом, и отнюдь не единожды, что вскоре после того, как я родилась, Валерий Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу письмо с приложением стихов, которые просил пристроить в один из петербургских журналов. «Если же стихотворение не понравится редакции, — добавлял поэт, — дарю его в приданое Вашей новорожденной дочери»*.

— Это я! — кричала я. — Это мне!

А Корней Иванович, отозвавшись обычно «ты у меня не бесприданница», произносил, торжественно выпевая звук «и»:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мериды*,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изиды,
друг, царща и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера.

— Лидка-пирамидка! — кричал Коля.

— И клонила пирамида тень на *ваши* вечера! — ехидно повторял Корней Иванович.

...Сегодня нам везет: после приклеенного носа — новое происшествие: автомобиль. Не из-за забора, не издали, как мы видели его обыкновенно, а, можно сказать, лицом к лицу. Стекла, черный глянец, ослепительные шары солнц и оглушительные гудки. Во всем своем блеске, который не в силах притушить даже пыль,

мчится нам навстречу черно-стеклянное диво. Пролетело. Обычно, сидя дома и услышав его приближение по Большой Дороге, мы успевали перелезть через забор и полем выбежать на дорогу только тогда, когда его уже и в помине не было: клубы пыли впереди да следы шин под ногами. А сегодня повезло: он вылетел нам навстречу, когда мы шли по дороге, и с ревом пролетел мимо нас, совсем близко, хоть пальцем потрогай; и пока соседские ребятишки еще неслись через заборы или выбегали из калиток, мы уже сидели на корточках, рассматривая «елочку»: два длинные следа шин, оставленные им за собою.

— Не дыши, елочку сдуваешь! — говорит мне Коля.

И я стараюсь не дышать.

Но тут на нас надвигается опасность. Такая грозная, что мы немедленно забываем о «елочке».

Собáчища. Бегают взад и вперед вдоль забора и рвется на волю.

Разумеется, мы хорошо знаем всех окрестных собак, финских и русских, включая репинского одноглазого пуделя Мика, но этого пса видим впервые. Наверное, чей-нибудь дачный, а дачников мы вообще не терпим. Сами-то мы причисляем себя к местным. Мы не бежим в Петербург, чуть только начинаются осень, дожди, бури. Мы все умеем, что и здешние ребята: и в ножички, и в камешки, и зимою на лыжах, и летом грести, и плавать, и ходить босиком; мы и по-фински понимаем немного и можем сказать: «идемте купаться!» или «дождь», а дачники не понимают ни слова — и, главное, они всего пугаются. Босиком? Нельзя, простудишься. В ножички? Нельзя, руку порежешь. Купаться — утонешь, ай-ай-ай, нельзя! Моря боятся так, что когда наш капитан пригласил одну дачную девчонку с нами на лодку и сказал ей: «Ты сядешь на дно», она вообразила: на морское дно! И ревела до тех пор, пока мы не повернули к берегу и он не отнес ее на руках к гувернантке. И все у них неприлично. В одних трусиках купаться — неприлично. Надо в костюме. По заборам или деревьям лазить — неприлично. С финскими детьми — неприлично... А это прилично: привезти собáчищу, которая так усердно сторожит их дачу, что норовит кинуться на ни в чем не повинных прохожих?

Дачники — трусы. Всего боятся, а более всего, чтобы их не обокрали. Вот и привезли сторожа.

Но на этот раз струсили мы, не они.

Мимо пышного цветника возле трехэтажной дачи, вдоль только что окрашенного забора, туда и назад носится со злобным лаем собака. Ищет лазейку, чтобы вырваться на улицу и искушать нас. Как будто мы воры какие-нибудь и собираемся украсть ее цветы! Мы торопливо идем вдоль забора со своими кулками. Он впереди. Хочется не идти, а бежать. Но он не велит. Главное, говорит он нам тихим голосом, не бежать. И делать точно то самое, что станет делать он. Чуть только скамандует: раз, два, три!

А собачища, глядите-ка, не нашла лаза и быстрыми лапами роет его себе сама. Земля летит из-под лап, словно брызги.

Проклятый забор! Как долго он тянется. Так бы и побежал со всех ног, но — нельзя.

Вырвалась!

— Бросайте кульки! — командует он.

Бросаем. В сухую канаву летят конфеты, печенье, сахар, мыло...

А она со всех ног несется навстречу большими прыжками. Не собака, тигр какой-то!..

Ох, как меня тянет бежать! Я вцепляюсь ему в одну руку, Боба в другую.

— Раз, два, три! Делайте то же, что я!

Он отталкивает наши руки и опускается на четвереньки в пыль.

И мы рядом с ним.

Все семеро на четвереньках: он, да Боба, да Коля, да я, Матти, Ида, Павка.

— Гав, гав, гав! — лает он.

Мы не удивляемся. Удивляется насмерть собака.

— Гав, гав, гав, — подхватываем мы.

Собака, словно в нее запустили камнем, поджав хвост, бежит прочь. Наверное, впервые в своей собачьей жизни она увидела четвероногих людей. Мы долго еще продолжаем лаять — долго еще после того, как он поднялся, отряхивая ладонями штаны, а собака на брюхе уползла в сад и забилась под зеленое крыльцо.

Ему не сразу удастся унять нас. Оказывается, это такое наслаждение — лаять на собак!

IV

«Сухопарая экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу, изжаренную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню...»

Это мне задано. Это я должна к завтраму перевести на английский. Чушь эту сочинил для меня он сам; для Коли — другую, столь же несусветную; он составил эти интересные сочинения из тех английских слов, которые накануне дал нам выучить.

Мне лет шесть или семь; Коле — девять или десять. Мы переводим подобную ахинею верстами и от нее в восторге. Радостный визг и хохот! «Подгоняя лошадь кочергой!»

Наш учитель пытался и уроки превратить в игру. Отчасти это ему удавалось.

«Пестрая бабочка, вылупившись из куриного яйца, угодила прямо в тарелку старому холостяку...»

Бабочка из куриного яйца! Переводить мы любили. А вот слова зазубривать — не очень-то. Ими он преследовал нас постоянно и по-нашему — невпопад. В лодке ли, по дороге ли на почту или в «Пенаты» он внезапно швырял в нас вопросами: как по-английски «фонарь»? Или «аптека»? «А скажи-ка, мне, Колечка, — спрашивал он ласковым и чуть-чуть угрожающим голосом, — как по-английски “солома”? Так. Верно... А ты, Лидо-очек, не скажешь ли, что значит “the star”? А “много звезд”? Громче! Не слышу!.. А как будет “счастливый”? А как “хворост”? А что такое “the spoon”?»

С русского на английский и с английского на русский.

Совал нам в руки палку, заставляя писать английские слова на снегу, на песке. Спрашивал заданные слова, вызвав пораньше утром наверх в кабинет. Вразбивку. Подряд. Через одно. Старые. Новые.

В молодости был он горяч и несдержан — и из-за плохо выученных слов случалось ему и по столу кулаком стукнуть, и выгнать из комнаты вон или даже — высшая мера наказания! — запереть виноватого в чулан.

Тут уже не пахло игрой. Тут уж было искреннее отращение.

— Убирайся! — кричал он мне, когда я отвечала с запинкою, не сразу. — Только б лентяйничать и в постели валяться! Я сегодня с пяти часов утра за столом!

(Ему действительно нередко случалось ночи и дни напролет просиживать за письменным столом, и чужое безделье вызывало в нем презрительный гнев. Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов. Чтобы не валандались, не лоботрясничали.)

Отсутствие в нас аппетита к английскому ставило его в тупик и раздражало безмерно. Он воспринимал это как личную обиду.

Когда он кричал на меня за дурно выученное английское слово, я скрывалась в любимом своем убежище, в кустах за ледником, — плакать и учить слова заново. Боба, вздыхая, протягивал мне на ладони три ягодки черники и одну брусничину.

Однажды Коля просидел наказанным в чулане целый час — все из-за тех же английских слов. Не то чтобы Коля совсем их не выучил — нет, выучил, но недостаточно твердо. Это-то и было в глазах нашего учителя преступлением. Вчера Коля не мог ответить, как по-английски «ложка», а сегодня ответить — ответил, но написал с ошибкой.

Сам он не терпел полузнайства, да и полуделанья — ни в чем.

В одной английской книжке, сохранившейся до сего дня на полке подмосковной дачи, красным карандашом его рукою подчеркнуто: «Какое бы дело ему ни приходилось тащить, он тащил как четверо коней в одной упряжке». Так было всю жизнь. Того же он ожидал и от нас. А мы... Где там! Выученным английское слово он считал лишь в том случае, если мы знали его во всякую минуту, в любом контексте, во всех видах и формах. А мы! Сегодня знаем, завтра нет, в единственном знаем, во множественном — с запинкой. Неполный волевой напор, тление вместо горения. Вялость вместо благородной охотничьей страсти. «Отлыниваешь!»

Собственное его детство и отрочество прошло в одесской мещанской бескнижной среде. Каждую книгу ему приходилось самому добывать и самому, без чужой помощи, добываться ее понимания.



Мать Корнея Ивановича, Екатерина Осиповна Корнейчукова,
с внуками Колей и Лидой. 1910-е годы

А мы... Дом наш полон книг, русских и английских, а мы валяемся допоздна в постелях и норовим улизнуть, пока он не спросит слова. Его-то некому было учить. К нам и учительница ходит, Колю готовит в гимназию, и сам он рад обучать нас каждую свободную минуту. Мы же что-то там такое наспех вызубриваем, нет того, чтобы радоваться каждому новому английскому слову и накидываться на книги со страстью, как накидывался он.

Выгнанный из пятого класса гимназии по дяляновскому указу о «кухаркиных детях»* (за незаконнорожденность, а главное, за то, что его мать, наша бабушка, Екатерина Осиповна, вынуждена была зарабатывать себе на жизнь стиркой), он все, что знал, узнал из книг, и притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли; он сам переступил порог, быть может один из

труднейших на свете: шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь владели им смирение и гордость самоучки: преувеличенное смирение перед людьми более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам, познания.

Семья Бориса Житкова, товарища его по гимназии, была первой интеллигентной семьей, с которой он встретился в жизни*. Было ему тогда двенадцать-тринадцать лет. Там играли на фортепьяно и на скрипке. Там множество книг, атласов, карт; там у детей даже собственный микроскоп... Как рассказывает Корней Иванович в своих воспоминаниях, глава семьи и все ее члены обладали необыкновенным свойством: мало того, что они сами любили книги, они любили давать их другим. В первый же раз дали ему «Дон Кихота».

«Я не знал ничего ни о чем»*, — сообщает он, рассказывая про свое отрочество.

Но узнавать он хотел! Как можно больше, скорее, прочнее.

В юности по дрянному самоучителю он выучился английскому сам и испытывал счастливое изумление, переводя Уолта Уитмена или свободно читая «Vanity Fair»¹ Теккерея. В двадцать один год он отправился в Лондон корреспондентом одесской газеты; просиживал там с утра до вечера в библиотеке Британского музея — учился, наверстывал упущенное.

«Я с остервенением сажусь за свои книги, — писал он в 1904 году из Лондона в Одессу своей молодой жене. — Я бесконечно учу слова (их уж очень немного), я читаю в постели, за обедом, на улице. В музей я прихожу в 9—10, а ухожу после звонка. <...> Все я делаю для тебя, для того, что, когда мы свидимся, я мог бы тебе рассказать, тебя научить»*.

И посылал ей слова к книге Карлейля: «Выучи их раньше, а потом берись за чтение».

И целый словарь к «Ярмарке тщеславия» Теккерея: «Боже мой <...> как бы мне хотелось, чтобы ты знала английский, чтобы ты могла с такой же легкостью, с таким же наслаждением читать эту “Vanity Fair”»*.

Теперь метод, применявшийся им когда-то к себе: каждый день выучивать десятки слов, — метод, каким он когда-то обучал нашу мать, он применял к нам, детям.

¹ «Ярмарка тщеславия» (англ.).

И в нас он хотел возбудить задор, азарт, привить нам вкус к узнаванию. А мы! Нет того, чтобы, как он, читать «в постели, за обедом, на улице». Не горенье, а тленье. По-чиновничьи: ровно столько слов, сколько задано. Ни словечка больше.

— Вон отсюда! — кричал он, когда выяснилось, что Коля знает слово, но не помнит, как оно пишется. — Ничтожество! (Это было одно из его любимых ругательств.) В чулан! И сиди там, копоти потолок, чтобы я не видел тебя! Так и умрешь лоботрясом.

Нам-то не приходилось ничего разыскивать. Ничего добывать. Нам не приходилось впроголодь чертить английские слова на раскаленной крыше — пока не пришли маляры, для которых он шпаклевал эту крышу, или изучать английскую литературу в библиотеке, не имея маковой росинки во рту, от утра до закрытия. Все к нашим услугам: руку протяни — книга тут. В нашем доме, у него в кабинете (который казался маленьким, потому что одну половину занимал огромный диван, а вторую — письменный стол), у двух стен, от пола до потолка, и на письменном столе, и на подоконнике стояли и лежали книги.

Русские и английские.

(Они стояли в порядке, но не в омертвелом, а живом — рабочем: они были опрятны, ни сальных пятен, ни загнутых страниц, ни пыли, но пометки — во множестве; читать для него означало усваивать, оценивать и спорить с автором; и вот — внутренняя сторона переплета испещрена столбиками цифр — нумерацией страниц, — а самые страницы — пометками и подчеркиваниями. Кроме того, как истый редактор, он к каждой книге, к своей или чужой, относился точно к рукописи, еще не оконченной и подлежащей усовершенствованию: не мог удержаться, чтобы не исправить типографскую опечатку, неуклюжий оборот или ошибку автора.)

Окна кабинета выходили на соседний крестьянский луг за забором: летом колокольчики, ромашки, клевер, зимою ровная пелена снега. Книги стояли на полках классические и современные. Русские (кроме классических) по преимуществу с автографами или штампом «на отзыв»: их посылали критику Корнею Чуковскому прозаики и поэты или редакции современных газет. Английские же он вывез и постоянно выписывал из Лондона. С раннего детства помню Уолта Уитмена во многих изданиях, и Мильтона, и Шекспира, и Китса, и Суинберна, и Грея, и Браунинга, и Байро-



Корней Чуковский за письменным столом. Куоккала. Середина 1910-х годов

на, и Шелли, и Бернса рядом с Жуковским, Пушкиным, Батюшковым, Баратынским, Некрасовым, Полонским, Лермонтовым, Фетом, Тютчевым, Блоком.

Но царицей кабинета, где бы мы ни жили, всегда представлялась мне *Encyclopedia Britannica*. В Куоккале она зеленела рядом с серым венгерским Пушкиным*.

Энциклопедия Британника — пожизненный его самоучитель. Библиотека Британского музея, как бы спрессованная в этих томах и взятая с собою в дорогу.

Никогда не сетовал он на свой путь — трудный путь самоучки — и утверждал, напротив, что, если человек в самом деле жаждет знания, он своего добьется — были бы книги! — и воля. Более того, он был убежден, что знания, приобретенные собственными усилиями и выбором, прочнее и плодотворнее тех, которые нам произвольно сообщают другие. Вот почему он так ликовал, что переводили мы весело, с охотой, и так печалился, что зазубривать слова мы ленились. Он учил нас английскому элементарнейшим способом в соответствии с элементарнейшей целью: скорее нау-

читать нас читать и понимать прочитанное. Конечно, он учил нас английскому потому, что любил английскую литературу, и потому, что когда-то завоевал его сам, но главное, для того, чтобы дать нам еще один ключ к узнаванию. Произношением нашим и умением свободно говорить по-английски он не интересовался нисколько: если придется жить среди англичан, объяснял он, научимся в две недели. Читать, читать и читать! Учить слова! Вот слова к «Счастливому принцу» Уайльда, а вот к одной странице из «Оливера Твиста» Диккенса. Вот веселая игра – переводы.

К гимназическому нашему учению он относился с полным равнодушием. Подмахивал еженедельные дневники, почти не глядя, считая и отметки и подпись одной формальностью. Не верил, что гимназические казенные преподаватели способны увлечь детей, а учиться без увлеченности – дело никчемное. Зато, приметив, что Коля с малых лет интересуется географией, он чуть ли не из каждой поездки в Петербург привозил ему новый атлас, а из поездки в Лондон (в 1916 году) навез столько карт, что для них не хватало стен. И, заражаясь Колиным энтузиазмом, ползал вместе с ним по полу, по разостланной карте... Я была горестно лишена малейших способностей к арифметике. Убедившись, что математическое мышление мне чуждо, что, сколько я ни трачу сил на задачи и примеры, дело оканчивается слезами, а не ответами, он начал решать задачи за меня и бесстыдно давал их мне переписывать, к превеликому ужасу нашей домашней учительницы.

– Знает таблицу умножения, четыре правила – и хватит с нее! – говорил он. – Восемь лет случаются раз в жизни. Нечего загружать голову тем, чему голова сопротивляется. Такая свежесть восприятия, такая память больше не повторится... А ну-ка, Краше, почитай мне «Песнь о вещем Олеге»...

Я читала. Стихам моя голова не сопротивлялась. Мне было труднее позабыть их, чем помнить.

...И английские уроки, в сущности, мы любили. Только бы не слова! Зато, когда справишься со словами, начинаются радости:

«Старая дева, объевшись замазкой, упала в пруд. Бурный южный ветер гнал ее прямо на скалы. Но в эту минуту прилетела ласточка и клювом вцепилась в ее волосы».

Объевшись замазкой! Какая радость! Мы были неприхотливы и смеялись взапуски.

Когда же после ахинеи, белиберды, чуши откроешь, бывало, книгу Диккенса на той странице, к которой он нас готовил, и сама, без его помощи, узнаешь, что случилось дальше с Оливером Твистом, — о! ради этого стоило зубрить слова и даже терпеть его немилость.

Это был фокус почище солонки.

V

Он научил нас играть в шахматы и шашки (он сам одно время, в Лондоне, сильно увлекался шахматами), разыгрывать шарады, ставить пьесы (одну написал специально для нас: «Царь Пузан»)*, строить из песка крепости и запруды, решать шахматные задачи; он поощрял игры — кто выше прыгнет, кто дальше пройдет по забору или по рельсу, кто лучше спрячет мяч или спрячется сам; играл с нами в городки, скакал на одной ноге до калитки и обратно. Он превратил для нас в любимую игру уборку письменного стола; какая это была радость: выковыривать кнопки особой раздвоенной лопаточкой, постилать на стол новую зеленую бумагу и ровненько закалывать ее кнопками; протирать ящики особой тряпкой, которую он хранил в потайном месте, и потом, по его поручению, мчаться к ручью — стирать ее серым, тоже извлеченным из особого тайника мылом! А сушить эту тряпку на сосновом суку и проверять — высохла ли! А трогать вопреки запрету маленькую мохнатую тряпочку, всю в синих чернильных пятнах, которой он протирал перо! (Она была дочкой большой пыльной тряпки...) Он охотно играл с нами и в самые распространенные, общепринятые, незамысловатые игры: в палочку-выручалочку, перегонки, снежки, даже в кучумалу: ни с того ни с сего хохот, толкотня, клубок тел на полу, визг... Он задавал нам загадки, заставлял нас выдумывать свои и загадывать их Бобе.

Одна только была игра, столь же немислимая у нас в доме, как, скажем, вспарывание животов: игра в карты.

Ему было ведомо: и Пушкин, и Толстой, и Некрасов играли в карты, но это ровно ничего не меняло.



Пьеса К. Чуковского «Царь Пузан». В ролях – Лида (Хранительница королевской зубочистки), Коля (царь Пузан), Боба. Куоккала. Лето 1916 года

Смотрел он на карты как на чуму. Нет, у него в доме карт не будет! Бедная няня Тоня, любившая погадать, прятала колоду на самое дно сундучка.

Боялся ли он пробудить в нас азарт? Вряд ли: сам-то он вносил азартность во все. Да ведь, в сущности, какой-нибудь «Черный Петька» или домино мало чем в этом смысле уступают картам. В эти игры он с нами играл. Но карты – это было табу; наверное, за карточной колодой ему мерещились зеленые столы, мелки, смятые трехрублевки и рубли и понтирующий, ни к чему не способный, томный бездельник Коля. Не воспитал! Не внушил тяги к умственной жизни, к труду! Карты в его восприятии были знаменем враждебного лагеря. Хотя в карты играли во все времена и во всех

городах, но ему-то за ними виделся один лишь город — Одесса; и одно лишь время — время унижений! — отрочество и юность; и тот мещанский круг торгашей и чиновников, на которых работала его мать. Круг, который презирал его мать, и его сестру, и его самого, — мир, где радовались исключению из гимназии «кухаркиных детей»; откуда он («антипат», как прозвала его одна одесская барышня) — мальчик без отца, сгорбленный, неуклюжий, несчастный, в худых башмаках, в искалеченной гимназической фуражке с выломанным гербом, ушел навсегда к труду, к литературе, к стихам, к Тютчеву и Уолту Уитмену.

Сначала он расклеивал афиши, помогал малярам, потом стал писать газетные статьи, переводить стихи, сделался литератором, писателем и, главное, на всю жизнь ненасытным, деятельным *читателем* — не только «антипат», но, можно сказать, *антипод* бездельной, бескнижной, невежественной, вульгарной, болюночной и картежной Одессы. *Эту* Одессу в письме к приятелю он мстительно обозвал однажды «фабрикой пошляков»¹. Праздность, в особенности умственную, он всегда ощущал как великую пошлость, — и вот он, общительнейший человек на земле, он, с любопытством разглядывавший каждого встречного и поперечного, вносящий оживление в любое общество, куда бы ни явился: эпиграммой, вознею с детьми, рассказом о литературном открытии, — возненавидел все, что пахло праздностью, и тот, например, обряд, который именуется в быту «идти в гости», попросту не признавал. Он шел к людям и звал людей к себе, как зовут на спектакль, на лекцию, на выставку, на диспут... Идти же в гости чайку попить и посудачить (подарки, новые туфли, родственники) — к этому он был неспособен. Дом наш был для него прежде всего рабочее место, где он терзался трудом: не удается, не удается, не удается — какие уж тут гости? отчаянье! — показалось наконец, что удалось, вот тебе и именины. Тогда лыжи, или море, или лодка, и дети, и костер на берегу, и люди. Слушатели: проверить, в самом ли деле удалось? и скорее в мастерскую Репина — взглянуть, как продвинулся портрет Короленко, или, по соседству, к Ценскому, или к тому же Короленко: послушать написанное ими, почитать свое. Вот и праздник!

Общепринятых праздников, традиционных, в особенности семейных, не выносил совсем — если нельзя было превратить их

в театральное представление, в острое соревнование собеседников, в общую игру. Всякого рода серебряные свадьбы ощущались им как пустейшее препровождение времени: у человека, в самом деле работающего, на такую пустопорожность оставаться времени попросту не может.

Примечательная запись сохранилась в его дневнике.

Год 1922. Петроград. Куоккала уже позади.

Двухлетие Мурочки (Марии), младшей его дочери, моей сестры. Подарки, родные, знакомые. Все как положено. День рождения. Гости.

Читаем:

«...день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме»*.

Если гости и хозяйева, благодушно и невинно жующие пирог, загрязняют своей праздностью светлый день, то какую же форму безделья мог он ощущать более организованной и более ненавистной, чем карты?

Ведь в карты играют, чтобы убить время, а времени у человека, поглощенного своим трудом, вообще быть не может. Тут суток мало, это тебе не «фабрика пошляков» — чиновничий тупой круг: отбыл службу, отсидел положенные часы, и времени девать некуда.

(Ходят в гости! Часами играют в карты!)

Разумеется, смысл и причины его лютого презрения к картам стали мне понятны гораздо позднее, когда я выросла и начала понимать его путь.

В Куоккале же причин я не понимала, но он с успехом вбил нам в головы уверенность: тратить время на карточную игру — дело постыдное.

И вдруг, появившись однажды неожиданно-негаданно в дверях веранды, когда мы воображали, что он, уехав в город, останется там ночевать, он застал нас за картами. Играли мы не на деньги. Даже не на орехи. Просто так: играли «в пьяницу».

Если бы он застал нас за изготовлением фальшивых ассигнаций, гнев его не мог быть более бурным. Не смягчило его даже то, что мы сами нарисовали всех королей и валетов.

Бешеными пальцами он вырвал у нас карты из рук, разодрал в клочки, скомкал и далеко запустил комок в траву на соседское поле. Потом взглядом поискал на столе, что бы такое разбить, но

ничего не нашел. Потом, расхаживая огромными шагами по веранде, взялся за главного преступника — Колю, которого, как старшего, считал всегда в ответе за все.

— На английский времени нет, а на эту мерзость хватает. Пятнадцать английских слов было задано, а он...

— Папа, я выучил слова, — сказал Коля. — Проверь.

— Выучил! Мерзавец! Нашел чем хвастать! Одолжение мне делает! Пятнадцать слов и ни слова более! От сих до сих! А мог бы не пятнадцать — двадцать в день выучивать... Уроки для Веры Михайловны не сделаны, а он в картишки перекидывается. И Лиду научил. Негодяй!

— Папа, у меня для Веры Михайловны уроки готовы, — сказал Коля.

— Ну и что, что готовы! Мог бы и сам задавать себе уроки. По истории, например, каждый день на страницу больше. Упражнение для воли... Мог бы книгу почитать: слава Богу, книги, кажется, есть.

— Я только что окончил «Остров сокровищ» и еще не начал другую, — сказал Коля.

— Подумаешь, ему передышка нужна после «Острова сокровищ»! Читает — оказывает мне благодеяние. Читать нет охоты — соблаговолил бы заняться... (он придумывал). Хоть крыльцо бы подмел. Няня Тоня сегодня весь день не присела... А они развалились... Могли бы... (он изобретал), могли бы хоть песку нанести... для чистки кастрюль... Барчуки!

Никогда не забуду ни этого вечера, ни брезгливого движения, каким он выкинул за окно скомканную колоду. Так выкидывают жабу. В его глазах игра в карты была символом праздности, ничтожным развлечением ничтожных тупиц, которые ценят складку на брюках, а не талант и познания.

Он поднялся к себе наверх, хлопнул дверью, но гнев его еще не разрядился вполне, и он снова вышел из своей комнаты, чтобы, перевесившись через перила, крикнуть Коле:

— Ак-циз-ный чиновник!* — и снова изо всех сил хлопнуть дверью — так, что стекла задребезжали внизу и наверху, на обеих верандах.

(В куоккальском доме в заводе не было не только карт, но и папирос и вина. Вино к столу не подавалось ни в какие дни, ни

при каких гостях, ни по какому случаю; хозяин не курил, а гостям курить хотя и разрешалось, но после ухода курильщика в доме происходило нечто вроде дезинфекции: спешно выносились в помойную яму окурки, мылись пепельницы и устраивались сквозняки.

В Переделкине, в последние годы, он уступил обычаю и завел в доме вино. Не для себя, для гостей. Но угощать не умел: нарушая обряд, слишком торопился покинуть стол. Его тянуло либо на воздух, пройтись вместе с гостями по саду, либо в кабинет — послушать, показать, почитать... Чувствуя это, гость выпивал свою рюмку, наспех закусывал и вставал. Исполнить обряд — спокойно посидеть за столом, как положено, — не удавалось.)

Свежий воздух, стихи, книги, разнообразное общение с разнообразными людьми, выдумки, рассказы, шарады, игры с детьми — вот в чем обретал Корней Иванович веселье и силы.

В Куоккале он не только охотно играл с нами каждый свой свободный час, но и старательно оберегал от посторонних и даже собственных вторжений наши самостоятельные утехы и выдумки — в особенности те, в которых чувствовал ростки одухотворенности, творчества.

Коля любил мечтать. И притом в одиночестве.

— Уходи отсюда, — говорил мне Коля. — Разве ты не видишь, я мечтаю.

Нет, это совсем не означало, что он сидел на камне, подперев щеки руками, и мечтательно глядел на облака. «Мечтать» на его языке означало прыгать с камня на камень вдоль берега у самой воды и то прятаться от невидимых врагов, таившихся в засаде, то самому устраивать засаду на них, то кидаться в гущу преследователей, разя их направо и налево. Он без усталости перепрыгивал с камня на камень и, размахивая палкой, которая была по мере надобности и ружьем, и бумерангом, и пикой, и шашкой, быстро негромко и непрерывно выкрикивал:

— И вот они вылетели из густых зарослей. Бах, бах, раздались выстрелы, но ни одна пуля не коснулась его головы! Зато от его пуль не поздоровилось нападавшим! Трах-тах-тах! — неслось из-за скалы, где он залег, прижимая ружье к виску. — Убитые падали градом. Лошади поднимались на дыбы и, сбрасывая всадников с седла, в бешеном испуге мчались обратно в прерию.

(— Уходите, — кричал он, заметив меня или Бобу, — разве вы не видите, я тут мечтаю!)

— Десятки тел оставались лежать на земле. Он встал во весь рост и оглядел пустыню. Он знал, что, собравшись с силами, они вернутся. В его распоряжении не более трех минут. Помощи ждать неоткуда. Необходимо укрепить позицию.

И Коля, отбросив палку, начинал, судорожно ползая по песку, стаскивать в одно место песок и камни. Смотреть на него было завидно. Мне тоже хотелось прыгать по камням и прикладывать палку к виску — бах! бах! А он не берет в игру. Ну и не брал бы, пусть, я буду играть сама, но он с берега гонит.

Несправедливо!

И я бежала домой жаловаться. Но жалоба моя не имела успеха. Наш капитан, предводитель и верховный судья, вчера еще так беспощадно накричавший на Колю за карты, сегодня не хотел ему мешать. Он охранял его беготню по камням. Тут деятельно работали воображение, свежий ветер, литературная память. Это была Ее Величество Игра.

Объяснять это все мне в ту пору он, разумеется, не мог, но и обижать ему меня не хотелось.

— Вот что, Лидочек, — говорил он извиняющимся, вкрадчивым голосом. — Давно я тебе ничего не рисовал. Вот, гляди — я буду рисовать, а ты угадывай.

Пером или черным карандашом он рисовал карикатуры — очень меткие. Сразу можно было угадать, кто — кто. Впереди носатый булочник в картузе, с черным кругом и плетеной корзиной на голове, — тот самый, что приносит нам по воскресеньям выборгские крендели. Кажется, будто слышишь скрип его корзины. А вот это — репинский дворник, он же кучер. Тот, который позволяет мне заплетать косичками гриву лошади Любы.

А вот и сама Люба. Ее старая добрая морда.

Но сегодня я не радовалась картинкам. Будто я не понимаю! Он просто хочет, чтобы я не мешала Коле. И для этого рисует дворника и лошадь.

А Коля захватил весь берег. Все мои любимые камни. И так чуть не каждый день. Сколько раз я уже слышала:

— Боба, Лида, не ходите в ту сторону! Там Коля мечтает!

Не надо мне картинок. Мне нужна справедливость.

— И вот кони сшиблись в богатырской схватке. И вот всадники крючьями вцепились друг другу в пояса... И вот Илья уже летит через гриву лошади нáземь...

VI

Игрою игр нашего детства было море.

С утра мы бежали на берег взглянуть: виден ли Кронштадт? Хорошо ли виден? Не тает ли он на горизонте, не затягивается ли мглой? Кронштадт — наш барометр. Синяя плотная наклейка на голубом небе и золотой купол собора. Отчетливо видные, они как стрелка указывают мореплавателю: «ясно».

Теперь... теперь только бы он до сумерек окончил работу!

Слоняясь возле крыльца веранды, мы прислушиваемся к звукам на втором этаже.

Идет! Веселый! С лестницы через две ступеньки!

Выговаривает громким свистящим полусшепотом:

Частью по глупой честности*,
Частью по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
Веселый! Едем!

Он не зовет нас, нас не замечает, не подает нам никакого знака. Высоко задрав подбородок, с видом бесстрастным и замкнутым, большими шагами шагает к берегу — будто намерен отправиться в море один... Но мы не пугаемся нисколько; лодочный ритуал давно уже разработан в малейших подробностях, и то, что наш капитан, задрав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру. Никуда он без нас не уедет! Мы разбегаемся — каждый по своему назначению. У каждого своя морская обязанность. Боба уже мчится в сарай за черпаком. Коля и Павка волочат тяжелые весла, две пары. Ида — уключины. Матти — багор, а я — я имеюсь «хранительницей пресной воды» и несус с ледника заткнутую пробкой холодную бутылку. (Впоследствии в пьесе «Царь Пу-



Корней Иванович и Боба, Лидя, Коля. Куоккала. Середина 1910-х годов

зан» он написал для меня роль Хранительницы королевской зубочистки.)

Поджидая нас, он уже успел перевернуть и столкнуть на воду тяжелую, широкую рыбацью лодку. Руля на ней нет, вместо якоря – камень, обвязанный канатом. Зато она хоть тяжела, да вместительна. Он быстро нагружает ее всюю снастью: уключинами, веслами, якорем-камнем – и приказывает садиться: Коле или Матти на среднюю скамейку, остальным – куда попало, на корму, на нос, на дно; закатывает штаны повыше, спихивает лодку с мели, на которую она плотно уселась, чуть только в нее плюхнулись мы, потом, накренив ее, сам ступает через борт и, выпрямившись во



Корней Иванович, Мария Борисовна, Коля и Лида в лодке. И. Е. Репин (второй ряд, второй слева). Куоккала. Около 1910 года

весь свой огромный рост, принимается ловко работать веслом, а то и багром, пока не выводит судно на глубокую воду. Тут уключины в гнезда, весла в уключины — пошли! Минуту дело не ладится, весла бултыхаются не враз, он покрикивает на Колю, но вот ритм ухвачен, и четыре весла, со стекающими с лопастей каплями солнца, мерно взлетают и снова опускаются в воду.

Гладь почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вздох ощущаешь как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть пожурчивает вода за бортом.

Хочется не говорить, а молчать.

Мы и молчим, глядя, как удаляется берег.

Молчим, покорные этому щедрому бескрайнему свету, этому подрагиванию и покачиванию. Вот уже и первая чайка. Вот уже не видно камней на нашем берегу. Вот уже и людей не видать. Вот уже

слились в одну густую, плотную, черную толпу редкие прибрежные сосны, и за этой кольшущейся толпой неразличима наша дача.

Лодка быстро идет вперед, послушная взмахам весел. Глядя, как они оба, он и Коля, без усилий взмахивают веслами, слегка приподнимаясь над скамьями и снова опускаясь на скамьи, мне кажется, что ничего проще гребли и на свете нет. Но когда один раз, вняв моим мольбам, Корней Иванович усадил меня рядом с собой и дал мне в руки весло — всего одно для начала! — я не в силах оказалась не то что закинуть, даже удержать его. Впрочем, мне не было тогда и шести. Через несколько лет, покидая Куоккалу навсегда, я уже свободно справлялась с лодкой.

Как осваивал море наш капитан, рассказано им впоследствии в тех же воспоминаниях о Борисе Житкове.

«Никогда не забуду, как ранней весной он стал учить меня гребле — не в порту, а на Ланжероне, у пустынного берега, взяв для этого шаланду у знакомого грека...

Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной гадливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли, я же в первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал:

— Перед берегом стыдно!..

Вскоре я настолько освоился с греблей, что Житков счел возможным выйти со мною из гавани в открытое море, где на крохотное наше суденышко сразу накиннулись буйные, очень веселые волны.

До знакомства с Житковым я и не подозревал, что на свете существует такое веселье. Едва только в лицо нам ударило свежим ветром черноморского простора, я не мог не прокричать во весь голос широких, размашистых строк, словно созданных для этой минуты:

Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!

Чей это праздник так празднуешь ты?»*

И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслажде-

ния. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; заходим студентам на песке у моря; друзьям-соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.

Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам. Однажды в море, маленькой девочкой, слушая его голос, произносящий стихи, я впервые заметила красоту его рук. Таких особенных рук я потом в жизни ни у кого не видала. Сильные, хваткие, но не искаженные ни веслом, ни пилой, ни ведрами, ни камнями, ни лопатой; кончики длинных пальцев отгибались назад.

Лирическая основа его естества, скрываемая обычно иронией, насмешкой, язвительностью, задором полемики, явственнее всего проступала наружу, когда он читал стихи.

В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.

— Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!* — начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. — Чей это праздник так празднуешь ты?

Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты, —

читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны — и все вокруг — звучанию голоса.

Читая нам стихи на морских прогулках, был ли он занят тем стиховым воспитанием, о котором впоследствии так много пи-

сал и на отсутствие которого с такой горечью сетовал? И нет и да. Нет, потому что приемы и способы стихового воспитания, подробно изложенные в его послереволюционных статьях, не были еще разработаны им; он тогда еще только наблюдал эту встречу: стихи и ребенок, стихи и возраст, ступени восприятия. Нет, обдуманно, сознательно еще не занимался; пожалуй, если бы тогда, в лодке, он был наедине с морем, без слушателей, один, он читал бы те же стихи, что и при нас. И да, конечно, был занят стиховым воспитанием! Если не воспитывал в прямом смысле, осознанно и методически, то, как бы поточнее это сказать, — влюблял. На страницах своих книг он постоянно утверждает, что первое дело учителя литературы — влюбить детей в поэзию. На морских прогулках он и внушал нам влюбленность.

И конечно же он понимал: такого обостренного чувства ритма, как в детстве, у взрослых не будет уже никогда. Читая нам в те годы в изобилии стихи, он если и предавался стиховой педагогике, то лишь самой первоначальной, первичной, да зато такой, без которой *всякая* дальнейшая немислима: очаровывал нас поэзией, вовлекал нас в нее, как других детей в детстве вовлекают в музыку.

(Он уже тогда понимал, что давать слушателям какие бы то ни было сведения о поэзии — исторические или формальные — *до того*, как она *сама по себе* стала их душевной потребностью, — занятие бессмысленное, схоластическое и даже вредное. Зачем, в самом деле, забивать взрослым и детям головы сведениями о том, когда и каким размером был написан «Медный всадник», почему так долго не печатался, когда наконец напечатан и как его встретила критика, если слушатели не испытывали наслаждения, произнося вслух и про себя, ложась спать и вставая:

Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.)

«...Я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, — писал Корней Иванович в книге “От двух до пяти”, — и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею»*.

Говоря о неумелых педагогах, по невежеству и неумелости убивающих в детях чувство стихотворного ритма и тем лишаящих детей возможности принять наследие великих поэтов, он продолжал:

«Неужели никому из них (новым поколениям детей. — Л. Ч.) не суждена величайшая радость: читать, например, “Медного всадника”, восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?»⁶

Счастье, счастье, счастье... Нет, он не пользовался им эгоистически. На кюоккальских морских прогулках он от щедрот своих передавал эти радости нам:

Дикою, грозною ласкою полны*,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

.....

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

.....

Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

Сколько тут непонятных слов и названий! Фетида, емлет, Элизий, Ливурна! А он не объяснял ничего ровнехонько, ни единого слова, только торжественно возглашал: «Баратынский». И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное не менее мощной в этих стихах, чем энергия ветра.

«Парус надулся. Берег исчез».

Думаю, если бы кто-нибудь из нас — я, шестилетняя, или Коля, девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он до времени и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что *содержится* в причудливом сплетении их, в строках и в строфах, в которые они сплавлены силою ритма.

Ритм — лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковывал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем: Элизий.

Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

Где это — Ливурна? Что это — Элизий? Не знаю. Что-то золотое в этих многочисленных «з»: лазоревый, завтра, Элизий, завтра, земной. Нет, знаю: «земной Элизий» — что-то блаженное из чистого золота, к чему он стремился, — и вот он достиг его.

...Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Сколько уж раз видела я и слышала чаек! Но то, на какую высоту вознесено в стихе Баратынского слово «белая», и то, как подчеркивал эту ритмическую высоту голос, произносящий строку с крошечной паузой после первого слова: «Белая (пауза), рея меж вод и небес», — заставило меня впервые ощутить пространство между волнами и небом и чайку, играющую этим пространством.

Мне шесть лет. Через два года я пойду в гимназию и там, с годами, на уроках географии, я узнаю, где находится город Ливорно, и на уроках истории, что такое Элизиум. А кроме уроков в гимназии, и сам он, в какой-нибудь зимний вечер, раскроет том Энциклопедии Британника и покажет нам карту Италии и Средиземного моря. Но сейчас, из этого голоса, из этих стихов, я узнаю нечто такое, что невозможно узнать ни из какого учебника географии, ни из какой энциклопедии, — могущество волн, могущество воли, огромность мира, заманчивость чужбины и путешествия. *Эти* познания, кроме как из произведений искусства, нельзя извлечь ни откуда, — разве что проделав в действительности тот же путь через Средиземное море. Впрочем, и тогда не узнаешь, что «башни Ливурны» не просто башни итальянского города, а исполненный сон.

На моем веку мне довелось множество раз слышать чтение стихов. Читали актеры и читали поэты. Я слышала Яхонтова, Антона Шварца, Качалова, Журавлева. Каждый из них исполнял стихи в своей, одному ему присущей манере. Слышала поэтов — Маяковского, Блока, Ахматову, Цветаеву, Кузмина, Мандельштама, Гумилева, Ходасевича, Пастернака, Клюева, Есенина, Заболоцкого, Твардовского, Берггольц, Маршака, Петровых, Введенского, Хармса, Квитко, Корнилова, Самойлова, Межирова, Иосифа Бродского, Кушнера, Слуцкого. Все они тоже, разумеется, читали каждый по-своему. То разговорная, то патетическая интонация Маяковского несколько не напоминала скрыто страстное, а внешне сдержанное чтение Блока (казалось, своим глуховатым голосом он печально перечисляет слова — и только); слышала открытое, настежь распахнутое чтение Пастернака, ничем не напоминающее суровость, серьезность и замкнутость чтения Ахматовой (да, открывая себя, она оставалась замкнутой) — и все-таки чтение поэтов, самое разное, чем-то неуловимо родственно одно другому и противоположно актерскому; поэты не своевольничают со своими стихами, хотя, казалось бы, им, хозяевам, все можно; они читают, повинувшись невиди-



Репин в гостях у Чуковского. На диване Мария Борисовна, Корней Иванович, Наталья Борисовна Нордман-Северова (жена Репина) и Коля.
Слева: Илья Ефимович и Лидя. Куоккала. 1913 год

мым нотам, заложенным в каждой строке, движению ритма, которое, совпадая с движением мыслей и чувств, совпадая с дыханием, и создает властность, всемогущество стиха. Актеры же вольничают, стремясь один — создать «настроение», другой — «образ героя», третий — «образ автора», — вообще проиллюстрировать стих, обогатить его, кто жестом, кто голосом, не доверяя власти его самого.

(Никогда не забуду, как Качалов, читая блоковские строки:

Но час настал, и ты ушла из дому*.
Я бросил в ночь заветное кольцо, —

делал такое движение рукой, будто выбрасывал заветное кольцо в форточку, а произнося в «Скифах» строку «Ломать коням тяжелые крестцы», — показывал, будто ломает палку.

Слово и ритмический строй казались ему здесь недостаточно выразительными. Он приходил им на помощь.)

Корней Иванович читал стихи не по-актерски, а так, как читают поэты. Читал, стараясь не вносить ни в интонации, ни в ритм никакой отсебятины, а напротив, и голос, и все свое естество подчинять движению ритма, что делает внятным смысл даже самых сложных стихов даже для малолетних детей. Вот почему в его чтении нам становились понятными и те стихи, в которых во множестве встречались непонятные слова или изображались происшествия, недоступные нашему опыту.

Слов на этих морских прогулках, прогулках в поэзию, он не объяснял нам почти никогда, провозглашая только имя поэта, желая, чтобы мы научились узнавать единственную в мире интонацию, не смешивая ее ни с чьей чужой, так, как в детстве без труда привыкли отличать ель от сосны, осину от березы. Вот это Баратынский. «Парус надулся. Берег исчез». Слышите? А вот это Некрасов. «Горе горькое по свету шлялося»*. Немыслимо спутать одного с другим.

Он часто играл с нами в такую игру: читал нам какие-нибудь неизвестные дотоле стихи, предлагая угадать автора, а когда моему брату было уже лет десять, а мне семь, объяснил нам основные размеры, показал их обозначения и затеял игру: кто скорее на слух определит размер. А еще позже он стал рассказывать нам биографии поэтов: Шевченко или Байрона, Пушкина или Лермонтова. А еще позже — демонстрировать соотношения между размером и ритмом.

Но все это наступило потом.

Тогда же, в Куоккале, в лодке, он не ставил себе целью обогащать нас познаниями, а всего лишь счастьем.

И счастье это исподволь учило нас познавать мир. И Россию.

Круглый год мы проводили в Финляндии. Россией был для меня в ту пору всего лишь Суворовский проспект в Петербурге, да еще Таврический сад, куда нас водили гулять, когда я была совсем маленькая. В настоящую Россию, в деревню под Порховом, я попала уже тринадцати лет*. Москву увидела впервые шестнадцати, а просторы России, пролетающие мимо вагонного окна, — семнадцати, по дороге в Крым. Но уже пяти или шести годов от роду я узнала что-то главное о России из некрасовских ритмов, передаваемых чтением Корнея Ивановича.

О подневольности изб. Об их беззащитности. О разлуке. О встрече. О смерти.

Все рожь кругом, как степь живая*,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!

Тут и «спасибо» звучит как стон, и простор не только врачует, но и ранит, и сторона родная сродни рыданию. Это и было мое первое, полученное в дар от Некрасова, ощущение России.

А «Мороз, Красный нос»?

Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.

Эта третья рифма в его произношении была третьим приступом боли. Кажется, «выла», «всходило» достаточно, чтобы изнеможеть, и голос изнемогал, а это третье добавочное «было» — этого уже почти и перенести невозможно:

Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.

Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот;
Без лишних речей, без рыданий,
Покойника вынес народ.

Ну, трогай, саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!..

Без рыданий? Самые эти стихи — рыдание. Над беззащитностью родного простора. Над тщетностью труженичества. Рыда-

ние слышно здесь с неменьшей явственностью, чем в строках, где названо открыто:

Сентябрь шумел, земля моя родная*
Вся под дождем *рыдала* без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца!

...Коля и Матти, утомясь, сменялись на веслах, а он продолжал бессменно грести и читать. Читал нам Пушкина, Полонского, Фета, Лермонтова.

Помню, как впервые я услышала звуки поэзии Фета совсем особенным образом: не сами по себе, а в сгущенном воспроизведении Полонского. Полонский поздравлял Фета с пятидесятилетием и, поздравляя, в первых строках первой строфы создал как бы концентрацию поэзии друга, заговорил не своим, полонским, а его, фетовским, языком.

Ночи текли — звезды трепетно в бездну лучи свои сеяли...*
Капали слезы, — рыдала любовь; и алел
Жаркий рассвет, и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила — и бурей шумел
Моря сердитого вал — думы зрели, и — реяли
Серые чайки...

Игру эту боги затеяли;
В их мировую игру Фет замешался и пел...

(В этом стихотворении Полонский говорит о поэте и о поэзии нечто похожее на то, что впоследствии высказано было Блоком в пушкинской речи*: говорит о поэзии как о явлении не только культуры — но и природы, стихии.

Это сопоставление мысли Полонского и мысли Блока пришло мне на ум, конечно, не в Куоккале, а позднее, в Петрограде, в 1921 году, когда я слушала в Доме литераторов речь Блока о Пушкине. А в шесть-семь лет — какие уж сопоставления! Но зато в детстве, на море, голос, крики чаек, волны и слова — природа и поэзия — слиты были воедино самой действительностью. И я воображала, будто Фет — это птица, тоже, может быть, чайка, только певчая.)

Первую строфу — ту, где Полонский был Фетом — чего мы, конечно, не понимали тогда, — Корней Иванович читал не переводя дыхания, быстро, все быстрее и быстрее, как бы стараясь голосом взлететь поскорей в высоту, чтобы оттуда, с этой высоты, ринуться на две последние медленные, устойчивые строки, ради которых и написаны все предыдущие.

Скорее, скорее, вверх — почти скороговоркой и не переводя дыхания:

...и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила — и бурей шумел
Моря сердитого вал — думы зрели, и — реяли
Серые чайки...

Пауза. Медленно. Почти по складам. Слово «боги» он тянул, точно было в нем по крайности три «о», в «мировой игре» подчеркивал «р», а имя Фет выговаривал надежно, устойчиво:

Игру эту бо-о-оги затеяли;
В их мировую игру
Фет
Замешался и пел...

Наверное, для того, чтобы мы тут же услышали звуки, издаваемые этой таинственной птицей, Фетом, соревнующимся своей песней с богами и бурей, он следом читал нам свои любимые дактили Фета, раскачивающие ветром деревья:

Ель рукавом мне тропинку завесила*.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело...
Я ничего не пойму.

...Опомнившись от Фета, мы обыкновенно обнаруживали себя уже так далеко в море, что берег казался еле приметной чертой. Пора было купаться.

(Не мне и не Бобе — мы еще не умели плавать, купались только у берега, здесь же мы — хранители штанов, рубах и весел. Всего лишь.)



Корней Чуковский. Портрет работы И. Бродского. Куоккала. 1915 год

Мореходы, припеченные солнцем, начинали сдирать с себя рубахи с такою поспешностью, будто, не успей они раздеться, море может внезапно высохнуть или утечь и им просто не хватит воды для купания. Они с азартом бултыхались в воду — он, волосатый, огромный, — раньше всех. Сначала он плавает неподалеку вокруг лодки, окатывая меня, и Бобу, и бедные штаны и рубахи тучами брызг. Потом вымахивает далеко. Потом возвращается и, командовав себе самому: «Раз, два, три!» — на наших глазах исчезает.

Это главная минута купанья. И не высказываемый мною самый мучительный страх моей детской жизни.

Его больше нет. Я смотрю на то место, где скрылась его голова, и шепчу про себя: «Вынырни, вынырни, вынырни». Я не пони-

маю, как Боба в эту минуту может возиться со своим черпаком, а Коля и Матти хохотать, шлепая друг дружку по спинам. Его больше нет. Сколько раз на наших глазах он нырял, исчезая, но всегда возвращался обратно. А что, если теперь не вернется — никогда? Только что были его глаза, его руки, ноги, голос, волосы — и — никогда. Останется одна рубаха. Я смотрю и смотрю. Вынырни, вынырни, вынырни! И вот наконец — голова. Всегда она является не там, где скрылась и куда я изо всех сил гляжу, — а поодаль, в другом, неожиданном месте, плечи и голова с облизанными водой волосами, голова сама какая-то струящаяся, потому что с нее струями льется вода. Мощное фырканье. Он побывал, наверное, не менее чем на глубине десяти пап. Длинные пальцы обнимают, оттирают лицо. Он отплевывается. Он посинел. Вцепившись синими пальцами в борт, накренив лодку так, что мы с Бобой чуть-чуть не кувыркаемся в воду, он перекидывает ноги внутрь, натягивает, весь дрожа, штаны и рубаху и требует, чтобы Матти и Коля возвращались немедленно.

Я спасена. Он здесь.

Согревшись гроблей, он снова начинает читать стихи, на этот раз веселые, подмигивающие, озорные, пляшущие:

Фонарики-сударики*
Горят себе, горят.
А видели ль, не видели ль —
Того не говорят.

Или:

Как яблочко румян*,
Одет весьма беспечно,
Не то чтоб очень пьян —
А весел бесконечно.
Есть деньги — прокутит;
Нет денег — обойдется,
Да как еще смеется!
«Да ну их!..» — говорит,
«Да ну их!..» — говорит,
«Вот, — говорит, — потеха!
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру от смеха!»

Или:

Я был престранных правил*,
Поругивал балет.
Но раз бинокль подставил
Мне генерал-сосед.
.....
Не все ж читать вам Бокля!
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля...
Купите-ка бинокль!..

Как мы радовались этой находке — этой счастливой рифме: «Бинокль — Бокль»! (Разумеется, ведать не ведая ничегошеньки о Бокле.) Сгибались пополам, валились вперед от смеха. Повторяли: «Купите-ка бинокль», напирая на расслышанные три «к».

А он уже заводил новое:

У царя у нашего*
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично.
И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание —
Отдерут и просто.

Кто такой Тимашев? Что за мост? Что за здание? О каком царе идет речь? Ничего этого пока он нам не объяснил. Объяснит, объяснит, расскажет, когда настанет пора. Исторического мышления у детей до десяти лет еще нету; в этом он, по-видимому, был вполне согласен с Толстым, зачем же рассказывать; а вот ритмический слух и чувство юмора повышены, и он использовал эти детские свойства, чтобы одарить нас не только лирикой, но и сатирой.

«Фонарики-сударики» мы превратили в считалку. «Становись в круг — кому водить? Фонарики-сударики-горят-себе-горят». «Цепной мост» — в дразнилку. Мы понимали в этих стихах главное: кто-то удалой и смелый весело издевается над кем-то смешным и подлым.

Выйдет приказание —
Отдерут и просто!

Очень полюбился нам также веселый пушкинский «Делибаш».

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Пушкин предостерегает казака от делибаша и делибаша от казака; но напрасно.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

Ритм — лучший толкователь содержания. Хотя речь идет тут о войне, о двойном убийстве, — ритм говорит об игре. Недаром в другом четверостишии Пушкин называет кровавую стычку «лихой забавой». Никакого ужаса эти стихи не внушают, напротив, веселье. И мы, подчиняясь истине ритма, при всякой удаче: соскочишь ли с забора, вывернешь ли тяжелый камень, отгонишь ли осу, собьешь ли сосульку, орали:

Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы!

VII

Однако далеко не всегда наши морские прогулки отличались такой идилличностью.

Тот, кто живет на берегу Финского залива только летом, в июне, в июле, — тот не знает его. Летом Финский залив, прямо по Пастернаку, притворяется игрушечным, детским:

Ты в гостях у детей*, —

говорит Пастернак не о Финском море, о Черном, —

Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

В этом невсамделишном, будто бы детском море, в Финском заливе, каждую осень неизменно погибали малоопытные дачники и многоопытные рыбаки. Лет семи от роду я впервые увидела на берегу, на гряде гнилого камыша, выброшенное волнами раздувшееся мертвое тело. Я не могла поверить, что это — человек. При мне его накрыли рогожей... Финский залив — трудный, коварный залив; летом напоминающий теплый бульон, по ошибке налитый в мелкую, вместо глубокой, тарелку, он таит в себе большие опасности: мель и камни у берегов, переменчивые ветры, а осенью мощные шквалы и бури.

Даль Балтийского моря окликает свой залив чуть не еженедельно каждую осень, и на каждый оклик он отзывается бурей, выворачивающей с корнями и бросающей на землю могучие сосны; бурей, гонящей вспять Неву и затопляющей гавань, острова, порою и главные улицы Петербурга; и в наши куоккальские времена разметывавшей между прочим и походя, как пустые спичечные коробки, те корзины, набитые песком и камнями, над которыми мы столько трудились.

Страшно было просыпаться ночью от грохота волн и воя ветра, который, казалось, пробовал: прочно ли держится крыша? Еще страшнее, выйдя утром на крыльцо, увидеть клочья пены и какие-то обрывки водорослей, повисшие на пнях и кустах: тут ночью побывали волны! — увидеть и чудовищную, словно могила, яму, в которой медленно и неотвратимо скоплась вода и над которой толстыми паучьими лапами топырились вырванные корни. А упавшие ели! Одна лежала на земле, другая, сломанная, держалась вкось, полулежа на уцелевших деревьях. Повезло: дерево рухнуло не на крышу. И ночью — никого не было возле.

Корней Иванович любил говорить о себе, что он — человек легкомысленный. В самом деле, вместе с упорством и волей беспечность была присуща ему во все времена жизни. И какая-то детская вера в счастливое окончание беды.

Одна молодая поэтесса, никогда не выдавшая его вместе с детьми, писала ему в 1909 году, что, наверное, он очень «нежный» и «ребячливый отец».

Это была правда.

Из-за его беспечной ребячливости однажды мы чуть не погибли. Он отправился на морскую прогулку в предосенний, мутный, сомнительный, ветренный день, посадив в лодку пятерых ребятшек, мал мала меньше, своих и чужих, и не потрудившись дожидаться нашего третьего гребца — Колиного сверстника, Павки.

Он окончил какую-то статью или главу из статьи, которая долго не давалась ему. Необходимо отпраздновать! (А в горизонт не глядывался.)

Когда мы были уже далеко от берега, небо почернело, поднялся ветер. Часа три дня, а море и небо окутаны тьмой. Только волны белеют. Кронштадт сгинул, словно его никогда не бывало, берег тоже. Чайки то взлетают, то падают и все резче кричат. И вот она — гроза; первая молния в черном небе, первый гром — и самое страшное: ливень. Лодка и так перегружена, сидит низко, а хлынул ливень — она опускается все ниже и ниже, наполняясь льющейся с неба водой. Коля и капитан отчаянно гребут к берегу, но ветер оттуда, и суденышко наше движется еле-еле. Мы мокрым-мокры, мы продуты насквозь, я впервые в жизни слышу, как мелко и мелко стучат зубы. У меня и у других.

Нас трясет. Нет, и зимою не бывает так холодно. Ветер и ливень лютее мороза.

Я вычерпываю воду черпаком, а малыши — Боба и еще поменьше его! — руками. Но где уж нам состязаться с ливнем!

Лодка все ниже. Вот-вот ее начнут заливать, перекатываясь через борта, волны.

Ветер вырвал из Колиной руки одно весло. Коля нагнулся, чтобы схватить его, и уронил ключину.

И заплакал.

Теперь капитан единственный наш гребец и единственная наша надежда.

Я не знаю, спасся ли бы он в этот день, если бы с ним не было детей. Я думаю, чувство вины перед нами делало его бесстрашным и сильным. И взрослым. На наших глазах он действительно превратился в того всемогущего великана, каким казался нам в играх.

Тогда — казался. Теперь — стал.

Он, никогда не певший, вдруг запел, или, точнее, заорал, перекрикая мощным голосом ветер. И велел нам подхватывать. Он ни разу не попрекнул Колю. Он греб, выпячивая грудь напоказ, как в те минуты, когда в него швыряли палку. Он делал вид, что от души веселится. Он стянул с себя пиджак, будто страдал от жары, и накинул его на головы мне, Бобе, Матти, притиснувшимся друг к другу на одной скамье.

— Здорово! — кричал он. — Ты теперь как наседка с цыплятами. Потеха! Ей-ей, умру, ей-ей, умру, ей-ей, умру от смеха!

Через полчаса мы увидели берег. Не наш, чужой, неизвестный, неведомый, но берег. Однако нечего было и думать пристать. Ветер гнал лодку обратно в море. Казалось, наш капитан и гребец напрасно машет веслами: мы стоим на месте.

Но это только казалось.

Берег, черный в темноте, приближался.

Уже стала видна избушка на берегу. Пусть маленькая, пусть кособокая. Но черное небо, белые волны, и молнии, и ливень сразу потеряли свою неодолимую грозность.

Избушка! Человечье жилье! Тепло.

Ложная радость. словно мы не могли погибнуть у самого берега! Теперь предстояло труднейшее: пристать.

Капитан, в штанах и в рубахе, прыгнул в воду, когда вода была ему по плечи. Одна голова торчала над волнами. И повел лодку к берегу, рискуя каждую секунду попасть в невидимую яму или расколоть лодку о скалу. Волны перекатывались через его голову.

Когда, ближе к берегу, стало мельче и безопасней, он велел выпрыгнуть Коле. Они вдвоем подтащили лодку еще ближе. Капитан кое-как укрепил камень-якорь и стал на руках по очереди выносить нас на берег. И каждому кричал:

— Бегай! Бегай! Не стой! Бегай!

Потом выволок лодку на берег и помчался к избе. Мы за ним.

Старуха финка, не говоря ни слова, кинулась разбирать свою широкую постель. Через минуту мы, пятеро, вытертые, сухие, укутанные в старые, но чистые тряпки, рядком, как поленья, лежали поперек кровати под тяжелым одеялом.

Капитан вопрошающе показал пальцем на тканую дорожку. Старуха кивнула. Он сгреб коврик в охапку, ушел в сени и вернул-

ся оттуда, похожий на чешуйчатую змею: голый и завернутый по горло в шершавый половик.

Для нас и теплая, сухая постель оказалась недостаточной, чтобы отогреться. Согрелись мы только тогда, когда выпили два самовара.

Наконец зубы наши перестали стучать, платье просохло, мы поездом вернулись в Куоккалу, оставив лодку на попечение старухи.

Подошли к дому. Дом заперт. Никого. Не светится ни одно окошко.

Никто не отозвался на стук.

Ни мамы, ни няни Тони.

Мы побежали на берег. Ливень уже не хлестал, гроза давно кончилась, но волны еще бушевали. В полной тьме, сбившись в кучу, на берегу стояли женщины. Это были матери увезенных в море ребятишек, и наша мама, и наша няня Тоня. Они вглядывались в шумные волны. И плакали. Одни молча, другие со всхлипами и причитаниями.

Вот какую беду натворил наш ребячливый отец!

Эти женщины, сбившиеся на берегу и плачущие в темноте, наша плачущая мама — это было гораздо страшнее, чем только что пережитый нами шторм.

— Дети дома! — сказал капитан. Сказал тихим, унылым, побитым голосом, совсем не тем, победительным, каким приносят счастливые вести или каким он сам три часа назад, перед лицом опасности, выкрикивал:

Ей-ей, умру...

Ей-ей, умру...

Ей-ей, умру от смеха!

Понурый, жалкий голос виноватого.

Наверное, он только сейчас понял, что он натворил.

Чуть-чуть не утопил нас. Мало того. Не схватит ли кто-нибудь воспаление легких? И самое главное: чуть только мы вышли на берег, он должен был, обязан, перепоручив нас заботам старухи, сам мчаться домой, чтобы ни единой минуты не длить пытку, переживаемую матерями.

Но томился раскаянием он недолго. Он был мало способен к продолжительной грусти.

Когда на следующий день за обедом мы с Колей наперебой стали припоминать подробности вчерашнего происшествия:

— Нечего, нечего! — прикрикнул он. (Терпеть не мог углубляться в плохое.) — Промокли, размокли... Долго еще вы будете тратить время на разговоры об этой чепухенции? Живы? Здоровы? Радуйтесь!

VIII

Однажды в разговоре о застенчивости приятельница моих родителей, только что вернувшаяся из Москвы в Питер, имела неосторожность признаться, что в четырехместном купе она, по робости характера, не познакомилась ни с одним из своих попутчиков. Произнесла она за все время пути всего два слова: «спасибо!» (когда кто-то помог ей поднять чемодан) и «до свиданья» — при выходе.

Выслушав этот рассказ, Корней Иванович впал в преувеличенный гнев:

— Как это бездарно с вашей стороны! Я бы на вашем месте знал уже полные их биографии... В Одессе жила-была барышня, дочка одного ювелира, она говорила: «Я с незнакомыми не знакоблюсь». А вот я, если бы в дороге не перезнакомился со всеми людьми, да не в своем купе, а в целом вагоне, да не в одном вагоне, а в целом поезде, со всеми пассажирами, сколько их есть, да еще с машинистом, кочегаром и кондукторами в придачу, — я был бы не я. Я непоседлив, вертляв, болтлив и любопытен.

У него и вправду в те минуты, часы или дни, когда он не был сверх головы занят, на людей разбегались глаза. На каждое новое знакомство он смотрел как на лакомство. Еще человек, и еще человек, и еще. Новый, неизведанный... Однажды, уже в переделкинские времена, я сказала ему: «Как это ты выносишь вечную толчею? Такое множество каждый день посторонних?»

Он ответил:

— Множество? По-моему, мало. Мне бы хотелось, когда я не работаю, чтобы каждую минуту открывалась дверь и на пороге показывался новый человек.

Это был ответ простодушный и точный. Если гость приходил не в пору — отрывал от работы, — Корней Иванович сердился на домаш-

них, что мы худо его бережем. Случалось, прятался. А мечта о ежеминутно новом человеке оставалась искренней. Чуть только он откладывал в сторону перо или книгу, он жаждал впечатлений от людей, и притом новых. Взрослый или ребенок, еще не виданный вовсе или недорассмотренный до конца, были для него бесконечно заманчивы. Нас, своих детей, он любил, отдавал нам заботы, внимание, силы; однако чужие имели перед нами хоть и временное, но безусловное преимущество: незнаемости. Мы же были известны ему наизусть.

Незнаю я предпочитаю*
Всем тем, которых знаю я.

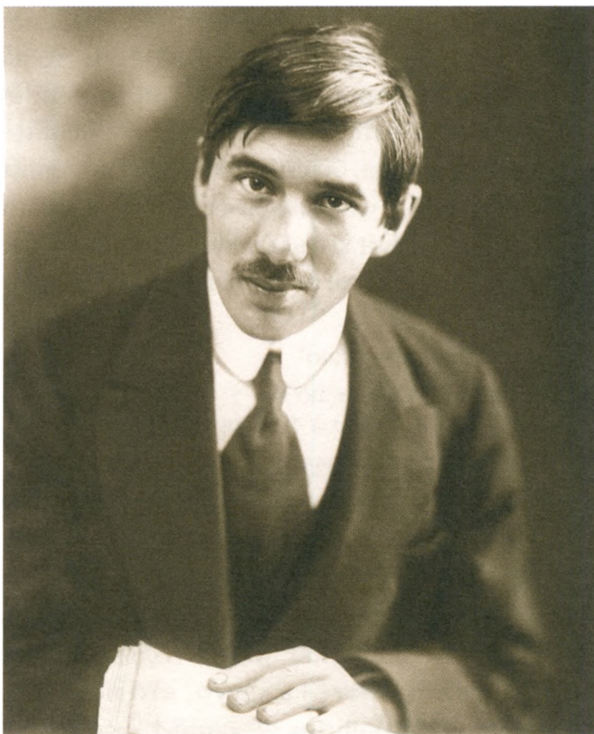
Ему хотелось рассмотреть каждого нового человека снаружи и изнутри; рассмотреть, растормошить, или, точнее, распотрошить, как хочется детям распотрошить новую игрушку: что за пружины заставляют медведя рывкать, а солдата отдавать честь?

Когда, уже в поздние годы, он ехал, бывало, из Переделкина на собственной машине в Москву, он не только, само собой разумеется, прихватывал по дороге каждого, кто поднимал руку, но и сам зазывал пешеходов в машину, — увидит старика с мешком на спине или женщину с ребенком на руках и щелкнет дверцей: «Садитесь — подвезу!» Делал он это из естественного желания облегчить путь нагруженному пешеходу, но также и из любознательности. Проехать *мимо* человека он не мог.

Какие пружины движут новым — невиданным доселе — человеком? Что делает этот человек на земле? Чем одержим, чем несчастлив и счастлив?

В молодости — путешествия, в старости — медленные прогулки по Переделкину не были пусты. Примечательны у него в дневнике описания случайных встреч на пути.

Он идет по шоссе. Женщины мостят дорогу. Возле них — дети. Почему делают тяжелую работу не машины и не мужчины, а женщины? Почему нет детского сада? Сегодня прогуливался с пожилой дамой, в прошлом учительницей, ныне писательницей, автором многих книг. Оказалось, она не знает Жуковского. Ни «Кубка», ни «Ивиковых журавлей». Может ли она считаться учительницей? Или писательницей, да и вообще — интеллигентным человеком? «Этакая лень! Этакая скука!» — с гневом говорил он. — Сторож, дремучий, ма-



Корней Чуковский. 1914 год

лограмотный человек, мне интересен. Мне есть чему у него поучиться: он обладает множеством сведений, мне неизвестных, и множеством умений. Нам есть о чем поговорить. А писатель, не знающий литературы, — это выдумка, чепуха, мнимость».

Иногда же ворочался он с прогулки словно одаренный. Вот запись от 13 октября 1953 года:

«Подошел башкир, студент, без шляпы, разговорились. Крепкие белые зубы, милая улыбка. Душевная чистота, благородство, пытливость. Знает Пушкина, переводит на башкирский язык Лермонтова. Простой, спокойный, вдумчивый — он очень меня утешил — и как-то был в гармонии с этим солнечным добрым днем. Учится он в литинституте, слушает лекции Бонди. Почему-то встречу с ним я ощущаю как событие»*.

(Когда я наблюдала жизнь Корнея Ивановича в Переделкине, мне порою приходило на ум, что переделкинский Дом творчества писателей, выстроенный во второй половине пятидесятых годов

на той же улице, где стоит его дача, велением доброго рока был выстроен нарочно для него. Люди, судьбы — и притом не те, соседские, которые он уже знал наизусть, а постоянно сменяющиеся, новые... В свободные от работы часы, совмещая прогулку со знакомствами, он приходил в Дом творчества чуть не ежедневно: иногда к друзьям, а чаще — к незнакомым, ко всем вместе, к кому угодно: в холл, в столовую. И желающие шли его провожать, и он знакомился по дороге со всеми вместе и с каждым в отдельности и зазывал к себе. Так утолялась потребность в общении с людьми, преимущественно новыми, еще не рассмотренными.

Такую же тягу он испытывал к письмам. Ведь письма — это те же люди. Приедешь в Переделкино, привезешь пачку писем, полученных по его московскому адресу. Пачка мирно лежит на столе. Но он не в силах продолжать начатый разговор: письма влекут к себе. Не то чтобы он ожидал определенного письма от определенного корреспондента. Нет. Он всегда находился в ожидании письма от неизвестного. А вдруг — словцо для «От двух до пяти»? Или для «Живого как жизнь»? А вдруг кого-то он заразил своей любовью к писателю, чью душу почитал прекраснейшей из всех ведомых ему человеческих душ? Чей путь он понял как подвижнический — в искусстве и в жизни? Заразил любовью к Чехову, чьему жизненному пути и отношению к людям втайне пытался подражать?

Разговаривая, Корней Иванович жадно глядел на письма. Наконец хватал ножницы. Шевелил над пачкой длинными пальцами, выбирая, как ребенок над коробкой конфет. Приговаривал:

— И бо-о-оги не ведают — что он возьмет!*

И хищно кидался с ножницами на какой-нибудь конверт, надписанный незнакомым почерком... А вдруг там великое чудо: стихи? Не графоманские, которые ему присылали пудами, а настоящие?)

Но все это было позднее — в его старости, в моей взрослости. Возвращаюсь в мое детство, в его молодость. Там, в детстве, в Куоккале, он всегда брал нас с собой глядеть — как строят дом, чинят дорогу, роют колодец, прокладывают железнодорожный путь. Техника, впрочем, его не занимала, хотя он и бурно восхищался человеческим гением, запечатленным в ней. Ничего технического он не понимал — хотя и звал дивиться телеграфу, а потом полету на Луну. Его изначально, всегда, смолоду до восьмидесяти семи лет, интересовали люди. Который из них работник, мастер, а ко-



Корней Чуковский. Фотография Д. С. Здобнова. Петербург. 1909 год

торый так себе, тяп-ляп? Мастерство — всякое — уважал чрезвычайно. И любил вслушиваться в живую речь.

Но как бы ни занимал его всякий труд и всякий человек, самым интересным явлением в мире было для него создание искусства и самым интересным человеком — создатель, творец, человек-художник. Человек, создающий художественные ценности. В особенности — литературные.

(По внешним следам стиля проникнуть внутрь создания, «распотрошить» его, добраться до личности создателя — не из этой ли потребности явились на свет все критические работы Корнея Чуковского?)

Труд в искусстве. Кисть, карандаш, перо. В особенности перо. Человек, творящий литературу. Талант.

С этим интересом в его жизни не мог сравниться никакой другой. С благоговением, культом, воздухом которого мы дышали сызмальства.

В молодости, в 1905 году, Корней Иванович писал жене:

«На меня искусство так действует, что я у художника руки готов целовать»*.

В 1908 году он написал статью: «Толстой как художественный гений»*. Через полстолетия, снова готовя ту же статью к печати, он назвал ее во вступительных строчках «юношеским гимном» Толстому.

Статья была разбором, как всякая статья Корнея Чуковского, но в то же время и в самом деле своего рода гимном.

Оканчивалась она такими словами:

«...вдруг поражаешься мыслью... это нигде, нигде... в мире не могло создаться, как только у нас, и... умиляешься до слез, и чувствуешь, что не было бы большего счастья, как припасть к этой старческой руке, осчастливившей нас, оправдавшей нас, благословившей нас... и покрывать ее благодарными слезами»*.

Это будто бы из того же письма, написанного тремя годами ранее: «...я у художника руки готов целовать».

В центре его духовного мира более шести десятилетий стояло искусство. Человек искусства. Единственность, неповторимость *этого* таланта, несхожесть его ни с чьим другим.

В последней своей статье, напечатанной посмертно*, он называл себя «смиренно-восторженным слушателем» великих лирических поэтов начала века. Действительно «смиренным», потому что за собою таланта он не признавал никогда. (Вот цитаты из писем и дневников разного времени: «Какой же я писатель? Черно-рабочий, фельетонист, газетчик». «Никогда я не считал себя талантливym...» «О своем писательстве я невысокого мнения, но я грамотен и работающ.») И действительно «восторженным»: над головою человека талантливого загорался и сиял перед его глазами некий нимб (к его удивлению, не всегда доступный зрению других), зажигалось некое солнце, в лучах которого, особенно в первую пору влюбленности, тонули, даже для его насмешливого и зоркого глаза, все человеческие недостатки талантовладельца.

Однако восторг перед творениями таланта вызывал в Корнее Чуковском отнюдь не одно лишь желание славословить и воспевать.

Он «упивался стихами», но и пародировал их: пушкинские, некрасовские, лермонтовские, радовался чужим пародиям — на Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока.

«Гимны» среди его критических статей редкость. Напротив, слыл он критиком зубастым, драчливым, задорным. Критические

его работы всегда были анализом, разбором, острым, неожиданным, свежим, заставлявшим читателей по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомого автора (таковы статьи о Леониде Андрееве, Короленко, Брюсове, Бунине, Блоке); иногда же разборы вели к совершенному уничтожению, к убийству наповал («Третий сорт», статьи о Чарской, об Арцыбашеве, о Вербицкой). И та же его необузданная любовь к искусству, мечта окропить благодарными слезами руку Льва Толстого оборачивались ненавистью, живою ненавистью ко всякой рутине, пошлости, фальши, эпигонству — и просто недобросовестной, корыстной, ремесленно-равнодушной работе.

«Почему изнасиловать восьмилетнюю девочку нельзя и нужно за это идти в каторгу, — спрашивал он, например, в письме к знакомому, — а изнасиловать Тютчева или Баратынского можно, и это вознаграждается хорошим барышом?

Возьмите сборники избранных стихотворений русских поэтов, изданные Сальниковым, Бонч-Бруевичем, П. Я. и др., — что это, как не изнасилование всех русских поэтов сразу и поодиночке. И этих негодяев не только не вешают, но раскупают во множестве изданий»*.

Вот какие «гимны» являлись иногда результатом его благоговения перед Баратынским и Тютчевым. Почему тех, кто искажает великие стихи, не посылают на каторгу и не вешают?

Шутки шутками, а заряд негодования в этих строках огромен.

Думаю, для самого себя, бессознательно, он всех людей, сколько их живет на белом свете, делил прежде всего не на «плохих» и «хороших», а на талантливых и таланта лишенных. Не только в искусстве, а вообще.

Такое разделение особенно характерно было для него в молодости. Запомнилось оно мне с детства.

Приходил к нему ставить новый забор и крылечко плотник Михайла, мужик Олонецкой губернии, и сколько Корнею Ивановичу ни втолковывали, что Михайла пройдоха и вор — у одного пилу стянул, у другого ведро, — Корней Иванович только рукой махал:

— Да вы вслушайтесь, как он говорит! Что ни слово — подарок, что ни рассказ — былина!

(Проведя отрочество и юность в Одессе, Корней Иванович возненавидел тамошнюю южную смесь; все, от словаря до синтаксиса и произношения, представлялось ему не только неправиль-

ным, но и пропитанным пошлостью: «Дэ-эмон», «Одэ-эсса», — на-смешливо тянул он, изображая одесскую барышню. «Вы идите, а мы *подойдем*» или даже «*надойдем*» — так поддразнивал он своих одесских друзей, приезжавших гостить в Куоккалу. Для меня до сих пор остается загадкой, как за три-четыре года сам он, проведенный в Одессе детство, отрочество и юность, вытравил из своей речи — раз и навсегда — все одесское и овладел богатым, сильным, безупречным московско-петербургским русским языком. Он чудесно говорил на языке Екатерины Осиповны — украинском, помнил наизусть чуть не всего Шевченко и русский язык, литературный и народный, знал до тонкости. Знал и любил.)

— Михайла тут вчера рассказывал, как ставят северные избы. «Материнская балка» — вы подумайте только, так у них называется основная балка в избе. «Материнская». — Он радостно смеялся. — А наличники, венцы, резьба? Да у него каждое слово резьба. Вы говорите — прогнать. Он для меня праздник. У него что топорик, что пила, что язык — виртуоз.

Михайла был художником, над ним горел нимб неприкосновенности.

Корней Иванович так привык делить людей на вдохновенно-талантливых и ремесленно-равнодушно-бездарных, что применял эти определения к обстоятельствам и явлениям жизни, казалось бы от всякого таланта далеким.

О погоде: «Здесь сейчас гениально». Дождь не вовремя слыл беспросветной бездарностью. О ясном солнечном дне он отзывался так: «Погода сегодня боговдохновенная».

Или приятелю:

— Как это неталантливо с вашей стороны, что вы не были у нас в прошлое воскресенье.

О себе:

— Этакая я несчастная бездарность, опоздал сегодня на поезд...

В высшей степени чувствителен был он к таланту и бездарности в педагогике: в воспитании, преподавании. От преподавателя требовал увлеченности предметом и умения приохотить, очаровать. Презирал тех педагогов, которые даже Пушкиным умели не сделать детей, не одаривать их, а отягощать. Презирал учителей и родителей, прибежавших к муштре. Утверждал, что даже закон такой

существует: чем меньше у взрослого за душой, тем большее пристрастие питает он к дрессировке: «Соня, не болтай ногами!» — «Витя, как ты сидишь?» — «Сиди ровно». — «Я что сказал? Руки мыть!»

Дети и сами любят, когда ими командуют (потому что и команда причастна игре), но командуют изобретательно, весело, не по-фельдфебельски.

В бездарности и, гораздо более, в преступности взрослых, которые били детей, не сомневался он ни единой минуты. За искажение Тютчева или Баратынского следовало, выражаясь его гиперболическим стилем, «вешать» и «ссылать на каторгу»... Что же причитается человеку, поднимающему руку на ребенка?

«...Побольше благоговения к детям, поменьше заносчивости, — писал он в статье 1911 года, — и вы откроете тут же, подле себя, такие сокровища мудрости, красоты и духовной грации, о которых вам не грезилось и во сне»*.

«Сокровища мудрости, красоты и духовной грации» — это сказано не о Пушкине или Баратынском — о детях.

«...Ведь детская игра и детская шалость — это святее всего»*.

Нас с Колей он взял из куоккальской гимназии внезапно и очень решительно. Учились мы и так и сяк, ни шатко ни валко, но я сделала внезапное открытие: наш директор, Алексей Николаевич, румяный, белозубый, всегда любезный со всеми родителями, — исподтишка колотит детей.

Однажды, возвращаясь из гимназии, я вспомнила, что забыла на вешалке башлык, и с полдороги вернулась. И в раздевальной увидела: Алексей Николаевич под прикрытием вешалок, засунув себе между колен голову Кости Рассадина, порет его ремнем. Бьет размеренно, удар за ударом, методически, даже как бы равнодушно. И самое страшное: зажав Косте рот рукой.

Я пустилась бежать, стараясь не хлопнуть дверью. Вернулась домой без башлыка. Я была испугана так, что дома, рассказывая о виденном, заикалась — и заикалась потом несколько дней. Я рассказывала и рассказывала, меня не могли унять, а я все не могла объяснить, что меня так потрясло. Мне ведь и раньше случалось видеть, как дрались мальчишки, как на пляже матери давали своим чадам шлепки, а отцы — подзатыльники; видела, как извозчик Колляри хлестнул однажды вожжей по босым ногам нашего приятеля Павку и тот подпрыгнул и взвыл от боли.

Но это все в гневе, в раздражении, в задоре. А тут я впервые увидела, как человек методически, спокойно, чуть не посвистывая, бьет человека — да еще большой маленького.

Я была потрясена до болезни.

— Какая жестокость! — выслушав меня, сказал бы один.

— Так и надо мальчишке, — сказал бы другой, — второгодник и хулиган.

— Бить в гимназиях запрещено, — сказал бы третий.

— Какая бездарность! — с отвращением сказал Корней Иванович. — Ничтожество!

И, как я узнала потом, написал директору письмо и одновременно в Министерство просвещения жалобу. Он объяснял, что если директор порет детей, стало быть, он зол и бездарен, а бездарный директор вряд ли способен подобрать себе талантливых сотрудников. Напротив: бездарный человек всегда ненавидит и гонит талантливых.

Взяв нас из гимназии, Корней Иванович начал помимо Веры Михайловны заниматься с нами сам — не только английским языком, но и русской историей. Собственно, не с нами, а с Колей, которому шел двенадцатый год. Я болталась беспрепятственно тут же. Прилипал и Боба — он не любил, когда его не пускали куда-нибудь.

Вера Михайловна занималась с Колей по учебнику, строго придерживаясь гимназической программы, а Корней Иванович «так», «вообще», «вольно».

Это были рассказы о событиях и людях. Он, как я теперь понимаю, выбирал те обстоятельства, эпизоды, события, фигуры тех общественных деятелей (преимущественно девятнадцатого века), те судьбы, которые были наиболее драматическими, давали наиболее богатую пищу воображению и взрыву чувств, те, в которые можно играть. Страницы из Карамзина, Ключевского — пересказанные или прочитанные, монологи из исторических драм и трагедий Пушкина или Алексея Толстого, репродукции исторических картин; отрывки из «Былого и дум» — герценовские патетические или язвительные характеристики: героев 14 декабря, императора Николая, Бенкендорфа, Дубельта, Аракчеева.

Разумеется, на этих уроках в ход шли и стихи. В его исполнении стихи, читаемые с любой целью, всегда оставались стихами; в кабинете они читались не иначе, чем в море, но цель тут была иная. Тут он читал их как иллюстрации к тому или другому событию: вот

речь идет о Владимире — читается «Илья Муромец» Алексея Толстого; вот Петр решает выстроить город на финских болотах — читается «Кто он?» Майкова; вот речь заходит о шведской войне — гремит «Полтава», но гремит она не ранее, чем нам объяснены все имена:

И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

Вот речь зашла о Лицее — читается очередное «19 октября», но не раньше, чем мы узнаем, кем стали впоследствии все названные и неназванные лицеисты, товарищи Пушкина: и Матюшкин (потом адмирал), и Горчаков (потом дипломат), и Дельвиг (поэт), и Пущин, и Кюхельбекер (участники декабрьского восстания) — не раньше, чем мы узнаем, к кому обращена каждая строфа.

Слушая, мы радостно догадываемся, что это о Матюшкине сказано:

...С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Узнаем о ссылке Пушкина в Михайловское и как Пущин приехал навестить его — и только потом:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

И декабрьское восстание, и ссылка Пущина в Сибирь, и в дороге случайная встреча Пушкина с Кюхельбекером, которого везли в крепость:

Как друг, обнявший молча друга*
Перед изгнанием его... —

и слова Пущина в 1837 году, когда известие о гибели Пушкина дошло до Сибири: он, Пущин, заслонил бы поэта своей грудью, если бы в это время был в Петербурге... Тут, повторяю, Корней Иванович читал нам стихи как иллюстрации: к событиям ли на площади Сената или к открытию Лицея, но чаще звучали они на этих уроках последним приговором событию или человеку — приговором, вынесенным историей устами поэта. Заключительное разрешение музыкальной фразы — исторической драмы: Пушкин — декабристам в Сибирь, Лермонтов — на смерть Пушкина, Некрасов — на смерть Шевченко.

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть не желательный.
Так погибает по Божией милости
Русской земли человек замечательный...

Всюду в его повествовании пробивалась эта трагическая тема, естественная при его отношении к искусству: расправа с гением и талантом, учиняемая сплоченной и могучей бездарностью.

Тут — болевая точка, ощущавшаяся им постоянно.

Надругательство над талантом. Преследование таланта. Борьба безоружного таланта с вооруженной бездарностью.

Прочитал он нам однажды повесть Лескова «Левша» — страшный, хотя и веселый рассказ о том, как английские мастера создали диво дивное — заводную блоху, как русские подковали это дивное диво, — подумать только, словчились подковать еле видные ножки! — а солдафоны загубили мастера из мастеров, гениального Левшу.

(Недавно, уже в семидесятом году, я получила возможность ознакомиться с письмом Корнея Ивановича к художнику Николаю Васильевичу Кузьмину, приславшему ему в подарок новое издание повести Лескова со своими иллюстрациями.

Корнею Ивановичу эти иллюстрации необычайно понравились.

При чтении письма Чуковского к Кузьмину, написанного через столько лет и за столько верст от Куоккалы, ясно всплыли в моей памяти куоккальские книжные полки, залитые зимним морозным солнцем; белее белого сверкающее снежное поле за окном и посреди дивана молодой, худощавый, черноволосый, нервическидвигающий длинными руками и острыми коленями Корней Иванович.

Он читает нам «Левшу».

В углу дивана, поджав ноги, спокойно сидит и слушает Коля; я лежу в другом углу, положив голову на круглую качалку, и вздрагиваю от каждого пинка, получаемого Левшой. За столом сидит наша учительница. Она слушает с интересом: ей, конечно, хотелось бы, чтобы, как полагается ученикам на уроке, мы прямоенько сидели на стульях, а не валялись на диване; но она уже привыкла, что в этом доме все «не как у людей», и не ропщет.

Вижу этот диван, и сверкающее зимним розово-голубым сиянием окно, и нервные руки и колени чтеца. Он читает нам о гибели человека гениально-одаренного и обо всех бездарностях и холуях, его загубивших.)

Почему я так ясно вспомнила это чтение и этот зимний давний куоккальский день через века — в 1970 году?

Я прочитала письмо Корнея Ивановича к Николаю Васильевичу Кузьмину. Корней Иванович пишет, что своими иллюстрациями художник обнажил главную тему повести: «Как топчут великих людей сапожищами».

Уроки истории, преподнесенные нам в Куоккале Корнеем Ивановичем, были проникнуты этой родной ему болью.

Убийство Лермонтова. Его убили те же сплоченные бездарности, что и Пушкина, что и Левшу.

— Подумайте, этот кретин Николай мог и Пушкина в 1825 году спокойно упечь в Сибирь! Туда, куда он отправил талантливейших людей России! И мы лишились бы и «Полтавы», и «Евгения Онегина»! А сам он и все его Клейнмихели и Бенкендорфы, — да у них и органа такого не было, каким воспринимают искусство! Они убили Пушкина в 1837-м — представить себе невозможно, что еще мог он написать, что еще завещать нам!

Родилась я в 1907 году. Помнить революцию 1905 года я, стало быть, не могла. Но мне всегда мерещилось, мерещится и по сию пору, будто я помню ее; это оттого, вероятно, что все взрослые, окружавшие нас в детстве, постоянно при нас говорили о ней, как свидетели или участники.

Корней Иванович побывал на «Потемкине», когда мятежный корабль стоял в Одессе*; потом, в Петербурге, сделался редактором сатирического журнала «Сигнал»*, высмеивавшего царский режим, министров и самого «августейшего». («Николай Второй —

бездарнейший из русских царей», — говорил он.) Он рассказывал нам о лейтенанте Шмидте, о Севастополе, о Пресне, а чаще всего — о 9 января в Петербурге. Чертил план улиц, мостов, проспектов; рабочие с портретами царя и хоругвями идут по этим мостам и проспектам к Зимнему дворцу, а во дворах, в переулках заранее предусмотрительно спрятаны солдаты и казаки. Люди идут, чтобы рассказать царю-батюшке, как злодеи «топчут их сапожищами», их, живущих в подвалах, в нищете и неволе, работающих за гроши по 12 часов в сутки, а им навстречу казаки, нагайки, пули, и вот уже на белом снегу (я смотрю на белую, нетронутую пелену за окном) лужи крови и распростертые недвижные тела.

Рассказывая нам на тех же уроках, в ту же памятную зиму, о дуэли и смерти Пушкина (лошади, сани, снег, пистолет в руке у Дантеса), Корней Иванович заключил свой рассказ чтением Лермонтова. После всех поворотов ритма: скорбных, гневных, угрожающих — победоносно и торжественно закончил:

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

Это была первая кровь, которую я видела в моем воображении: красная, праведная кровь поэта на белом снегу.

Потому ли, что скрытой мыслью нашего учителя, невольно передававшейся нам, было: убийца поэтов не может не быть убийцей народа; потому ли, что оба злодеяния — убийство Пушкина и расстрел демонстрантов — совершались в январе, и оба на снегу, и в похожие числа: одно 9-го, другое 29-го, — они раз и навсегда нерасторжимо сочетались в моей памяти. Кровь поэта и тех, кто шел ко дворцу 9 января. До сих пор при мысли об обоих январских днях, отделенных друг от друга десятилетиями, не имеющих будто бы между собой ни прямой, ни косвенной связи, у меня падает сердце с той же внезапностью и остротой боли, с какой упало тогда, впервые в детстве.

(Быть может, это потому, что рассказал нам о них один и тот же голос? Не знаю. Но выстрел Дантеса и выстрелы 9 января звучат для меня и по сию пору одним и тем же звуком.)

IX

— Моим детям посчастливилось: они с малых лет дышали воздухом искусства, — сказал Корней Иванович в Переделкине одной из своих многочисленных посетительниц, которая привела к нему дочь, пишущую стихи.

Нам посчастливилось, верно. Счастье это выпало нам на долю потому, что Корней Иванович дня не мог прожить без литературы, вне художественного и литературного круга; и мы, пока были маленькие, волей-неволей вертелись у его друзей под ногами.

Ни в Петербург, ни в Выборг нас не брали почти никогда: так, к зубному врачу или пальто купить. В настоящий театр попала я впервые лет десяти-одиннадцати, уже после Куоккалы (и после революции!), в Петрограде. В Музей Александра III, правда, Корней Иванович возил нас раза два еще с дачи; показал нам Рокотова, Боровиковского, Брюллова, Серова, Репина. В Эрмитаж тоже; но колонны, паркет и вид на Неву и Петропавловскую крепость заслонили от меня Тицианов и Рубенсов. В Эрмитаже, на первый раз, я запомнила одних лишь египетских скарабеев. Дома были альбомы с репродукциями; летом я их не открывала, зимними вечерами рассматривала.

Но, вероятно, не предметы искусства, которые у нас в доме водились совсем не в изобилии, а действительно самый воздух, вдыхаемый нами, имел в виду Корней Иванович, говоря, что нам посчастливилось.

Жили мы наискосок от «Пенатов», бегали с записочками от Корнея Ивановича к Илье Ефимовичу и обратно чуть не каждый день. Бывали иногда в мастерской, слушали замечания Репина ученикам его, суждения художников и литераторов о репинских полотнах. В «Пенатах», у нас дома, на пляже мы постоянно были окружены радостями, печальями, восторгами людей литературного круга.

О своем общении с людьми искусства — тесном, многолетнем, постоянном или, напротив, мгновенном, беглом — Корней Чуковский рассказал в книге «Современники» и в других своих литературных работах. Его мемуары — галерея портретов, исполненных то во весь рост, обобщенно, то как бы мельком, беглым, быстрым штрихом. Репин, Маяковский, Горький, Тынянов, Анна Ахматова, Бунин, Куприн, Татьяна Щепкина-Куперник, Н. Ф. Анненский, Короленко, Иннокентий Анненский, Т. Богданович, Тарле, Кони, Леонид Андреев, Квитко, Житков, Маршак.



И. Репин и К. Чуковский с сыном Николаем у беседки
«Храм Озириса и Изиды» в «Пенатах». Куоккала. 1912 год

Добрая половина перечисленных — те, с кем он общался в Куоккале. Среди литераторов чувствовал он себя свободно, непринужденно, естественно, однако не на равной ноге, ибо себя самого считал лишенным главного, обожаемого им в людях свойства: художественного дара, таланта. (За собою всю жизнь признавал одно качество: трудолюбие.)

«Какой же я писатель?» — однако жить вне литературного труда и вне литературного и художнического круга не мог и не хотел ни минуты. И радовался: мы, его дети, с малых лет дышали тем же излюбленным воздухом.

В том, что мы не ощущали ни своего отца, ни окружающих какими-то особенными, исключительными, была безусловная заслуга его педагогики.

Если нам и представлялось когда-нибудь, что отец наш и его знакомые отличаются чем-то от дачников, наводнявших Куоккалу

летом, то отличие мы наблюдали такое: безделье дачников и напряженная занятость Корнея Ивановича, его друзей и знакомых.

Воздух искусства был прежде всего воздухом труда. Другьям Корнея Ивановича и ему самому случалось отдыхать, но не случилось бездельничать.

Между отдыхом и безделием сходства нет. В состав воздуха, окружавшего нас, входило и чтение импровизированных лекций в беседке у Репина, и чтение стихов, и разговоры, и споры, и игра в городки, и другие игры, главным образом литературные, но ни грана умственного безделья. В мастерской, в кабинете или на морском берегу (подозреваю, что и во сне) Корней Иванович и люди, его окружавшие, продолжали все ту же, неразлучную с ними, работу души и мысли. Отдых людей, окружавших нас, нисколько не напоминал утех дачников и в особенности дачниц, дни напролет с полной серьезностью переворачивающих себя на пляже с одного бока на другой, окунающихся в воду в трех шагах от берега с пронзительным визгом (непреренно с визгом, а то и купание не всласть!), а вечерами прогуливающихся взад и вперед, в чаянии нечаянной встречи, по станционной платформе.

Общение между «Пенатами» и нашей дачей было постоянным и тесным. Гости из «Пенатов», из парка с затейливыми беседками, клумбами, мостиками, из просторно раскинувшегося дома со стеклянной крышей, с пристройками, лестничками, из столовой со знаменитым круглым столом (большой круг увенчан малым, а малый, вертящийся, уставлен вегетарианскими яствами), — гости из «Пенатов», перейдя Большую Дорогу и побродив по берегу моря, заходили, случалось, на прибрежный участок Чуковского, ничем не примечательный, где если и было что затейливое, так это невырубленные корни, змеившиеся по земле; садились пить чай за самый обыкновенный прямоугольный стол с самыми обыкновенными кушаньями. А случалось и наоборот: Корней Иванович вел кого-нибудь из приехавших к нему прозаиков, поэтов, критиков в «Пенаты» — знакомиться с Репиным. И я, и Коля увязывались за ними.

Был Корней Иванович в «Пенатах» свой человек. Репин сильно привязался к нему за годы близкого соседства. Ни одна репинская «среда», ни один праздник, устраиваемый «для народа» в «Пенатах» или в театре «Прометей», не обходился без участия Чуковского, а если Корней Иванович опаздывал, Репин нетер-



В мастерской И. Е. Репина в день смерти Льва Толстого.

Слева направо: К. Чуковский, М. Чуковская, И. Репин, Н. Нордман-Северова.

На мольберте — портрет Льва Толстого с женой. Слева — портрет К. Чуковского.

Фотография К. Буллы. Куоккала, «Пенаты». Ноябрь 1910

пеливо посылал к нему одного из внуков или учеников: поторопить! Илья Ефимович любил, чтобы Корней Иванович читал ему вслух — в часы работы или отдыха — пушкинские, некрасовские, шевченковские стихи, гоголевскую или лермонтовскую прозу, а иногда что-нибудь новое, оглушительно-современное; любил, чтобы Чуковский читал и его гостям, в столовой или на вольном воздухе; показывал ему новые варианты своих картин; поручил ему редактировать свои мемуары... Чуковский, естественно, оказался одним из звеньев, соединявших Репина с молодой литературой.

Обстановка в обоих домах была разная, да и вкусы и взгляды не совпадали (хотя бы из-за несовпадения возраста, не говоря уж о других причинах). Быт в обоих домах был разный, а темы разговоров, диктуемые временем, — одни. Говорили о проповеди Толстого, о его отлучении от Церкви, об уходе из Ясной, о смерти... (Сохранилась, висит и сейчас перед моими глазами в переделкинском

доме фотография: Репин с Натальей Борисовной и Чуковский вместе с моей матерью в мастерской у Репина; на стене — портрет Толстого, завтракающего с Софьей Андреевной, и неоконченный портрет Чуковского; а в руках у Ильи Ефимовича — раскрытый газетный лист, где лицо Толстого впервые обведено черной рамкой.)

...Странно, что я, тогда трехполовинолетняя девочка, ясно помню этот день, а быть может, не этот, а предыдущий: ту минуту, когда Корней Иванович, узнав, что скончался Толстой, — заплакал, положив голову на стол на свои большие руки.

Думаю, фотография относится уже к следующему дню.

Вглядываясь в нее теперь, я вижу на лицах собравшихся недоуменное горе; ту непривычку к новой, только что наступившей эпохе, то выражение, какое было, наверное, на лице у Гоголя, когда в письме к Плетневу он воскликнул: «Россия без Пушкина! — Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина»*.

За этими словами звучит — да и Россия ли это?

Гибель Пушкина обрушилась на людей внезапно; смерть Толстого можно было ожидать со дня на день; и все равно люди оказались неготовыми.

«Россия без Толстого! Как странно! Боже, как странно!»

Да и Россия ли это?

Корней Иванович уехал на похороны.

...В обоих домах шли толки об эсеровских бомбах, о Ленском расстреле, о других событиях политической и общественной жизни; то собирали деньги, то оказывали тайный приют политическим беглецам, перебиравшимся через финскую границу; с августа 1914 года заговорили о войне, о войне, о войне, о Карпатских горах и Мазурских болотах и чем война кончится; но там ли, здесь ли, никогда не сходили с языка толки о книгах, картинах, актерах, спектаклях, журналах. Шаляпин. Короленко. Врубель. Коммиссаржевская. Серов. Блок. Сологуб. Футуристы. Акмеисты. Маяковский. Ахматова. Брюсов. Пуни. Кульбин. Художественный театр. Евреинов. Мейерхольд. Борис Григорьев. Добужинский. Бакст. «Русское богатство». «Мир искусства». «Русская мысль». «Весы». «Аполлон»*.

Прислушивались ли мы к этим разговорам? Нет. (Сказать правду, по малолетству и умственной лености мы, случалось, даже тяготились ими. Случалось нам даже презираемым дачникам позавидовать: у них там именины и дни рождения, к ним всегда, в лю-

бую минуту, приходят гости, их дома не заколдованы, как наш, двумя словами: «папа занимается».)

Нет, мы далеко не всегда сознавали в ту пору, что нам «почастливилось».

Однако хотели мы того или нет, а дышали воздухом, наполнявшим наш дом. И благодаря насмешливости Корнея Ивановича, его вкусу и нежеланию умиляться и сюсюкать этот воздух не развивал в нас вундеркиндства и самомнения.

Вундеркиндов Корней Иванович не терпел, а пуще всего не выносил родителей, демонстрирующих таланты своих детей. Девочка в кудряшках и с бантом, которую папа и мама ставят на стул посреди комнаты, чтобы она прочитала на потеху гостям:

Любо василечки
Видеть вдоль межи* —

или под всеобщий хохот спела сальный куплетец, смысл которого она не понимает, но понимают они, — эти нравы Дерibasовской улицы были, безусловно, чужды нашему дому. (О самом их существовании я узнала гораздо позднее.) При нас никогда никому не рассказывалось, что Лидочка, когда ей было три года, сочинила многообещающий стишок:

Я вижу сковородку,
В которой варят водку, —

а Колечка, оставшись недоволен чеховскими «Мальчишками», свернувшими со своей гордой дороги, в пику им начал писать: «Мои воспоминания о Калифорнии».

Корней Иванович любил детские забавы, но не выносил, когда взрослые сотворяли себе забаву из детей.

Пошлости был лишен воздух, вдыхаемый нами.

Не был он загрязнен не только бездельем, но и чинопочитанием и спесью.

Официальная табель о рангах теряла в нем смысл. Мы ведь не ведали, что, например, Репин имеет чин тайного советника, Кони тоже какой-то там чин, да еще награжден орденами. В артистическом петербургском кругу, который прихватывал и Куокка-

лу, существовала собственная шкала ценностей. Какие чины тайных или статских советников, какие Анны в петлицу или на шею могли затмить сияние имен: Комиссаржевская, Серов, Репин, Короленко, Горький? Анна Ахматова? Блок?

Удивительно умели эти люди восхищаться друг другом. «Я у художника руки готов целовать» — такая степень восхищения не была в этом кругу исключительной. Историки русской культуры давно уже и подробно исследовали все распри и раздоры между школами, между представителями различных направлений в искусстве начала века. Принципиальные разногласия и личные ссоры. Это хорошо: без такого исследования история была бы смутной, туманной, да и попросту лживой. Но я хочу напомнить сейчас об одной драгоценной черте, свойственной лучшим людям эпохи: об их умении преклоняться перед тем чудом бытия, которое именуется художественным даром.

Возьмем хотя бы репинскую телеграмму Шаляпину, посланную в ответ на известие, что Шаляпин собирается в «Пенаты» (1914):

«Пасхально ликуем, готовы дом, мастерская, холсты, краски, художник, понедельник, вторник, среда. Не сон ли? Репин»*.

Не сон ли? Таким вопросом могло бы оканчиваться письмо к возлюбленной. Неужели можно еще раз увидеть наяву, вживе, Шаляпина, принимать его у себя в доме, работать над его портретом! Какое счастье! В этой телеграмме действительно слышится перезвон счастливых колоколов.

А вот встретились, возлагая на встречу большие надежды, и разошлись после полной неудачи Блок и Станиславский.

Блок предложил Станиславскому поставить в Художественном театре только что написанную им драму «Роза и Крест». На Станиславского автор возложил все свои надежды.

Вот запись в дневнике:

«20 апреля [1913 года].

...Если захочет — ставил бы и играл бы сам — Бертрана. Если *кокется пьесы его гений*, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как и его положительные дела. *Если не хочет сам он*, — я опять уйду в “мурью”, больше никого мне не надо»*.

Попытка оказалась неудачной.

Станиславский пьесу не воспринял, с горечью почувствовал после многочисленных разговоров Блок. Ожидаешь хулы. Но вот какова запись:

«29 апреля.

...пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре), и *ничего не понял, ничего не "принял" и не почувствовал*. Опять, значит, писать "под спудом"*».

Горькие строки, но уважения и любви к Станиславскому Блок не утратил.

Это умение горячо восхищаться чужим подвигом, талантом, величием вовсе не всегда утрачивалось после самых резких и даже буйных споров на эстрадах и на журнальных страницах. Люди, далеко расходившиеся во мнениях, ощущали свою принадлежность к общему братству в культуре и продолжали друг друга любить.

Плодом этого единства в многообразии явилась «Чукоккала».

Бродя со своими гостями по вязким прибрежным пескам, сидя с ними у себя на веранде или в мастерской у Репина, Корней Иванович предпринял попытку сохранить следы и голоса. Он завел альбом для автографов и рисунков.

Репин дал этой затее имя: соединил начало фамилии владельца «Чук» с концом названия поселка «оккала».

Мне повезло: я помню «Чукоккалу» не только в ее пышной объемистой зрелости, но и в ту пору, когда она была еще юна и тонка.

Скромная квадратная тетрадь под обложкой, исполненной художником А. Арнштамом*. Чуковский, в кепочке, подняв к подбородку худые колени, сидит на берегу залива с заветной тетрадью в руках. К нему вереницей тянутся по берегу лохматые художники, а по воде подплывают корабли: там, по-видимому, гнездятся прозаики и поэты.

Вверху обложки надпись:

«Корнею Чуковскому. Наследник и сомышленник Шевченки, сюда с искусства ты снимаешь пенки. *Б. Садовской*».

Сколько раз довелось мне видеть, как Корней Иванович демонстрирует свои сокровища. Длинные пальцы раскрывали тетрадь и легчайшими прикосновениями перелистывали страницы. Публичные демонстрации «Чукоккалы» воистину были спектаклями в театре одного актера. С важностью, издали, не выпуская альбома из рук, поворачивая его из стороны в сторону перед сидящими на диване, как в партере, гостями, показывал Корней Иванович новый рисунок Репина, выкликая попутно, будто бы для рекламы, когда и по какому поводу рисунок возник, какими он блещет художественными достоинствами, каковы главнейшие черты натуры.



Обложка «Чукоккалы» работы художника А. Арнштама. 1914 год

— Если сейчас отсюда на скатерть закапает жир, это значит, что потечет сама глупость. Тут каждая бровь — дура, а подбородок — взгляните — какой дурак! Жирная плоть — щеки, шея, уши — но это не ожирение плоти, а ожирение души! Ожиревшую душу человеческую представил нам здесь художник!

Дав гостям насладиться мастерством творца и жирной глупостью случайной модели, Корней Иванович переходил к какому-нибудь новому достижению в гимнастике стихотворства: вот именина «Мария Чуковская» — «Корней Чуковский» перекрещиваются внутри мадригала, сочиненного Гумилевым; а вот четыре экспромта, из которых во втором высмеивается первый, а в третьем и четвертом — оба предыдущие.

...Сейчас «Чукоккала» — памятник прошедшей эпохи; памятник, в котором время остановилось и каждый штрих и каждая запятая уже отвердели, сделались историей, застыли словно в брон-

зе или мраморе, как и подобает памятнику; тогда же это было нечто живое, беглое, неуловимое, хрупкое, непрерывно меняющее свои очертания: папиросный ли дым или звяканье ложечек в чайных стаканах? «Чукоккала» — это, пожалуй, и был в материализованном и сгущенном виде тот «воздух искусства», которым, по словам Корнея Ивановича, нам в детстве посчастливилось дышать.

Сохранился он до наших дней не в закупоренной банке, а на открытых страницах альбома. Не улетел. Не выветрился.

Торжествовала в «Чукоккале» «веселость едкая литературной шутки»*. Но веселость и едкость, свойственная всякому артистическому общению во все времена, не заглушила иного звука — звука надвигающейся и скоро разразившейся бури. Сколько угодно в «Чукоккале» уморительных выходов, буриме на головоломные рифмы, шуточных перебранок, соревнований в остроумном злоязычии, шаржей — но тем явственнее звучат с ее страниц трагические и серьезные голоса Леонида Андреева, Горького, Репина, Ахматовой, Блока.

Сколько угодно веселых экспромтов:

Передо мною сиг
И вишни.
Но в этот миг
Я — лишний.

И тут же — издевательство над экспромтом и над его автором:

Передо мною вишни
И сиг.
Нет, я не лишний
В сей миг.

И тут же — горестное замечание:

В Чукокуо́ккальском притоне.
О справедливость, ты в загоне.

И тут же — патетический укор режиссеру Евреинову, с издевкой перекроившему первый экспромт. Укор — словесная игра: Еврей-нов и Еврей-стар.

Евреи! стар завет: не крадь,
Евреינוву незнакомый. —
О театральности изломы,
Вы честность обратили вспять.

Все это за месяц до начала войны.

Перелистываем несколько страниц.

«8 августа 1914 года.

Сейчас только на одном великом театре идет великая трагедия — это война...

Леонид Андреев».

А в другую эпоху, совсем другую, новую, уже после войны, во время революции, и не в Куоккале, а в Петрограде, я увижу на странице «Чукоккалы» твердый почерк Блока и прочту, не понимая, несколько строк, написанных им вслед четверостишию, знакомому мне наизусть:

«В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон —
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон...

Таков “художник” — и до сих пор это так, ничего с этим не сделаешь, искусство с жизнью помирить нельзя.

13 марта 1919.

Заседание.

Александр Блок».

Нельзя — или — можно?

Однако запись эта заводит мой рассказ слишком далеко вперед; она сделана уже после того, как куоккальский берег остался позади, а «Чукоккала» начала претерпевать множество приключений и мытарств. Корней Иванович написал о них сам, а я напому только одно из последних: осенью 1941 года, то есть через века после «Пенатов» и дачи в Куоккале, собираясь эвакуироваться в Ташкент и мечась между Москвой и Переделкином, Корней Иванович на своем переделкинском участке наспех закопал «Чукоккалу» в землю. Эта попытка спасти альбом закончилась не очень-то

удачно: соседский дворник, в чайнии бриллиантов и золота, вырыл закопанный клад и с досады пустил многие листы на раскурку.

Остальные уцелели благодаря случайному возвращению хозяина.

И быть может, сейчас (тоже благодаря чистой случайности!) я единственный человек на земле, который помнит один погибший (и далеко не единственный!) чукоккальский лист: запись и рисунок, сделанные Репиным в конце февраля 1917 года:

«Сегодня у солдата было такое лицо, словно его взяли живым на небо».

Тут же: плечи, штык и мужицкое, почти детское, счастливое, обращенное к небу лицо.

...Связи нашего дома с «Пенатами», постоянные на протяжении многих лет, были разнообразны: художественные и бытовые. За водою к артезианскому колодцу мы ходили к Репину. Меня и Колю иногда брали туда в мастерскую, а Колю даже и на «среды». (Другой колодец, из которого мы, сами того не ведая, черпали свежую воду.) Репин написал портреты Корнея Ивановича и Марии Борисовны*. Начал писать и мой, но забросил. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, шли к Репину. Его мастерская была центром духовного притяжения. Умер Толстой: собрались у Репина. Явился Маяковский: надо было непременно познакомить его с Репиным. Стрясется беда — Репин. Помню: на нашей маленькой кухне, у бочки, стоит Коля, весь залитый кровью, а папа поливает ему голову из ковша, ковш за ковшом, ковш за ковшом, холодной водой. Вода окровавлена. «Беги к Репину, — кричит он, завидев меня. — Коле камнем разорвали ухо, проси лошадь — в больницу». Я пускаюсь бежать, и у калитки меня настигает его громогласное наставление: «Если Илья Ефимович работает, не беспокойте его, найди Веру Ильиничну». Я несусь во весь дух, моля Бога, чтобы Илья Ефимович не работал, потому что Веру Ильиничну мы боялись. И, о счастье! У самых ворот «Пенатов» встречаю собравшегося на прогулку Илью Ефимовича. Он тотчас поворачивает, спешит в дворницкую, а я — домой. На Большой Дороге меня обгоняет коляска, несущаяся во весь дух, а когда я подхожу к нашей калитке, в коляску уже усажен Коля, голова у него обмотана полотенцем, а рядом с ним, по обеим сторонам, мама и папа.

Вечером Илья Ефимович сам пришел к нам осведомиться, как здоровье больного, благополучно ли зашили ему раненое ухо.

Явлению Репина всегда за несколько минут предшествовало явление Мика, одноглазого, старого, кудлатого пуделя, которого, кажется мне, никогда не стригли: он был круглый.

Мик обнюхивает калитку. Значит, скоро появится Репин.

Вот и он: в сером костюме, суховатый, седой, невысокий. Расспросил о Коле, присел к столу минут на пятнадцать и за эти пятнадцать минут, вынув из кармана маленький серый альбом, быстрыми мелкими штрихами нарисовал нашу гостью, соседку.

Я гляжу из-за его спины. Он не спускает взгляда с натуры.

Быстро ходит рука, покорная взгляду.

На бумагу и на свой карандаш Репин почти не глядит, а только туда, в ее лицо.

Будто от ее лица к его руке протянут невидимый прямой провод.

Х

Более полувека миновало с той поры, о которой я сейчас рассказываю. Сколько с того времени написано о девятисотых и десятых годах! И в частности, о репинских «Пенатах»! Два толстых тома «Художественного наследства» сплошь посвящены Репину; многие страницы — «средам»; целые тома — Шаляпину, Горькому, Маяковскому. Давно уже составлены «труды и дни», прокомментированы переписки. Мне стоило бы перелистать эти книги, чтобы вооружиться необходимыми сведениями об убеждениях, привычках, спорах, дружбах и распрях всех писателей, художников, артистов, вышедших из дачного поезда преимущественно по средам и воскресеньям на станции Куроккала Финляндской железной дороги — с 1906 года, когда Корней Иванович впервые там поселился, и по 1917-й, когда весной он уехал в Петроград.

Но я пишу воспоминания, не биографию и уж во всяком случае не историю. Я помню себя — обрывочно — с 1910 года, то есть с трехлетнего возраста; что может помнить ребенок от трех до десяти? Немногое; не по порядку; неясно; однако и это немногое, неясное представляет ценность лишь в том случае, если оно в самом деле собственное, незаимствованное, свое.



Коля, Боба (на руках у няни), Корней Иванович и Лида, Мария Борисовна.
Куоккала. 1911 год

Тогда оно способно хоть в малой степени пригодиться другим. Как бы оно ни было скудно.

Разбуженная, моя память оказывается на удивление инфантильной. В именитых людях, посещавших наш дом по воскресеньям, а иногда и в другие дни недели, она сохранила черты не основные, а побочные, не главные, а случайные. Не те, какие в прославленном человеке интересны взрослому, а те, какие в каждом прохожем интересны ребенку. Если мимо шагает прохожий, ведя на цепочке собаку, то всякий ребенок заинтересуется сначала собакой, а уж потом — человеком. Лошадь, которую ты гладил в детстве по шелковой шерсти и кормил сахаром с ладони, — она незабвенна. А уж первая белка!

Исключением служит, пожалуй, один Маяковский. Он один памятен мне в главной, а не в побочной своей ипостаси: поэт. Быть может, это потому, что Корней Иванович более всего подготовил нас именно к восприятию стихов. Быть может, потому, что побочного, вторичного, в Маяковском почти ничего и не было.



Лида Чуковская. Рисунок Вл. Маяковского
в «Чукоккале». 1915 год

Помнится мне, он всегда приходил к нам со стороны моря, а на берегу шагал, вслух сочиняя стихи, по той же гряде камней, по какой имел обыкновение прыгать Коля.

В 1915 году Маяковский нарисовал меня: было мне тогда восемь лет; он чувствовал, вероятно, с какой жадностью я его слушаю.

Да, я любила его вызывающе презрительное и всегда громopodobное чтение, — читал ли он многим или Корнею Ивановичу один на один (мы с Колей не в счет).

Каким он мне представлялся тогда, каким я его видела и помню?

Вот тут, чтобы как можно точнее воспроизвести собственное и тогдашнее видение, я вынуждена прибегнуть к чужим строкам, и притом относящимся отнюдь не к Маяковскому. Строки эти написаны Блоком, прочтены мною значительно позднее, никакого отношения к Маяковскому не имели и иметь не могли — строки из блоковских любовных стихов! — но стоит мне прочитать или при-



Вл. Маяковский и К. Чуковский. Между ними сын Чуковского Борис.
Куоккала. 1915 год

помнить их, как я сразу вижу Маяковского, тогдашнего, куоккальского, на зеленом куоккальском диване или на камне у моря, опустившим тяжелый взгляд накануне первого звука.

Вот они, блоковские строчки:

Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы*.

Когда Маяковский читал, взгляд его тяжелых глаз был всегда если не угрожающий, то угрюмый. И всегда из-за незримой ограды. Кругом были люди; он — какая-то иная порода.

А знаете, все-таки жаль перуанца*.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

Я испытывала зависть к нему, столь высокомерно судившему судей, и неловкость за себя, будто и я была среди тех, кого он осудил.

А потом эти мои любимые строки:

И вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!*

Слова «вылинял моментально» он произносил моментально, а «великолепный» — медленно и важно разворачивая все веерообразное великолепие павлиньего хвоста.

Но мне было восемь лет, и, признаюсь, я и в Маяковском интересовалась не только стихами. Не в меньшей степени, чем слушать его стихи, любила я смотреть, как он играет в крокет. Я увязывалась за ним каждый раз, когда он отправлялся на крокетную площадку к нашим близким друзьям и ближайшим соседям, Богдановичам — Татьяне Александровне, моей крестной, и ее детям: Шуре, Соне, Володе, Тане. Тут никакой львиности, никакой угрюмости, никакой ограда — просто молодой человек играет с девочками-подростками в крокет, но и здесь тот же азарт и та же грозная непобедимость. Все держат молоток двумя руками и наклоняясь, а он, хотя и выше всех, шару не кланяется и молоток в одной. Держит его словно тросточку, бьет наверняка, всегда первым выходит в разбойники и уж если разбойничает — любо-дорого смотреть: шары так и летят, так и щелкают! Власть его над молотком и шарами казалась мне волшебной. Меня, разумеется, в игру не брали: я была счастлива, если мне удавалось подать Маяковскому вылетевший за границу площадки шар. Находилась я на таком уровне сознания, что слова Татьяны Александровны, обращенные однажды к Соне: «Ты бы лучше, Сонюша, с Владимиром Владимировичем не играла сегодня, ты сегодня не в ударе», понимала буквально: «Соня сегодня слабенькая, не в силах ударить по шару — не в ударе».

Репин. Мастерская. Помню холсты на мольбертах, много Пушкиных, Шаляпина, помню каких-то черных загорелых людей, размашисто гребущих в широкой лодке среди волн. Помню Репина за письменным столом у Корнея Ивановича, изображающим кого-то в «Чукоккале» папиросным окурком, который он макает в чернильницу. Но мне семь лет, и гораздо более, чем о портретах, картинах, кистях, холстах и таком странном орудии, как

окурок, я думаю о том: правда ли рассказывают, будто репинский Мик кинулся недавно во дворе у соседей на живую курицу? и съел ее? Собаки не могут без мяса, а жена Репина, Наталья Борисовна, ни мяса не ест, ни молока не пьет и никому не позволяет — не только гостям, но и Репину самому, а Мика перевела на одни каши... вот с горя он и бросился на курицу. Интересно, съел ли он ее и как? Разорвал в клочки или проглотил живьем? Это ужасно занимает меня и Бобу. И в мастерской у Репина нас не более занимают картины, чем жгучий вопрос: если тут играть в прятки — не будут ли видны ноги из-за пышных занавесей, опущенных над холстами? И еще: позволит ли мне кучер снова заплетать в косички гриву репинской лошади Любы, чтобы волосы не падали ей на глаза? И самое главное: правду ли Репин сказал мне, что к нему в парк каждый день приходит белка? Спросить не решаюсь, а мне смерть как хочется знать.

А дело было так: однажды летом Репин начал писать мой портрет. Шла я утром из лесу через «Пенаты» (нам это было позволено с условием — не подходить слишком близко к дому). Шла я растрепанная, босая, разваренная жарой, с черными от черники зубами, вся в комариных укусах. И вдруг с верхнего балкона меня окликнул Илья Ефимович. Я подошла, испугавшись. Вообще-то мы, дети, перед ним не робели, он всегда был с нами приветлив и к нам как-то пристально взглядчив, мы чувствовали его любовь к Корнею Ивановичу, а заодно и к нам; однако на этот раз я испугалась — внезапности, что ли? Может быть, я на цветок наступила или еще провинилась как-нибудь? Но нет, он поздоровался сверху так же ласково, как всегда, и сверху сказал: «Какие у тебя пестрые волосы... Передай родителям, если ты ничем не занята, пусть пришлют тебя завтра в двенадцать ко мне, я буду тебя писать».

На следующий день, к моему удивлению, Корней Иванович самолично отправился меня провожать в «Пенаты» и всю дорогу втолковывал мне, что Репин писать детей не любит, потому что дети не умеют сидеть смиренно; а я должна сидеть не шевелясь — «как посадит, так и сиди, ни рукой, ни ногой, ни плечами, ни коленом».

— А если комар? — спросила я.

— Терпи, — ответил Корней Иванович.

На нижнем балконе я застала уже приготовленный холст, палитру, краски и табуретку. Илья Ефимович сначала глянул хмуро:

ему не понравилось, что мне заплели косы, он собственноручно расплел, растрепал, спутал мне волосы по-вчерашнему и велел сесть. Я села, не зная, куда девать ноги, руки, плечи, пальцы, пятки, — и зачем это у человека столько всего? Репин меня не пересаживал: «Сиди, как села, только не вертись и смотри вот хотя бы на этот мостик». Я сидела не шевелясь; комары, к счастью, не летали; вот только моргать человеку почему-то требуется каждую секунду. Репин, взглядываясь в меня, клал мазки на холст. И, чтобы развлечь, рассказывал, будто каждый вечер ставит на перила мостика блюдце с лимонадом и туда с сосны прыгает белка и лакает лимонад, как котенок молоко.

Все бы хорошо, да вот беда: на мостик вместо белки пришло солнце, и мне сделалось больно глядеть, но я глядела, и глядела, и глядела, и, когда Репин отложил кисть и я побежала домой, долго еще какие-то пестрые круги плавали перед глазами.

— Зачем же ты не пожаловалась Илье Ефимовичу, что тебе больно смотреть? — спросил Корней Иванович.

— Говорят люди ртом, — ответила я назидательно. — А вдруг он как раз в эту минуту рисует губы?

После трех сеансов Репин забросил мой портрет. Я обрадовалась: сидеть не шевелясь — это, оказывается, работа тяжелая. Но вот белка! Приходит или нет? Правду он говорил или выдумывал?

Шкловский. Он жил где-то неподалеку (кажется, на станции Дюны) и приезжал то по железной дороге, то морем. Кудрявый, быстроглазый и быстроговорливый. Войдя в комнату, он мгновенно начинал спорить — не с кем-нибудь одним, а как-то со всеми сразу. Слова выкрикивал скороговоркой; будто не каждое слово в отдельности, а целым слипшимся комом зараз. О чем шел спор, я не понимала и не помню, однако приключение, случившееся со Шкловским у нас, помню очень хорошо. Прибыл он однажды к нам не на поезде, а на лодке — обшарпанной, серой, с белой грязной каймой вдоль борта, с занозистыми веслами — и сразу же, ступив на берег, бросился в спор. Заночевал. А к вечеру следующего дня, когда пришло время уезжать, лодки не оказалось. И сам Виктор Борисович, и Корней Иванович, и мы всей оравой бегаем по берегу, ищем среди перевернутых на песке, среди болтающихся на привязи. Нет. Нигде нет серой лодки с белой каймой. Украли. Обегали мы берег чуть ли не на версту в обе стороны. Ког-

да мы вернулись, Боба вдруг вцепился Виктору Борисовичу в штаны и потащил за собой. Ведет. У пристани, возле мостков, бьется на легкой волне лодка-красавица: сама зеленая, скамьи желтые, и ярко-красный руль. Это и была старая, обшарпанная лодчонка. Ее перекрасили. За сутки, что пробыл у нас Виктор Борисович, она успела высохнуть и засверкать. Но Боба узнал ее.

Виктор Борисович открыл было рот — спорить! Но подумал секунду, взгляделся, потом пожал Бобину маленькую руку, вставил в ключины обновленные весла, прыгнул в лодку и пустился в плаванье.

Мошенникам не удалась их затея.

Хлебников. В противоположность Шкловскому, он всегда молчал; и все в нем было неподвижно: лицо, взгляд, руки. Сидел и молчал. Молчание его мне запомнилось как действие, как поступок; если бы тогда меня спросили, что делает Хлебников, я ответила бы: молчит. Мне известно было, что он поэт, — но чтения его я не помню; потому ли, что стихов он у нас не читал, потому ли, что я не умела их слушать? Не знаю.

Помню моторную яхту, которая никак не могла пристать к нашему берегу: мелко! и матроса в бескозырке с золотой ленточкой, и лодку, которая была спущена с яхты и называлась шлюпкой, и человека в белом свитере и с биноклем через плечо, о котором я слышала столько разговоров кругом: Леонид Андреев. Но я на него еле взглянула. Гораздо больше занял меня матрос. Тельняшка. Трепещущая на ветру ленточка с золотыми буквами «Дальний». Первый мотор и первый матрос в жизни. Звук мотора, стучащий, мертвый, чуждый плеску волн, синеве, тишине.

Помню день, когда Корнея Ивановича навестил гостивший в «Пенатах» Шалапин. Пения его слышать мне не довелось; но, когда он поднимался в кабинет на второй этаж, я в недоумении глянула в окно: мне показалось, там, в саду, зашумели деревья. Это он напевал себе под нос, поднимаясь по лестнице. Поразило меня, что он не только шире в плечах, крупнее, огромное нашего отца, но и выше его на целую голову. «Полтора папы». В кабинете за ними закрылась дверь, и прямо носом в дверь уткнулась, застыла собака: широкогрудая, зубы наружу и в попоне с бубенчиками. Она ни на секунду не отходила от двери, за которой скрылся хозяин. Я впервые видела собаку в попоне... Она была противная, хри-



Семья Чуковских за обедом. Слева направо за столом: Лида, Коля, Боба, Мария Борисовна, Корней Иванович, стоит няня. Куоккала. 1912 год

пела, сопела... У Шаляпина был лакей-китаец; первый мой китаец в жизни: с длинной косой, в шароварах. Он обращался со мной изысканно вежливо, как со взрослой дамой, чем очень меня конфузил; а Коле дарил китайские марки для альбома. Мы то и дело бегали к нему в репинскую дворницкую, влекомые желтым лицом, косой, шароварами, поклонами.

В Андрееве более всего поразили меня матрос и моторка, в Шаляпине — китаец и собака с бубенчиками. И матрос, и моторка, и собака — были впервые в жизни. Правда, и Леонид Андреев и Шаляпин были тоже впервые, но в них-то что особенного? Писатель, артист, значит, люди как люди, заурядные, обыкновенные, привычные. А вот матрос! А вот лакей, да еще китаец! Это — невидаль. Что же касается всесветной известности Андреева, Репина или Шаляпина, то, к счастью, «воздух искусства» оставлял нас детьми и не учил пялить глаза на знаменитостей. Понятие славы было невнятно нам. Да и знаменитости умели вести себя так, будто им решительно ничего не ведомо о собственной славе.

Разумеется, Корней Иванович был доволен, что присутствие Леонида Андреева или Шаяпина не заставляло нас чувствовать себя какими-то особенными: «а у нас Шаяпин был!» Он ведь так и хотел: «дети как дети». Для этого, чтобы мы оставались детьми, были и шарады, и лодка, и босоноготь, и городки, и лыжи, и путешествия. И в то же время, как я понимаю теперь, он, преклонявшийся перед талантом, был несколько смущен и даже шокирован, убеждаясь, что изобилие знаменитостей, постоянно посещавших наш дом, делало их в наших глазах заурядными. Стирало с них чудесность. Мы утрачивали ощущение счастья в их присутствии — ощущение, какого сам он не терял никогда. Репин? Ну и что с того: Репин. Короленко? «Да, папа, я забыл, — докладывал Коля, — когда тебя не было дома, заезжал Владимир Галактионович... Представь себе, он на велосипеде, прислонил велосипед к забору и пошел к нам... Просил тебе передать... А как ты думаешь, кто быстрее: самый медленный поезд или самый быстрый велосипед?»

Ему иногда казалось: перед нашими глазами пересыпают драгоценные камни, а мы как бы не видим их блеска и предпочитаем играть с мальчишками или девочками в камешки на берегу.

И хорошо. Это нам по возрасту: в камешки... Но все же...

Беспокоился он напрасно. Помню, через десятилетия, когда мне было уже не семь, а тридцать, я однажды сказала ему, что часто встречаюсь теперь с Анной Ахматовой (когда-то сам же он мельком меня с ней познакомил). В ответ он спросил требовательно встревоженным голосом:

— Я надеюсь, ты понимаешь, что следует записывать каждое ее слово?

Я понимала. И этим пониманием обязана я ему, его отношению к поэзии и культуре, его чувству преемственности, «Чукоккале», тому утру, когда я увидела, с какой осторожностью прикасается он к подлинным рукописям Некрасова.

Да, наступил такой день, когда он показал мне и Коле рукописи Некрасова.

В 1914 году, после первых же некрасовских публикаций, осуществленных Чуковским, Анатолий Федорович Кони сделал ему феноменальный подарок: оригиналы «Кому на Руси жить хорошо», «Княгини Волконской» и другие черновики и беловые сокровища. И вот наступил день, когда Корней Иванович торжествен-



Анна Ахматова и Лидия Чуковская. Фотография Д. Д. Иваненко.
Загорск. 1 мая 1953 года. Публикуется впервые

но потребовал нас с Колей к себе в кабинет, взял за руки и подвел к своему письменному столу. Так подводят малышей к зажженной елке. На письменном столе у него, после конца работы, всегда был порядок, но сегодня это был уже не стол, а как будто аналой или ковчег. Ни пылинки. Книги, бумаги, карандаши, клей, чернильница, перья перенесены на подоконник, а посредине стола раскрытая папка и в ней...

Должна покаяться: я не помню, были ли это тетради или отдельные листы. Помнится мне, будто листы, но с уверенностью сказать не могу. Большие, пожелтевшие, исписанные блеклыми чернилами. Не помню также, была ли это рукопись «Княгини Волконской» или «Кому на Руси жить хорошо». Но это была рукопись Некрасова. И ощущение свое я помню ясно.

Рукописей к тому времени я уже видела возы: статьи, которые писал, рвал и снова писал Корней Иванович. Но тут странным показалось мне все: и почерк, и желтизна, и та осторожность, торжественность и нежность, с какими прикасались к старым помятым листам длинные загорелые пальцы. А страннее всего — открытие: стихи, знакомые мне и в голосе и в книге, оказывается, были сначала сочинены и написаны! Открытие? Я, конечно, знала это и раньше: Некрасов написал «Кому на Руси жить хорошо», а все-таки на самом деле узнала в ту минуту впервые. Корней Иванович назвал год — какой-то баснословно далекий, и я его мгновенно забыла; дата была вытеснена мыслью, что, стало быть, до названного года стихов этих не было, совсем никогда не бывало, ну вот как, скажем, до июня 1910 года не было Бобы. Они вовсе не всегда присутствовали в мире — стихи эти, — как море, песок, звезды, а их сочинил человек. Николай Алексеевич Некрасов. Ну вот как Маяковский сейчас, шагая по камням, сочиняет свои стихи, которых тоже никогда не было раньше.

Некрасов на этой вот бумаге записал стихи. Раньше их не было.

Коля заметил, что один листок между другими пустой. Совсем пустой, ни строки, ни слова, ни буквы. И — помятый. Наверху загнут угол.

— Этот ненужный, — сказал он голосом примерного мальчика, который самого учителя уличил в недосмотре. — Гляди, папа, тут ничего не написано. Его можно выбросить.

Корней Иванович всем корпусом повернулся к Коле и посмотрел на него с негодующим интересом. Впрочем, сердиться не стал. Задумался на секунду, как объяснить? И ответил очень старательно:

— Пустой, да, но ведь его трогал Некрасов, понимаешь? Ничего на нем не написал, но раз листок лежит здесь, среди других, исписанных, значит, Некрасов трогал его, смотрел на него. Понимаешь? Его нельзя разорвать или выбросить. Он оттуда, из того века, из ящика некрасовского стола.

Из того века. Из того стола. А сейчас лежит вот здесь, перед нами, на этом столе.

Не знаю, что понял Коля, но я — мало. У Некрасова, как у всех людей, — руки, и, конечно, он этими руками трогал эти бумаги. Ну и что же? Почему нельзя выбросить измятую, пустую бумажку?

Так я рассуждала, так думала, потому что урок был для меня еще трудноватый. Но какое-то слабое предчувствие понимания: смены десятилетий, и смены времен, и цепи времен — было заронено, заложено тогда — при свете этого ясного детского солнечного дня, ложившегося на старые бумаги.

...Да, Корней Иванович увлекал, втягивал, учил, а иногда и учительствовал. Проповедовал культуру и деятелей ее. Недаром в одном из его писем к Кони обнаружена недавно такая цитата из Карлейля*:

«В груди человека не живет никакого более благородного чувства, нежели восхищение тем, кто выше его!»*

Иногда, в нетерпении, негодовал и сердился.

Детская память сохранила в ушах эти взрывы.

Вот на веранде под вечер он читает стихи. Не нам, а гостям, взрослым. Но и мы тут же: нас не оторвать от его голоса:

Под насыпью, во рву некошеном*,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

.....
Вагоны шли привычной линией.
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

И тут, в этом плаче и пении вагонов, дороги, одиночества, среди этого горя, обращенного гармонией в счастье, вдруг наступил

...нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв...* —

на веранду вбежала няня Тоня и, запыхавшись, спросила:

— Подавать самовар? Вскипел.

Вечер был прохладный, с самоваром ее торопили.

Поглядев на нее с таким удивлением, будто кто-то из них двоих сумасшедший, Корней Иванович в бешенстве разбил тарелку, раскровенил себе палец и крикнул:

— Как вы смеете — смеете — говорить при стихах?!

Тоня заплакала. Он накричал на нее не только при стихах — при гостях. И это был тот самый человек, который деликатности с прислугой требовал от себя и от нас, детей, безупречной, который уже большим стариком стеснялся попросить домашнюю работницу принести ему грелку: лишний раз подняться на второй этаж!.. Вспылив тогда, на веранде, в Куоккале, он мгновенно опомнился и побежал за Тоней на кухню просить прощения. Он утешал ее и при этом по складам выговаривал:

— Когда читают стихи, перебивать можно только в одном случае: если загорелся дом! Других причин я не знаю!

(Мы-то уже обученные. Мы-то усвоили давно, накрепко, что перебивать нельзя не только чтение вслух, а иногда и молчание. Притащишь ему зимою на чужую дачу в мороз — он убежал туда кончать статью, — притащишь кастрюлю супу или чайник кипятку, а он сидит с карандашом в руке и молчит — и этого молчания прерывать нельзя. Ставь еду на подоконник и скорей уходи. Молча. Если невпопад заговоришь — он как рявкнет! А уж когда он или кто другой читает стихи...)

Однажды и на меня было рявкнуто — по такому же поводу — и не тише, чем на Тоню.

...Снова Большая Дорога, снова зима, снова возвращаемся мы с ним откуда-то вдвоем. Мороз ненастоящий, градусов пять, не более. Сеется мелкий снежок. Никакого сверкания наста: все мягко, мягко, пухово, беззвучно, бесцветно. Вот когда ничего искристого, сине-бело-розово-голубого, просто белое.

Мы вынуждены отступить в придорожный сугроб, из переулка на Большую Дорогу медленно вытягивается нам навстречу обоз со льдом.

Лошади, присыпанные снегом, по мягкой дороге шагают нутжно, медленно; и финны рядом с возами — в куртках, в валенках, в ватных брюках, заправленных в валенки, и в квадратных кожаных шапках на меху — блестящая кожа делает шапки похожими на шлемы. Медленно, нудно тянется обоз; мне надоедает глядеть на лошадей и на прозрачные прямоугольники только что вырубленного льда; ах, в одном — внутри, как в стакане, — словая ветка! Как она попала туда и как ее оттуда добудут? Вдребезги разобьют лед?

Наконец обоз проскрипел. Последняя лошадь, последняя глыба льда, последний шлем.

Мы ступили на дорогу. И тогда новая помеха — Репин. Оказалось, он на той стороне. В теплых башмаках, в мягкой меховой шапке, весь припорошенный снежком, пережидает обоз, как и мы.

Мне досадно: теперь они будут разговаривать. Опять стой!

Репин, сняв перчатку, учтиво здоровается с Корнеем Ивановичем, потом протягивает руку мне.

Нет, долго ждать не приходится. Что-то такое условились насчет «среды».

Снова учтивые рукопожатия — и Репин исчезает в снегу.

Мы движемся сквозь снег в одну сторону, он — в другую.

Но не успеваем мы сделать и десяти шагов, как происходит нечто странное. В отца моего словно вселяется бес. Корней Иванович вдруг срывает с моей руки перчатку и бросает ее далеко в сугроб, к кольям чужого забора.

— Тебе Репин протягивает руку без перчатки, — кричит он в неистовстве, — а ты смеешь свою подавать не снявши! Ничтожество! Кому ты под нос суешь рукавицу? Ведь он этой самой рукой написал «Не ждали» и «Мусоргского». Балда!

Я, как няня Тоня, начала реветь.

Я, как няня Тоня, не понимаю, в чем моя вина. Репин со мной поздоровался. Я подала ему руку и ответила «здравствуйте». Откуда мне знать, что в перчатке нельзя? Мне этого раньше не говорили. А это был тот самый, обыкновеннейший Репин, который рассказывал мне про белку, и всегда угощал нас с Колей конфетами, когда мы приносили ему письмо от папы, и позволял бегать по лесенкам у него в доме. Репин, просто Репин. За что же?

Несправедливо!

И чего это они там не ждали! И кто такой Мусоргский?

Наверное, Корней Иванович был в своем гневе несправедлив, неправ и уж во всяком случае непедagogичен. Гораздо правильной было бы с его стороны просто объяснить мне — спокойно, весело, полунасмешливо, как он это великолепно умел, что дети, здороваясь со взрослыми, должны всегда снимать перчатку. Ведь объяснил же он Коле, раз и навсегда, без всякого крику, что мальчик, переступая порог любого дома или здороваясь на улице с любым человеком, должен прежде всего снять шапку. Зачем же тут надо было на меня кричать? Да еще, проваливаясь в снег по пояс и принеся перчатку от забора, колотить меня ею изо всех сил по плечу, будто бы стряхивая снег, а на самом деле от непрошедшей злости?

Но как я благодарна ему теперь за эту неправоту, за эту несправедливо нанесенную мне обиду!

За этот поучительный гнев, которым он разразился, когда ему почудилось, будто я с недостаточным уважением прикоснулась к руке, протянутой мне искусством!

XI

«...Человек, не испытывавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян — убожество их психики, их “тупосердие” (по выражению Герцена)».

Так писал Корней Чуковский после опыта целой жизни, в 1965 году, в статье, озаглавленной «О духовной безграмотности»*.

Встречи с людьми «тупосердыми» вызывали в нем смешанное чувство гнева, презрения и жалости. В конце концов верх брала жалость.

«Душевных уродов» — людей, не прошедших эмоциональной выучки и потому оставшихся «духовно безграмотными», склонен он был не только высмеивать, но и жалеть. «Страшный изъян», «убожество психики» — разве не меньше достоин этот изъян сожаления, чем физическое убожество — глухота, слепота?

О той девушке, которая в 1965 году оказалась неспособной испытать радость, читая Гоголя, уловить переходы от одной тональности к другой, от тихого смеха к хохоту, от хохота к пророческующей патетике, он написал с жалостью, как о безногой или горбатой:

«Никто не научил ее восхищаться искусством — радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими вечными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева, и я пожалел ее, как жалеют калеку»¹.

Для духовных калек у него в дневнике существует и другое наименование: «обокраденные души».

Слово «бедный» — одно из распространенных в его лексиконе. Кроме общепринятого значения оно имело для него и особое.

«Бедная, бедная курица!» — написал Корней Иванович в статье, посвященной детскому языку. Речь шла об одной матери, осыпавшей его бранью за то, что он осмелился предложить родителям вслушиваться в детскую речь. Отвечая разгневанной матроне, он повторил свои доводы, сослался на солидные труды ученых и, всласть поиздевавшись над невежеством своей корреспондентки, напоследок воскликнул: «Бедная, бедная курица!»*

Конечно, это издевка, но все-таки смягченная жалостью. Ведь это тоже в своем роде «обокраденная душа». Могла бы стать человеком, думающим, учащимся, воспитывающим — подлинной матерью! — а осталась курицей, кудахтающей без толку над высиженным ею цыпленком... А через несколько десятилетий об одной самоуверенной даме, американке, изуродовавшей его книгу при переводе на английский язык: «Бедная, бедная халтурщица!» Сначала громы и молнии в письмах к ней и о ней, а напоследок: «Бедная, бедная!»

«Завистливый, самовлюбленный мерзавец», — об одном литераторе, постоянно на него нападавшем с высоты собственной учености и гениальности. Казалось бы, характеристика исчерпывающая? Но нет: тут же «бедный»; «...я испытывал жалость к нему... Бедняга, бедняга!»

1926. Ленинград. Опять дневниковая запись. Тут понятие, вкладываемое в слово «бедный», звучит с совершенною ясностью, громкостью, отчетливостью, полнотой и пронзительностью.

Дело растратчиков с карточной фабрики: процесс Батурлина и других. Они из месяца в месяц хапали десятки тысяч ру-

¹ Курсив всюду мой. — Л. Ч.

блей и, пока растрата не была обнаружена, жили в свое удовольствие.

Корней Иванович просидел день в зале суда. Вернувшись домой, написал:

«Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски — эти *бедные* растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно, — особенно таким молодым и смазливый, — а вино? Да неужели пойти в Эрмитаж не бóльшее счастье? Неужели *никто им ни разу не сказал*, что, например, читать Фета — это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит, — *и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и не нужно*. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета это “одно из высших достижений русской лирики”, а что эта лирика — есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает: не знал и Батурлин, не знал и Ив. Не знают также ни Энтин, ни судья, ни прокурор»^{*}.

Вот почему они «бедные». Для них все, чем жил он, — «мертво и не нужно». Они никогда не испытали «счастья, которое может доверху наполнить всего человека», «блаженства», которого, кажется, «сердце не выдержит».

И судьи тоже «бедные» — и по той же причине.

Он верил, что искусство не только выковывает новую душу, не только одаряет человека счастьем — оно обновляет и тело.

«...Как было бы чудесно нам обоим, — писал он в тридцатые годы С. Я. Маршаку, — уехать куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена и прочитать их под небом. У нас у обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший — почти невозможный на земле — *отдых* и сразу обновляет нашу телесную ткань. Помните, как мы, среди всяких “радужных”¹ дрязг, вдруг брали Тютчева или Шевченка — и до слез прояснились оба. Ни с кем я так *очистительно* не читал стихов, как с Вами»^{*}.

Бедные, бедные растратчики! Им неведомы способы очищения души и обновления физической ткани. Его жалость к

¹ От названия издательства «Радуга».

психически обездоленным была искренней. Он всегда помнил о них и не мог позабыть, потому что, сталкиваясь с ними, испытывал непосредственную живую боль. Он словно жил за другого человека в сослагательном наклонении: ясно видел, каким этот человек *мог бы* стать — и не стал. Он верил, что счастье, даруемое искусством, заразительно, что этим счастьем можно и должно оделять людей, что горбатый в силах распрямиться. Всегда он кого-нибудь обучал грамоте или английскому языку или подбирал для кого-нибудь книги. Во всемогущество литературы веровал, как другие веруют во всемогущество религии. Вглядываясь однажды (середина двадцатых годов, нэп) в прохожих, поразивших его вульгарностью своих походок, речений, одежды, лиц, он излил свою горечь в письме, а окончил письмо словами надежды:

«...и вдруг во мне сказалось одно тихое слово: книга. Слово глухое: *к, г...*» Эти люди «еще и не знают, что у них есть Пушкин и Блок. Им еще предстоит этот яд. О, как изменится их походка, как облагородятся их профили, какие новые зазвучат в их речах интонации, если эти люди пройдут, например, через Чехова... После “Войны и мира” не меняется ли у человека самый цвет его глаз, самое строение губ? Книги перерождают самый организм человека, изменяют его кровь, его наружность, — и придите через 10 лет на Загородный, сколько Вы увидите прекрасных, мечтательных, истинно человеческих лиц»*.

Не раз он цитировал слова Достоевского, тоже подающие надежду:

«...и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием?»*

Вся работа Корнея Чуковского — портретиста, критика, историка литературы, сказочника, теоретика перевода; вся его работа во всех жанрах — фельетонном, текстологическом, исследовательском — была всегда заразительна, «заражала своим влиянием». Высмеивал ли он пошляческие романы, подыскивал ли ключ к творчеству Короленко или к личности и поэзии Анны Ахматовой и Александра Блока, комментировал ли но-

вонайденные строки Некрасова — как острой иглой вводил он в кровь читателя живительную отраву увлечения искусством. Кроме неожиданных мыслей бурными эмоциями полны все его статьи о литературе. И всегда они направлены по двум адресам сразу: человеку «высокообразованного и развитого ума» и существу «грубому и ни об чем никогда не заботившемуся». Тем, кто теснился в «Пенатах» у Репина, на вернисажах, в редакциях толстых журналов, на премьерах в «Художественном», в Театре Коммиссаржевской, у Мейерхольда, на диспутах в зале Тенишевского училища и на «башне» Вячеслава Иванова, — и тем малоразвитым, провинциальным, «грубым», которым он читал свои «лекции» в Вильне, в тогдашней Одессе или в убогих залах Житомира, Белостока, Умани. Пусть с ним не соглашались: отравы взволнованности искусством обновляла кровь. Публика была разная: в Петербурге или в Куоккале изысканная, в Белостоке — темная, а результат один. В те годы он говорил о себе, что он «всегда улица», «крик», что пишет он для «галерки». Почему же печатали его статьи утонченные брюсовские «Весы», почему интересовались его статьями и Репин, и Розанов, и Ремизов, и Короленко, и Кони? И футуристы, и акмеисты, и символисты! Помню, в конце тридцатых годов Евгений Викторович Тарле читал мне *наизусть* полюбившиеся ему страницы из статей молодого Чуковского — Тарле, заслуженный автор ученых трудов по русской и мировой истории. Академик — какая уж тут «галерка»! Но действительно, Чуковского читала и «галерка» и «башня», а особенность его была в том, что он умел не «башню» опускать до улицы, а улицу поднимать до «башни». Популяризатор? Нет, популяризатор в облегченной форме преподносит людям чужое. Популяризацией не заинтересуешь ни Кони, ни Тарле, ни Репина. Чуковский же всегда преподносил свое, до такой степени новое и неожиданное, что многих шокировал парадоксальностью приемов и выводов. Сам говорил о себе: «...умею писать только *изобретая*... излагать *чужое* я не мог бы»*.

«Писать мне приятно лишь в том случае, если мне кажется, что я открываю нечто новое, чего никто не говорил. Это, конечно, иллюзия, но, пока она длится, мне весело»*. Новизною «изобретения» привлекал он и «башню» и «улицу». В «двуадресно-

сти» его сочинений, в постоянной памяти об «обокраденных душах» один из секретов его писательства, требующий изучения и разгадки.

С эстрады и с газетного листа достигал он обычно победы: удавалось взволновать, заразить, взбудоражить. Но, сталкиваясь с психическим уродством в быту, он нередко терпел поражения.

В Куоккале, девочкой восьми лет, я видела однажды его беспомощный гнев, через минуту сменившийся столь же беспомощной жалостью, даже не жалостью — совершенным отчаянием.

Все по той же схеме: «Мерзавец! Бедняга. Бедняга».

На этот раз мерзавцев было двое. И это были дети: хулиганы-мальчишки тринадцати-четырнадцати лет.

В жаркий июльский день мы вместе отправились на станцию встречать маму. Вышли слишком рано и оказались на платформе минут за сорок до поезда. Корней Иванович не терпел пустот, перерывов в работе и, раздосадованный своей нерасчетливостью, перешел рельсы, прыгнул с платформы на закопченный паровозной гарью грубый, крупный песок, согнулся в три погибели на насыпи возле пня и принялся писать, положив бумагу на пень. (Он любил работать не за письменным столом, а пристроившись с дощечкой или книгой где попало: в постели, на пне, на подоконнике, на камне у моря.) Я разлеглась поодаль, лениво выковыривая любимые места из «Оливера Твиста» в переводе Введенского — книги, известной мне почти наизусть, — и не столько читала, сколько дивилась тому, что если прищурить глаза — песчинки, усыпавшие страницы, вырастают в валуны. Я прищуривалась, стряхивала песок, снова щурилась.

Повыше нас, там, где кончалась насыпь и уже начинался лесок, двое мальчиков разжигали костер. Корней Иванович все поглядывал на них, поднимая голову от своего пня. Он любил костры, мастерски разжигал их и прыгал через такое высокое пламя, что душа моя уходила в пятки. Я каждую минуту ждала: вот-вот он отложит работу, встанет и подойдет к костру. Но мальчишки от огня прикурили, закашлялись, и он отвернулся с брезгливостью. Курящие дети всегда оскорбляли его. (Сам он никогда не курил и никогда не пил и через всю жизнь пронес наивнейшее удивление, как эти два занятия могут кому бы то ни

было доставлять удовольствие.) Мальчишки затоптали костер, заплевались и побросали окурки. (Пачкать окурками лес! Это тоже его всегда оскорбляло.) Мальчишки же изобрели для себя новую забаву. Они спустились на путь и, перепрыгивая рельсы навстречу один другому, начали, соревнуясь, непристойно ругаться.

Корней Иванович вскочил, сунул мне в руку карандаш и листок и в три шага оказался возле мальчишек.

— Вы это что? — заорал он. — Молчать сию же минуту!

Они, нагло глядя ему в лицо, продолжали.

Тогда он схватил за шиворот одного, потом другого и обоих кинул на плотный песок.

Они поползли, потом поднялись, поглядывая на него уже не с вызовом, а с боязнью — не исколотит ли? — потом отряхнулись и побежали наверх. И там, на высоте, среди сосен, почувствовав себя в безопасности, показывая ему нос и приплясывая, снова начали скверно ругаться.

Он помчался наверх за ними. Двоих он не мог бы поймать, но одного, при своей длиннорукости, ухватил бы наверняка. Он мчался наверх, а на меня из-под его огромных ног наплывали черные потоки песка.

— Сволочи! — заорал он. («Бездарность» и «сволочь» были самыми сильными ругательствами в собственном его лексиконе.) — Я покажу вам...

И вдруг, пробежав всего полдороги, он остановился. Он стоял неподвижно, понуро, как бы вглядываясь в песок и не делая ни шагу ни вверх, ни ко мне. Мальчишки торжествуяще плясали, а один, расхрабрившись, даже швырнул в него шишкой.

— Бедные вы, бедные! — выкрикнул вдруг Корней Иванович тем надрывным, рыдающим голосом, каким читал особенно любимые стихи. И всхлипнул. — Обворовали вас. Никто-то вам ничего не рассказывал, ничего-то вы на свете не слышали, кроме этих гнусных слов...

Он махнул рукой и пошел вниз. На обеих его щеках висели слезы. Я потерянно взяла его за руку. Не знаю, нашлась ли бы я что-нибудь сказать, но тут раздался нарастающий грохот.

— Папа, поезд! — крикнула я, и мы, схватив книгу, карандаш и бумагу, побежали к платформе.

ХП

Выучилась я читать противоестественно рано. Это случайное обстоятельство сыграло большую роль в моей жизни и немало важную в куоккальскую пору жизни моего отца.

Не только он в Куоккале читал нам, но и я — ему. Постоянно, ежевечерне. Без моего чтения он не засыпал.

Корней Иванович, здоровяк, великан, пловец и лыжник, смолоду и до последнего дня страдал неизлечимым недугом — бессонницей. Расплата за повышенную впечатлительность, за одержимость трудом. Ложась, он гасил на ночь свечу, но угасить работу воображения оказывался не в силах. И в полной тишине, нерушимо охраняемой домом, в темноте задернутых занавесей, колеса размахавшейся мысли продолжали крутиться. Без тормоза. Тщетно проворочавшись часа два, он сдавался бессоннице — и труду. Болезнь нередко превращала целодневный труд в круглосуточный. «Сижу за столом, не зная, день ли, ночь ли» (строка из письма). Ночами обыкновенно он не сидел за столом, а работал лежа: пристроит подсвечник со свечой в углу дивана, дощечку с бумагой на поднятых острых коленях. Вечером, когда он лег, ему мешало уснуть сознание, что статья не окончена, — в мозгу вертелись начала, концовки, переходы, примеры, противопоставления, угадки, звавшие вскочить и схватиться за перо; утром же, когда статья уже казалась ему (правда, ненадолго!) оконченной, он не засыпал от чрезмерной усталости. Он спускался вниз исхудалый, постаревший, весь заросший черной щетиной, ни на что не откликающийся, вялый и раздражительный вместе.

Весь дом жил утренними известиями: «папа спал», «папа не спал». Это были два разных дома и два разных папы.

Единственная его надежда на сон — чтение. Не свое — чужое. Чтобы кто-нибудь вслух почитал ему на ночь. Успокоительный ровный голос. И чтобы книга уводила за тысячи верст от тех мыслей, которыми он жил в тот день. И чтобы она была интересна ему — скучная не уведет! — но не слишком, а то новый интерес захватит и тоже помешает уснуть. Лучше других годна для усыпления книга, уже читанная им, полюбленная и полузабытая. Слушать приятно и не волнуешься. Но для читающего, напротив, книга должна быть нова и неотразимо увлекательна. А то соску-

чится, начнет клевать носом... и тогда... тогда человеколюбие потребует прогнать чтеца, и в свои права вступит бессонница. «Иди, иди, тебе пора спать» (отчаянная мольба: «останься!»).

Читать требовалось без взрывов, без излишней выразительности, усыпительно-убаюкивающе и в то же время с видимым интересом. Вторжение чужого мира — чужих чувств, мыслей, образов — насильственно отвлекало его от очередного пункта помешательства: от очередной статьи, продолжавшей ломиться в мозг помимо воли ее автора... Надо было поставить преграду, барьер — чужим текстом.

Ни бром, ни микстура Бехтерева, ни встречи с самим Бехтеревым, ни гипнотизер, которого специально пригласил к нему Репин, ни физический труд, ни свежий воздух — ничто не приносило спасения от болезни.

Помогало: ложиться как можно раньше и слушать чтение. В Ленинграде, в Москве, в Переделкине он ложился в 9, в 10 часов, в Куоккале — в 8, вместе с маленьким Бобой. Заболев бессонницей и пытаясь одолеть болезнь, двадцатипятилетний человек, молодой, общительный, жадный до всякой новизны, раз и навсегда отрубил от своего дня самое многолюдное время — вечер, а вместе с вечером — всю увлекательную пестроту городской, шумной и разнообразной жизни: театры, диспуты, юбилеи, споры до утренней зари, поездки на острова, рестораны. (Было, было все это: случались и премьеры, и юбилеи, но в виде превеликого исключения... Однажды, в Петрограде, промучившись часа четыре в тщетных попытках уснуть, он встал, оделся и с горя пошел на праздник: на юбилей Екатерины Павловны Летковой-Султановой. Увидев его в половине второго ночи, гости были ошарашены и не верили глазам своим. «Чуковский, идите спать, ради Бога. Видеть Вас в такой час — дико, неестественно и жутко», — записал в «Чукоккале» Алексей Толстой.)

Корней Иванович всю жизнь платил удвоенно, утроенно жестокой бессонницей за каждое свое путешествие в поезде (шум и люди); за ночевку у друзей, даже самых гостеприимных и любящих (ложатся не в 8 вечера); за гостиницу (голоса, шаги в коридоре и некому ему почитать).

Всю жизнь в нашем доме, в Куоккале, в Ленинграде, в Москве, в Переделкине, «читали папе», а позднее, когда мы, дети, выросли и, по примеру собственных детей, его внуков, стали именовать

его Дедом — «читали Деду». Всю его жизнь дома читали ему дети, внуки, секретари, родные, друзья, знакомые; в больницах и санаториях, если специально не приезжал кто-нибудь из близких, — соседи по коридору или медицинские сестры.

В начале двадцатых годов в Петрограде Коля сочинил веселые стишки о невообразимом, невысказанном времени: наш шумный, сильный, озорной отец постареет, и даже Боба (сейчас ему 12, а только что в Куоккале он был маленький), наш Боба тоже станет старичком:

Говорит Корней Иванович,
Почитай мне, Боба, на ночь!
Боба тоже старичок:
Не читает без очков.

Мы хохотали до слез. Боба, зеленоглазый, высокий, плечистый, чернобровый и белолицый, с ресницами в полщеки, Боба — старичок! И понадобятся ему, неведомо зачем, какие-то там очки! О подобной ерундовине только стишки и писать. (И в самом деле, состариться Бобе не привелось, и до стариковских очков он не дожил: на тридцать втором году жизни, осенью 41-го, возвращаясь из разведки, убит под Можайском неподалеку от Бородинского поля.)

Но несколько книг прочитать папе вслух, хоть и не старичком, он все-таки успел. (Успел стать инженером-гидрологом, жениться, работать на Нивастрое и на Чирчике и уйти в ополчение солдатом.)

Боба часто читал папе в Петрограде, иногда и в Москве.

В Куоккале же почти что каждый вечер читала я. Каждый вечер с восьми до десяти, до одиннадцати, до хрипоты, до ряби в глазах, до его ровного дыхания и прочного сна либо до взмаха длинной руки, выражавшего отчаяние: «Ступай, Лидочка, ступай. Тебе спать пора. А я все равно не усну». Падает в бессилии длинная рука вдоль длинного тела; он лежит на боку, носом в стену — весь воплощение отчаяния, будто раненный насмерть.

По утрам я первая, раньше братьев, бежала в кабинет на разведку: спал или не спал? Как я помню эту измученную, сотни раз с одной стороны на другую перевернутую подушку, эти закапанные стеарином жалкие листки рукописи, по полу разбросанные книги, это истерзанное одеяло, эти скрученные, свисающие до пола

простыни! Словно сонмище бесов или шайка разбойников побывала здесь ночью. «Нет, Лидочек, не спал ни минуты. Ты меня усыпила, а я проснулся, чуть только ты ушла».

Значит, это я виновата! Надо было мне еще почитать! И час, и два. Я делала проверки, в комнате и за дверью: умолкала. Он спал. Но значит, все-таки зря доверилась я этому сну — как иногда зря доверяешься льду возле берега, а лед только кажется прочным. Надо было остаться и еще почитать.

Сердце ныло от раскаяния и жалости.

Во второй половине жизни, от пятидесяти до шестидесяти лет, болезнь его начала понемногу смягчаться. Наступила некая компенсация, как это бывает у больных пороком сердца. В Переделкине если он не спал ночь, то утром, после завтрака, уж непременно засыпал часа на полтора; а то вдруг среди бела дня на дверях его комнаты в самое неожиданное время появлялась приколотая кнопками, начертанная синим карандашом надпись: СПЛЮ!!! — три восклицания: его, как он выражался, внезапно «сморило»; поспав днем, он поднимался освеженный...

На куоккальский же период пришелся самый свирепый период болезни. Редко случалось ему в Куоккале задремывать днем, даже после двух сплошь бессонных ночей. А уж если случалось! Как берегли мы его сон всем домом: не только мама, няня Тоня, Коля, я, но и маленький Боба. Как взглядывали друг на друга со страхом при дальнем лае собак: разбудят папу. Мы охраняли дом со стороны моря и у калитки: от булочника, от точильщика, от «корюшка, свежая корюшка!», от случайного заезжего гостя.

Однажды, когда вот так Корней Иванович случайно уснул, а мама ушла на станцию и мы были дома одни, явился из Петербурга незнакомый господин по срочному делу.

Коля дежурил у калитки.

— Дома Корней Иваныч? — громко спросил господин.

Мы с Бобой уже бежали на помощь.

— Дома, — ответил Боба шепотом.

Приезжий протянул свою визитную карточку. Коля повертел ее в руках.

— Папа спит, — сказал он.

— Так пойдти разбуди его! — Господин заговорил еще громче. — До моего поезда остался всего час.

— Папу будить нельзя, — сказала я.

— Есть тут кто-нибудь из взрослых? Я приехал по срочному делу.

— Никто его не станет будить! — сказал Коля. — Мама тоже не станет.

Боба, господину ниже пояса, тихонько подталкивал его к калитке.

Пожав плечами, господин повернулся и пошел прочь... Откуда ему было знать, что это такое для нас: «папа уснул», и как это было невысказано: «разбудить папу»?

— Дур-рак! — сказал Коля вслед ни в чем не повинному гостю и, аккуратно сложив карточку, разорвал ее. Даже не прочел фамилии. Так Корнею Ивановичу и осталось неизвестно: кто это приехал к нему по важному делу? Господин обиделся навсегда.

Разбудить папу. Злодейство! Кошунство!

В марте 1922 года Корней Иванович записал в дневнике:

«Бессонница отравила всю мою жизнь, из-за нее в лучшие годы — между 25 и 35 годами — я вел жизнь инвалида...»*

Этот период, когда он наиболее остро сознавал себя инвалидом, его бессоннейшая бессонница — это и есть Куоккала, мое детство.

Впрочем, острые приступы болезни не оставляли его никогда.

Никогда — и в пору изобретения снотворных, которые он именовал «усыпиловки»: большая круглая металлическая коробка с наклейкой «сно» стояла в Переделкине возле его тахты с целой россыпью этих отрав, отечественных и иноземных, однако и «сно» не гарантировали ему верного сна. Все едино: требовалась, кроме снотворного, постоянная помощь — чтобы ему почитали.

И читали по очереди: Марина Николаевна, Колина жена; Клара Израилевна — бессменный секретарь; дети, внуки. Случайные гости.

Строки, посвященные бессоннице в его дневнике и письмах, напоминают «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!»

«Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не мог, я бегал по комнате и *выл* часами»*.

Выл... Чем не сумасшедший?



Корней Иванович и Мария Борисовна. Между ними на скамье – Лидя, на лыжах – Коля. Куоккала. Дача Анненкова. 1910 год

«Ложись на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек – и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: “сплю я или не сплю? засну или не засну?” – шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаками по черепу! Бил до синяков дурацкий череп, переменить бы – о! о! о!»*.

Бил себя по черепу... Чем не сумасшедший?

Книга «писалась как роман, но после нескольких глав я заболел бессонницей – и больше не могу написать ни строки. Целые дни сижу за столом и вымучиваю какую-то дрянь» (1919).

«Здесь я забыл, что такое сон: некому читать мне. Если бы найти чтеца, я спал бы каждую ночь: главное, нужно отвлечь мысли от работы» (1951).

Волею случая первым его постоянным чтецом, отвлекающим мысли от работы, с моего шестилетнего по мой десятилетний

возраст, оказалась я. Наша мама, Мария Борисовна, была слишком нервной женщиной, чтобы успокаивающе воздействовать на его взбудораженность. Коля не умел скрыть зевоты, и Корней Иванович быстро отсылал его спать. Я же любила читать вслух, а во имя его сна готова была хоть всю ночь напролет притворяться бодрой. Это тоже была игра, да еще какая: во-первых, только наша, моя и его, больше ничья; во-вторых, не игра, а самое что ни на есть важное дело на свете: я усыплю папу! в-третьих, не он надо мной, а я над ним командир. Я укладывала спать родного отца, как другие девочки укладывают спать свою куклу. Я играла с ним в «дочки-матери», причем распоряжалась я, а он меня слушался. Это мне льстило.

Словно угадывая будущее свое почетное назначение — усыплять папу! — выучилась я читать, повторяю, очень рано. Корней Иванович начал учить Колю с семилетнего возраста. Тут же болталась и я — четырех лет от роду. Когда Коля научился складывать слова, Корней Иванович купил нам «Каштанку» Чехова в издании А. Ф. Маркса — большую квадратную книгу с картинками, с очень черными четкими буквами на очень белой бумаге. Была она для нас обоих сложна не по возрасту, и он больше пересказывал нам ее, чем читал. Изредка, отдельные куски читал по книге и кое-что, небольшое, предоставлял читать Коле. Было это почему-то не на даче, а в Петербурге; не знаю почему и когда — но ясно помню извозчиков, цоканье подков за окном, говор прохожих, а в кабинете у Корнея Ивановича, в простенке между окнами, один над другим, целых четыре Уолта Уитмена: вот он молодой, вот постарше в заломленной шляпе, а вот уже и бородатый, старый. Помню веселого котенка по имени Оскар Уайльд: тезку статьи Корнея Ивановича, посвященной знаменитому английскому автору. Была я чем-то сильно и долго больна. В самый разгар болезни — и рассказывания про Каштанку — Корней Иванович уехал с лекциями по разным городам: недели на две? дней на десять? Не помню. Когда он уезжал, чеховская Каштанка (Тетка) умела уже прыгать на задних лапах, выть под музыку и стрелять из пистолета. Он уехал. Я начала поправляться. И вот я уже не лежащая, а сидячая, а от него телеграмма: он едет домой. Вот его звонок в передней. Мама бежит открывать. Я хоть и не вижу, но слышу каждое его движение: вот он снимает калоши, вот вешает пальто — и сразу ко мне. Садится

на краешек постели, длинный и складывающийся. Острые колени торчат. Я в теплых носках, в теплой кофте и с компрессом на шее. Но жара у меня уже нет. Он говорит, мама писала ему: я уже скоро встану, я уже почти здорова.

На постели, поверх одеяла, «Каштанка». Он рассеянно ее перелистывает. Расспрашивает, ссорились ли мы тут без него с Колей, обещает, когда я встану, повести нас обоих в цирк.

В цирк! Это туда господин в шубе носил Каштанку. Это там она встретила своих настоящих хозяев.

— Ну, что у тебя тут нового? — спрашивает Корней Иванович, взглядываясь в меня: выросла — не выросла — похудела? И длинным пальцем подпихивает вату под повязку на шее.

Нового? Новое у меня то, что я научилась читать. Сама читала Коле «Каштанку» вслух.

Это моя главная новость: пока он там ездил куда-то, я выучилась читать, и сама, своими глазами, прочитала в толстой квадратной книге ужасное известие: гусь, Иван Иваныч, скончался!

«Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю.

— Пей, Иван Иваныч! — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. — Пей, голубчик.

Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.

— Нет, ничего уже нельзя сделать! — вздохнул хозяин. — Все кончено. Пропал Иван Иванович!.. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?»

Помню, я глубоко была потрясена не только смертью милого гуся, но тем, что слова «все кончено» напечатаны в книге не другими, гораздо большими или, например, красными буквами, а точно такими же, как и прочие слова. «Все кончено» — гусь умер, и та же белая бумага, те же ровные черные буквы.

И он молчит, не вскрикивает, а спокойно переворачивает страницы и укрывает мне ноги, как будто ничего не случилось.

— Папа, а ведь гусь-то умер, умер гусь! — говорю я снова, заливаясь слезами.

И вот уже не городская квартира на Суворовском проспекте 40а, близ Таврического сада, где я выучилась читать, и не дача Анненкова в Куоккале, где мы прожили несколько лет, почти не упомянутых мною (смутно помню, что там нас обокрали и что там я впервые увидела новорожденного Бобу), а дача на берегу моря, наискосок от Репина, которую я помню ясно: море, сосны, маму, папу, и приезжавшую бабушку, и братьев, и комнаты, и ручей.

Каждый вечер я читаю папе. Занятие это относительно него медицинское: отвлечь от мыслей о работе и усыпить, — а относительно меня — литературно-педагогическое: читать вслух дает он мне только такие книги, какие полагает интересными и полезными для читательницы моего возраста.

1913—1917. Предреволюционная детская литература к искусству отношения не имела: эта мысль в наше время стала общераспространенным трюизмом, и Корней Иванович своими статьями, до революции и после, много способствовал ее утверждению.

Что же я читала от шести лет до десяти? Какие же книги он выбирал для меня и для Коли; что допускал неохотно, что подсовывал нам?

Припомнить существенно: ведь книги, которые он нам давал, характеризуют его вкус, его мысли о литературе для детей и о стиховом воспитании.

В лодке, на морских прогулках, за чайным столом, по дороге на станцию он не обдумывал чтение специально для такого-то возраста; Бобиного, моего или Колиного. В последней своей статье он написал, что смолоду привык купаться «в океане стихов»*, вот и нас увлекал за собой, озабоченный лишь тем, чтобы нам с детства открылась и полюбилась глубина, безмерность, бескрайность поэзии.

Другое дело книги, которые мы читали себе сами или ему вслух.

Тут уже не океан и безмерность, тут уж он с интересом вглядывался в соотношение между автором и читателем, книгой и возрастом. Ребенок такого-то возраста и такая-то книга. Башмаки должны быть впору — а где их взять? Сказки Пушкина прочитаны,

«Конек-Горбунок» Ершова — тоже... Что же дальше: между шестью годами и десятью?

«Башмаков впору» в те времена было сшито и выточено считаное количество: два-три стихотворения Саши Черного, Марии Моравской, Поликсены Соловьевой, Натана Венгрова. Стихотворения Блока для детей были прекрасны, но не для детей. До «Крокодила» Корнея Чуковского оставалось несколько лет.

Одна из причин, почему созданные им впоследствии детские книги завоевали всеобщее признание: башмаки сработаны были точно по мерке. Каждая из книг — книга для детей такого-то возраста.

Разумеется, возраст — понятие условное, и в физическом и в духовном смысле. Не все младенцы на одном и том же месяце научаются держать голову или сидеть, не у всех детей в одно время прорезываются, а потом выпадают молочные зубы, не все в одно время начинают ходить, а потом читать.

Многое зависит от особенности социальной среды, климата, наследственности.

А все-таки понятие возраста существует.

Зал полон детьми. Чуковский читает сказку. Взрыв хохота — общий! — всегда на одних и тех же строчках. Внимательность, задумчивость, испуг. Вдох облегчения — общий. Всегда на одних и тех же строчках. А если общий зевок? Если начали перешептываться? Для автора это сигнал бедствия.

Новый зал. Снова сотни детей того же возраста. И снова на тех же двух четверостишиях равнодушие, зевки, шепоток.

Сделавшись профессиональным детским писателем, выступая перед сотнями и тысячами детей с самых разнообразных эстрад, общаясь с ними в школах, больницах, санаториях, детских садах и библиотеках, читая им свое и чужое, Чуковский с большой точностью установил возрастные рамки в восприятии литературы: тому свидетельство хотя бы книга «От двух до пяти» или статья «Литература и школа»*. Но и в ту начальную, докрокодилскую пору, когда число детей, попадающих в поле его зрения, ограничивалось малышами, копошащимися на куоккальском пляже, да собственными детьми, он вдумывался в восприятие, вглядывался в возраст, пытаясь прежде всего понять: что детям скучно, а что увлекает их? «Скучно — нескучно» — это было для него одним из основных критериев. Критерием, конечно, не единственным. (Мало ли написа-

но книг с острозакрученной фабулой, «занимательных», но бездушных, бездарных, неодоухотворенных и своею неодоухотворенностью заглушающих понимание жизни? Заглушающих рост души? А уж пониманию искусства они не только не учат — уведают от него.)

«Скучно — нескучно» — критерий не единственный, но обязательный.

Возраст — ступенька. Каждой возрастной ступени должно соответствовать свое искусство. Корней Иванович мечтал о возведении лестницы, которая приводила бы растущего человека к «Евгению Онегину».

Что и в каком порядке должен читать растущий человек, с какой на какую переходить ступеньку (сам и с помощью взрослых), чтобы, скажем, к четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати годам онегинская строфа не затрудняла, не отпугивала, а пленяла его? Чтобы со ступени на ступень росло, наполнялось новым смыслом его понимание Татьяны, Онегина, быта тогдашней деревни и тогдашней Москвы, творчества Пушкина, русской истории, русской поэзии? Что и в каком виде и в какой последовательности надлежит давать растущему человеку в детстве, чтобы защитить его от пошлости, которая всегда, во все времена неизбежно и неистребимо прет из всех щелей? Чем одаривать, чтобы подрастающий человек свободно и радостно поднимался по лестнице литературной культуры, без которой нет культуры душевной? Конца эта лестница не имеет, но каково должно быть начало и какова последовательность шагов? Корней Иванович ревновал поэзию, литературу к музыке; ему представлялось, будто в обучении музыке, в науке о музыкальном воспитании такая лестница уже возведена. Путь к Бетховену проложен. В поэзии же, в изучении литературы, полагал он, лестница к вершине ее — к Пушкину — не построена... А ведь русская поэзия одна из сверхмощных держав в поэзии мира. Что же будет, если наследники не окажутся в силах принять наследство?

Опасность представлялась ему грозной.

Он заботился в течение своей жизни обо всех ступенях этой воображаемой лестницы (переводил, сочинял, составлял, редактировал и критиковал книги для детей разных возрастов), но с особою тщательностью о первоначальных шагах и ступенях.

(Его сознательный умысел был сродни бессознательному народному: сколько создал народ колыбельных и послеколыбель-

ных песенок! Для самых маленьких деревнями и селами создано не меньше, а гораздо больше песен, потешек, считалок, чем для последующих детских возрастов. И это — не зря. Усвоение родного языка и родной поэзии совершается одновременно, и притом — во младенчестве.)

Вдоволь, с избытком повидала я на своем веку мамаш и тетушек, приводивших к Корнею Ивановичу обожаемых Петенок или Ниночек, чтобы показать ему превеликое чудо: Петеньке, вы подумайте, всего три года и один месяц, а он уже знает наизусть «Мойдодыра»!

— Петенька, ведь это сам Чуковский, он сам сочинил «Муху-Цокотуху», понимаешь? Петенька, не упрямясь, не огорчай маму, прочитай дедушке Корнею «Мойдодыра»... Честное слово, Корней Иванович, он знает все ваши книжонки наизусть...

И Корней Иванович, который только что, совсем позабыв, что он «сам Чуковский», радостно прыгал с Петенькой на одной ноге, кто скорее, от крыльца до ворот, на ходу загадывая ему загадки, с любопытством рассматривая еще один экземпляр трехлетнего человека, сразу сникал, но, не желая обидеть очередную мамашу, покорно присаживался на скамью и, полузакрыв лукавые глаза, слушал, как Петенька — вы подумайте только! наизусть! — читает «Мойдодыра».

Дивился он при этом не Петеньке, а мамаше.

По ее уходе он говорил, вздыхая:

— У-ди-ви-тель-но! Ей до сих пор ни разу не пришло на ум, что в мире существуют дети определенного возраста. Не один ее Петя, а миллионы трехлетних Петь. Никакой способности к обобщению! Все эти Петя почему-то между тремя и пятью годами знают наизусть «Мойдодыра». Вот и задумалась бы — почему? Но она видит одного своего Петю, единственного в мире, и он представляется ей чудом природы. Да если бы двухлетний ребенок после многократного слушания не запоминал наизусть русские и иноземные народные песенки: «Как у котеньки-кота одеялка хороша» или «Шалтай-Болтай сидел на стене», а в три, в четыре года «Мойдодыра», «Пожар», «Муху-Цокотуху», «Почту», «Рассеянного», — да его надо было бы немедля вести к психиатру!.. «Крокодил» — это роман для шести—восьмилетних, а «Мойдодыр» — повестушка для трехлетних... Но она уперлась глазами в одного своего Петю, другие ей решительно неинтересны, вот у нее и выхо-

дит, что Петенька — гений. Она не догадывается: он не исключение среди детей его возраста, а правило.

В статье «Литература и школа» Корней Иванович говорит уже о подъеме на последующие ступеньки воображаемой лестницы. Он упрекает школу в недостаточном внимании к возрасту, в неумении перекинуть мост между восприятием двенадцатилетних и литературой. Школьники не читают стихи для своего удовольствия, а лишь зазубривают их ради пятерок. Между тем «литература не таблица умножения: ее нужно не зубрить, а любить»*. Начал бы, например, учебник открытие Пушкина со стихов, какими дети могли бы зажечься, а то детям навязывают ранние, архаические, отвлеченные пушкинские стихи, отпугивающие их от себя медлительностью, умственностью. Не хронологии пушкинского творчества должен подчиняться учебник до поры до времени, а хронологии ребяческого восприятия.

«Нужно свирепо ненавидеть и Пушкина, и наших детей, — писал Чуковский, — чтобы предлагать двенадцатилетнему школьнику... архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор»*. (Он цитировал: «Я здесь, от суетных оков освобожденный, / Учуся в истине блаженство находить, / Свободною душой закон боготворить, / Роптанью не внимать толпы непросвещенной» и т. д.) Конечно, — говорит он далее, — упорно зубря, они могут одолеть этот текст, «но не требуйте, чтобы с именем Пушкина была у них связана радость».

Нам с Колей Пушкина он открывал, вселяя в нас желанную радость. «Песню о вещем Олеге», «Гусаром», «Женихом», отрывками из «Полтавы» и «Медного всадника».

Как радовались мы строчкам:

Марш! марш! — все в печку поскакало...

Или:

Шалит Марусинька моя...

Или:

«А это с чьей руки кольцо?» —

Вдруг молвила невеста...

Или:

Люблю, военная столица,

Твоей твердыни дым и гром...

(Дети тоже любят дым и гром...)

Как гордились мы черногорцами, которые хитростью и мужеством спровадили из своей страны Бонапарта:

И французы ненавидят
С той поры наш вольный край*
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.

Эти стихи были не только великой пушкинской поэзией, но и попросту веселыми, интересными для чтения стихами, соответствующими потребностям нашего возраста, жаждущего происшествий, событий, эмоциональных бурь.

«...Наркомпрос упорно скрывает от них того Пушкина, которого они могли бы полюбить, — писал в статье “Литература и школа” уже поставивший немало опытов на своих и на чужих детях Чуковский. — Даже одиннадцатилетним ребятам (в пятом классе) он навязывает “Дубровского” и “Зимнее утро”, то есть опять-таки то, что нисколько не соответствует их возрастным интересам.

Они на всю жизнь влюбились бы в Пушкина, если бы им дать, например, “Делибаша”:

Делибаш уже на пике,
А казак без головы!

Но похоже, что Наркомпрос вообще не желает внушать детям любовь к литературе. Пусть зубрят по программе — без всяких эмоций! Вот, например, басни Крылова. В них есть все, что может понравиться детям: и звонкий стих, и забавная фабула, и медведи, и слоны, и обезьяны. Одиннадцатилетние тянутся к этим басням, как к меду. Не потому ли программа дает им всего лишь три басни, то есть почти ничего! Чтоб они не лакомились теми стихами, которые доставляют им радость! Из всего Лермонтова детьми наиболее любима “Песня про купца Калашникова”, — и, конечно, Наркомпрос не включил этой песни даже в программу внеклассного чтения. То же самое и с “Детством” Толстого. Дети так любят читать про детей! Но составители школьной программы не сделали им поблажки и тут.

Вообще, если составители программы нарочно стремились представить ребятам художественную нашу словесность в самом невкусном, неудобоваримом и непривлекательном виде, они достигли своей цели блистательно*.

Что же считал он «удобоваримым», «вкусным» для меня в восемь, для Коли в одиннадцать лет? Что он выписывал, покупал, подсовывал нам в Куоккале?

Что мы читали? Да все, что и остальные дети того времени. Но одно с его «попущения», а другое, так сказать, «с соизволения». Он выписывал все детские тогдашние журналы — все, от презируемого им «Задушевного слова» до уважаемого, но, по его мнению, скучного «Маяка». И «Путеводный огонек», и «Родник», и «Светлячок», и «Тропинку». Но это больше для себя, для критической деятельности. Впрочем, и от нас он их не прятал. Да и вообще не мешал нам читать, что нам вздумается, полагая, наверное, что мы прочно защищены от пошлости Баратынским, Тютчевым, Пушкиным, Фетом.

А в общем, читали мы то же, что все мальчики и девочки Колиного и моего возраста в то время. Коля: Купера, Майн Рида, Конан Дойла, Жюль Верна, Стивенсона, Вальтера Скотта, Диккенса, Марка Твена, Гюго. Я плелась за ним: только Жюль Верн, кроме «Двадцати тысяч лье под водой», казался мне непереносимо скучным, в особенности «Дети капитана Гранта». Зато Коля отплевался от моих девчонских книг: «Маленькая принцесса», «Голубая цапля», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькие женщины»*. Я чувствовала, что и Корней Иванович их не одобряет, над ними подтрунивает, но он не мешал мне читать их. Однако самой про себя, а не вечером ему вслух. Почитать ему на ночь «Голубую цаплю» нельзя было: засмеет. Его раздражали сантименты, слащавость, топорные переводы. Он мечтал для нас об «Алисе», «Гулливере», «Робинзоне Крузо», — но и эти переводы и пересказы сердили его. Для вечернего чтения вслух он выбирал то, что полагал интересным и полезным мне и не коробило собственный его вкус. Плохие переводы вызывали не сон, а злость.

Со своего шестилетнего по свой десятилетний возраст я прочла ему сказки Афанасьева, потом — тут он тоже морщился от переводов — сказки Гауфа, Перро, братьев Гримм; потом — сказки Андерсена; потом «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Без семьи» Мало; потом начался Марк Твен: «Принц и нищий», «Том

Сойер», «Гекльберри Финн»; потом — роман за романом Диккенса, романы Гюго и многое множество стихов, главным образом стихов-повествований, потому что он был убежден: дети моего возраста требуют от стихов и от прозы прежде всего смены событий. Стихи он давал мне только самого высокого качества: «Мороз, Красный нос», «Генерал Топтыгин», «Кому на Руси жить хорошо»; «Песню про купца Калашникова», «Бородино», «Воздушный корабль», «Три пальмы»; русские былины, и «Калевалу», и «Гайавату». И «Унди́ну», «На́ль и Дама́нти», «Одиссею» в переводах Жуковского.

Основой основ, фундаментом всего стихового воспитания детей от восьми до двенадцати и старше почитал он баллады Жуковского. Как и сказка, баллада — в своем далеком изначальном виде — произведение народа; ввели ее из фольклора в литературу величайшие поэты мира. Каждая баллада — стремительное действие; целая цепочка не дающих от себя оторваться поступков и происшествий. Все, к чему тянутся дети, да и подростки. Для подростков баллады он считал такой же необходимостью, как для маленьких — сказки. В балладах, столь счастливо воссозданных Жуковским на русском языке, естественность интонаций такова, что тут и не пахнет переводом, тут совершилось второе рождение Гете, Шиллера, Вальтера Скотта, Уланда, Саути — в России: в стихии русского языка — то архаического, то народного, то литературного, но всегда естественного, живого. Чужеземные имена и названия придают этой речи не чуждость, а лишь дополнительную прелесть загадочности: «Бротерстон», «Боклю́», «быстро бегущая Твид», «рыцарь Рича́рд Кольдингам», «Посидонов пир», «Фракийские горы...». «Рыцарь Рича́рд Кольдингам» — самое имя звучит, как звон средневековых доспехов.

Корней Иванович считал для нас баллады Жуковского — их гибкий, звонкий, стремительно движущийся, могуче-увлекательный стих — отличной и обязательной школой. И притом — праздничной.

Когда мне исполнилось 11 лет, уже в Петрограде, он подарил мне трехтомник Жуковского. К этому времени я знала уже наизусть и «Суд Божий над епископом Гаттоном», и «Кубок», и «Поликратов перстень». Сколько раз, читая ему на ночь в Куоккале, зажигала я свечу над любимейшими из любимых: «Кубком» или «Замком Смальгольм»!

Но свеча была не нужна мне.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...

Разве могла я этого не помнить? И не я — а все Петеньки и Нички моего тогдашнего возраста?

Юноша дважды бросается в кипящую пену, но лишь один раз — он на своем берегу с драгоценной добычей. Во второй раз бросится и погибнет. Напрасно будет глядеть в кипящие волны королевская дочь. Каждая девочка — одна в восемь, другая в двенадцать лет — неминуемо повторит вслед за Шиллером—Жуковским, безо всякой зубрежки, с горестным и почему-то счастливым вздохом:

Утихнула бездна... и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно:
А юноши нет и не будет уж вечно.

XIII

Вечер. Он скрывается за дверью кабинета. А я стою за дверью и жду зова.

Внизу, в маленькой прихожей, откуда начинается лестница, висит Мурильо — репродукция «Мальчика с собакой». Прелестная, щедрая и застенчивая улыбка мальчика провожает меня наверх. А наверху, в проходной комнате возле кабинета, где я ожидаю оклика, над лестницей плакат: на зеленом картоне наклеено красное, с длинными красными лучами, круглое солнце и желтыми буквами выклеено:

Веснеянка веснеянная
Веснеянных веснеян.
Песнеянка песнеянная
Песнеянных песнеян.

Это сочинил, наклеил и здесь, над нашей лестницей, повесил поэт Василий Каменский.

— Входи! — голос из кабинета.

Тогда я кричу вниз, перегибаясь через перила под «Веснеянкой»:

Папа ложится спать!

Просят ему не мешать!

Кричу зря, только чтобы прихвастнуть своей властью: с той минуты, как Корней Иванович поднялся наверх, внизу и так уже наступила полная тишь.

Когда я вхожу, он лежит в ночной рубашке на своем огромном диване. Лежит узкий, длинный, горестно уткнувшись носом в плоскую подушку. Вид несчастный, одеяло наброшено кое-как, голые пятки торчат. Он полон предчувствия бессонницы: он боится, что я захочу спать и уйду раньше, чем он успеет уснуть.

— Спиношка и ноженьки! — говорит он мне жалобным, капризным голосом.

Это значит: поплотнее подоткнуть со всех сторон вокруг него одеяло. Но чуть только я прикасаюсь к одеялу, чтобы укутать ему голые пятки, он, балуясь и шая, переворачивается на спину и взбрыкивает ногами так высоко, что я не могу дотянуться до них.

Несчастье его как рукой сняло; ему хочется перед сном поиграть.

— Если ты будешь брыкаться, — говорю я наставительным голосом, — ты ни за что не уснешь. Лежи спокойно.

В ответ он задирает ноги еще выше и, положив на лицо подушку, начинает громко храпеть: вот, мол, я уже уснул.

— Если ты будешь баловаться, — говорю я, — я сейчас же уйду. Девятый час.

Он с покорностью опускает ноги, снова ложится на бок, а я ползаю вокруг него по дивану, подтыкая толстым одеялом со всех сторон его длинное тело.

О, блаженство,
Совершенство —
Это ты! —

говорит он нараспев, в последний раз брыкнув уже укутанными ногами.

Развеселился! Значит — надеется. Если же надежды плохи, он страдальческим голосом, с преувеличенной благодарностью бормочет:

— Ох, как хорошо... о-о-о, какое счастье... теперь мне тепло... спаси тебя Бог... Бедный я мальчик! Спаси ты Христос...

Но все это предыстория и представление. Пора приниматься за дело.

На письменном столе уже стоит зажженная свеча в черном, с квадратною ручкой подсвечнике; Жуковский, открытый на «Замке Смальгольм», а рядом «Домби и сын» Диккенса. Диккенс — это для работы усыпления, а Жуковский — это так, для начала, для счастья.

Спички на всякий случай и вторая свеча наготове. Огонек горящей свечи уже установился: ровный, высокий, желтый, а возле самого фитиля синий. Я отставляю свечу дальше, чтобы не загорелись волосы, когда я нагнусь над книгой.

Он лежит неподвижно, прижавшись щекою к такой низкой подушке, что, посмотрев от стола, кажется, лежит он вниз головой.

Начинаю, глядя в книгу лишь для порядка:

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж угесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон.

Не с могучим Боклю совокупно спешил
На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил
За Шотландию с Англией он;

Но в железной броне он сидит на коне;
Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.

Читаю я скверно, проглатывая слова и поспешая к своему любимому месту:

Я в отлучке был три дни, мой паж молодой;
Мне теперь ты всю правду скажи:
Что заметил? Что было с твоей госпожой?
И кто был у твоей госпожи?

Мне так не терпится к этой госпоже, к ее тайным свиданиям с рыцарем Ричардом Кольдингамом у ночного маяка, к тайному убийству на темной дороге.

Нет! Не чудилось мне; я стоял при огне
И увидел, услышал я сам,
Как его обняла, как его назвала:
То был рыцарь Ричард Кольдингам.

Слушателю моему торопливое чтение не по душе. Он перебивает меня и начинает читать первые строфы наизусть — сам — мне в науку. Отчетливо и полновесно выговаривает он каждое слово, возвращая стиху медлительность, важность и плавность. Он подчеркивает внутренние рифмы, проглоченные мною:

...и без отдыха гнал, меж утесов и скал...

...но в железной броне он сидит на коне...

Делает явными и более скрытые звучания:

За Шотландию с Англией он...

В его чтении становится явной и тяжесть доспехов, и неподвижность коня. Топор у седла укреплен такой тяжелый, что переламывает строку надвое:

...и топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.

Следуя невидимым нотам, он сильно ударяет на «и»: «двадцати» — затем крохотная пауза и затем «фунтовой».

Укреплён двадцати
фунтовой.

Еще одно *и* в его произнесении памятно мне. Все загадочно в «Замке Смальгольм»: ночное убийство, свет маяка среди скал, тайное свидание с возлюбленным, который «не властен прийти», потому что его нет на свете, и все же приходит; прикосновение мертвой руки к живой: «и по членам огонь пробежал»; все полно тайны, но, не названная ни разу на всем протяжении баллады, тайна сгущена в одном слове одной из завершающих строф:

На руке ж — но таинственно руку она
Закрывала с тех пор полотном.

И сейчас еще звучит у меня в ушах это слово так, как произносил, как тянул его Корней Иванович:

таинственно руку она —

и как выпевал он этот звук, как бы в поддержку таинственности, в последней, заключительной строфе:

То убийца, суровый Смальгольмский барон;
То его молодая жена.

Однако, я вижу, он не заснет никогда. Слишком уж он разошелся. Пора, пора за работу. Я открываю Диккенса, мне в самом деле интересно узнать, неужели мистеру Каркеру удастся жениться на Флоренсе? Неужели ее не выручат верные друзья: мисс Ниппер, капитан Кутль, пес Диоген? Я начинаю, но он не дает читать и заводит какой-то разговор о Диккенсе.

— Вот что, — говорю я решительно, — имей в виду: не стану я тратить чтение на неспящего человека. Молчи и слушай, иначе просто уйду.

— «М-р Каркер тихим шагом поехал возле дома, — читаю я под треск свечи, — и пристально смотрел на окна, стараясь разглядеть через гардины задумчивое лицо, обращенное в эту минуту на розовых детей в противоположном доме. Диоген в эту минуту вскараб-

кался на окно и, выпучив глаза на проезжавшего всадника, залаял немилосердно, как будто хотел изорвать его в клочки, выпрыгнув на улицу с третьего этажа.

Хорошо, Диоген, хорошо. Защищай свою госпожу. Голова твоя всклокочена, глаза сверкают, зубы оскалились. Bravo, чуткий пес!»

— Bravo! — бормочет в подушку Корней Иванович, стараясь показать, что сна — ни в одном глазу и он принимает самое горячее участие в судьбе Флоренсы.

Читать-то я читала, но иногда поглядывала на диван и, главное, прислушивалась к дыханию. С ним надо держать ухо востро, он способен на всякую каверзу: возьмет и притворится крепко спящим, чтобы проверить, не хочу ли я сама спать и не брошу ли его, чуть только он начнет дышать ровно.

Но пока что он еще не притворяется спящим. Напротив.

— Какой молодец Диоген! — снова говорит он в подушку фальшиво-восторженным голосом: он, мол, и не думает спать, он с интересом слушает Диккенса.

А я читаю, и читаю, и читаю, то борясь с дремотой, то в самом деле захваченная интересом, но упорно следя за собой и за ним: читать не слишком быстро, чуть монотонно, и вглядываться в его лицо, и слушать его дыхание.

— Бедный я мальчик! — говорит он минут через двадцать, перебрасывая подушку на другую сторону и снова горестно утыкаясь в нее лицом. — «Бедный мальчик весь в огне, все ему неловко...»
Который час?

Я взглядываю на круглые черные часы, которые обычно он носит в кармане, и говорю на полчаса меньше, чтобы он не пугался.

Неужели и в эту ночь не уснет?

Между тем Флоренса и мисс Ниппер неожиданно явились к капитану Куттлю. Как раз в это время хозяйка моет в комнате у капитана пол.

— «Капитан заседал среди своей комнаты, как на пустом острове, омываемом со всех сторон водами Мыльного океана... Никакое перо не опишет изумление капитана, когда он, обратив на дверь отчаянный взор, увидел Флоренсу с Сусанной... Когда Флоренса подошла к побережью пустого острова и дружески подала ему руку, он остолбенел и на первых порах почудилось ему, что перед ним фантастический призрак».

С подушки несло мерное дыхание. Спит? Притворяется? Поверишь, а тут-то он и заговорит. На прошлой неделе, когда я дочитывала «Холодный дом» и он, мне казалось, уже минут пятнадцать спал напропалую, голова внезапно поднялась с подушки и из темноты раздалось:

— Будешь умирать — помни: весёлость, а не вёселость! — и снова раздалось мирное похрапывание.

Он и сквозь сон следил за правильностью ударений!

А сколько раз бывало: уснул; я умолкла — не шелохнулся; я задула свечу — спит; я дошла до двери — похрапывает; я вышла и для порядка стою минуту уже за дверью, уже под «Веснянкой»... И вдруг:

— Ха-ха-ха! — искусственно-веселый смех, смех отчаяния из-за дверей. — Она воображает, что я сплю. Ну, иди, иди, дурочка, тебе пора, тебе спать хочется...

Я возвратилась и умолила его позволить мне почитать еще немножко, а о сне я и думать не могу — совсем не хочется, как будто день или утро.

Он позволил. Он так боялся остаться один! Я читала еще около часа. Он уснул и спал всю ночь до утра... Такое мне выпало счастье!

Но сегодня что-то не налаживался сон. Спит как будто бы и вдруг подаст голос, засмеется в самом неподходящем месте или, наоборот, с огорчением воскликнет (в подушку): «Какое несчастье!» — совсем невпопад, когда Диккенс острит и я еле сдерживаю смех. Нет, не заснет он сегодня!

— «Вы, конечно, удивляетесь, капитан, — читаю я, — видя нас здесь, — сказала Флоренса, улыбаясь.

Очарованный капитан поцеловал свой железный крюк и, сам не зная для чего, проговорил: “Держись крепче! держись крепче!” Лучшего комплимента не придумал он в эту минуту».

Спокойное, мерное дыхание. Я читаю, и читаю, и читаю. А быть может, он уснул? Попробую, пожалуй, сделать опыт.

Гашу свечу: спит.

Тут начинается операция самая трудная.

Чтобы его не разбудить, надо дойти в темноте до двери и открыть и закрыть ее, не прерывая чтения. Читать, и читать, и читать.

Но как же это читать в темноте?

Если умолкнуть, он сразу проснется, услыхав тишину.

Я научилась читать и в полной тьме. Если стихи, это и не очень-то трудно. Только что два часа читала «Одиссею» и вот в темноте произношу:

— «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос», — а потом невесть что, лишь бы соблюсти размер:

— Тут Телемах застрелил наповал женихов богоравных...

С прозой труднее. Нету надежной опоры — размера. Говорить же надо без перерыва. Я делаю попытку во всех отношениях держаться на уровне подлинника и, ступая неслышно по комнате, без передышки плету чепуху, больше опасаясь запутаться в собственном вранье, чем натолкнуться на стул.

— Никакое перо не опишет, — говорю я, в темноте бесшумно пробираясь к дверям, — обрамленное личико Флоренсы. Читатель легко себе представит злобную улыбку мистера Каркера, которая искривила его губы, которые скрывали его зубы, которых, по мнению капитана Куттля, было у него слишком много.

Я за дверью. Теперь так бы и кинуться с лестницы вниз. Но нельзя. Надо постоять для проверки. Лампа в прихожей прикручена, и «Веснеянки» не видно. А там, внизу, в столовой — яркий свет; под лампой Боба и Коля, наверное, еще играют в лото.

Прислушиваюсь. Сердце стучит толчками. Думаю, минут пять уже прошло. Теперь только бы благополучно спуститься, не наступив на те ступеньки, которые скрипят. Я знаю их наперечет и через них перешагиваю.

Ярко сияет висячая лампа над столом в столовой, Боба и Коля уже давно в кроватях.

— Уснул! — отвечаю я на вопрошающий мамин взгляд.

Однако это благополучный конец. А часто бывало, он прогонял меня, не уснув. А иногда лукавил, коварно позволял мне уйти, притворяясь спящим и подслушивая, что я мелю. И выдавал мальчишкам.

Как-то раз после чтения французской переводной сказки, пробираясь в темноте к дверям, я сказала:

— Я удаляюсь, как фея прекрасная.

Он продолжал похрапывать. Но что было утром! Коля и Боба встретили меня дружным криком: «Фея прекрасная!» Он все слышал и им рассказал. Это прозвище было больнее мне, чем все прозви-

ща, придуманные для издевки Колей: «длинноноска-большеглазка», «щекотунная баба», «Лидка-калитка — тонкая нитка».

«Фея пьет кофёя», — ехидно произнес Корней Иванович, прибегая к помощи Чехова*.

Так, девочкой, я читала ему на ночь. Это была любимая моя игра. Так давал он мне дополнительные уроки литературы. А может быть, это было обучение еще чему-нибудь?

Хотя мне и неизвестны еще были тогда слова из его дневника: «я бегал по комнате и выл часами», никто никогда в жизни не возбуждал во мне такого острого чувства жалости, как — с детства! — мой здоровый, избалованный успехом, удачливый, веселый отец.

XIV

Маршак говорил об одном горе-методисте, человеке унылом, занудливом, желчном, украшенном к тому же рябинками на щеках и синими очками:

— Он из принципа рябой и по убеждению подслеповатый.

Корней Иванович был по натуре весел, общителен и расположен к людям. Такова была его природа. Таким же был он «по убеждению», «из принципа». Веселье и доброжелательство он ставил высоко и культивировал старательно. В себе и в других. Любил и ценил веселых, щедрых, добрых. В его лексиконе слово «веселый» означало почти такую же высокую похвалу, как и «талантливый», а скука, скучное было равнозначно бездарности.

В своей статье «Матерям о детских журналах» он похвалил журнал «Маяк» с такой оговоркой:

«Есть тайный порок у «Маяка», и шепну вам, что это скука.

Конечно, «выпиливание и вырезывание» — это очень прекрасно, «дети, не мучьте животных!» — и того превосходнее, но ворвалось бы сюда на страницы что-нибудь удалое, лихое, бесшабашное, закружило бы, увлекло детей, — все же было бы легче дышать»*.

Вот оно и ворвалось, удалое, лихое, бесшабашное, но не на страницы «Маяка», а другого журнальчика: «Для детей».

До тех пор было твердо известие, что крокодил — животное грязно-буро-зеленого цвета, чье местожительство — Африка; речной



Корней Чуковский. Фотография Д. С. Здобнова. 1910-е годы

ил, тина. Ну, может быть, еще и Зоологический сад: бревно бревном, в особой ванне. Но чтобы крокодил оказался пешеходом! Да еще на главной улице Петербурга, на чопорном Невском проспекте! Чтобы он курил папиросы, разговаривал по-немецки и походя глотал городских! Неслыханно! Было от чего закружиться головам!

И вот живой Городовой
Явился вмиг перед толпой:
Утроба Крокодила
Ему не повредила.

Только в припадке бесшабашного веселья сочиняются такие стихи.

Есть над чем подумать, разбирая первую детскую книжку Корнея Чуковского: над связью его поэмы с фольклором, английским

и русским, над опорой на размеры и ритмы классической русской поэзии; можно заговорить о причудливости фабулы, о победе доброго начала над злодейским, но первое, что хочется сказать: вместе с «Крокодилом» ворвалось в жизнь миллионов детей веселье, которым был заряжен его автор.

Скуки он не терпел ни в книгах, ни в жизни. Не любил хмурых лиц, не одобрял людей, сосредотачивающихся на своей беде. В сказках у него всегда побеждает добро, а с добротой и веселье — и это не придумано, это очень для него органично. Тем более что смолоду присягнул он искусству, а искусство, он верил, побеждает всегда. (Словно тот фонарик, который своим светом спас несчастную муху из лап паука.)

— Бедный простофиля, — говорил он о критике, сделавшем своей профессией постоянное преследование в печати произведений большого поэта, — стихи все равно победят, — не в 61-м, так в 71-м, не в 71-м, так в 81-м, а он войдет в историю как гонитель поэзии. — Корней Иванович делал брезгливую гримасу: — Невкусно!

В 1963 году, в письме к поэту Петру Семынину, разбирая (с большой любовью) стихи из книги «Близость неба», он писал: «...Вы, как и всякий подлинный поэт, — проповедник, глашатай добра»*, а в разговорах нередко цитировал Уитмена:

В мыслях моих проходя по Вселенной,
я видел, как малое,
что зовется Добром, упорно спешит
к бессмертию.
А большое, что называется Злом, спешит
раствориться,
исчезнуть и сделаться мертвым*.

— Мерзавцы, — говорил он, — прежде всего дураки. Быть добрым куда веселее, занятнее и, в конце концов, практичнее.

Он по природе, по натуре, обладал отзывчивостью, а кроме того, требовал ее от себя и других. Черствость почитал уродством. Недаром в переделкинские годы он организовал подпольное общество: ОДД — Общество Добрых Дел. Председатель — К. И. Чуковский, секретарь — Ф. А. Вигдорова.

От имени Фрида он изобрел слова «фридизм», «фридисты». Будем «спасать отдельных людей от спасателей человечества, — писал он одной из своих корреспонденток. — Да здравствует “фридизм”! Будем “фридистами”!»

Суважением относился он к словам и понятиям: *благодарность*, *благотворительность*, *блогостыня* и требовал амнистии для них.

Корней Чуковский огляделся вокруг — в эпоху революций, терроров, войн — и чуть замедленным и, против обыкновения, тихим голосом проговорил:

Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

Доброта входила в его нравственный и эстетический кодекс. Но с одной своеобразной поправкой. Для того чтобы помочь человеку, он отрывался от работы, отдыха, сна — и не сетовал. Но бывают ведь болезни неизлечимые, беды, которым помочь невозможно. Бывает так: все средства исчерпаны, остается одно: горевать! Вот на это занятие он не соглашался. Прекрасный товарищ в несчастье — деятельно, энергично спешивший на выручку, — с поля проигранного сражения и непоправимого горя он почти всегда норовил дезертировать. Сделав все, что мог, или даже больше, чем мог, он хотел одного: вернуть себе бодрость и сесть за работу. Разговоров о болезнях — что сказал один профессор, и что еще один, и какой у кого был опасный случай аппендицита — не выносил. «Болезнь, — утверждал он, — самое неинтересное в человеке. Почему это люди так любят часами рассказывать один другому, что у кого болит?» Он не любил пребывать в состоянии уныния, мрака и сопротивлялся, когда его тянули туда. Иногда попросту запрещал окружающим касаться в его присутствии какой-нибудь раны, неудачи, беды, этим требованием защищая свою работу, а работой обороняя веселье... Такая самоохрана в

сочетании с деятельной отзывчивостью многих сбивала с толку, ставила в тупик. В самом деле, она граничила иногда с малодушием, а иногда даже — странно выговорить! — с жестокостью. Помню случай, когда в конце тридцатых годов, уже переехав в Москву, он отправился в Ленинград, чтобы попытаться выручить попавшего в беду человека. От волнения не спал накануне отъезда; не спал, как всегда, в поезде; потом, потерпев неудачу, с горя не спал в Ленинграде. Вернулся измученный и, проспав несколько часов у себя на квартире на улице Горького, сразу уехал на дачу. А в Москве его ждали родные того человека, ради которого совершил он свою нелегкую поездку. Рассчитывали часы и минуты, изучали расписание поездов. Он не зашел к ним, не позвонил, никого не послал; уехал на дачу и уткнулся в гранки. Там с глубоким изумлением они его обнаружили и выслушали горькие вести.

Меня, помню, поразил этот случай.

— Ты, наверное, очень устал, — сказала я. — Ну и ехал бы в Переделкино, а к ним послал бы меня.

Ответ я выслушала неожиданный.

— Нет, — сказал он. — Я не устал. Но я привык приносить людям радость...

Волшебный дар! Высокое честолюбие! Счастливая привычка! А тут требовалось принести горе. Не желал. Его спасательная экспедиция оказалась напрасной, тогда он засел работать и потребовал, чтобы теперь никто, хоть некоторое время, не напоминал о случившемся.

При осознанном намерении одаривать людей и себя самого одною лишь радостью, Корней Иванович нередко приносил людям — и себе самому — жестокую боль.

Отношения его с людьми складывались далеко не идилически.

Чаще всего повинны в этом были люди — и, пожалуй, поспешность его доброты. Бог знает, что померещится ему на первый, жадный и любопытствующий взгляд в новом человеке; он поспешно осыплет его чрезмерными милостями; а потом схватится за голову: незнакомец или знакомка оказались обыкновенною дрянью! Да еще цепкой, да еще лживой, да еще обидчивой! И, чтобы вырваться из ложных отношений, необходимо человека обидеть. Но обижать — жалко. Он уклонялся, запутывался сам, сбивал с толку других и причинял боль.

Тут была вина обоюдная.

А нередко случалось: обиды, которые он наносил окружающим, были ими незаслужены, и повинен в них бывал он один. Отзывчивость — то есть редкостная способность откликаться на каждый призыв, способность драгоценная, — оборачивалась непостоянством.

Потому ли, что он всегда, при всем своем интересе к людям, ощущал непоправимость одиночества? Потому ли, что изначально не верил в любые другие способы глубокого общения с людьми, кроме как через искусство? И всего себя подчинял труду? Потому ли, наконец, что униженность, испытанная им в юности, навсегда искривила его доверие к другим и к себе? Отучила от прямоты? Почему бы там ни было, а дружбы его отличались неровностью, взрывчатостью; другом его оставался только тот человек, кто в состоянии оказывался беззлобно переносить отливы. Отливы чего? Не то чтобы симпатии, но пристрастного, сосредоточенного внимания. Ведь пассажир, желающий познакомиться во что бы то ни стало со всеми, сколько их есть, спутниками — не по вагону, а по целому поезду, — вряд ли способен безотрывно и сосредоточенно общаться со спутниками по купе.

Общительность и отзывчивость Корнея Ивановича оборачивались, случалось, для его друзей чувством горькой обиды, заброшенности. Вчера, да еще и сегодня утром смотрел он на тебя такими понимающими, такими проникновенными глазами! «а нынче все косится в сторону»*. Спросить бы! Но Корней Иванович отшутится или отстранится. Человек чувствовал себя несправедливо обойденным и начинал искать причину перемены, отлива; кто поглупее — в чьих-то тайных интригах и кознях, кто поумнее — в себе. Причина же чаще всего крылась в причудливом характере Корнея Ивановича. Сам он говорил и писал, что работает как *многостаночник*. Таким был он и в жизни, среди людей. *Множественность*. *Многообразие*, разнообразие интересов, привязанностей, умение взглянуть на каждый предмет, и на каждую мысль, и на каждого человека, и на каждый человеческий поступок с десяти, с сотни сторон одновременно составляли его жизненную силу, богатство, очарование — и его недостаток. Он словно мерцал и зыбился. Во множественности ощущений, оттенков, чувств, мыслей он, казалось, терял или не имел мужества увидеть одну сторону мысли, явления, предмета, человека: а именно решающую, главную. Он был умственно широк, независим, презирал всякое сектантство, все, что пахло однолинейностью, однобокостью, односторонностью, он,

как никто, способен был понять — и принять! — каждого и каждое чужое суждение обо всех вместе и о каждом в отдельности — и эта широта представлялась зыбкостью, непостоянством, неустойчивостью, отсутствием прямоты и причиняла друзьям живую боль.

Он, желавший приносить радость, — ранил.

В особенности тех или того, кто лишен был душевного бескорыстия. Того, кто хотел бы, чтобы это причудливо растущее дерево осеняло своими ветвями одних лишь близких. Не перекидывало бы свои ветви, Боже упаси, через забор, не одаряло случайных прохожих.

А на самом деле при всей раскидистости дерево росло стройно. В литературе и в жизни Корней Чуковский являл собою удивительный образчик непостоянного постоянства. Глядишь поверхностно: о ком он только не писал! В глазах рябит: «Шевченко, Уитмен, воздухоплавань»*, как в шуточной чукоккальской драме сказано — от его имени — Блоком. А глянешь поглубже: целые десятилетия отдал он изучению двух-трех любимейших писателей, разработке постоянных выбранных и полюбленных тем.

То же и в жизни. Проехать мимо нового человека не мог. И сколько их было! А на поверку десятилетиями оказался предан одним и тем же людям. Недаром перед смертью, диктуя свое завещание, твердо и гордо произнес: «Ни у кого не было таких крепких друзей, как у меня».

...Злопамятства в людях он не уважал, боролся с ним в других и в себе. Был внимателен на каждую услугу, ему оказанную; а с обидами запрещал себе возиться: неплодотворно! Выяснять отношения не терпел; разве что в письмах: от устной прямоты — уклонялся. Он словно списывал обиды, свои и чужие, со счета, сбрасывал их в небытие, счищал со стекла, через которое глядел на мир, и ждал того же от других. Как бы это объяснить поточнее? Не выкармливал в себе обид, хотя, конечно, их помнил. Помнил против воли. Старался, чтобы и другие находили для себя иное питание.

— И ты еще злишься? — говорил он мне полужалостливо, полупрезрительно, услышав, что я не хочу встречаться с кем-нибудь, кто меня обидел. — Неужели тебе нечего делать? Я бы на твоём месте давно позабыл.

Пожалуешься на чей-нибудь безобразный поступок, возмутишься, осудишь. Он махнет длинной рукой и процитирует Блока:

— «Я смотрю добрей и безнадежней...»*

Увидит, что я чем-то огорчена, озабочена:

— Пошла бы на кинофестиваль... «Иль перечти “Женитьбу Фигаро”»*.

(Убрать, убрать огорчение, озабоченность — истребить любым способом!)

Расскажут ему о какой-нибудь пакости, затеваемой против него. Он вдруг распрямится во весь рост и, напуская на себя высокомерие, которого в действительности был начисто лишен, надменно ответит:

— У меня нет микроскопа, чтобы рассмотреть эту вошь!

(В чистом виде театр для себя. Укусы ощущал он очень болезненно. К высокомерию прибегал лишь как к средству внутренней самозащиты.)

Давалось это ему совсем нелегко, потому что никаким равновесием душевным, ровностью характера, спокойствием, именуемым в общежитии мудростью, он не обладал никогда. Напротив, был, вопреки тяге к веселью, неуравновешен, нервен и вспыльчив.

В одной из своих историко-литературных статей Корней Иванович называет Некрасова «гением уныния». О Корнее Ивановиче можно сказать, что в быту был он великим мастером отчаяния. Именно отчаяния — глубокого, бурного, в которое он впадал внезапно, как падают в яму. Гипербола недаром одна из примет его литературного стиля. От веселья к отчаянию — эти резкие смены можно было наблюдать постоянно. Человек, наделенный могучим здоровьем, избалованный им, он, по-видимому, именно от привычки к здоровью каждый свой насморк воспринимал как воспаление легких, каждое желудочное расстройство — как дизентерию, каждый прыщик — как злокачественную опухоль. И, не желая много распространяться о болезнях, мужественно садился писать завещание. Начиная с пятидесяти лет каждый раз, как ему не давалась страница, объявлял, что все кончено, что склероз более не даст ему написать ни строки, что он более не литератор. (А склероз не постиг его и в восемьдесят пять лет!) Он объявлял о внезапном конце своего литературного и жизненного поприща голосом, хватающим за сердце. Зато когда насморк, начавшийся вечером, оказывался к утру всего лишь насморком, — он днем, в двадцатиградусный мороз, выходил проводить очередного гостя от крыльца до ворот в распахнутом пальто и без шапки («Сам хозяин на крыльцо / Вышел величавый»)* и, если вы настаивали, что-

бы он шапку надел, нарочно бросал ее в снег, крича, что не нуждается в опеке; а когда многотрудная страница, о которую он споткнулся, наконец удавалась, доведенная до такой степени легкости, что можно было подумать, она написана одним взмахом пера, — и он убеждался, что склероз еще не лишил его литературного дара и он успеет еще сделать несколько портретов для своих «Современников», заново переписать «Живой как жизнь», в сотый раз дополнить «От двух до пяти», в десятый — «Высокое искусство», окончить пожизненную работу над Чеховым и снова переделать переводы из Уитмена, — о, в какое ликование впадал он немедленно, сразу позабыв о вчерашнем приступе предсмертного горя!

«Муха-Цокотуха», избегнув опасности, снова праздновала свои именины.

Переделкино. Десять часов утра. Встал он в пять. Работает. А сейчас время завтрака. Мы ждем его внизу, в столовой.

Лестница на второй этаж в Переделкине, совсем как в Куоккале.

И, содрав гонорар неумеренный,
Воскликнул мой присяжный поверенный, —

раздается на лестнице.

Перед вами стоит гражданин,
Чище снега альпийских вершин!..*

Веселый! Значит, ему и спалось, и работалось. А прыщик — это оказался просто прыщик.

Если он долго не спускается к завтраку, поднимешься и постучишь ему в дверь:

— Завтракать, Дед!

— На палочку надет! — отзывается он.

Все хорошо. Отлично. Спал и работал.

Спускаясь по лестнице, выговаривает речитативом:

Де-ду ско-ро три-ста лет,
А он такой же пистолет!

На другое утро окликаешь его:



Корней Иванович читает Мурочке сказку. Ленинград. 1926 год

— Де-ед!

— Что, баба? — мстительно отзовется он. Войдешь — он в черном отчаянии. Склероз — надо бросать перо — он больше не литератор. Он не хочет ни вниз спускаться, ни чтобы ему принесли завтрак наверх. У него не то рак желудка, не то дизентерия. Отчаяние.

Мастер отчаяния... Искреннего, огромного. Я видела своими глазами в Москве, как, получив оскорбительное письмо от одного литератора*, он лег на пол и пролежал весь день, с утра до вечера, не соглашаясь ни встать, ни перелечь на диван, ни выйти на улицу, — он уверял нас, что его обидчик прав, он ничтожество, жалкая бездарность и по этому случаю весь остаток жизни он теперь пролежит на полу... Кончилось дело тем, что ночью, когда его никто не видел, он встал и уселся за стол: работать. Работал до утра, не разгибая спины. (Торопился нагнать упущенное. В наказание себе, что предался отчаянию.)

Принял свое главное лекарство: исписал несколько страниц.

Скажет кто-нибудь при нем, что «работать сегодня не в настроении», он презрительно скривит губы. Никаких «настроений» не



Корней Иванович с дочерью Мурой. Сестрорецк. 1924 год

признавал. Считал это отговоркой – мещанской, недостойной профессионального литератора.

– Поработал бы часов десять кряду, вот и заработал бы себе настроение.

Работой же лечился не только от литературных нападок, а от всякого, даже самого, казалось бы, неизлечимого горя.

...В 1920 году, в холодную и голодную петроградскую зиму, родилась вторая его дочь – четвертый ребенок в семье. Он привязался к Мурочке с особой нежностью: и потому, что слабенькая – еле выкормленная, и потому, что она получила в наследство несомненный литературный дар. В одиннадцать лет в Крыму, на руках у матери и у него, Мурочка после долгих страданий скончалась от туберкулеза. В пору ее умирания из Крыма приходили отчаянные, рыдающие письма. Помню наизусть начало одного из них, к сожалению утраченного:

«Глядя на Мурочку, я завидую тем родителям, чьи дети падают с шестого этажа или попадают на улице под трамвай...»

У Мурочки туберкулез сначала отнял ноги; потом глаз; потом перекинулся на почки, потом на легкие и только после этого убил.

Корней Иванович делал все, чтобы спасти, отстоять больную, и в то же время ни на один день не прекращал труда: писал повесть о санатории, в котором несколько месяцев лечили Мурочку. Называлась эта повесть весело: «Солнечная».

Так же и в 1942-м, в Ташкенте, в эвакуации, узнав о гибели Бобы, ни на один день не перестал работать: читал лекции, писал об эвакуированных детях.

Так же и в 1965 году, когда внезапно, во сне, скончался его старший сын, Николай Корнеевич. Прилег после обеда вздремнуть и не встал. За три дня до того чувствовал себя вполне здоровым, ездил навещать отца в санаторий. И вот его больше нет, и эту черную весть родные принесли отцу.

Горестная запись в дневнике кончается так:

«...пришла Облонская, мы редактировали Уолта Уитмена, и это меня спасло. Весь день мы работали над “Листьями травы” — она умница, работяга, и я держу себя в тисках»*.

Работа задвигала горе, заслоняла его собой, учила «держаться в тисках». И более того: поднимала сопротивляемость, требуя душевного подъема.

«Я не сомневаюсь, что каждая Ваша статья дается Вам с кровавыми мучениями и что в то же [время] испытывать эти мучения Вам *весело*. Эти мучения и это веселье чувствуется в каждой Вашей строке»* — с такими словами обратился Корней Иванович к молодому критику В. Непомнящему, чьи статьи сильно полюбились ему.

В этих словах — самохарактеристика.

Я никогда не видывала литератора, которому писание давалось бы трудней, чем ему: в молодые годы, равно как и в последнее. При тонком и сложном мышлении, к простоте, к ясности, наглядности и силе выражения шел он «кровавыми мучениями», бессонницами, тяжким трудом. Тяжким — но веселым.

«Здесь же меня осеняет такое “счастье работы”, — записал он у себя в дневнике в 1909 году, при переезде на дачу с отдельной вышкой, — какого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина — свою о нем статью — и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать — и на ночь буду читать “Идиота”... Есть ли кто счастливее меня...»*

Не только радость, а градусом выше: счастье. Это в 1909-м. А в 1969-м, через 60 лет, весной его последнего года, я вышла однажды утром на балкон, где он сидел, окутанный пледом, и писал с самого раннего утра, — вышла позвать его завтракать.

— Посмотри, — сказала я, не удержавшись, — какой сегодня день, какое небо, как развернулись листья!

Он встал, откинув плед, поглядел на небо, на березу, где в скворечнике жили не скворцы, а белка с бельчатами, и вдруг настойчиво, торжественно, празднично, без всякой примеси иронии проговорил:

— Надо отблагодарить этот день трудом!

И распрямился, потирая спину, — словно только что пилил дрова.

Но это вечное стремление к веселью духа, к счастью работы не отстраняло его от человеческих бед. (Если они были поправимы.) Как в нем все это сочеталось — не знаю. Но он и в веселье и в горе был не подслеповат, а зорок на чужую беду. (Хотя всем бедам и радостям в мире предпочитал одно счастье — один наркоз — труд.)

Переделкино. Опять мы вдвоем, как бывало в Куоккале, идем по дороге — не по куоккальской ровной Большой Дороге, а по переделкинскому, забирающему вверх шоссе. Траурный день: день смерти моей матери, скончавшейся в 1955 году. Это, пожалуй, самая тяжкая утрата в его жизни. Февраль. Вьюга, как всегда в этот день. Метет. «Вьюга нам слипает очи». В глубоком снегу, пробираясь между оград, надо подняться к той ограде, где рядом с одной могилой оставлено место для второй.

Корней Иванович стоит на том месте, где будет опущен в землю.

Я должна глядеть на него, живого и бодрого, как на будущую его тень.

Иногда стоит он молча, иногда начинает подшучивать. Над своими похоронами. Над своими будущими соседями. Иногда подробно объясняет мне, как я должна поступать, когда здесь его опустят в могилу. И притоптывает валенками: здесь.

(Смерть не страшила его; когда через несколько лет она в упор подошла к его постели и он понял, что на этот раз — смерть, он встретил ее с достоинством. Гораздо спокойнее, чем встречал, бывало, насморк.)

С кладбища мне хочется поскорее бежать, бежать от здешнего своего двойного зрения: вот он, живой, стоит на благополучном

снегу, я вижу и слышу его, а в то же время вижу яму у него под ногами, слушаю чужие речи, вижу опускаемый гроб.

Я тяну его вниз. В последние годы он так часто простуживается! А в валенки забрался снег, воротник мокрый и на плечах снег. Сегодня он полон горьких воспоминаний, печальных предчувствий. Смотрит, не отрываясь, на белый бугор.

Наконец мне удастся его увести. Мы спускаемся с горы, одной рукой я держусь за его по-прежнему горячую руку, другой — за оледенелые прутья оград. Он идет молчаливый, понурый, постаревший, с сероватым лицом, с синеватыми губами... Скорее бы домой, в тепло, чтобы он переобулся, надел шерстяные носки, выпил чаю с малиной, принял валокордин.

Мы спустились с горы. Тут мостик через Сетунь. До дому 15 минут.

Мы идем по одной стороне моста, а по другую бредет человек. Молодой, но согнут в три погибели. Плетется, тащится, опустив голову в мост.

И вдруг, не разгибаясь, не поворачивая к нам головы, говорит все так же лицом в мост:

— Хоть бы вы мне помогли, Корней Иваныч.

Я сосредоточена на мысли, что срочная помощь требуется сейчас Корнею Ивановичу. Что он слаб. Но я ошибаюсь. Легко и быстро пересекает он мост. Большой, бодрый, сильный, как когда-то в бурю на Финском заливе.

— А что с вами? Что случилось?

Нам по дороге. Мы идем вместе, втроем. Корней Иванович принаравливает свой шаг к медленному, трудному шагу прохожего.

Это — рабочий, слесарь. Болит спина, но «врачи ничего не признают»: «пичкают витаминами». Обещают положить в больницу на исследование, а места все нет и нет.

Корней Иванович поднимается с ним вместе по лестнице общежития для рабочих. Записывает имя, фамилию, адрес... И, вернувшись домой, не переобувшись, не обедая, начинает с помощью Клары Израилевны дозваниваться в ближайшую — солнцевскую — больницу.

Мест нет. Но обещают в ближайшие дни. Через несколько дней звонок из больницы: место есть, но транспорта нет.

Корней Иванович предлагает свою машину.

Через несколько дней известие: у больного не радикулит, как предполагали в поликлинике, а рак. Рак позвоночника. Спасти его

нельзя. Можно только уменьшить страдания. Между тем хотя в больнице имеются болеутоляющие, но не такой силы, как требуется.

Новая серия писем, срочно отсылаемых в город с шофером, новая серия звонков. Сильнейшее болеутоляющее добыто.

Такова была его ежедневность.

(Тут необходимо сделать одну оговорку: насчет телефона. Корней Иванович был горячим телефононенавистником. Им владела во все времена его жизни настоящая телефонофобия. Представить себе его спокойно беседующим с кем-нибудь по телефону — как любил он беседовать с людьми бок о бок — невысказано. Он до такой степени не выносил этот способ общения, что нередко ставил в тупик тех, кто звонил ему: возьмет трубку, скажет несколько слов и, не договорив и не дослушав, вдруг положит ее на рычаг, без всякой заключительной фразы, не попрощавшись, оставив в своем собеседнике полную уверенность, будто внезапно оборвалась телефонная связь. Средства борьбы с телефоном применял он разнообразные. В Ленинграде, например, зайдя однажды за книгой в его кабинет, я услышала, что в письменном столе что-то булькает. Он сидит и пишет, а в ящике булькает. Прислушалась: несомненно, человеческий голос. Оказывается, Корней Иванович снял трубку, поздоровался, но, находясь на разгоне работы, говорить не мог: он засунул трубку в ящик стола, чтобы голоса не было слышно, и продолжал писать. Изредка он вынимал трубку оттуда, произносил обольстительным голосом:

— Чудесно! Я с вами совершенно согласен! — и снова упрятывал чужой голос в ящик, сердясь на шнур, который мешал ему задвинуть ящик поглубже.

Вскоре мы перенесли телефон в другую комнату — от него вдалеке! — и стали подходить сами, стараясь оберечь его от звонков. Но вот седьмой раз звонит дама, не называя себя и настойчиво требуя Корнея Ивановича. Я зову его. Я устала врать, будто его нету дома.

— Неужели ты ничего спасительного не способна изобрести? — с раздражением отвечает он мне. И вдруг вдохновенно, как счастливую находку, как строчку стиха, великолепным звонким голосом, слышным во всех углах многокомнатной ленинградской квартиры: — Скажи-и ей, что я уже умер и похоронен на Во-олко-вом кладбище!)

Переделкино заставило его до некоторой степени примириться с телефоном. Все дела его, все издательства, все хлопоты были в Москве. Без телефона не обойдешься. Особенно в самые

последние годы, когда ездить в Москву он перестал совсем. Разумеется, Клара Израилевна и все мы, дежурившие при нем поочередно, сортировали звонки и старались не обременять его телефоном. И все-таки дела, собственные и чужие, вынуждали Корнея Ивановича нередко пользоваться ненавистным ему аппаратом. Дождавшись, когда Клара Израилевна или Марина Николаевна раздобудут все необходимые номера, фамилии, названия, имена, отчества, пока они соединят его с городом, он сам брался за трубку.

— Говорит писатель Чуковский... Второе хирургическое? Старшая сестра? Будьте милостивы, попросите к телефону заведующую отделением. Нина Михайловна? Да, Чуковский... Вы видели Маршака? Очень рад за вас. Вот и на Чуковского не худо бы поглядеть... «Спешите видеть»... (Пауза. Он слушает с нетерпением, но положить трубку нельзя.) Ваш Мишенька знает наизусть всего «Мойдодыра»? У-ди-ви-тельно! У вас подрастает воистину гениальный ребенок... Вот и приехали бы с ним ко мне в Переделкино. Пожалуйста без церемоний... Я Мишеньке надпишу «Муху-Цокотуху», а Мишенькиной маме книжку о Чехове... Да, можете представить себе, пишу не только о букашках-таракашках... Нина Михайловна, будьте великодушны, заставьте за себя вечно Бога молить, у вас там в коридоре лежит больная, мой старинный друг, Любовь Григорьевна Барановская. Врач, всю жизнь отдала медицине. Сейчас ей за восемьдесят. Несчастный случай, на улице, перелом шейки бедра. Будьте милостивы, осмотрите ее сами, лично, соберите консилиум, и главное, дорогой друг, я по голосу слышу, что вы — человек сердечный, участливый, — если можно, из коридора в палату... Мишеньке кланяюсь!

И он действительно кланялся, прижимая руку к груди. И в изнеможении клал трубку.

Или так:

— Иван Петрович? Говорит писатель Чуковский. У вас там произошло недоразумение с одним поступающим, Гришей Бескиным... Не Чулковский — Чуковский. Да, да, тот самый писатель. (Пауза. Корней Иванович нетерпеливо слушает. Собеседник, как это явствует из дальнейшего разговора, сообщает ему, что жена его тоже пишет стихи для детей.) Какое счастливое совпадение! Вот и приехали бы вместе с женой ко мне в Переделкино, почитали бы... В любое воскресенье. Зиночка знает наизусть всю «Муху-Цокотуху»? Поразительно! Буду рад увидеть такое фе-но-ме-

нальное дитя! Я подарю ей «Тараканище», а вашей жене переводы из Уитмена. Да, представьте себе, пишу не только про бегемотов. Иван Петрович, Гришу Бескина я знаю чуть не с младенческих лет. Он прирожденный историк. Недавно был у меня и так талантливо рассказывал о скифах. Пытливый, начитанный юноша. Создан для изучения истории... И вот как раз по истории — тройка. Мать — одна сплошная слеза. Тут недоразумение какое-то. Будьте моим благодетелем, Иван Петрович, вникните в это дело лично, я много слышал о вашей проницательности и доброте...

Так вмешивался он в чужие судьбы, пытаюсь приносить людям радость. Заступнические письма и звонки в издательства, в Моссовет, в прокуратуру, в Союз писателей — в самые страшные годы, включая тридцать седьмой, — могли бы составить тома. Радостью, приносимой другим, он пытался поддерживать радость в себе. Чувство, необходимое ему как воздух. Веселье. Из самого черного мрака выводила его эта потребность.

...Снова траурный день: февраль. Снова вьюга, как всегда в этот день. Снова мы на шоссе, потом на могиле: на двух могилах — настоящей и будущей. Он в отчаянии. Не написал того-то, не переделал того-то. Когда мы спускаемся по тропинке с горы, начинается самый невыносимый для меня разговор: завещательный. Что я должна делать, когда его не станет.

— Да, да, — бормочу я скороговоркой. — Я непременно... Ты не беспокойся, мы сделаем... Давай поговорим об этом дома. Я не забуду. Не беспокойся. Даю тебе слово.

Я понимаю, что надо срочно переключить его мысли на что-то другое. Отвлекается-то ведь он легко! И когда мы выходим на мостик, хватаюсь за первое попавшееся воспоминание.

— А помнишь, — говорю я необдуманно, — ровно год назад, в этот же самый день, на этом самом мостике, мы встретили человека...

— Да, — сухо отвечает он. — Человек просил у меня помощи, а я не помог. Он умер.

— Но ты же достал для него средство против боли. Средства против рака нет!

А нет — зачем же я заговорила об этом?

Корней Иванович идет возле меня на неверных стариковских ногах, с трудом одолевая ветер. Хмурый, слабый! Не удалось мне отвлечь его от черных мыслей. Напротив. Я глубже окунула его во мрак.



К. Чуковский с детьми. Перedelкино. 1960-е годы

Но — ненадолго. Когда мы приходим домой, передняя полна шарфов и шапок. В столовой — дети. Приехали вместе с учительницей из одной московской школы школьники 7-го класса. Человек двадцать пять. Они глядят на него с любопытством, застенчивостью, ожиданием.

«Как это некстати, — думаю я, — ему бы лечь поскорее».

Но он воспринимает вторжение детей совершенно иначе. Целительный источник радости перед ним.

В нем мгновенно пробуждается еще одно присущее ему дарование — актерское.

Он резво кидает пальто и шапку на кучу шарфов, шапок, пальто и под ожидающими взглядами зрителей садится в столовой на диван.

— Кла-арка! — зычным голосом кричит он и трижды хлопает в ладоши.

Наверху смолкает стук машинки. Дети глядят на него во все глаза.

— Кто из вас знает, когда рухнуло крепостное право? В 1861 году! Верно! Сто лет тому назад! А вот у меня в доме оно до сих пор

продолжается. Сейчас я вам это докажу! «Эй, Иван!» Кларка, сюда! Стащить со старика валенки!

Клара Израилевна, никогда не знающая за минуту, какая впоследствии затея, но всегда готовая принять участие в очередном представлении, улыбаясь, опускается перед ним на ковер. И помогает стаскивать валенки. Он делает вид, что ему больно, гримасничает и слегка толкает ее валенком в плечо.

Она смеется. Дети тоже.

Игра началась.

— Эй, Иван, туфли! — кричит Корней Иванович.

Клара Израилевна мигом приносит сверху домашние туфли.

— То-то же! — грозит он ей, помахивая пальцем, как грозил когда-то мне. И притоптывает туфлями по ковру.

«Виноват!» — порядком струся,

Говорит Иван*.

«Жарь к обеду с кашей гуся,

Щи вари, болван!»

— Убедились? Свистать всех наверх!

Он поднимется с детьми наверх, к себе в кабинет, почитает им Некрасова, а может быть, если почувствует отзвук, и Блока.

Он станет долго тыльными сторонами своих длинных кистей обтирать губы, словно готовясь к поцелую; потом сделает вид, будто чмокнул учительницу, и воскликнет, отстраняясь: «Он сорвал поцелуй с ее розовых губок!», или, обняв за плечи: «Дорогая, наконец-то мы одни!», или: «Мы будем с тобой молчаливы!»*, или:

Старика разорит на подарки*,

В сердце юноши кинет любовь.

Он непременно покажет детям паровоз, который умеет сам объезжать стулья, и льва, который умеет говорить, и Шалтая-Болтая, сидящего, свесив ноги, не на стене, а на книгах, на полке над тахтой. Он выищет, высмотрит среди детей наиболее оживленных, смысленных и расспросит о них учительницу — знакомясь по ее ответам о них с ней самой.

Он и в этот траурный день вернет себе радость, подарив радость другим.

XV

Я знаю в жизни Корнея Ивановича одну только боль, которую он, не пуская наружу, не забывал никогда, ничем не заслонял и не вытеснял, одну обиду, которой он разрешил себе питаться.

Веселость, воля к забвению бед и обид в этом случае оказались бессильными. Счастливая работа — тоже.

Это было недоброе чувство к отцу — непрощаемая судьба матери, сестры и собственное обокраденное детство.

«Я родился в Петербурге в 1882 году, после чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии; и она с двумя детьми переехала на житье в Одессу» — так пишет Корней Чуковский в кратком автобиографическом очерке, открывающем собрание его сочинений.

О дедушке, папином папе, в нашей семье не говорилось никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какие времена, ни по какому поводу. В устном разговоре Корней Иванович прочно молчал о нем и так и промолчал всю свою долгую жизнь, а в печати заговорил дважды: в приведенном очерке «О себе» и в повести «Серебряный герб». В обоих случаях для того, чтобы сказать «покинул» и изобразить участь покинутых.

Я пишу не биографию Корнея Ивановича. Я пишу свое детство, а оно было создано им. Он и мое детство — сколько бы ни прибавлялось годов ему и соответственно мне — для меня нераздельны. Глядя на его руки во гробе, я видела эти руки на веслах в Куоккале. А он, каким он был и каким создавал наше детство, сам был создан своею покинутостью. Вот почему я не могу о ней не написать. Тут одна из основ его отношения к детям, своим и чужим, источник его ненасытного желания обогащать детей, одаривать их, чтобы они, чего доброго, не оказались «бедные, бедные». Отсюда, из собственной детской покинутости, его постоянное вглядывание, вслушивание в детскую жизнь; настойчивая просьба к взрослым: беречь детей, уважать детей; тут происхождение его книг, обращенных к детям, и «От двух до пяти» — книги о детях, обращенной к взрослым. Отсюда же и библиотека: выстроенный им в Переделкине домик, полный игрушек и книг, и подаренный окрестным ребятишкам. Отсюда его постоянная забота о нас: чтобы мы росли внутри культуры, а не в разлуке с ней. Английский, стихи, лыжи, книги.

Все, чего мальчиком лишен был он сам. Все, чем он одаривал нас, своих детей, когда сам стал отцом.

Ожог, полученный им в детстве, ныл, не заживая никогда.

О силе ожога свидетельствует запись у него в дневнике, сделанная в 1925 году, когда было ему уже без малого 43 и когда из Николая Васильевича Корнейчукова он уже и документально был превращен в Корнея Ивановича Чуковского.

Однажды в пору неожиданного и вынужденного досуга во время болезни он вздумал перебирать старые бумаги и, перечитывая их, с отвращением вспомнил отрочество и юность.

Он был хуже, чем обокраден, — оплеван.

Только один человек в мире, да и то никогда не существовавший, герой романа «Подросток» — мог быть автором этой страницы.

Вот она:

«Особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма — уничтожил бы с радостью и самое время. Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность — у меня даже имени не было... Я как незаконнорожденный... был самым нецельным, непростым человеком на земле. Главное: я мучительно стыдился в те годы сказать, что я “незаконный”... Признать себя незаконным — значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что... я единственный — незаконный, что все остальные на свете — законные, что все у меня за спиной перешептываются и что, когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было в самом деле. Помню... пытки того времени:

— Какое же ваше звание?

— Я крестьянин.

— Ваши документы?

А в документах страшные слова: сын крестьянки, *девицы* такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей епархиальной школы; в этом аттестате написано: “Дочь крестьянки Мария (*без отчества*) Корнейчукова — оказала отличные успехи”. Я и сейчас помню, что это... пронзило меня стыдом. “Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие”, — и ког-



Екатерина Осиповна Корнейчукова с сыном Николаем и дочерью Марией.
Фотография А. Хлопонина. Одесса. Около 1885 года

да дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было, — я вижу: это письмо незаконнорожденного... Особенно мучительно было мне в 16–17 лет... Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — “зовите меня просто Колей”, “а я Коля” и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль*.

Боль была и осталась — во взрослом человеке, в пожилом, в старике, — хотя и смягченная новым именем, которое он создал себе, выбрал себе и которое после революции было закреплено документами.

В куюккальскую же пору, когда по документам он был еще сыном «девицы Екатерины Осиповны Корнейчуковой», боль жгла

неутолимо; любовь и жалость к матери и глубокое почитание матери, усвоенное с детства, заставляли испытывать вражду к отцу.

С этой враждою он не умел бороться.

Помню, однажды в Куоккале, когда мне было, вероятно, лет шесть, а Коле девять, наша мама, Мария Борисовна, внезапно позвала нас к себе в спальню, плотно закрыла дверь и, как нам представлялось, ни с того ни с сего сказала:

— Запомните, дети, спрашивать папу о его папе, вашем дедушке, нельзя. Никогда не спрашивайте ничего. Запомнили? Ступайте.

Признаться, спрашивать мы и не собирались: до этой минуты нам не приходило на ум, что родных у нас — не полный комплект. Мамин папа, один наш дедушка, мы знали, умер, когда родился Боба, — но ни я, ни Коля до этого все равно его никогда не видали. Мамина мама, бабушка, была жива, но видели мы только ее фотографию и письма. Мелькали, приезжая иногда в Куоккалу, тетя Маруся, папина сестра, и тетя Зиночка — мамина. Была еще тетя Наташа, тоже мамин сестра. Из близких родных знали мы хорошо и любили одну только бабушку, папину маму, Екатерину Осиповну. Она приезжала каждый год; гостила подолгу; величаявая, красивая, статная женщина с умелыми руками; пекла вкусные пироги, изготовляла коржики и маковники на меду, а какие пекла куличичи! (Куличичи бабушка посылала даже в Лондон, рассказывали нам, когда наш папа женился и вместе с мамой уехал туда корреспондентом одесской газеты.) Если бабушка приезжала на Пасху, то синие, зеленые, красные, желтые яйца — «крашенки» — появлялись у нас на столе, высились на блюде веселой горкой, сразу превращая наш будничньй стол в праздничньй.

Бабушка Екатерина Осиповна была набожна. У нас дома икон не водилось, в церковь нас не посылали, но, чтобы не обидеть бабушку, накануне ее приезда вешали в детской, где она поселялась вместе со мною и с Бобой, любимую ее икону Николая Чудотворца и зажигали лампадку.

Веселыми ногами бежали мы встречать ее на вокзал. Игрушек она не привозила нам, но зато вдоволь вишневого варенья без косточек. Корней Иванович с трудом выносил из вагона тяжелую плетеную корзину и подзывал извозчика.

Они были похожи друг на друга — папа и бабушка. Оба широко-чернобровые, оба со светлыми зелеными глазами, только бабушка хоть и поменьше ростом, а гораздо красивее.

Папе она говорила, когда он, случилось, выходил из кабинета взлохмаченный:

— Убери волосы с лоба! — и властной рукой убирала ему прядь со лба.

Он — выше ее ростом — покорно наклонял голову, будто и впрямь на минуту становился маленьким.

Не слушая мамо-папиных воплей, бабушка, чуть приехав, сейчас же бралась за работу: шила мне фартучки, штопала папе носки, а нам чулки. Без работы не могла посидеть и минуты. По-особенному крахмалила занавески и скатерти.

...Не знаю, как Коля, а я, шестилетняя, не очень-то была сильна в понимании, сколько у каждого человека должно быть бабушек и дедушек. После маминих слов я впервые задумалась: в самом деле, где же наш дедушка, папин папа? И почему это о нем нельзя спрашивать?

— Этот дедушка, наверное, умер, — сказала я Коле после маминих запрета.

— Чепуха. Реникса. Вот ведь мамин папа умер, а она о нем рассказывает. На комодке стоит карточка. Тетя Зина тоже рассказывает. А про этого почему-то нельзя.

— Может быть, он из тюрьмы? — спросила я. — Прячется. Боятся. Когда из тюрьмы — они тоже не велят говорить.

Но не велят так не велят. Дедушка, в числе других родных, которых мы не видели, нас не особенно занимал, и мы мамино требование исполнили без труда.

Однако миновало года два, и мама с такой же внезапностью вдруг объявила нам:

— Коля переедет из классной вниз, в столовую, а классную надо приготовить для гостя. Завтра приезжает папин папа, ваш дедушка, и поживет у нас недели две.

— А разговаривать с ним можно? — спросила я.

На следующее утро к калитке подкатила таратайка нашего соседа, извозчика Колляри, заказанная с вечера Корнеем Ивановичем, и он отправился на станцию встречать дедушку.

Отправился один. Нас не взял.

Мама и няня Тоня хлопотали на кухне. Мы же предавались всем трем запретнейшим грехам сразу: ничегонеделанью, отлыниванью, битью баклуш.

Мы ждали.

И вот наконец у калитки: Колляри, папа, дедушка. Папа несет дедушкин чемодан. Дедушку я не рассматриваю; вижу только, что с бородой. Я впиваюсь в его руки, перегруженные цветами и пакетами. Дедушка всем привез подарки: маме — цветы, Коле — нарядную книгу, мне — куклу, а Бобе — барабан.

Стол накрыт. Из кухни пахнет пирожками. Но к столу не садятся: папа увел дедушку наверх, в кабинет. Я ушла в малину, за ледник — обдумывать: что бы такое сделать с этой куклой, куда бы ее деть и как назвать? Куклы (все подарки папо-маминых знакомых!) я терпеть не могла, играть в них не умела — я росла с мальчишками.

(До переезда в Петроград у меня не было ни одной подруги. Корней Иванович рассказывал мне, что лет до трех я говорила про себя, как Коля, в мужском роде: «я сам», «я съел». С куклами я обыкновенно обращалась так: из добросовестности рассаживала утром на стулья, объявляла: «Мама уехала в город по делам» — и более к ним в течение дня не притрагивалась.

Имя для этой я, впрочем, придумала быстро: Флоренса, Фло.)

И вдруг дверь веранды звонко отворилась. Из нее выбежал Корней Иванович с дедушкиным чемоданом в руках. И побежал к калитке. За ним еле поспевал дедушка (тут я разглядела его: высокий, худощавый, прямой, с квадратной бородкой). Корней Иванович выбежал за калитку и широко растворил ее перед гостем. Подал ему чемодан и ушел. И затворил за собою калитку.

— Почему никто не обедает? — крикнул он нам, подойдя к дому.

За обедом про дедушку не было сказано ни единого слова. После обеда тоже. За всю последующую жизнь тоже. Как я понимаю теперь, разговор у них наверху, в кабинете, зашел о Екатерине Осиповне. О детях — Марусе и Коле, у которых никогда не было «такой роскоши, как отец», о мальчике, который одержим был сознанием, что он, и его мать, и сестра «не как все люди, мы хуже, мы самые низкие».

Когда мне исполнилось 17 лет, родители отпустили меня к бабушке в Одессу. Впервые ехала я одна поездом дальнего следования. Вот и бабушкина квартира: крошечная, сверкающая чистотой. Вся в цветах — на подоконниках, на полу, — а стены в фотографиях Корнея Ивановича. (У нас дома культивировались главным образом карикатуры на него, а из портретов висел всегда один: фотография репинского, 1910 года.) Бабушка, видно, карикатур не



Коля Корнейчуков. Одесса. 1897 год

любила, а фотографии сына, даже самые мутные, газетные, вырезывала и вешала на стену. Вот и плюшевый семейный альбом: маленькие Коля и Маруся вдвоем, в башмачках с пуговками; Коля и Маруся вместе с бабушкой — ах, какая она красивая! А вот Коля отдельно: гимназист, в фуражке, из которой еще не выломан герб, все честь честью: шинель, ранец. Это, значит, еще до исключения.

— Я еще тогда знала, что мой Коленька умный, — говорит бабушка со вздохом, — но не могла объяснить им.

Она шесть часов просидела в приемной у директора. Он принял ее — но что можно объяснить человеку, исполняющему распоряжение начальства!

Я поднимаю глаза от альбома. Над чашей фикусов большая, увеличенная фотография в тяжелой раме. Я узнаю — тот самый ху-

дощавый, стройный человек, с аккуратно подстриженной бородкой. Тот, о котором нельзя спрашивать.

— Твой папа его не любит, — говорит бабушка, подметив мой взгляд. — За меня. Но твой папа не прав: он очень, очень хороший человек.

Был ли он в самом деле хорош? Бабушка всю жизнь любила его и ни за кого не вышла замуж, хотя к ней и сватались. Был ли он плох? Я не знаю и не мне судить.

Надеюсь, права была Екатерина Осиповна. Но для Корнея Ивановича детская его покинутость была единственная личная обида, которую он не мог победить ни трудом, ни весельем.

Вот разве чем: на всю жизнь повернуться лицом к детям.

XVI

Любил ли Корней Иванович детей?

Праздный вопрос. После всего рассказанного выше — в особенности.

Глупый вопрос. Ясно — любил. Кто же не любит милых крошек?

«Дети — цветы жизни», «дети — наше будущее». А уж Чуковский! «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр». «От двух до пяти». Молодой отец, сильными руками подкидывающий к потолку сына... А потом — добрый дедушка Корней.

Между тем, хотя детей он в самом деле любил, и одарял их, и светил им, ответ не так прост, как кажется с первого взгляда: любил он их очень по-своему; во всяком случае, тех взрослых, которые шумно восхищаются детьми, он не терпел: мам, пап, дядь, бурно ласкающих своих малюток, взасос их целующих, дающих им нежные прозвища, обсасывающих с ног до головы, чмокающих, чавкающих, осыпающих деток подарками, уверенных, что их дети, не в пример другим, и умны, и талантливы, и прелестны; терпеть не мог кудряшки и кружевца, белые чулки; не выносил дни рождения с обязательными подарками, тортами, родственниками; я не помню, чтобы он когда-нибудь при мне поцеловал ребенка, никакой его ласки в детстве не помню, ни себе, ни другим, разве что руку положит на плечо или на голову, или весело погро-



Корней Чуковский выдает книги в детской библиотеке в Переделкино.
Фотография А. Л. Лесса. 1957 год

зит длинным пальцем, или займется «пополам-перепиливанием»; не помню, чтобы он, так щедро раздаривающий себя детям, своим и чужим (после смерти Мурочки он стал, кроме посетителя школ и детских садов, еще и постоянным посетителем детских туберкулезных санаториев и больниц — и не было для детей более счастливого подарка, чем его появление, словно разукрашенную елку вносили в палату!), так вот: не помню, чтобы он, сам бывший для нас любимой игрушкой, подарил кому-нибудь то, что все дарят детям в знак своей любви: коробку шоколада, куклу или солдатиков. Дарил он тетрадь, блокнот, перочинный ножичек или, как венец творения, красно-синий карандаш; словом, всякую писчебумажную утварь, которую обожал, а иногда — быстро нарисованные смешные картинки. (Впрочем, из Лондона в 1916 году привез нам две художественно исполненные куклы: шотландца в национальном наряде и «холлиуога».) А вообще-то уверял, что большое количество игрушек — вредно для детей, что дарить надо пореже, иначе игрушка лишается праздничности; что взрослые дарят детям игрушки по большей части из тщеславия. И потому, что это

легко. Зашел, купил, подарил. Никакой мысли о ребенке, в сущности, тут не требуется. Были бы деньги.

Любил ли он детей?

Детское в нем самом не умирало никогда.

Читая одну английскую книгу, где, между прочим, утверждалось: бывают случаи, когда черты детства сохраняются и во взрослом человеке, он написал на полях: «это я».

Ему в самом деле было весело скакать на одной ноге или строить из песка крепости. Тяга к исследованию не иссякала тоже. Он испытывал к детям не только нежность, но и любопытство: чувство ученого, экспериментатора, педагога. Общение с детьми было его всегдашней потребностью, вроде еды, питья, книги. Со своими? Да, и со своими. Но своих ему было мало, своих он знал наизусть, а его всегда влекла новизна; для вглядывания, вслушивания, для общей игры он нуждался все в новых и новых представителях детства. Он сам сказал о себе, что «пошел в дети», как другие «уходили в народ»*. Конечно, его занимал каждый ребенок в отдельности, но больше он любил общаться со множеством — со стайками, ватагами, командами, компаниями, палатами в больнице, классами в школе. Вглядывался, вслушивался в детей на уроках, на ходу, в труде, в игре и, главное, был их соучастником. Они швыряли камни — кто дальше? И он вместе с ними. Они по деревьям — кто выше? И он! Мы по одному рельсу — кто дальше пройдет, ни разу не соскользнув на насыпь? — и он вместе с нами. Он разгребает снег — а ну-ка, Лида, Коля, Павка, давайте и вы!

А нас у него было в Куоккале трое своих да пятеро чужих, русских и финнов.

Пятеро? Нет, завтра еще и еще.

В Переделкине дети из трех деревень, да еще полные автобусы из Москвы, да еще дети, прыгающие со всех заборов, выбегающие изо всех калиток во время его медленной прогулки по улице. Длинными руками он прижимал их к себе, обнимая сразу троих, а помельче и пятерых, и они утыкались носами в его шубу. Дети сторожей, шоферов, писателей, истопников.

— Здорово, Никита! Ну, что, сдал свою математику?

— Ниночка? Покажи, какую книгу ты сегодня взяла. Возьми в следующий раз Андерсена.



Корней Иванович и его читательница Надя Шаманина. Переделкино. 1960-е годы

Как и чем он был для них — об этом пишутся статьи и исследования. А мне хочется понять, чем они были для него, какую роль играли в его жизни.

Предоставим для ответа слово ему самому.

Вот несколько цитат из дневника и писем.

«С тех пор как я познакомился с этими детьми... для меня как-то затуманились все взрослые. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей»*.

«У меня есть особый способ лечиться от тоски и тревоги: созвать к себе детей и провести с ними часов пять, шесть, семь»*.

«Был у меня Ал[ексей] Ив[анович] Пантелеев, и мы пошли с ним на Неясную поляну. За нами увязались веселые дети: Леночка Тренева, Варя Арбузова, Леня Пастернак, и еще какие-то — шестилетние, пятилетние, восьмилетние веселой гирляндой — тут драка не драка, игра не игра. Барахтаются, визжат, цепляются — в каком-то широком ритме, который всегда дается детям осенью, в солнечный день — подарили мне подсолнухов, оборвали для меня

всю рябину — и мне вдруг после страшно тяжелой похоронной тоски стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело, что, должно быть, А[лексей] И[ванович] с изумлением смотрел на этот припадок стариковской резвости»*.

«Я прошел в изолятор — к больным детям... Я посидел с больными детьми больше часа, тихо рассказывал им сказки — и пошлость как-то отошла от меня... Вчера еще до дождя я ходил бриться в “голярню” (деревенскую). Очередь. Пришлось долго ждать. Я ждал в саду — где несколько дубов. Три девочки — Нина, Лида и еще одна играли в мяч. Я стал играть с ними, показал им все игры, какие знал, и пропустил очередь в голярню. Старческий инфантилизм, но эти два часа я вспоминаю, как самые счастливые в Киеве»*.

«Было это, кажется, 5 октября. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589-я школа, 5-й класс и 2-й класс. У меня болела голова, я лежал в тоске — и вдруг столько чудесных, веселых неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали наперегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками — и, мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу. Насколько они лучше наших переделкинских (мещанских) детей. В библиотеке я много читал им своего — они внимательнейше слушали. Потом бегали по скамьям, показывали физкультурные номера, влезали на деревья, девчонки не хуже мальчишек»*.

В этот день дежурила возле него в Переделкине я. Незадолго Корней Иванович перенес сердечный спазм; врачи уже позволили ему встать с постели, но велено было следить, чтобы он не переутомлялся. И вот приехали школьники. Корней Иванович читал им вслух, затем, напрягая голос, командовал их беготней по саду. Мальчик полез на дерево. Стоя возле ствола, учительница, надрываясь, кричала:

— Липатов, спускайся! Спускайся вниз! Сейчас же слезай! Кому говорю! Липатов!

Корней Иванович стоял у того же ствола. Он кричал во всю мощь своего непостаревшего голоса:

— Лезь, лезь, повыше, Володя! Там широкие удобные ветки, видишь? Лезь, не гляди вниз!

Мне казалось, он слишком возбужден, слишком долго на воздухе, слишком напрягает голос, утомляет сердце.

— Корней Иванович устал, — сказала я тихонько учительнице. — Ему пора бы домой.

Он услышал меня.

— Не слушайте эту старую тетку! — закричал он сердито. — Ничего я не устал! Я здоров! А ну, ребята, кто соберет больше шишек?

Исполнилось ему незадолго до этого 78 лет. В тот день я, «старая тетка», с такой пронзительной ясностью вспомнила наши куоккальские игры и как он учил меня и Колю лазить по деревьям.

Что же давала ему дружба с детьми? Материал для наблюдений? Не только.

«...Пошлость как-то отошла от меня».

«...Мне вдруг... стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело...»

«Странно, что отдыхать я могу только в среде детей...»

«Я... показал им все игры, какие знал... эти два часа я вспоминаю, как самые счастливые в Киеве».

«...Я много читал им своего — они внимательнейше слушали».

Итак, общение с детьми излечивало его от тоски; оно не только не утомляло, но возрождало его; оно отмывало его от пошлости (дети столь же редко бывают пошляками, сколь часто ими бывают взрослые). Он любил читать детям стихи и прозу; дети, верил он, самая восприимчивая к искусству, самая творческая аудитория на всем свете. В детях отчетливо соединялось для него все, чем он жил: повышенная восприимчивость к искусству, к природе, творческое отношение к жизни.

«...Я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу».

Влюблен в тех школьников, которые весело лазили по деревьям, а потом слушали его чтение — как мы когда-то лазили по деревьям, а потом слушали его чтение, только не среди леса, а на морском берегу.

И вдруг среди его записей появилась одна, совсем для него необычная, непохожая на все остальные, словно сделана была не им, не тем стариком, которому с детьми становилось «безбрежно и размашисто весело», а другой старик, и не старик, а старец, великий, хмурый, бессмертный, ополчившийся на искусство во

имя гневной проповеди добра, оторвавший художество от проповеди, продиктовал ему эти строки:

«...по-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу — и заняться детьми — читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни, а без этого — одна раздача книг — бесполезна»*.

Эти строки промелькнули и не повторились более. Конечно, он всегда сознавал, что в библиотеке одна раздача книг недостаточна, и потому устраивал два раза в год «костры» при участии актеров, акробатов и поэтов и постоянно упорно просил интеллигентных людей всех профессий, окружавших его, приходить в библиотеку, беседовать с детьми.

Это он совершал и до приведенной мною столь необычной записи, и после нее. Но «бросить всю литературу», то есть собственный литературный труд, и заняться детьми, только детьми, как сказано в этой записи, — он не мог. На такое самоотречение у него никогда не хватило бы сил. Литература, художество, книги, чужие и собственные, были для него и остались до конца дороже всего на свете. И как бы он ни был занят детьми — литературным трудом он был поглощен с головой.

В десятые годы нашего века, в куоккальскую давнюю пору, он был одним из самых известных и самых звонких критиков России. С трудом критика не могло тогда разлучить его ничто, даже интерес к детям. Да и в детях выискивал он художнические черты прежде всего или, во всяком случае, ценил в них племя, наиболее восприимчивое к художеству из всех племен Земли. Сам он ощущал себя прирожденным критиком, инструментом, созданным для восприятия искусства, и действительно был им, воспринимая стихи и прозу, классическую и современную, не только глазом и ухом, но словно бы и кончиками пальцев, и всей своей кожей. Он был фанатиком литературного труда. Искусством он был одержим.

Он написал, перевел, проредактировал за свою долгую жизнь тысячи страниц. Филология, история литературы, текстология, мемуары, примечания. Литературные портреты, критические статьи.

«Редко встречал человека, — писал о нем в 1914 году Анатолию Федоровичу Кони Илья Ефимович Репин, — столь достойного книг... Его феноменальная любовь к литературе, глубочайшее уважение к манускриптам заражает всех нас...»*

Из эвакуации, во время войны, он, уже знаменитый сказочник, писал своему другу:

«Я (может быть, слишком поздно) понял, что основное мое призвание — характеристики, литературные портреты и мне было весело работать над ними»*.

Критиком, ценителем искусства он был по призванию. Был рожден им.

28 октября 1968 года, за год до смерти, работая над собранием своих сочинений и пересматривая свои критические статьи десятых и двадцатых годов, написал мне:

«Я поглощен своим седьмым томом: в нем будут лучшие мои статьи. Эх, хорошо мне когда-то писалось, а я и не подозревал об этом. Не было такого дня, когда бы я был доволен собою, своей работой, и только теперь, через тысячу лет, я вижу, как добросовестно и старательно я работал»*.

О своей преданности литературному труду он мог бы сказать теми словами, какими Репин написал однажды о собственной. Тут все несопоставимо — сопоставимо лишь одно: жизнь в искусстве. Для обоих труд в искусстве был основой жизни.

«...Искусство я люблю... больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей, — писал Репин. — Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо... Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, кем бы я ни восхищался, чем бы ни наслаждался... Оно, всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, кот[орые] я посвящаю ему, — лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти, все в этих часах, кот[орые] лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни»*.

Да, Корней Чуковский любил детей и много отдавал им себя. И многое от них получал: непосредственное веселье, и «сердитки», и «мазелин». Но смыслом его жизни было искусство. Он и детей-то любил прежде всего за их творческое отношение к миру: за восприимчивость к природе, к игре, к поэзии. За то, что они, как маленькие боги, творили слова.

«Нужно уважать детскую душу, — писал он в статье “О детском языке”, — это душа создателя и художника»*.

Критик Корней Чуковский был художником. Без этого не понять ни замысла его критических статей, ни причины их воздей-

ствия. Он работал над ними, как другие работают над стихами, выстраивал абзацы как строфы, подчиняя движение мысли и образов ритму — скрыто присущему всякой прозе, — проверяя вес, возраст, звук каждого слова, вслушиваясь в то, как звучит оно рядом с другими; и готовил написанное для чтения вслух. Статьи его (в неменьшей степени, чем сказки) рассчитаны на громкое чтение в многолюдном зале, где, слушая, не должен ни на минуту соскучиться, зевнуть, заговорить с соседом ни один человек.

Отсюда разнообразие внутренних жестов, выраженное в разнообразии интонаций, крутизна и неожиданность поворотов — все рассчитано на слушателя, хотя статьи писались для газетных полос и книжных страниц.

«Лекцию дописывал в поезде»*, — сообщал он из одной поездки по провинциальным городам.

«Дописывал лекцию» — то есть нечто, подлежащее громкому чтению.

«Певучесть», звучность его статей, подчиненность мысли движению ритма чувствовали многие, в особенности поэты. Ольга Дьячкова, поэтесса, слушавшая лекции Корнея Ивановича в студиях «Всемирной литературы» и Дома искусств, написала о них такие стихи (портрет его самого, портрет его лекций-статей и манеры чтения):

На самых скучных лицах меньше скуки*.
Идет. Еще один аршинный шаг —
И на столе живут большие руки
Вокруг больших внушительных бумаг.
Вот вкрадчивым, приветливым вступленьем
Погладил публику, как будто лапкой кот,
И как артист, влюбленный в исполнение,
Свою статью торжественно *поет*.

«Петь» можно только то, что подчинено ритму.

Справку или протокол — не споешь.

Критические статьи Чуковского, в особенности молодые, принято было раньше, принято и сейчас обвинять в субъективности.

Обвинение справедливое: они субъективны не в меньшей степени, чем любые лирические стихи.

Обвинение несправедливое: они субъективны по крайнему своеобразию мысли и стиля, не в меньшей степени, чем своеобразен был голос, произносивший их. Однако, как и всякий художник, Корней Чуковский стремился (пусть собственными, субъективными средствами) выразить суждение объективное. Насколько ему это удалось — вопрос другой. Мне лишь важно подчеркнуть, что статьи его надо измерять теми мерками, которые мы прилагаем к искусству, а не теми элементарными «правильно — неправильно», какие прилагаются обычно к критическим статьям. Так, например, его статья о Леониде Андрееве — художественное произведение в неменьшей степени, чем рассказы Андреева, которые в ней критикуются, или, точнее говоря, изображаются. Сам он, хотя и был невысокого мнения о своем даре, ощущал себя во время работы художником.

Характерны в этом смысле признания, сделанные им в нескольких письмах.

Настаивая на том, чтобы Тамара Григорьевна Габбе, в сотрудничестве с друзьями, написала историю литературы для детей, он предлагал ей — в 1939 году — написать портреты писателей — Пантелеева, Житкова, Ильина, Барто, Введенского, Хармса, Паустовского, Катаева, Зощенко — и при этом счел необходимым предупредить:

«Импрессионизма бояться не нужно», — не нужно потому, что статьям должен быть придан научный аппарат.

«...Весь этот научный аппарат будет служить для читателя компенсацией. Им будут парализованы те черты *кажущегося дилетантизма*, которые неотъемлемы от всякой импрессионистской характеристики»*.

Тут важное автопризнание. Статьи Корнея Чуковского импрессионистичны, основа же для импрессионистической статьи — изучение, научность.

В 1920 году, в письме к Горькому, Корней Чуковский, определяя свой критический метод, прямо говорит, что критик обязан быть ученым и художником вместе:

«Я изучаю *излюбленные приемы* писателя, *пристрастие* его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам и на основании этого чисто формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя... Наши милые «русские мальчики»... стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применя-

ли меру, число и вес, но они на этом останавливаются: я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании формальных подходов к материалу конструировать то, что прежде называлось *душою* поэта... Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека»*.

В конце жизни Корнею Чуковскому дана была степень доктора филологических наук. Это естественно: он был ученый. Но он «творил образ человека» — был художник. Приемы его собственных критических статей — приемы художника. Слабого или сильного, вопрос другой, но вне этого ключа они определению не поддаются. Будущие исследователи станут изучать стилистику его статей, как уже изучают ныне стилистику его сказок. На Корнея Чуковского неизбежно найдется свой Корней Чуковский. И прежде всего изучит он, думается мне, те приемы, которыми достигалась двуадресность. Критик должен сказать свое слово так, чтобы его поняли не только изощренные слушатели, «но и желторотый студент и комиссариатская барышня», — заявлял Корней Иванович в письме к Горькому.

Критическая статья, стало быть, — это послание, отправленное по двум адресам. Оно может достичь обоих адресатов только в том случае, если критик обладает художественным даром.

Критик-фельетонист Корней Чуковский обладал им.

«Бросить литературу!» — этого он не мог.

Его «радости до счастья, горести до смерти» — все было в тех часах, когда он писал.

«Сколько забот о стиле, о композиции, — признавался он в 1923 году, — и обо многом другом, о чем обычно не заботятся критики! Каждая критическая статья для меня — произведение искусства (может быть, плохого, но искусства!), и когда я писал, например, свою статью «Нат Пинкертон», мне казалось, что я пишу поэму»*.

(Характерны эти поиски названий: «Критические рассказы», «Рассказы о Некрасове», «Портреты современных писателей»*. И вот новое определение: оказывается, свои статьи он ощущал как поэмы.)

Я помню, зимою, в Куоккале, когда он погружался в сочинение очередной своей «поэмы», он убежал из тепло вытопленной

своей дачи, от благоустроенного письменного стола, в чью-нибудь чужую, нежилую, пустую, в промерзший дощатый сарай и часами, а то и сутками писал там, без стола, в пальто, в валенках и шапке, сидя на полу, на газете, притулившись к стене. Один, в полной отрешенности от людей. Наверное, именно в эти минуты казалось ему, что он пишет поэму. В руках дощечка с бумагой, опертая на острые колени, и карандаш. Кругом, на полу, раскиданы книги и исписанные листы. Изо рта валит пар.

XVII

В те часы и сутки, когда он писал статью или, по его ощущению, поэму, он жаждал одиночества: книга, о которой он пишет; поэма, которую он пишет; свеча, запас бумаги, чернил, карандашей — и чтобы ни единой живой души рядом. Никого поблизости — ни чужих, ни своих. Он требовал полной тишины, и притом защищенной, надежной. Как в броне. Как во сне. Что касается нас, детей, то от нас требовалась одна дружеская услуга: провалиться сквозь землю. На какой срок, неизвестно — во всяком случае, пока он работает.

Наш отважный мореплаватель, наш предводитель в любой игре, в любом путешествии, в лодке, на лыжах и под парусом, наш строгий наставник, наш бесстрашный капитан, наш веселый, ребячливый, бурный и добрый отец превращался в угрюмого, озлобленного, чужого господина средних лет — желчного, недовольного всем на свете и требующего от всех одного: не приставать к нему, не заговаривать с ним, да и вообще не разговаривать, хотя бы и между собою. Вообще — не быть.

Папа превращался в *не-папу*.

Случалось, мы чувствовали заранее, как безотцовщина подкрадывается к нам, подползает исподволь, как папа постепенно превращается в не-папу, — превращение угадывалось в его сосредоточенном унынии, в кратких, резких и по большей части несправедливых попреках. В той поспешности, с какой он хлебал суп или, не жуя, глотал котлеты — только бы побыстрее отделаться, дохлебать, проглотить и уйти. Лето — не зима; летом все дачи кругом заняты, всюду шум, значит, через три ступеньки к себе на-

верх. «Лида, Коля, Боба! — говорит мама. — Ступайте на берег, от туда вас не слышно». Такое постепенное осиротение еще можно перенести. Мы привыкли. Но внезапное! Секунду назад он папа и вдруг, через секунду, не-папа! «Воздух искусства», дышать которым, по словам Корнея Ивановича, *посчастливилось* нам, содержал в себе не одні лишь чары, но и яд. Трудное было наше счастье. Создавая очередную «поэму», Корней Иванович, случалось, проваливался в воздушную бездну. Не по своей вине (да и не по нашей!) он внезапно срывался в воздушную, словно в морскую, глубь, и не известно было ни нам, ни ему, когда он угодит в нее и когда из нее вынырнет.

...Вот мы — я и папа идем по Большой Дороге. Одеты, обуты, причесаны: мы не в лавочку, мы в город, в Петербург. Колю папа уже несколько раз брал с собою: в Музей Александра III, в Эрмитаж. А меня впервые. Коля хвастается, что видел картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» — это про землетрясение, а я нет. Сегодня увижу. Коля уже видел над Невой каменных сфинксов, а я нет. Сегодня увижу. Папина лекция в зале Тенишевского училища вечером*, а мы отправляемся с утра, и целый день наш: мне папа покажет «Помпею», сфинксов, а меня покажет доктору. Докторов я, конечно, терпеть не могу, да и ничем, в сущности, не больна: просто один здешний доктор говорит, удалять надо гланды, а другой здешний — не удалять. Сегодня решит петербургский. Мы записаны к нему на прием.

Но мысль о докторе я из головы выбрасываю. День сулит мне множество радостей. Мы оба принаряжены. Папа не босиком, а в туфлях; воротничок, запонки, галстук! Он чисто-начисто выбрит, и белейшей белизны манжеты торчат из-под рукавов. И я тоже не какая-нибудь: в носках, в сандалиях, и косички у меня заплетены аккуратно. Два синих банта.

На Большой Дороге Корней Иванович читает стихи и рассказывает интересные истории. Стихи Шевченко. Читает по-украински, не по-русски, но все слова и без перевода понятны:

У тієї Катерини
Хата на помості;
Із славного Запорожжя
Наїхали гості.

Приехали трое; всем троим Катерина по сердцу: изъездили Польшу, изъездили всю Украину, а такой красавицы не видывали. Катерина объявляет: кто выручит из вражьего плена ее единственного брата, за того она и выйдет... Все трое кидаются на выручку.

Разом повставали,
Коней посіддали,
Поїхали визволяти
Катриного брата.

Баллада мчит нас дальше, и мы оба невольно убыстряем шаг. Один утонул в Днепре, другого злодеи посадили на кол, — но третий... «Третій, Іван Ярошенко... З лютої неволі... Брата визволяє».

Утром запорожцы постучали в двери знакомой хаты:

«Вставай, вставай, Катерино,
Брата зустрічати».
Катерина подивилась
Та й заголосила:
«Це не брат мій, це — мій милий!
Я тебе дурила...»

Корней Иванович с гневом останавливает стих и шаг. Я стою как вкопанная.

«Одурила!...» І Катрина
Додолу окотилась
Головонька...

Корней Иванович глядит на траву. Что видит он, я не знаю, но, следуя его взгляду, ясно вижу в траве красную лужу, а посреди стройно-стоящую шею и черноволосую голову.

Ни Шевченко, ни Корней Иванович, а за ними и я — нисколько не пугаемся этого незримого зрелища.

«...Ходім, брате,
З поганої хати».

Я довольна. Так ей и надо, обманщице. Мне ее нисколько не жалко.

Катерину чернобриву
В полі поховали,
А славії запорожці
В степу побратались.

И слава Богу. По-моему, все кончилось хорошо, справедливо!

Мы быстрыми шагами идем на станцию. Ведь нам как-никак на поезд! Корней Иванович прижимает к груди свою папку.

С Катериной, пожалуй, все благополучно, а вот с Тарасом Шевченко — нет. Корней Иванович рассказывает: царь Николай I повелел отдать Тараса в солдаты. Тарас был художник — с детства любил рисовать! — и великий украинский поэт. Стихи он писал вольные, против господ и крепостного права. Сам он отведал, что это такое значит: быть собственностью другого человека. В детстве, в отрочестве, в юности Тарас — крепостной, дворовый. Стихи его о воле, стихи против рабства... Царь сослал его в Сибирь, в солдаты. На десять лет. И это еще полбеды. Царь велел строго следить, чтобы солдат Шевченко ничего не рисовал и не слагал стихов. У Шевченко в дневнике записано: «Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного нечеловеческого приговора». Но солдат Тарас Шевченко все равно рисовал и писал. Он прятал стихи за голенище солдатского сапога, «за халяву», и эти маленькие тонкие книжечки называл «захалявные»...

До станции осталось шагов двадцать, не более.

— При новом царе, Александре Втором, кончилась Тарасова солдатчина. Свободен-то он свободен, но уже тяжело болен. Вся Украина знала наизусть его стихи, пела его песни. Со дня на день ожидали отмены крепостного права, освобождения крестьян. Тарас ждал горячее всех. Но за несколько дней до указа — умер.

Про царя Николая I я помню, что при нем убит был на дуэли Пушкин, убит Лермонтов. Вот и Шевченко — погиб. Сатана!

Мы уже на станции. Начищенный до блеска станционный колокол, начальник станции в важной фуражке, огромные станционные круглые часы. Станцию я любила. В особенности когда звонили в колокол. Конечно, если не опоздаешь и слышишь звонок уже

сидя в вагоне. Первый звонок. Второй. Третий... Поехали! Стучат колеса. Медленно и плавно скрываются буквы на вывеске: «Куоккала». А вот уже и не видно — ни колокола, ни фуражки, ни букв!

Мы сидим у открытого окна. Я держу на коленях корзиночку с бутербродами и крутыми яйцами. Корней Иванович — новую папку со своей новой лекцией. В вагоне, к его большому неудовольствию, кроме нас двоих — никого.

Остановка — на две минуты — в Оллиле. Тут вошли пассажиры. Финны-пильщики с блестящими зубчатыми пилами, змеящимися между колен. Молочницы с бидонами. Пилы переливаются, извиляются, гнутся. Бидоны недвижны. Входят и дачники. Напротив нас села дама с мальчиком чуть постарше меня.

Третий звонок. Гудок. Свисток. Корней Иванович прижимает свою папку к груди. Исчезли из глаз колокол и станционная вывеска: «Оллила».

— Тебя как зовут? — спрашивает Корней Иванович у мальчика.

Мальчик застенчив, жметя к матери и отвечает не сразу.

— Ну, чего ты боишься? Я все равно догадался. Тебя зовут Вася.

— Неправда, Юра!

— Юра? Ну, это гораздо лучше, чем Вася. Давай, Юрочка, играть в слова... Бывают такие имена: с начала и с конца, откуда ни начнешь, читаются одинаково... Вот, например, — он вынимает из кармана обрывок бумажки и карандаш и, наложив его на папку, чертит большими буквами:

АННА

— Прочти-ка.

Мальчик прочитывает. Робея, вполголоса.

— Верно! А теперь читай с конца. Читай, читай, не бойся!

— Анна! — медленно и трудно выговаривает мальчик. И вдруг радостно улыбается во весь рот: — Дядя! С конца тоже Анна!

— Видишь, я тебе говорил!

Корней Иванович пишет:

АДА

Мальчик читает с начала и с конца. Подпрыгивает на скамье. Болтает ногами! Радуетя!

— А теперь, — говорит Корней Иванович, — теперь не я буду придумывать, а ты. Писать не надо — просто, когда придумаешь, скажи вслух. Я подожду.

Ждать пришлось недолго. Сдвинув брови и шевеля губами, мальчик положил руку на колено Корнея Ивановича.

— Дядя, я придумал!

— Говори!

— Ва-ня, — сказал мальчик.

Я фыркнула. Мальчик покраснел. Корней Иванович принялся терпеливо объяснять ему: когда читаешь с конца имя Ваня, выходит Янав, а не Ваня. А надо, чтобы выходило, как с начала. Дал прочесть новое слово:

БОБ

— Ты не торопись, ты непременно придумаешь! — повторял он ему ободрительно. — Ты, Юрочка, непременно придумаешь, только не торопись.

Мальчик принялся думать не торопясь, всерьез. Шевелил губами и что-то писал в воздухе пальцем. Мотал головой. Корней Иванович, наверное, для того, чтобы показать мальчику: я тебя не тороплю, я тебя не дожидаясь, не тороплю, — развязал свою папку и начал перелистывать «лекцию».

Вот тут-то и случилось несчастье. С ним, со мною и с мальчиком.

— Нам незачем ехать, — сказал мне Корней Иванович вдруг высоким, трагическим голосом и вцепился огромной ручищей в мое плечо. — Статья совершенно бездарна. Слушать ее никто не станет. Этакая тусклая пошлятина! Срам. Надо отменить лекцию и чтоб администрация вернула слушателям деньги.

Дрожащими руками он сунул листы в папку и небрежно, в два узла завязал тесьму. На лице у него отчаянье и бешенство. Я боюсь, что он вышвырнет папку в окно.

— Дядя! — радостно восклицает мальчик. — Я придумал.

Корней Иванович ничего не слышит. Он — в единоборстве с узлами. Он пытается снова открыть папку, но тугие узлы не дают.

— Дядя! — повторяет мальчик и кладет на колено Корнею Ивановичу руку. — Я придумал: Тит.

Корней Иванович сбросил его руку с колена и даже не взглянул на него.

— Тит, — повторил мальчик.

— Оставь этого господина в покое! — в сердцах крикнула дама. — Сколько раз я тебе говорила: с незнакомыми разговаривать неприлично.



Лидия Чуковская. Рисунок Бориса Григорьева. Куоккала. 1915

Корней Иванович распутал наконец оба узла и снова впился глазами в свою рукопись. Один лист скомкал и хотел было в самом деле выбросить его в окно, но потом передумал, свернул комком и сунул себе в карман.

— Какой я литератор, я сапожник, — сказал он мне тем же высоким трагическим голосом. — Один лишь сапожник, да еще и пошлый к тому же, мог сочинить этот вздор.

Он схватил карандаш и, шумно дыша, попробовал зачеркивать и снова писать. Зачеркивать и писать. С удивлением и гневом вскидывал он глаза на пильщиков, болтавших по-фински с молочницами, слушал русский говор на скамьях вокруг. Он в эту минуту делает отчаянные усилия спастись, исправить лекцию, вынырнуть из воздушной ямы, ему необходима тишина, а дни — в роковую минуту! — разговаривают. Смеют разговаривать!

В Белоострове, где у всех пассажиров проверяют паспорта, я уж подумала, он убьет жандарма. «Господин, ваш паспорт! — кричал ему над ухом жандарм. — Без паспорта вы едете, что ли? Оглохли вы, что ли? Ваш паспорт, господин!»

Паспорт нашелся не сразу. Ткнув его жандарму в руки, Корней Иванович продолжал писать, и жандарм с трудом до него докричался, когда, просмотрев, возвратил.

...Петербург. Все выходят, выходим и мы. Площадь. Толпа. Корней Иванович большими шагами идет сквозь толпу, а я бегу рядом трусцой. Он не берет меня за руку. Я смертельно боюсь толпы. Я бегу рядом с ним, вцепившись в карман его пальто.

— И пусть бы еще только бездарно, — говорит он в пространство. — А то еще и с вывертами, с претензиями. Претенциозный пошляк.

Я смертельно боюсь потеряться. Я — деревенская девочка, и города я боюсь. Боюсь многолюдства, да еще конок, да еще извозчиков, да еще булыжной мостовой, и главное — толпы и спешки. Сколько на свете людей! и все торопятся, и все незнакомые. В Куоккале — что? В Куоккале меня водить за ручку не требуется. Там каждый знает каждого. Если не по имени, то хоть в лицо. В Куоккале я не боюсь ходить одна — в лес, и по берегу моря, и по Большой Дороге, и даже вечером. А здесь? Здесь я боюсь битюгов, автомобилей, конок, общего гула, шума, звонков, гудков, а более всего — людей. Идя навстречу, идя сзади, они так

толкаются, словно вообще разучились ходить. Папа мне не защита (он уже превратился в не-папу), и любой прохожий может меня оттереть, отделить — и тогда случится самое страшное: я потеряюсь.

«Заметит ли он тогда, что меня нет?» — копошится во мне злобная мысль.

Однако мы благополучно добираемся до гостиницы.

Комната заказана заранее — на сутки.

Я в гостинице впервые. Называется «Пале Рояль». Плечистый дяденька у двери в пальто с золотыми пуговицами называется «швейцар». Он широко распахивает перед нами дверь. Долго идем по длинной красной мягкой дорожке, идем и идем посреди длинного коридора. По обеим сторонам — двери. Я и здесь на всякий случай держусь за папин карман. Чтобы не потеряться, хотя коридор пуст.

Входим в комнату. Она называется «номер».

Корней Иванович, бросив бумаги на стол, вынимает из жилетного кармана часы. Заметив меня, приказывает скороговоркой:

— Бери корзиночку и иди в коридор. До вечера осталось пять часов. Если я без промедления, сию секунду возьмусь за работу, быть может, выправлю, и не будет позора. Ступай в коридор.

— Папа! Я буду сидеть тихо. Я не буду с тобой разговаривать. Я буду читать что-нибудь про себя наизусть. Ты не услышишь. Папа! Я не буду двигать стулом... Я хочу здесь. Я не хочу без тебя.

Корней Иванович берет меня за руку, и мы вместе выходим в коридор. Наша комната — последняя. У окна коридора большое кресло.

— Садись, — командует папа-не-папа. — Вот тебе корзинка. непременно поешь. А я, когда кончу, тебя позову.

Он входит в номер, запирает дверь на ключ и — я слышу — дважды поворачивает ключ в замке.

Это от меня — дважды! Как будто я могла бы ворваться, если бы он повернул ключ один раз! Как будто я стану врывать, раз он меня выгнал!

Сколько часов просидела я в коридоре — не знаю. Есть я ничего не ела, стихов наизусть для сокращения времени не припомнила, а была бы у меня книга — я не в силах была бы прочесть ни

строки. Занятие у меня трудное: ждать. Что я делала? Ждала. Не спускала глаз с нашей двери и вслушивалась в звуки оттуда. Иногда полная тишина — это дурной знак. Иногда оттуда голос: папа имел обыкновение писать вслух. Голос его меня подбадривал: значит, пишет. Повторяет и повторяет какие-то неразличимые издали, одни и те же, одни и те же слова.

Ему не до сфинксов, не до картины Брюллова... Только бы успеть до вечера окончить статью.

А в коридоре страшно. Меня пугал телефон на противоположной стене и как люди разговаривают. Телефон я видела впервые. Этакое приколоченное к стенке деревянное нескладное сооружение с висящей на шнуре трубкой и с металлической ручкой, которую неистово крутит выбежавший внезапно из соседней двери человек. Ручка поддается нелегко и, главное, крутится безо всякого толка. Человек крутит отчаянно. Опять и опять. Отвратителен тупо брэнчащий звон, страшно напряженное, искаженное лицо человека, желающего услышать отклик. Прижимая трубку к уху, человек пытается докрутить ручку до отклика. И вот наконец докрутил. «Алле, алле», — орет он. Потом успокоился и начал расхаживать возле телефона, как собака на привязи. Иногда кричит, а иногда улыбается невидимке. Кому? Себе самому? Где тот или та, с кем он ведет беседу? В трубке живет собеседник, что ли? Один господин, прощаясь с невидимкой, шаркнул перед телефоном ногой... Может быть, он увидел себя самого в каком-то спрятанном зеркале и шаркнул на прощанье себе самому?

Страшно.

Два часа я сижу или три? Сижу, не спуская глаз с двери.

Наконец дверь отворилась, и я вбежала в номер. Корней Иванович метался по комнате, пытаюсь укрепить запонки в манжетах и в воротничке. Это ему не удавалось. Галстук на сторону. Он корчился перед зеркалом. Потом забегал по комнате, каждую минуту выдергивая из жилетного кармана часы и в отчаянии запикивая их обратно. Он спешил. Он торопился читать лекцию. Его уже ждали, и он опаздывал.

— А я? — вскрикнула я. — Папа, а я? Я здесь одна не останусь.

— Ты останешься здесь, ты никуда не пойдешь и ляжешь спать вовремя.

Я заплакала. Он пытался меня утешить:

— Смотри, Лидочек, тут есть умывальник, ты никогда такого не видела. Если открыть этот кран, смотри: оттуда сама льется вода. Холодная вода. А из этого — подставь руку! — теплая. Тебе не нужно идти с ковшом к бочке, наполнять из бочки раковину да еще дергать его. Ты просто откроешь кран, и оттуда просто польется вода. Если захочешь, даже теплая! Понимаешь?

Я плакала.

Он говорил:

— Ты можешь выбрать себе какую хочешь кровать. Видишь, их две. Ты никогда не спала в такой мягкой кровати. Посмотри, какие у этих кроватей шарики металлические! Если хочешь, ложись в ту, которая направо. А если тебе не нравится та, которая направо, ложись в ту, которая налево. — Щедрое великодушное движение рукой. — Я позволяю тебе самой выбрать какую хочешь кровать!

Я плакала.

Тогда он сказал вкрадчивым, необыкновенно вкрадчивым и притворно ласковым голосом:

— Знаешь что, раз ты такая хорошая девочка, что согласна остаться здесь без меня, я тебе разрешаю, — снова широкий царский жест, — лечь спать *не умываясь*! Не умывайся! Просто разденься и ложись в какую тебе больше нравится кровать... Проснешься утром, а я уже здесь. И это будет наш с тобой секрет — от мамы. Мы маме не скажем, что ты легла, не умывшись.

Я плакала.

Он пошел к дверям. Я заплакала пуще. Кинулась к нему и обняла его колени.

— Неправда, ты без меня не уйдешь! — кричала я.

Корней Иванович сначала сердито отцеплял мои руки от своих ног, потом вдруг рассмеялся и звучным голосом произнес:

...И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь*.

И опять рассмеялся.

— Хорошо, — сказал он, — если ты такая глупая, такая надоедливая трусиха — пойдем вместе.

Он кинулся к умывальнику, огромной ладонью зачерпнул воду, ту самую, теплую воду, которая чудом теплая и чудом сама течет из крана, вымыл мне физиономию, кое-как пригладил волосы — одна лента из одной косички потерялась. Искать ее было некогда, и мы пошли так.

От дверей гостиницы Корней Иванович кликнул извозчика. Извозчик подкатил, мы уселись и поехали по страшно грохочущему городу.

К папе я взобралась на колени: боялась, что он все-таки от меня удерет, а так, на коленях, надежнее.

Я еду с закрытыми глазами, чтоб не видеть колес и лошадиных морд. Но от грохота никуда не спасешься... Я открыла глаза, когда звук колес и копыт стал совсем другой, мягкий. Оказалось, это Моховая, та самая улица, которая нам нужна. Сейчас приедем. Тихая улица, выстлана она не камнями, а деревянными кубиками. (Их называют торцы.)

Мы подкатили к освещенному подъезду. Корней Иванович небрежно поставил меня на тротуар, расплатился с извозчиком, и мы вошли в какую-то большую дверь, которая непрерывно хлопала. За нами и перед нами шли и шли люди, женщины и мужчины. Шли и шли. Подходили с билетами к билетерше за столиком и, отдав ей билет, проходили куда-то дальше, внутрь.

Тут-то и стряслась беда, которой я опасалась весь день. Корней Иванович исчез. Его не было. Я стояла одна посередине небольшого пространства перед вешалкой. Пространство — толкучка. Входили люди, предъявляли билеты, все торопились и толкались. Я, как котенок за своим хвостом, крутилась посередине вестибюля, оглушаемая грохотом дверей, ужасаясь и не понимая, куда Корней Иванович умудрился исчезнуть.

Но он исчез. Я потерялась.

Реже хлопает дверь, люди приходят уже по одному, по двое, дверь хлопает все реже и реже. В конце концов в вестибюле осталась только я и та дама, которая проверяла билеты. Она и я.

— Девочка, что с тобой, ты потерялась?

Я кивнула.

— А где же твои мама и папа? Где ты живешь? Сегодня у нас не детский утренник. Сегодня читает лекцию Корней Чуковский. С кем ты пришла? Ты уже большая, почему ты молчишь?

Я молчу. Я не в силах назвать имя того, с кем пришла. Кругом повсюду на стенах наклеены афиши и на каждой большими буквами: КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. Значит, надо признаться, что я пришла с Корнеем Чуковским? я — дочь Корнея Ивановича? Я понимала, что он, Корней Чуковский, здесь сейчас главный и, если я выговорю, с кем пришла, выйдет, что я тоже немного главная. Не в силах выговорить имени, я подбородком показывала билетерше на эти афиши, но она не догадывалась, к чему это я верчу головой, и сердилась. «Такая большая девочка и не знаешь, как тебя зовут», — говорила она, пожимая плечами.

Я не говорила ни слова.

В эту минуту откуда-то, непонятно откуда, высунулась голова Корнея Ивановича. Он быстро сказал:

— Анна Михайловна, сделайте одолжение, отведите Лиду куда-нибудь на верхотуру. Я буду вам очень обязан.

И снова исчез.

Какое страшное слово «верхотура»! За что, за что меня на верхотуру?

Анна Михайловна сразу переменилась. Она стала ласково меня укорять:

— Лидочка, ну почему же ты мне не сказала, кто твой папа? Давай я тебя причешу, завяжу ленточку. Вторая потерялась? Ну, не беда. Я заплету тебе волосы в одну косу. Сейчас я тебя отведу в зал. Почему же ты не сказала? Ведь я тебя столько раз спрашивала.

Взяла меня за руку и повела.

(Впервые я увидела зал Тенишевского училища. Кто бы мне тогда шепнул, что через несколько лет и я, и Коля, и Боба будем учиться в Тенишевском и это просто зал нашей школы, а потом он превратится в ТЮЗ — Театр юного зрителя. В ту пору зал этот, великолепный амфитеатр с великолепными высокими окнами и ярким электрическим светом, сдавался для публичных литературных и философских диспутов, для лекций, для выступлений поэтов. В зале Тенишевского училища читали футуристы, читал Маяковский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, там ставился «Балаганчик» Блока. Это был зал знаменитый, я часто слышала о нем, но видела его в первый раз.)

Анна Михайловна торжественно вела меня за руку по широким ступеням между прочно скрепленными полукругом, шире и

выше забиравшимися рядами стульев. Она привела меня на самый верх. Усадила посреди верхнего ряда.

Верхотура — великолепное место. Ты — выше всех. Сверху отсюда удобно смотреть вниз и видеть плечи, шали, лысины, проборы, пышные прически дам, серьги, воротнички, ожерелья. Все ниже меня. Рядом со мною пять-шесть человек студентов. Они тоже на этой прекрасной верхотуре. Но я посередине, я не сбоку, я все-таки выше всех.

Свет в зале полугас, а сцена осветилась ярче.

На сцену вышел Корней Иванович. Один-одинехонек.

Я подумала, как это, в конце концов, хорошо, что он меня потерял. Иначе что ж было бы? Я тоже вышла бы вместе с ним на сцену? И все бы на меня глазели, как сейчас глазют на него? Нет, слава Богу, мы не вместе.

Он подошел к столику, на котором графин, сел, выпрямился, медлительно открыл папку.

В зале смолкли. Корней Иванович начал читать.

До этого вечера я знала про нашего папу, что он пишет, работает, занимается и, когда он пишет, ему нужна тишина. Знала: он пишет лекции и с лекциями разъезжает по разным городам. «Папа уехал лекции читать». «Маме принесли телеграмму из Курска. Лекция прошла хорошо». Это были привычные слова. Но что, собственно, значит «читать лекцию»? Так много, оказывается, людей сходится его слушать! и на него смотреть! и о нем судить — этого я себе не представляла, а он про это никогда не рассказывал. Только очутившись случайно в зале Тенишевского училища, я поняла: он хочет всех собравшихся людей — покорить, чтобы все они его слушали и любили.

Вдыхая «воздух искусства», я в этот вечер впервые поняла, что Корней Иванович, читая лекцию, идет каждый раз покорять.

Дорого обошлось мне это понимание.

Я до такой степени за него волновалась, до такой степени было невыносимо, что он там один, что все на него смотрят, шепотом говорят друг другу не про кого-нибудь, а про него и вовсе не всем он нравится, я полтора часа жила в такой тревоге, что даже не расслышала, не запомнила, *о чем* или о ком читал Корней Иванович. (Не о Шевченко ли?) Страшно стучало сердце: любят не любят. Покорит не покорит.

Как в коридоре гостиницы я не спускала глаз с двери, обиженная и озлобленная, думая только о том: окончит ли он свою статью к сроку и что сделает дальше со мной, так здесь, сидя высоко в последнем ряду, я не спускала глаз с чужих голов и лиц, вслушиваясь в чужие слова, в шепоты, с одною-единственной мыслью: любят они его или не любят? Кажется, любят — внимательно молчат, задумываются, аплодируют, удивляются, смеются. И вдруг студенты, сидевшие неподалеку от меня, начали свистеть. Я похолодела. Корней Иванович некоторое время не обращал на свист никакого внимания и продолжал свое. Но они тоже продолжали упорный свист. Люди — одни аплодировали Корнею Ивановичу, другие студентам, а третьи шикали на студентов, но те не унимались. Свист и хлопки терзали мое сердце.

Корней Иванович перестал читать, поднялся во весь рост и подошел к самому краю эстрады. Сказал:

— Молодые люди! Все, что вы беретесь делать, нужно учиться делать хорошо. Свистите? Сейчас я вам покажу образцовый свист.

Он вытянул два длинных пальца, сунул их в рот и громко свистнул. Раз, и еще раз, и еще.

Зал ответил хохотом и аплодисментами.

Я чуть не плакала. Ну разве можно так себя вести? Так неприлично себя вести? Как ему не стыдно!

Отсвиставшись, он спокойно сел за стол и продолжал читать. Свист уже не возобновлялся. Слушали его все с бóльшим вниманием. И вот наконец он умолк, ему аплодируют, он кланяется. На эстраде его окружают люди. И те студенты тоже поднимаются с боковой лесенки на эстраду — к нему. Наверное, спорить. Публика постепенно выходит из зала. Я остаюсь на месте и, наострив уши, слушаю звучащие вокруг рассуждения и споры. Молодая дама своему спутнику:

— Вот видите, я вам говорила, это всегда свежо, талантливо, ново.

Спутник:

— Помилуйте, что же тут талантливого? Никакой философской основы. Какие-то мыльные пузыри. Это вообще не литератор, а гаер какой-то.

...Публики в зале уже меньше, чем на эстраде. Корней Иванович окружен плотным кольцом. Люди суют ему в руки книги, про-

сят надписать, — он надписывает. А-а, значит, они его все-таки любят?

И вдруг я вижу, что он никому не отвечает, ко всем поворачивается спиной, ничего не надписывает. Он спрыгивает с эстрады и всматривается в зал безумными глазами.

А-а, теперь ты ищешь меня? Ты прочитал свою лекцию и теперь испугался, не знаешь, куда я делась. Вот теперь-то я тебе отомщу! Припомню тебе два поворота ключа! И где мои сфинксы, где Брюллов? Возьму и спрячусь, а ты ищи! Спрятаться здесь легко, стоит только нагнуться между рядами. Я наклонила голову и пригнулась. Но через секунду мне стало жаль его и я выпрямилась.

Он закричал с эстрады:

— Лидочек, почему же ты не в первом ряду, а так далеко! Забилась на какую-то там верхотуру? Иди сюда, я тебя весь вечер жду.

Я сбегая, и он, взяв меня на руки, ставит посередине эстрады. Потом впрыгивает туда сам. Все окружают уже не его одного, а нас обоих. Гладят меня по голове, спрашивают, сколько мне лет, угощают конфетами.

Трудно шестилетнему человеку дышать «воздухом искусства», постоянными перебоями отчаянья и восторга. Мы с папой вернулись в гостиницу, но я плохо спала в эту ночь. Лица, оглобли, битюги, хлопки, свистки, гудки, лысины, пуговицы швейцара мешали мне уснуть. Мешало и слово «гаер». Я догадывалась, слово это злое, обидное. «Папа, что такое гаер?» — вертелось у меня на языке, но я не спрашивала, понимая, что причину ему боль.

В эту ночь мы поменялись ролями: он спал, я нет.

...Утром мы возвращаемся в Куоккалу. Идем по Большой Дороге со станции домой. Он обещает в следующий раз уж непременно показать мне сфинксов и «Последний день Помпеи». Постепенно он снимает с себя городскую амуницию: галстук, воротничок, манжеты и весь этот легкий, но нескладный ворох дает нести мне. Разувается и идет босиком, неся папку под мышкой, а в руках связанные между собой туфли. Он уже сильно соскучился по дому, по маме, Коле и Бобочке и, если бы не я, не шел бы, а бежал. Щурится (в молодости он был близорук), с нетерпением вглядываясь: не бегут ли навстречу, взрывая босыми ногами пыль, Коля и Бобочка?

XVIII

Однако, вернувшись, пора и расстаться с Куоккалой.

В 1917 году, после Февраля, Корней Иванович перебрался в Петроград — сначала в крошечную квартирку на углу Лештукова переулка и Загородного проспекта, а потом (в 1919-м) в большую, просторную, в доме по Манежному переулку, 6, где он и прожил без малого 20 лет, вплоть до переезда в Москву в 1938 году.

В каком именно месяце 1917 года он перевез нас из Куоккалы в Петроград, в Лештуков переулок, точно не помню. Знаю только, что первого сентября 1917 года я и Коля уже ходили учиться на Моховую улицу: Коля — в Тенишевское училище (прямо напротив дома, где — насколько я помню — позднее разместилось издательство «Всемирная литература»), я — в гимназию Таганцевой (на углу Моховой и Пантелеймоновской). Вскоре оба эти учебные заведения слились в 15-ю единую трудовую школу: мы с Колей оказались в разных классах, но под одной крышей и нередко бегали вместе через дорогу к Корнею Ивановичу... Скоро в той же школе начал учиться и Боба.

«Моим детям посчастливилось» — счастье это валило к нам и дальше: во «Всемирной литературе», в Доме литераторов, в Доме искусств — и просто у себя дома мы видели и слышали Блока, Ахматову, Горького, Мандельштама, Кузмина, Ходасевича, Гумилева, Замятина, Зощенко, Бабеля и многих, многих других.

Снова видели и слышали Маяковского.

Для Корнея Ивановича Куоккала кончилась навсегда раньше, чем для меня. Я побывала там летом сорокового, а затем в начале шестидесятых годов. Он же был в последний раз в 1925-м: приезжал к Репину.

В конце шестидесятых я прошла по тем камням, где когда-то занимался мечтаниями Коля, взглянула на ручей, где когда-то Корней Иванович вместе с нами сооружал запруду, миновала редкие сосны и вошла в дом. Снаружи он остался почти таким же, каким был при нас; внутри же все было перестроено, только печки те же, да его кабинет, да лестница на второй этаж, с которой я когда-то осторожно сбегала, боясь скрипнуть ступенькой.

Станция уже называлась «Репино». «Пенаты» стали музеем. Отворить калитку в репинский парк я не решилась: заглянешь в колодец, откуда в детстве мы черпали воду, и вдруг послышится:

Два пня,
Два корня...
Чтобы не было пролито...

Когда, воротившись, я описывала Корнею Ивановичу свой последний поход из Комарова, из Дома творчества писателей, в Репино, он слушал меня хмуро и как бы невнимательно. Вопросов не задавал. Я скоро умолкла.

Воспоминание о том, как потерял он куоккальскую дачу и как оказалась она разграбленной, было для него не из веселых. В море житейском бывал он столь же неосторожен и беспечен, как и в настоящем море, где однажды чуть не утонул вместе с нами.

В начале двадцатых годов, когда жили мы уже не в Куоккале, а в Петрограде, Корней Иванович разрешил бывшему мужу одной художницы, бывшей куоккальской соседки (посещавшей, как и он, «Пенаты»), пользоваться вещами, оставшимися на даче*. Бывший муж бывшей соседки оказался устойчивым негодяем. Дача после нашего отъезда несколько лет стояла нетронутой, полная вещей и книг: уезжая весной 1917 года в Петроград, родители наши рассчитывали летом вернуться и потому увезли только самые необходимые вещи.

Соседи оберегали дом. Но, увидев собственноручную записку хозяина, отступились. Он же хорошо отомстил Корнею Ивановичу за необоснованную доверчивость: распродал наиболее ценное из мебели, утвари и книг. И скрылся. За ним на дачу нахлынуло ворье и довершило разгром.

«Вас тут все знают и вспоминают, — писал из Куоккалы Корнею Ивановичу Репин летом 1923 года. — А я еще вчера, проходя в Оллила, с грустью посмотрел на потемневший дом Ваш, на заросшие дороги и двор, вспоминал, сколько там было приливов и отливов всех типов молодой литературы! Особенно футуристов... И Алексей Толстой, и Борис Садовской... Даже Индия побывала у Вас — в лице Сахароварды. И многое множество брошюр... с сокрушенным сердцем видел я после, в растерзанном виде, на полу, со следами на всем грязных подошв валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да, целый помост образовался на полах в библиотеках из дорогих

редких изданий и рукописей, и под этим толстым слоем нестерпимо лопались, трещали стекла»*.

Как же нестерпим был звук этих лопающихся под ногами стекол на этом помосте для ушей человека, вошедшего в свой бывший дом?

В 1925 году, в январе, Корней Иванович побывал в Гельсингфорсе и в Куоккале: в «Пенатах» у Репина и у себя на даче.

Вот дневниковая запись:

«Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах»*.

Да, человек, в особенности если он — личность, запечатлен в своих вещах: дом, созданный им, — это тоже он, тоже его подобие; маска, слепок, но не с мертвого лица, а с живой, работающей души.

«...Люблю себя, хранящегося в этих вещах».

Вещи — они, как губка воду, имеют способность впитывать и хранить ушедшее время. Утрата вещей была для него утратой любимого времени, в них запечатленного. Лампа, которую унес из его дома и продал жулик, светила ему с комода в ту пору, когда ему не было еще тридцати, когда дети у него были еще маленькие, когда жил он у самого моря наискосок от «Пенатов», когда от весны до глубокой осени он ходил босиком по песку, по Большой Дороге и по лесу; когда Маяковский читал ему «Облако в штанах», а сам он ходил к Репину читать ему вслух Пушкина или гостям и ему в беседке лекции по современной литературе; когда в 1916 году, во время войны, он готовился к новой поездке в Англию, уже не безвестным мальчишкой-корреспондентом, как в 1903-м, а в составе делегации русских журналистов и писателей; когда у Репина по средам, а у него по воскресеньям собиралось столько замечательных людей: поэтов, ученых, художников; когда он писал свои поэмы-лекции о Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Короленко, о Лидии Чарской, о футуристах; когда с лекциями разъезжал по всей России.

Эта лампа была куском его жизни, частью его бытия.

«Я не люблю вещей». — «Я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах».

(Сейчас, по моему ощущению, основа его бытия хранится в переделкинском доме в Энциклопедии Британника, сопутствовавшей ему всю жизнь смолоду, и в копии с репинского портрета,

исполненного в 1910 году. С ними он не расставался никогда и во время увез из Куоккалы.)

«...Сижу один и встречаю Новый год с пером в руке, — записал Корней Иванович в Петрограде в 1923 году, — но не горюю: мое перо очень дорого — лампа, чернильница, — и сейчас на столе у меня моя милая Энциклопедия Британника, которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова»*.

Мимо полки с зелеными томами энциклопедии я и сейчас прохожу не в силах поднять глаз.

Мне хочется тронуть, погладить зеленые переплеты, но я не смею.

Я испытываю недоумение и зависть, когда кто-нибудь из домашних естественно и непринужденно снимает с полки зеленую книгу и перелистывает шуршащие страницы, наводя справку. Корней Иванович, конечно, был бы рад, узнав, что энциклопедия служит свою службу и дальше, стоит на полке не зря, учит других. Но сама я дотронуться до нее не могу.

Для меня это и Куоккала, и зеленый холмик у него на могиле.

Изо всех его обликов, движущихся перед моими глазами, яснее всего я вижу один: вот он выхватил с полки нужный том — в Куоккале, в Петрограде, в Москве, в Переделкине, длинные, гибкие, всегда коричнево-загорелые дочиста промытые пальцы перелистывают страницы; глаза — ищут и вот нашли. Огромной рукой разглаживает он глянцевитую карту: «оказывается, этот город прорезан заливами! А я и не знал!» Или: «оказывается, свой главный труд этот философ написал в 87-м году! А я-то, невежда, думал — в 91-м!» И, захлопнув том, он с благодарной нежностью ставит его на место.

Он — молодой — куоккальский и он — восьмидесятилетний.

Он любил Энциклопедию Британника, наверное, не меньше, чем перо, которым писал. «Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова».

Там для меня навсегда поселен его взгляд, беззвучно разыскивающий карту, историю чьей-то судьбы и беззвучно окликающий меня из этого тома.

Снимок с репинского портрета, надписанный Репиным, переезжая вместе с Корнеем Ивановичем, тоже остался навсегда



Фотография с репинского портрета Чуковского (1910),
подаренная Корнею Ивановичу Репиным с надписью:
Дорогому Корнею Ивановичу. Надеюсь — великой надежде русской литературы.
1912 г. 5 июня. Илья Репин

памятником куоккальского времени: содружества людей искусства, «со-куоккальства», как назвал это время Сергеев-Ценский.

Репин до конца своих дней любовно вспоминал свое «со-куоккальство» с Корнеем Ивановичем.

«...Проходя мимо Шехерезады*, я вспоминаю Вашу высокую веселую фигуру, — писал он Чуковскому в 1923 году, — помните, как Вы подымали поваленные бурей деревья? Недавно была большая буря, но Шехерезада *стоит*; только дороги все страшно заросли травой забвенья (вчера уже Емельян выкосил их, а то не пройти, особенно утром — роса! А я босиком. И все Вас вспоминаю). Огневой Вы человек, дай Вам Бог здоровья... Помните, как на наших народных гуляньях в саду Вы угощали нашу пролетарскую публику — дешево — чаем? 1 копейку стоил стакан чая, копейка — печенье. Как любили Вас бабы и девки! Да, Вы всегда были душой общества, вселяли смелость и свободу. Помните лекции? Чтение Маяковского, С. Городецкого, Горького, пение Скитальца и др. (в Киоске), а не в храме Изиды, где читали Тарханов, Леонид Андреев, А. Свирский»*.

В 1925 году снова о «со-куоккальстве»:

«Да, если бы Вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к Вам: у нас столько общих интересов. А, главное, Вы неисчерпаемы... Вы на все реагируете и много, много знаете; разговор мой с Вами — всегда — *взапуски* — есть о чем»*.

Особенно любил Илья Ефимович чтение Корнея Ивановича, его голос. Голос этот называл он в письмах то «лебединым», то «ангельским», то «очаровывающим»; а чтения — «сольными концертами». Портрет Чуковского работы Репина нем, как все до единого портреты в мире. Но поворот головы, посадка, пальцы, обнимающие книгу, — все краски и линии, кажется мне, передают не только наружность (молодой человек, черноголовый, с маленькими черными усами, книга в руке), но и чары певучего, вкрадчивого, звонкого голоса.

В 1923 году, в ответ на подробное куоккальское письмо, Чуковский писал Репину:

«Куоккала — моя родина, мое детство...»*

«Детство...» — начало начал. Именно здесь, в Куоккале, многое для него началось. Многое из того, что получило развитие и завершение только в конце его жизни. (Речь идет о духовной родине и о духовном детстве.)



Корней Иванович и Коля, Боба, Лидя. Куоккала. Лето 1914 года

А для меня там начался он, там началось и кончилось мое детство, но не кончился он.

В Куоккале начал выработываться жанр и стиль художественных произведений, именуемых статьями, лекциями, «критическими рассказами», очерками, портретами, исследованиями, — стиль разнообразных произведений Корнея Чуковского.

В Куоккале он познакомился, подружились и вошел в общение с десятками людей из литературного, артистического и художнического мира, — и с той поры оно не прекращалось никогда. Здесь началась и «Чукоккала». Здесь же началось изучение психики малых детей, давшее впоследствии «От двух до пяти». И «костры», разгоревшиеся потом в высоченные, выше сосен, ежегодные, пе-

ределкинские, — начались тоже здесь. И детские спектакли: играют дети, а костюмы и декорации создают настоящие художники. Это тоже находки куоккальские.

(В архиве Корнея Ивановича хранится и по сию пору уличное объявление, написанное его рукой; извещает оно о детском празднике, при участии художников, артистов, музыкантов; о пьесе «Царь Пузан», которая будет разыграна детьми; весь сбор с этого праздника должен пойти, — говорится в объявлении, — на покупку книг для детской библиотеки... Лето 1916 года; а построил он библиотеку через 41 год, осенью 1957-го.)

Так мечта о библиотеке, объединяющей писателей, художников, артистов, детей и книгу, осуществилась в Переделкине, а зародилась в Куоккале.

Сколько раз он от нее отвлекался! Сколько раз возвращался к ней. Помню, как он собирал и жертвовал деньги на покупку книг для детей, собирал и жертвовал книги, отдыхая в Петергофе под Ленинградом. Потом в Луге. Потом в Сестрорецке.

(Таково было его веселое, непоседливое, непостоянное и в то же время упорное, по-жизненное, сквозь-жизненное постоянство.)

Здесь же, в Куоккале, в 1915–1916 годах написан был и «Крокодил» — первая детская книга Корнея Чуковского. Здесь начались и другие труды, разросшиеся потом в книги: «Чехов», «Рассказы о Некрасове», «Современники», не говоря уже о том, что именно куоккальские годы были началом всех его дальнейших некрасовских текстологических и комментаторских поисков.

Хорошо работалось ему когда-то в Куоккале...

«...И воздух чистый... и кругом ровный снег, и лыжи, и безлюдье, и сосны, — порой я сам себе завидую», — писал Корней Иванович, переехав в Куоккалу.

Там он обрел свою духовную родину.

Там прошло мое детство.

1971

Переделкино

ЧУТЬЕ ЭПОХИ



Портрет Корнея Чуковского работы Сергея Чехонина. Петроград. Январь 1923 года

ЧУКОВСКИЙ И ФУТУРИСТЫ

Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в бюджетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочтенные им в Петербурге и в Москве*. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргинах, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр.* и пригвождали к позорному столбу*, обзывали и паяцем и копрофагом и еще бог весть как, но все это было не очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму.

Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливее своих товарищей по профессии, а главное — по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь — первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи.

В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год. О чем



О. Мандельштам, К. Чуковский, Б. Лившиц, Ю. Анненков. Петербург. Июль 1914 года

нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими лекциями и статьями создает нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, что в замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и что следствием, представлялось совершенно невозможным.

Блестящий журналист, Чуковский и в лекции перенес свои фельетонные навыки, постаравшись выхватить из футуризма то, на чем легче всего можно было заострить внимание публики, вызвать «шампанский эффект», сорвать аплодисменты. Успех был ему дороже истины, и мы, живые объекты его критических изысканий, сидевшие тут же на эстраде, где он размахивал своими конечностями осьминога, корчились от смеха, когда, мимоходом воздав должное гениальности Хлебникова, Чуковский делал неожиданный выверт и объявлял центральной фигурой русского футуризма... Алексея Крученых.

К. И. Чуковский о русской жизни и литературе

Большой демократический зал Соляного Городка полон народа; почему-то много военных; есть, но не преобладают, студенты и курсистки и вообще читающий люд всех слоев и ярусов, положений и классов, всех возрастов, от дряхлого до отроческого. Я отыскал свой стул и сел. Люблю я этот зал, с его простотой, учебностью, серьезностью. В нем нельзя дать концерта, — «не идет». Зато для чтения, умного, идейного, нельзя выбрать лучшего места.

Высокий-высокий тенор несется под невысоким потолком; если опустить глаза и вслушиваться только в звуки, можно сейчас же почувствовать, что это не русский голос, не голосовые связки русского горла. Из ста миллионов русских мужиков, из десяти миллионов русских мещан и, уж конечно, ни один «господин купец» и ни который «попович» не заговорят этим мягким, чарующим, полуженственным, нежным голосом, который ласкается к вашей душе, и, говоря на весь зал, в то же время имеет такой тон, точно это он вам одному шепчет на ухо... «Те не поймут, но вы поймете меня...» И слушателю так сладко, что лектор его одного выбрал в поверенные своей души, и он совершенно расположен действительно верить не то очень искусному, не то очень талантливому чтецу.

Я поднимаю глаза, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Лектор читает не сидя, а стоя, — и вы в ту же секунду чувствуете, как к нему не шло бы сидеть. Ничего грузного, квадратного или круглого, как у настоящих русаков, нет в этой фигуре. Она вся линейная, удлинённая, но не неприятно удлинённая, а напротив, очень грациозная. Это не то чтобы «вытянулся кверху» неестественным

ростом человек, отчего получается «дылда», некрасивая фигура, которую несчастным образом бывают иногда наделены русские; нет, он естественно сжат, узок и вместе с тем нисколько не сух. То опуская глаза к тетради, то подымая их на публику, он в высшей степени естествен в своей грации, до того занят темой чтения, что, кажется, забыл и о публике, и о себе. Нервным движением он составил стул, все-таки для чего-то торчащий позади него, около него, с возвышения кафедры на пол. Это оттого, что он не стоит на кафедре, как монумент, как колонна, — способ чтения стоя русских чтецов, — а хоть незаметно, но постоянно движется на кафедре, движется изгибом, выгибом, торсом, тогда как локти поставлены на конторку кафедры. Но какое соответствие между голосом и человеком. Если голос вас чарует, то человек вас манит. Темный-темный брюнет, точно опыленный углем, он весь вместе масленился, и если бы я не боялся некрасивых сравнений, — я нашел бы в нем сходство с угрем, черной змееобразной рыбкой финских вод, которую, взяв вилкою, буфетный посетитель поднял из тарелки с маслом... Масло так и блестит, а угорь черен. В буфете это не очень красиво, но в человеке, в чтении, перед огромной, замершей во внимании аудиторией очень красиво. И я всеми инстинктами души чувствую, что читает, или, точнее, говорит сильный оратор, сильный вообще человек, с удачей, с большими надеждами в будущем, с хорошей судьбой в будущем, но все это как-то «для себя», для чтеца, а отнюдь не для публики, до которой интимно ему дела нет, ни для города, в котором он читает; ни для страны, в которой он читает.

Все это ему глубоко не нужно. Как для граммофона не нужна та ария, которую он играет. Для граммофона, для рояля и вообще для всякого инструмента, кроме, может быть, таинственной скрипки. Но Чуковский — не скрипка. Это — хорошо выделанный инструмент «для самого себя», литератор той чистой воды, где литература совершенно отделилась от жизни, не нуждается в ней и чуждается ее, и остается просто прекрасным словом, прекрасной мыслью.

Вслушиваюсь, о чем читает лектор.

«...И вот тещи бегут, бегут...» Им встречаются канавы, рытвины, еще что-то встречается: автор подробно не только перечисляет, но картинно описывает препятствия, встреченные старухами

и полустарухами в неистовом беге. Что такое? Наконец, смысл выясняется. Автор подробно, сочно, со вкусом передает одну из картин кинематографа, под именем «Бег тещ», где представляется состязание на приз этих несчастных женщин, а приз — замужество дочери. Слушатели умной аудитории Соляного Городка, — из которых едва ли кто-нибудь не находится в положении зятя, тещи, замужней женщины или не имеет этих лиц в родстве своем, — все улыбаются, посмеиваются, и смех дружно подымается по залу, когда лектор говорит особенно удачную остроту или приводит особенно яркое сравнение. А лектор не скупится на яркость; тусклых красок он не выносит, и у него все блестит, как блестит и он сам. Чему же тут смеяться? Старуха мать устраивает судьбу дочери, — возможной назавтра сироты. Если этому смеяться, — можно начать смеяться тому, что домохозяин хлопочет об отдаче квартир жильцам, что молодой человек заботится о должности, что рабочий ищет работы, и, наконец, можно даже начать смеяться тому, что птица вьет гнездо и собирает с таким усердием кусочки соломы, прутьев и комочков сухой земли. Все устраиваются, и всё устраивается; и благодетельною природою, в обеспечение размножения каждого следующего поколения, вложен этот необходимый инстинкт в стареющее поколение, по которому оно не хочет умереть раньше, боится умереть раньше, чем его дети совьют свое гнездо и начнут в нем новую свою семью. Этот инстинкт старости есть, так сказать, вспомогательный аппарат в том сложном механизме, в той сложной системе организации и психики, в какой природа выразила, закрепила и обеспечила неумираемость жизни на земле. Все «слава Богу», — скажет мудрец, взглянув на «бег тещ». «Слава Всемогущему Создателю» — вот и всё. Владелец кинематографа, конечно, выразил плоскую душу, куриный ум, что допустил себе посмеяться над таким инстинктом природы. Он и г. Чуковский, точно и очень сочно передавший картину кинематографа, — так сочно, что и трудиться ходить в кинематограф нечего: лекция совершенно заменяет кинематограф.

Повторяю, г. Чуковский до последней подробности передал картинку, и на описание ее у него ушло больше минут, чем сколько минут смотрится эта одна картинка.

«Кто же смеется этой картинке?» — спрашивает довольно неожиданно лектор. Думаешь про себя, что смеются те же люди, ко-

торые улыбались при подробностях картинки теперь, на лекции. «Обезьяны», — отвечает лектор, — гориллы, папуасы. Это совершенно дикие люди, с низменными, грубыми инстинктами, с плоскими, пошлыми душами...

И дальше все как у Савонаролы*.

От смеха к негодованию, от очень искреннего смеха к очень горячему негодованию переход резок и сладок. Это как закал стали: в огне и ледяной воде. Упоенная публика захлопала:

— Бис! Бис!

— Bravo! Bravo!

Ну, «бис» не кричали, ибо нельзя же «повторять номера» на лекции, но впечатление и восторг впечатлительных только и можно сравнить, что с публикою в опере, которая кричит «бис» тенору или сопрано.

Но лектор умен. Он только очень молод, но резко умен и резко талантлив. Он высказал, действительно, новую мысль, что кинематограф, который теперь показывает свои чудеса в каждой грязной улице, показывает их в лачугах, в сараях, за 20-копеечную плату, — является, в сущности, целою литературою, где только не рассказываются, а показываются сложные фабулы, целые истории, где картинки имеют свои темы и свое поучение. «Целая самостоятельная литература», — и вы, конечно, соглашаясь, удивляетесь уму и меткости лектора, который заметил то, чего никто не замечал. «Это литература, и она достойна изучения», — заключает лектор, и вы снова соглашаетесь и удивляетесь, как вам в 50 лет не пришлось на ум того, что пришлось этому молодому человеку приблизительно в 28—29 лет, ибо он даже без бороды и, по-видимому, не бреется, — совсем юный.

Лектор исчисляет сюжеты кинематографа, — действительно, один пошлее другого. Он сводит вас на дно моря, — показывает чудеса морского дна, но вот одна раковина раскрывается там, и из нее выходит кокотка в лиловом. Показывает что-то из звездного мира, и опять кокотка, только в розовом. То есть это не лектор показывает, а кинематограф, а лектор только сочно и картинно рассказывает. Но лед и пламя опять сменяются. «И вот, господа, — гремит Чуковский—Савонарола, — техника дала человеку средство представить небо и преисподнюю, море и звезды, и человек ничего не нашел здесь интереснее кокотки».



Корней Чуковский. Петербург. Фотография Д. С. Здобнова. 1909 год

Поразительно и верно.

«Кто это все смотрит. Дикари, выродки...» Речь гремит дальше, и вы слышите то, что, может быть, в горьких думах уже десятков лет шепчете себе: «Эта публика кинематографа, которая потрясается от смеха, глядя на бег тещ, — что она бы почувствовала, если бы Сам Христос вторично пришел бы на землю и стал произносить все те же чудные слова...»

Верно...

Публика кинематографа поглотила все, растворила все. Так поглотила она на ваших глазах Ницше. Теперь какой-нибудь захоластный секретарь управы, поднося рюмку ко рту, цитирует: «Так говорит Заратустра»*.

Аудитория громко рассмеялась. Слушатели соглашались с лектором. Но вот что замечательно: никто от его слов не огорчился, не затосковал... как в кинематографе. И было ясно, физиологически ясно, что лекция, такая блестящая с виду и по наружному успеху, представляет собою только дальнейшую картинку кинематографа же, следующую его картинку, с сатирическим, но не бьющим по сердцу содержанием.

Никто из публики, ни один человек, не взволновался, не был смущен. Это было заметно и во время антракта, когда говорили о теме чтения не больше и не горячее, чем о других житейских темах, о предметах дня. Между тем лектор не скупился на эпитеты. Дробь их сыпалась на публику, — и, принимая во внимание очевидное сходство публики кинематографа с публикой на чтении, было удивительно, почему никто не обижается на явную и чрезвычайно грубую брань. Лектор оскорбляет, а публика не оскорбляется. Не удивительно ли? Лектор молод, публика возрастом гораздо старше его. И может быть, многие знали, что ровно 68 лет тому назад великий поэт сказал об этой теме как о чем-то для его времени уже давнем, старом, изношенном:

Толпу ругали все поэты*,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою...

И Чуковский, как Бенедиктов, повторил эту вечную тему. Да не говорил ли уже и Христос о том, что некоторая земля бывает «каменистая»* — и не принимает зерна, другая — «сорная», третье зерно падает при дороге, и птицы расклевывают его. Вот какая давняя это тема. И на жалобу Чуковского, что «публика кинематографа не приняла бы Христа», — эта публика могла бы рассмеяться и ответить: «Но ведь, Корней Иванович, и 1900 лет назад публика тоже не приняла Христа. И даже рассердилась и распяла, чего мы все-таки не сделаем».

Что такое произошло?

С чувством большой новизны, Чуковский прочел давно известную всем вещь, — и выбрал «толпу», которую решительно никогда и никто не хвалил. Это в главной, в основной теме своего чтения. Но отчего публика не взволновалась, не оскорбилась,

не смутилась и вообще осталась так безучастна к теме чтения, как большая река, которая катится в берегах и мало волнуется девushкою, грустящей на ее берегу, и даже утопленником, который в ней топится от горя. Когда в антракте я гулял по этой шумящей толпе, и когда после лекции я увидел лектора в этой толпе одевающим пальто, я почувствовал, что лектор и толпа совершенно неотделимы друг от друга, что он — мы же, только мы были в положении слушателей, а он — в позе читающего, но могло бы быть и наоборот; с таким же успехом или неуспехом. И толпа просто самую массу превосходила чтеца; именно как река утопленника, и в ней... была какая-то правота этой массы, этого «многого», этого «большого»... Как в механике масса много значит, так она значит и в обществе, цивилизации, истории. «Нельзя смеяться над массой»; «глас народа — глас Божий» благочестиво сложил народ о себе. Масса всегда права просто потому, что она велика, и можно сказать некоторую защиту публике кинематографа. Попробую:

— Таскаемся в кинематограф, как притащились на вашу лекцию. И не воображайте, что в кинематографе мы были больше увлечены, чем на вашей лекции. Нет... И там и здесь мы не были серьезны. Это вообще не серьезные минуты нашей жизни: это не значит вовсе, что мы гориллы или папуасы. Сюда пришли и туда ходили и ходим, и будем мы ходить по усталости, от усталости, от тех серьезных тем жизни, которыми мы заняты в неподсмотренные вами минуты, часы, сутки и недели жизни. Вы вообразили и перерассказываете нам же все дело так, как будто мы днюем и ночуем, как в кинематографе, тоскуем по нем и захлебываемся от радости, когда смотрим картинки, что это — душа наша, жизнь наша. Но это ваша иллюзия, мы бываем, да и то не все, по разу в месяц, и уж самое большее — по разу в неделю. Два часа в неделю. Вы не измерили и не спросили себя, чем же мы заняты еще 22 часа суток, а в неделю $22 \times 7 = 154$ часа, при ежемесячном же посещении $22 \times 30 = 660$ часов. Но и это не все, повторяю, не все: множество из толпы бывает в кинематографе не чаще раза в год, двух раз в год. И что за младенчество: войти в кинематограф, увидеть, что все лавочки заняты, и закричать наподобие Иеремии: «Погиб народ мой, погиб Иерусалим!»* Явно, что все лавочки заняты, но на всех-то лавочках сидит 60 человек, а на Гороховой улице, где стоит один кинематограф, живет 10 000 человек. Согласитесь, что 60

человек из десяти тысяч человек — не так уж прискорбно. Ну, вот и вы были в кинематографе и, судя по вашему чтению, пересмотрели чуть ли не все картинки. Не будем ежиться и ломаться, и, признайтесь, вы ходили туда не для одной же лекции, не собирая для нее сюжеты. Правдоподобнее, что сюжет мелькнул потом, что вы, сидя, и сидя перед картинками, догадались: «Ба, да ведь это целая литература» — и решились это сделать предметом особого чтения. Но пока все это пришло вам на ум, вы попросту, по-нашему, ходили для удовольствия, небольшого, некрупного, — но, однако, именно для удовольствия. Но как было бы чудовищно, схватив вас за шиворот, начать кричать на весь Петербург: «А, попался! Известный критик, с идеями, с сатирою — а потихоньку, сам сидит себе и смотрит “Бег тещ”». Вот как они *проводят* жизнь гг. литературы, и чем *наполнена* душа у этих умников, — кинематографом». Мы это с вами не сделали, а вы с нами это сделали и подняли шум по удивительному младенчеству ума своего: кто же судит о человеке по удовольствиям. Этак пришлось бы биографу Грановского начать свое повествование словами: «Был в Москве, в 40-х годах, известный картежник, Тимофей Николаевич Грановский*, который, к позору Министерства народного просвещения, был допущен читать лекции истории в Московском университете. Вот каковы были тогда нравы». Согласитесь, что такое савонарольство никак не может тронуть публики. Не затоскуют и не расплачутся, и просто потому, что это ложно. Вы — писатель, хоть и молодой, и вполне серьезный и дельный человек, и никто решительно вас не осудит за то, что, устав за серьезною литературною работою, за темами возвышенными и идейными, вы вечером пошли «размять ноги» на улице, и, увидев освещенную разноцветными фонариками вывеску: «Кинематограф», завернули туда, и за двадцать копеек весело смеялись всяким глупостям и пустякам, какие там показывали. Кинематограф — это современный Петрушка*, не более, но и не менее. Вы и новы, и не новы со своим замечанием, что это «новая область литературы, еще не отмеченная историею её»: есть целые исследования, написанные о «театре марионеток», о глупостях и фарсах по теме и сюжетам не выше кинематографа. Это, конечно, литература, но *народная литература*, с ее первобытностью, незатейливостью, немудреностью. История и критика кинематографа, чем вы занялись, — это продолжение истории Пе-

трушки и продолжение истории лубочных картинок, чем занимались серьезнейшие ученые, но ни одному из этих ученых и в голову не пришло именовать простой люд, сочинявший лубочные картинки и любовавшийся ими, гориллами, обезьянами, вырожденками, идиотами. Вы первый употребили эти жестокие названия в отношении к простому народу, к городскому народу, и тут сказалась не только ваша молодость и неопытность, но и глубокое отчуждение от народа, отсутствие всякого *родства* с ним, а отсюда и отсутствие какого-либо *постыжения* его, то есть народа. Вы — кабинетный литератор, совершенно чуждый духа жизни. В строгой, благочестивой и гениально работающей Англии член парламента или ученый, идущий по улице Лондона, не преминет остановиться на четверть часа, если ему встретится Петрушка, и вместе с толпою уличных зевак смотрит на эту незатейливую забаву. Вот народное чувство, вот народные связи. Кто любит и уважает труд народный, тот не может не любить и не уважать также и отдых народный. А уважение у живого человека выразится в том, что он и сам пойдет сюда, посмотрит здесь, посмеется со всеми и заплатит свои двадцать копеек. День-деньской умаешься за перепиской бумаг, за составлением и проверкой счетов, за отпуском товаров, за писанием статей и книг, — и к вечеру пойдешь именно размять ноги, разогнуть спину и отдаться сюжетам именно таким, которые не имеют ничего общего с вашими дневными, то есть постоянными, главными сюжетами вашей мысли и вашего труда. Кинематограф показывает не то, чем люди заняты, — как вообразили вы наивно, — но именно то, чем *люди не заняты*, ибо кинематограф есть развлечение. В старое время, целый XIX век, люди развлекались картами, пасьянсом. Помните, как «винтили» все, то есть играли в винт. Это было что-то вроде общественного запоя, который держался 25 лет. За картами просиживали ночи не только благородный Грановский, но им отдавал досуги и гениальный Пушкин, и со страстью отдавал. Между тем содержательность пасьянса или игры в винт еще гораздо меньше содержательности кинематографа. Наконец, если вы знакомы со всемирным эпосом, вы должны были обратить внимание на то, что царевич Наль, муж благородной Дамаянти, проиграл свое царство *в кости**. Игра в кости не содержательнее кинематографа. Нужно поблагодарить изобретателей его, составителей картинок и владельцев кинематографических

заведений за то, что они дали народу это совершенно безвредное удовольствие, не разорительное, не горячащее, не страстное, не задорное, совершенно невинное, и тем спасли огромную усталую толпу от удовольствий порочных и низменных. В кинематографе московская или петербургская толпа, кроме разных забавных происшествий и историй, смотрит и «Водопад Виктория»*, сцены американской и европейской жизни, видит морские битвы и, словом, видит очень много любопытного и великого из всемирной истории и географии. Вы в своем чтении ведь злостно подобрали картинки и выпустили из них много благородного и поучительного. А это есть, и для чего это забывать. Но кинематограф можно бы поблагодарить и без поучительного, просто за одну забаву и удовольствие. Только тот, кто никогда не трудился, может порицать эти забавы трудового класса. Наконец, все это можно кончить, сославшись на один рассказ у Диккенса. К сожалению, забыл заглавие. Его я читал в пору моей учительской службы, и он был для меня целым педагогическим откровением. Именно: меня поразила тоскливый, понурый, скучающий вид наших гимназистов, и я задавал себе вопрос: «Что же могут воспринять из света учения эти, как бы убитые в самих себе, души». И вот рассказ Диккенса. В маленький английский городок приезжает балаган-цирк. С этого начинается рассказ, серьезную часть которого составляет история маленького заброшенного мальчика, которого дядя или тетя отдали в местную строгую школу, с ее томительными воспитателями и томительными учителями. Меня поразила и на десятилетия запомнилась сцена, как два школяра «с убитою в себе душою» жадно смотрят в щель забора, за которым скрываются чудесные цирковые лошади, — ничего не видят в щель, но Диккенс замечает о их маленьких душах, о их жадных глазенках: «До чего им хотелось бы увидеть, если не целую лошадь, то хоть копыто и как оно подковано у этой чудодейственной лошади, которая умеет даже танцевать». Чепуха. Да. Но трогает до слез. Таков и весь кинематограф, если его связать со всеми обстоятельствами жизни.

Вот возможный ответ Чуковскому на его лекцию, прочитанную в Петербурге и затем в Москве и на днях опять повторяемую в Петербурге. Кинематограф он сближает со всею текущею русскою литературой, обнимая ее с ним. Обо всем этом мы еще поговорим.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

ЧУТЬЕ ЭПОХИ

9-е июля, Нахичевань на Дону.

...Я не понимаю, как это Вы можете читать «дамские английские романы»*. От тоски? Гм... Станный способ лечения! Впрочем, я уверена, Вы это не от тоски, а назло себе самому.

...Знаете, есть такие люди, которые совершенно не умеют жить «про себя», а непременно «вслух» — и это удивительно хорошо. Тут, если хотите, гордость самая последняя, самая изысканная. Так живет, между прочим, В. В. Розанов — и Вы. Не изумляйтесь этому сопоставлению, оно совсем внешнее, и пришло мне в голову случайно. Оба вы ужасно интимные, вслух интимные люди, и стиль у вас совсем особенный, и мысли особенные, самые близкие и самые нужные, но которые почему-то никому, кроме вас, не приходят в голову, — и живете вы оба страшно на виду и ничуть этого не стесняетесь. Но конечно в разных плоскостях — и мне сейчас самой смешно, как это я побратала Чуковского и Розанова.

Так вот, несмотря на то, что о Вас я ничего не слышала и видела Вас только мельком на лекции, — мне как-то давным давно Вы знакомы... — и даже Ваши «мальчик Коля и дочь Лида»* — и тех знаю, какие, должно быть, очаровательные быстроглазые малыши. Я детей страшно люблю, вожусь с ними непрестанно, и когда читала Ваши негодования по поводу детских журналов*, то ужасно мне было мило и любопытно думать, какой этот (по выражению московских фельетонистов) «неистовый» Чуковский нежный и даже как бы ребячливый отец...

5 августа <1909>

Нынче мне опять захотелось с Вами поговорить и знаете о чем? О Вашем «секрете»*. Вы понимаете, что несколько легкомысленный Ваш отзыв о «Чуковском» дает мне право защищать или обвинять его в свою очередь, по-читательски. И если читательское мнение покажется Вам чересчур смелым, пеняйте на самого себя.

Так вот что представляется мне, когда я думаю о Чуковском серьезно.

... Есть у иных людей особенное чутье, — чутье эпохи, времени, того самого, в котором они живут. Обыкновенно «время», т. е. переживаемый момент, реализуется для нас в прошлом; выступает как нечто явственное, только пройдя, изжив себя хотя бы до половины. Тут может быть даже и оптический закон: как свет, а значит и изображение, подчиняется определенному сроку для реализации, так и *переживаемое*, чтобы дойти до нас, осознаться нами, как нечто вне-наше, отдельное от нас, — должно тоже пробежать известный ряд годов. Но, конечно, такая «оптика» звучит парадоксом, и я на ней особенно настаивать не буду. Так вот, есть люди, которые как бы прорывают этот «оптический закон», — перепрыгивают его и особенным чутьем устанавливают связь между сознанием, — личным или общественным, — и данным текущим моментом. Из таких людей обыкновенно политиков никогда не выходит. Вы это знаете. Для политики они чересчур... дальнзорки. Чересчур оптикой пренебрегают, и кажется, будто они невпопад, не в такт вытанцовывают, конечно, обывателю кажется, ну а политику делают обыватели. Например, Достоевский: весь его Дневник, да ведь это сплошное чутье, улавливание текучести временной. Чувствуешь, что «события» протекают у него на ладони, а он смотрит и видит, где «сегодня» с «завтра» связывается и как именно оно связывается. Но кто же хоть на мгновение считал Достоевского «политиком»? А вот тоже философ — Шопенгауэр. Говорят, будто бы он «исторического чутья» не имеет. Да ведь не только исторического, — он как бы не имеет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего, — он не умеет связывать. Он чутья действительно лишен, и потому Шопенгауэр — наиболее фантастический, нереальный из философов. Так вот, Чуковский один из тех, кто перепрыгивает оптику. Он в высокой степени обладает этим вот чутьем, выявляет его блестяще (даже и чересчур блестяще, в этом малюсенькая ошибоч-

ка) — и потому Чуковский уже *что-то такое*. Это несомненно с самого начала. Но... тут-то и начинается «трагедия Чуковского».

Все, что называется у нас «сегодняшним», все, что мы едва прожевываем, о чем мы как следует и не задумываемся, все, что только «имеет быть», — все наши потенции от Пинкертонa до Иоганна Мюллера включительно*, обобщая и прозревая их, — моментально реализует перед нами Чуковский. Вытаскивает младенца из утробы матери, показывает его публике: «вот что у вас рождается», и сует обратно в утробу, предоставляя «оптике» делать свое дело. Чутье неслыханное, изумительное. Чуковский скажет, отметит и попадет в самую точку. Сознание бежит за ним ускоренным шагом и тоже перепрыгивает оптику, а перепрыгнув, чешет затылок и думает: «черт его возьми, а ведь он прав, прав!» — «Правота» Чуковского сразу, с первых строк, навешивается на читателя. Блестящий охотник на современное, блестящий гадалец, — он стреляет метко и в самое главное место, в самое больное, — и однако же, чего-то ему недостает. Трагедия Чуковского в том, что он — гадалец, прорицатель, *но не прозорливец*. А хочет и должен быть прозорливцем. С ним явно происходит что-то неладное; фокус, какого мы еще нигде и, пожалуй, никогда не видели. Тот, кто чутьем улавливает и отгадывает свое время, тот, кто волшебничает с оптикой, тот, кто сегодня знает то, что мы узнаем завтра, вернее, — ощутим на себе завтра, — оказывается сам оторванным от времени, выброшенным из жизни, потерявшим главную сердцевину действительности, в которой поглощается все «сегодня» и «завтра», которая одна оправдывает всякое сегодня и завтра, именно потому, что носит в себе общий, постоянный, единый смысл. *Трагедия Чуковского в том, что он живет и пишет и мыслит монографически*, если так можно выразиться. Устанавливая мгновенную связь между собой и сегодняшней действительностью, он как бы из рук выпускает действительность вчерашнюю. Он теряет общую связь. Сознание Чуковского подобно освещенному экрану; жизнь, мгновенно входя в него, реализуется с фантастической быстротой, а концы ее и начала как бы не существуют; подобно длинным лентам синемаатографа, остающимся мертвыми до своего воплощения на экране. Но ведь ленты эти существуют и они *бесперерывны*. Только предпосылая всякому сознанию, всякой мысли — до опыта — эту необходимую бесперерывность действительности, — поймешь и главный смысл ее.

Или, по крайней мере, поймешь, что у нее *есть* и *должен быть главный смысл*. Но Чуковский упорно монографичен. И от этой своей монографичности он создал себе исключительное, тоже доселе невиданное настроение: «*вопросительный пессимизм*». — «*Пессимизм*», потому что всякая отрывистость сознания, всякая оторванность в восприятии мира должна неизбежно привести к пессимизму. «*Вопросительный*», потому что Чуковский — большой человек с большой душой и сам себе не верит. Вернее: он сам бессознательно, внутренне верит в то, во что внешне как будто не верит, чего внешне никак не может добиться. И вот он удивлен своим пессимизмом и то и дело спрашивает: «Как так? Почему? Что такое?» Но ответить на это «как так» живая действительность ему не может, покуда он воспринимает ее отрывочно. *Не может*, будь она действительностью Иоганна Мюллера, или действительностью великих идей и событий. На свое «как так?» должен непременно ответить он сам, и я верю, — в конце концов и ответит. Недаром же Чуковский за последнее время беспокоен, недаром он изобрел себе свой «секрет» — недаром оборачивается вспять, идет к... Гаршину и Короленко*. Но Гаршин и Короленко — так и останутся Гаршиным и Короленкой, порознь и каждый за себя, если Чуковский подойдет к ним опять с той же монографичностью.

Так и напрашивается сравнение с Розановым — вот кто до непостижимости, до изумления лишен монографичности! Розанов за что ни возьмется, все в связь приведет. Кажется, он решительно со всем, что есть в мире, живет под одной крышей. Для Розанова один мир, одна земля, одна жизнь завтра, вчера сегодня — и у него *одна мысль*, упорная, назойливая, крепколобая. Чуковский — обладатель тысячи гениальных мыслей. Но он растеривает их зря и по дороге, потому что нет у него одной — главной, — которая бы всех их и связала. Розанов сидит на крыльчке, и мир идет ему навстречу, потому что у Розанова есть свое волшебное «Сезам, отворись». Чуковский кидается туда и сюда, но почва уходит у него из-под ног, жизнь рассыпается на тысячи мелких капелек от его прикосновения, как ртуть. И он отчаянно восклицает: «Что же это? Почему это?» — Я глубоко верю, что у Чуковского есть свое собственное, магическое слово, которое бросит к нему мир и свяжет для него действительность. Только, может быть, оно еще неосознанно. А может, и уже сознается...

НА ЛЕКЦИИ ЧУКОВСКОГО

...3 октября в «Новом времени», еще до отъезда моего в Питер, появилась статья Розанова о Корнее Чуковском*. Вызвана была эта статья как будто правильным желанием оградить таких писателей, как Гаршин и Короленко, от будто бы нападок Чуковского.

Случайно я прочитала эту статью и, еще не зная ни Чуковского, ни Розанова, составила себе довольно неприглядное мнение о том и о другом. Вот что писал В. Розанов:

«Чуковский все вращается как-то в мелочах, в истинных, но мелких частях писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертывает фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда что и “торчит прорешка” и даже торчит предательский уголок рубашки через нее... В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское... и признаюсь: когда талантливый критик все протоколирует и протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю: Господи, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине пуговиц».

Перебравшись в Петербург и увидя на стене Публичной библиотеки анонс о лекции Корнея Чуковского, я купила билет и пошла его слушать. Перед полупустым залом был на эстраде молодой веселый человек с живыми глазами, сперва огорченный малолудем, потом забывший о нем, — не лектор, а рассказчик диккенсовского типа. Он действительно начал с мелочей, разбрасываясь, сыпал парадоксами, но мелочи не были «пуговицами», ничьи «фалды» не откидывались, щедрый и веселый талант вел слушателя по пути своего собственного мышления, острого и свежего. Словно в пику общим словам и всеобъемлющим выводам, в пику модному тогдашнему глядению «в глубь и в центр бытия» он останавливал слушателя на каждом шагу на частностях. Это и вправду были частности, но Чуковский — совсем еще молодой и озорной, с изюминкой одесского юмора*, того самого, какой вскормил авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», — выступлением своим о частностях внушал важнейшую мысль для каждого, кто захотел бы изучить творенья искусства: без частностей нет и целого. И кто хочет понять целое, но не видит в нем частностей, не даст правильного образа или исчерпывающей оценки целого. Изучай-

те предмет, *как он сделан*. Из парадоксальности молодого критика, тогда только еще начинавшего, и больше устным, чем письменным словом, позднее возникли и оформились многие литературные течения*. Это было *явление* – явление само по себе, а не частный случай. Оно стало яснее с рождением теории «приема» «конструктивизма», «формализма», всего того, что диалектически восставало против небрежного отношения к *как* (как сделана вещь) с гиперболически выпираемым *что* (что именно содержит она). В известном смысле период изучения частных и схватыванья частных был началом литературоведческого похода против общих оценок только содержания – и сам он, этот период, будучи только «частностью» на пути развития советского литературоведения и советской эстетики, имел свой исторический смысл и принес несомненную пользу. Я пишу об этом так длинно, чтоб показать, насколько «задиранье фалд», заглядыванье в «прорешку» из-за плохо пришитых «пуговиц» – этот фаллический прием критики в отношении Чуковского был неверен и характерен только для самого Розанова*.

Суровый, кристальный прибрежный,
 Мы знаем — востро Давно
 А Намей зюесте готовь северный,
 Намь чуйь веселой, как вино,

И порной складный ядовит проже
 Приобретивую остроу,
 И брошенном на лету
 Зоншадь и заноса,

Молу-цимирия, молу-киририя,
 Всеи притворчиваеь Дукавоит,
 Ручей словориваеь кармаваит
 И моладой авантариваеь.

Москва,

12 авг. 1919

Вячеслав Иванович

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Чуковский, Аристарх прилежный,
Вы знаете — люблю давно
Я Вашей злости голос нежный,
Ваш ум веселый, как вино.

И полной сладким ядом прозы
Приметливую остроту,
И брошенные на лету
Зоилиады и занозы.

Полуцинизм, полулиризм,
Очей притворчивых лукавость,
Речей сговорчивых картавость
И молодой авантюризм*.

*Москва
12 авг. 1919*

НЕКОМНАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ИЛИ БЕЛЫЙ ВОЛК



К. Чуковский. Портрет работы Н. Андреева. 10 марта 1923 года

НЕКОМНАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Корнею Ивановичу Чуковскому семьдесят пять лет, это не подлежит ни малейшему сомнению, а мне все чудится, что если постараться как следует, то найдешь тут ошибку. Слишком уж грубо, попросту нелепо измерять годами жизнь людей, подобных Корнею Ивановичу. Это все равно что мерить хорошую погоду на килограммы или радость — на сантиметры.

При каждой встрече мне кажется, что Корней Иванович такой же, как в двадцатые годы. Рассудком я понимаю, что он меняется, и я не замечаю перемен просто потому, что старею вслед за ним. Так-то оно так, но все-таки...

Я увидел Корнея Ивановича впервые тридцать шесть лет назад в бывшем елисеевском особняке на Мойке, в те дни — ДOME искусств. Просторный зал набит до отказа — собрались слушатели литературной студии Дома. И вот в дверях появляется руководитель семинара, сам Корней Чуковский. Высокий и очень гибкий, он шуточно отвечает на аплодисменты. Широко разводит своими длинными руками, прижимает их к сердцу, кланяется превеличенно низко. Седая шапка волос. Молодое лицо. Крупные губы, крупный нос, — а общее впечатление нежности, даже милости.

Подойдя к лекторскому столу, Корней Иванович обнаруживает, что студисты так тесно сбились вокруг, что ему не пробраться к своему месту. Тогда одним легким движением шагает он прямо на стол. Мы видим его валенки, совершенно необходимые в суровую зиму двадцать первого года. И вот он уже стоит на той стороне стола, лицом к аудитории. И не теряя ни мгновения, своим осо-

бенным, как все его существо, голосом объявляет очередное занятие семинара открытым.

Доклад в тот вечер делал молодой студист, теперь очень известный писатель.

И тут определяется еще одна черта Корнея Ивановича: необыкновенная впечатлительность.

Он молчит — глаза говорят.

Прирожденный критик влюбляется там, где рядовой читатель только любит, он ненавидит и мучается, когда мы только скучаем. Доклад не нравится Корнею Ивановичу. Выразительные серые глаза передают все, что он переживает. Он и страдает, и не доверяет, и ужасается. И в заключительном слове нападает на докладчика, как на равного, не делая никаких скидок на его молодость и неопытность.

Да и мог ли Корней Иванович делать скидку на молодость, когда сам вступил в литературу совсем юношей и очень скоро занял заметное место, как вполне отвечающий за себя критик.

Вскоре мне пришлось познакомиться с Корнеем Ивановичем ближе, и я узнал еще одну его особенность: он трудоспособен до страсти. Он не может не работать.

На его большом письменном столе лежало одновременно несколько работ. Он переходил от одной к другой — таков был его способ отдыхать. Вот вступительная статья для какой-то книги, выходящей в издательстве «Всемирная литература», вот перевод пьесы Синга, черновики новых стихов для детей, предисловие и комментарии к воспоминаниям Панаевой. И над всем этим работал Корней Иванович одинаково пристально, с беспощадной требовательностью. Легкий, как бы весело пляшущий и увлекающий за собой язык его статей давался ему не просто. Рукописи, даже после многократных переделок, все исправлялись и исправлялись. И беловой вариант в конце концов все-таки превращался не то в чертеж, не то в географическую карту. Вклейки снизу, сбоку, сверху. Переписчице приходилось раскрывать и разгадывать каждую страницу, как зашифрованную. Степень подобной строгости к себе — безошибочный признак настоящего мастера.

Когда напряжение, с которым работал Корней Иванович, переходило границу возможного, он вскакивал и выбегал на улицу. Широко размахивая руками, глядя в пространство своими особен-

ными серыми глазами, обегал он квартал, и все оглядывались на него. Один писатель, хорошо знающий Корнея Ивановича, сказал о нем как-то: «Это некомнатный человек». И мне кажется, что слова эти многое проясняют.

Некомнатна его неудержимая трудоспособность. И сила его впечатлительности. И то, что, несмотря на свою впечатлительность, а тем самым и уязвимость, он — человек не мирный.

И что особенно важно — никогда не уклонялся Корней Иванович, если нужно было помочь напрасно обиженному, пострадавшему человеку. Он выбегал из комнаты и добирался до самых высоких инстанций, заступаясь, доказывая, не сдаваясь... И очень часто добивался победы.

Круг читателей Корнея Ивановича на удивление разнообразен.

Вот он выступает у дошкольников, высится над ними, будто Гулливер над лилипутами. И все ребята знают, что в гости к ним пришел человек особенный, придумавший «Крокодила», «Мойдодыра», «Айболита», «Муху-Цокотуху». И они, едва научившиеся отличать книжку от игрушек, начинают понимать и уважать звание писателя.

А вот Корней Иванович обращается к подросткам. В «Библиотеке приключений» вышел том — «Приключения Шерлока Холмса». И Корней Иванович во вступительной статье рассказывает, как познакомился некогда в Англии с автором книги*.

Появляется в свет работа «Мастерство Некрасова». Здесь Корней Иванович встречается уже с историками литературы, литературоведами, студентами, учителями.

Все работы, сгрудившиеся на просторном письменном столе Корнея Ивановича, непременно доводились им до конца. И мало этого — они продолжали совершенствоваться уже после выхода в свет.

Яркий тому пример книга «От двух до пяти». Недавно вышло одиннадцатое ее издание. Одиннадцатое! Следовательно, эту работу Корнея Ивановича читатель принял и широко признал. И все же автор доработал и дополнил это последнее издание, как и второе, и третье, как все без исключения.

Корней Иванович одарен завидным даром вечной молодости. Он не останавливается на месте, да и все тут! Легко ли старости догнать его!..

По-прежнему не найти свободного места на его просторном письменном столе. Вот мемуары о Шалапине, Горьком, Короленко, Бунине, Куприне, Маяковском, Блоке, Брюсове. Вот книга о Репине для Детгиза. Вот большая работа «Люди и книги»: первая часть посвящена писателям шестидесятых годов, вторая рассказывает о тех, кого Корней Иванович знал лично. Вот избранные сочинения Оскара Уайльда, которые Корней Иванович редактирует, а вот его предисловие к этой книге.

И продолжая свою огромную работу, Корней Иванович живет одной жизнью со всеми, болеет общими горестями, радуется общим радостям.

Недаром Корнея Ивановича встретили такими дружными аплодисментами, когда появился он на трибуне Второго съезда писателей. Он стоял перед набитым до отказа залом. Снежно-белая шапка волос. Молодое лицо. И все тот же знакомый, гибкий, слышный без помощи микрофона, молодой, живой голос... Нет, нет, надо найти новый, более тонкий метод для измерения возраста. А пока он не найден, поздравляем вас, дорогой Корней Иванович, с семидесятипятилетием и от всей души желаем здоровья и счастья!

1957

БЕЛЫЙ ВОЛК

Когда в 1922 году наш театр закрылся*, я после ряда приключений попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому.

Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было невыносимо, как в урагане посреди пустыни. И, к довершению беды, вихри, сопутствующие ему, были ядовиты.

Цепляясь за землю, стараясь не закрывать глаз, не показывать, что песок пустыни скрипит на зубах, я скрывал ото всех и от себя странность своей новой должности. Я всячески старался прижиться там, где ничто не могло расти.

У Корнея Ивановича никогда не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего го-

лоса, без любви, без веры, с силой, не открывающей настоящего, равного себе выражения и потому недоброй.

По трудоспособности я не встречал ему равных. Но какой это был мучительный труд. На столе его лежало не менее трех-четырех работ: вот статья для «Всемирной литературы», вот перевод пьесы Синга, вот предисловие и примечания к воспоминаниям Панасовой, вот детские стихи*. Легкий, как бы пляшущий тон его статей давался ему нелегко. Его рукописи походили не то на чертежи, не то на карты. Вклейки снизу, сбоку, сверху, каждую страницу приходилось разворачивать, раскрывать, расшифровывать.

Отделившись от семьи большой проходной комнатой, он страдал над своими работами, бросался от одной к другой как бы с отчаянием. Он почти не спал. Иногда выбегал он из дому своего на углу Манежного переулка и огромными шагами обегал квартал по Кирочной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая руками и глядя так, словно он тонет, своими особенными серыми глазами. Весь он был особенный: седая шапка волос, молодое лицо, рот небольшой, но толстогубый, нос топорной работы, но общее впечатление — нежности, даже миловидности.

Когда он мчался по улице, все на него оглядывались, — но без осуждения. Он скорее нравился прохожим высоким ростом, свободой движения. В его беспокойном беге не было ни слабости, ни страха. Он людей ненавидел*, но не боялся, и у встречных поэтов и не возникало желания укусить его.

Я появлялся у него в просторном и высоком кабинете в восемь часов утра. В своем тогдашнем безоговорочном, безоглядном поклонении далекой и недоступной литературе я в несколько дней научился понимать признанного ее жреца, моего хозяина. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, надув свои грубые губы, Корней Иванович глядел на меня, прищутив один глаз, с искренней ненавистью. Но я не обижался. Я знал, что чувство это вспыхивает в душе его само по себе, без всякого повода, не только ко мне, но и к близким его. И к первенцу Коле, и к Лиде*, и, реже, к Бобе, и только к младшей, к Муре, — никогда. Если даже дети мешали его отшельничеству без божества и подвигам благочестия без меры, — то что же я-то? Я не огорчался и не

обижался, как не обижался на самум*, и только выжидал, чем кончится припадок.

Иной раз он бывал настолько силен, что Корней Иванович придумывал мне поручения, чтобы поскорей избавиться от моего присутствия. Иногда же припадок проходил в несколько минут, и мне находилось занятие в пределах кабинета.

В последнем случае я усаживался за маленький столик с корректурами. Корней Иванович посвятил меня в нехитрое искусство вносить в гранки поправки, ставя знаки на полях и в тексте. Я с гордостью правил корректуру, но делал это плохо. Я через две-три строчки зачитывался тем, что надлежало проверять. И тут иной раз у нас завязывались разговоры о ней, о литературе. Но ненадолго. Среди разговора Корней Иванович, словно вспомнив нечто, мрачно уходил в себя, прищурив один глаз. Впрочем, и до этого знака невнимания, говоря со мной, он жил своей жизнью. Какой? Не знаю. Но явно страдальческой.

У него были основания задумываться и страдать не только по причинам внутреннего неустройства, но и по внешним обстоятельствам. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, что послал он за границу Алексею Толстому*. Он приветствовал Алексея Николаевича, сменившего вехи, звал Толстого в Советский Союз и подробно и недоброжелательно описывал людей, с которыми ему, Чуковскому, придется жить и работать. Я забыл, что именно он писал. Помню только фразу о Замятине: «Евгений Иванович, милый, милый, но такой чистоплюй». И каждому посвящал он две-три фразы подобного же типа, так что на обсуждении кто-то сравнил его послание с письмом Хлестакова к «душе Тряпичкину». Вся беда в том, что письмо Корнея Ивановича приобрело неожиданно широкую известность. Толстой взял да и напечатал его в «Накануне»*.

Дом искусств и Дом литераторов* задымились от горькой обиды и негодования. Начались собрания совета Дома, бесконечные общие собрания. Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он захворал. Он был близок к сумасшествию. Но все обошлось. В те дни, когда мы встретились, рассудок его находился в относительном здравии. Ведь буря, которую пережил Чуковский, была далеко не первой. Он вечно, и почему-то каждый раз

нечаянно, совсем, совсем против своей воли, смертельно обижал кого-нибудь из товарищей по работе. Андреев жаловался на него в письмах*, Арцыбашев вызвал на дуэль, Аверченко обругал за предательский характер в «Сатириконе», перечислив все обиды, нанесенные Чуковским ему и журналу, каждый раз будто бы по роковому недоразумению. И всегда Корней Иванович, поболев, оправлялся.

Однако проходили эти бои, видимо, не без потерь. И мне казалось, что, уходя в себя, Корней Иванович разглядывает озабоченно ушибленные в драке части души своей. Нет, он не был душевнобольным, только душа у него болела всегда.

Но вот дела требовали, чтобы Корней Иванович оторвался от письменного стола. И он, полный энергии, выбежал, именно выбежал из дому и мчался к трамвайной остановке. Он учил меня всегда поступать именно таким образом: если трамвай уйдет из-под носу, то не по причине вашей медлительности. И, приехав, примчавшись туда, куда спешил, Корней Иванович уверенно, весело и шумно проникал к главному в этом учреждении.

— Вы думаете, он начальник, а он человек! — восклицал он своим особенным, насмешливым, показным манером, указывая при слове «начальник» в небо, а при слове «человек» в пол. — Всегда идите прямо к тому, кто может что-то сделать. И всегда Корней Иванович добивался того, что хотел, и дела его шли средне*.

Да, дела его шли средне, хотя могли бы идти отлично. Такова обычная судьба людей мнительных, подозрительных и полных сил. Не мог Корней Иванович понять, что у него куда меньше врагов, чем ему это чудится*, и соответственно меньше засад, волчьих ям, отравленных кинжалов. И, защищаясь от несуществующих опасностей, он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило в жизнь его ужасную разладицу и в тысячный раз ранило его нежную душу. Впрочем, в иных нередких случаях мне казалось, что он заводит драку вовсе не потому, что ждет нападения. Просто его охватывало необъяснимое, бескорыстное, судорожное желание укусить. И он не отказывал себе в этом наслаждении.

Кого он уважал настолько, чтобы не обидеть даже при благоприятных тому обстоятельствах?

Может быть, Блока (вскоре после его смерти). Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все*.

Однажды он, улыбаясь, стал читать Сашу Черного, стихи, посвященные ему. «Корней Белинский»*. Я их помню очень смутно. Кончаются они тем, что, мол, Чуковский силен, только когда громит бездарность, и халат тогой падает в таких случаях с его плеч. Начал читать Корней Иванович весело улыбаясь, а кончил мрачно, упавшим голосом, прищурив один глаз. И, подумав, сказал:

— Все это верно.

Маршак не раз говорил о нем:

— Что это за критик, не открывший ни одного писателя.

И вместе с тем какая-то сила угадывалась, все время угадывалась в нем. И Маршак же сказал о Чуковском однажды:

— Он некомнатный человек*.

Стихи Корней Иванович запоминал и читал, как настоящий поэт. Но прозу он вряд ли понимал и любил так, как Некрасова, например.

Одна черта, необходимая критику, у него была: он ненавидел то, что других только раздражало. Но настоящий критик еще и влюбляется там, где другие только любят. А Чуковский только увлекался.

И критик обязан владеть языком. Иметь язык. Быть хорошим прозаиком. А настоящего дара к прозе у Корнея Ивановича-то и не было.

Во многих детских своих стихах он приближался к тому, чтобы заговорить настоящим языком, и, бывало, это ему удавалось в полной мере (последние строки «Мойдодыра»). Но в прозе его чувствовались и потолок, и доньшко. Да, в ней была сила, но та самая, что так легко сгибала и выпрямляла длинную его фигуру, играла его высоким голосом, — актерская сила. С фейерверком, конфетти и серпантином.

Отсутствие языка сказывалось и на его памяти. Не назвал — значит, не запомнил. Именно поэтому, рассказывая, он часто за невозможностью вспомнить — сочинял.

Однажды он рассказал, как Скиталец, пьяный, приехал на какой-то вечер, хотел прочесть свое стихотворение «Мне вместо головы дала природа молот» и прочел «Мне вместо головы дала природа ноги».

Я посмеялся, а потом вспомнил, что это строки насчет головы и молота вовсе не Скитальца, а пародия Измайлова на Скиталь-

ца*. Значит, когда Корней Иванович рассказывал, то даже отличная память на стихи изменяла ему. Настоящая его сила, та, что заставляла его умолкать посреди разговора, уходить в себя, работать до отчаянья, бегать огромными шагами вокруг квартала, — была нема и слепа и только изредка пробивалась в детских стихах. А в остальные дни не радовала она Чуковского, а грызла, отчего он и кусался.

Сегодня припадок ненависти ко всем, забредающим в полосу отчуждения, и в том числе, разумеется, и ко мне, так силен, что Корней Иванович наскоро придумывает ряд поручений, только бы я скрылся с глаз долой.

И я отправляюсь в путь.

Первое поручение — достучаться во что бы то ни стало к художнику Замирайло и узнать, когда будут готовы рисунки к какой-то детской книге*. Корней Иванович предупредил, что это вряд ли мне удастся.

И в самом деле. Словно сказочные слуги, получавшие от своих владык подобные же невыполнимые приказания, я попадаю в дебри, сырые и темные. В коридоре дома, полного еще воспоминаниями о голодных годах, я стучу и стучу, упорно и безостановочно, в обитую клеенкой дверь, как было мне приказано. Полутемно. В двух шагах на полу — перевернутая кверху дном ванна, неведомо зачем вытащенная из подобающего вместилища. На помойном ведре пристроилась кошка и ест с отвращением, отряхивая так, что брызги летят во все стороны, соленый огурец. Я стараюсь стучать погромче, но войлок под клеенкой заглушает звук. Стучу ногой. Из двери напротив выглядывает женщина в платке. Сообщает, что, по ее мнению, художник дома, но не откроет. Он никому не открывает.

— Мохнатое сердце! — думаю я с горечью. — Ведь это я стучу, я. Как можно прятаться от меня? Разве я тебя обижу?

Мохнатое сердце — так назвал себя Замирайло, оправдываясь перед товарищем, которого напрасно обидел, — не чует, не отзывается.

Так я и ухожу, не достучавшись.

Года через два я увидел в редакции человека невысокого, с лицом апатичным, бледным, несколько одутловатым. Это он и

был, таинственный Замирайло. В редакции он держался как все, отвечал на вопросы вполне учтиво. А когда ушел, то молодые художники отозвались о нем непочтительно, сказали, что он эпитон Доре.

После бесславной попытки проникнуть к Замирайло, я направляюсь к Лернеру, пушкинисту и литературоведу. Я должен узнать у него, кто такая — известная своим богатством, благочестием и влиянием в кругах высшего духовенства особа, упоминаемая у Панаевой. Фамилия ее в мемуарах не названа.

К Лернеру я попадаю через кухню. Все парадные двери в Петрограде еще заколочены. Возможно, что здесь я увидел кошку на кухонном ведре, а к Замирайло стучался со двора. В одном не сомневаюсь: голодный и холодный город ощущался и там, и тут, и на подступах к талантливому художнику, и на кухне у литературоведа, и в квартире Чуковских, куда попадали тоже через кухню с давным-давно, годы назад остывшей плитой. На Невском зиял пустыми окнами недостроенный дом — недалеко от улицы Марата, там, где теперь кинотеатр «Художественный». Недостроенный дом вздымался и на углу Герцена и Кирпичного, и никто не собирался еще достраивать эти дома. Город только-только начинал оживать.

В своем кабинетике с буржуйкой Лернер, выслушав меня, быстро и пренебрежительно, как математик, которому задали арифметическую задачу для первоклассников, отвечает, что, конечно, у Панаевой идет речь о графине Орловой, старой деве, замаливающей грехи отца*.

Насмешливый, беловолосый, немолодой, расспрашивает он о том, как работает Чуковский над примечаниями. По всей повадке его я угадываю, что считает он Корнея Ивановича ненастоящим работником, легкомысленным журналистом, взявшим ношу не по плечу*.

Он втолковывает мне, что, давая примечания, нужно чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от книжки ненужными комментариями, не показывать без толку свою ученость.

Куда бы я ни шел, с кем бы ни говорил, — меня преследует предчувствие неприятности, даже позора. Мне приказано явиться в Губфинотдел и похлопотать перед фининспектором, чтобы с Корнея Ивановича сняли неправильно исчисленный налог.

У меня в кармане необходимые справки, мной получены подробнейшие инструкции, но мне все равно не по себе. Я начисто был лишен счастливого дара — весело и спокойно разговаривать с начальниками, в каком бы чине они ни состояли. Я трусил, когда приходилось просить. Терял всякий дар слова. Внушал своим растерянным видом мрачные подозрения. И наконец — радовался в глубине души отказу, — так или иначе, он кончал тяжелый для меня разговор. И я отступал, еще по-настоящему и не начав боя, там, где более или менее настойчивый человек одержал бы победу.

У меня мелькает малодушная мысль — соврать Корнею Ивановичу, что фининспектора не оказалось на месте. Что его вызвали в Смольный. Но я не поддаюсь искушению. Меня поддерживает надежда, что фининспектор и в самом деле взял да и ушел, провалился сквозь землю.

Я в те дни был крайне растерян, и недоверчив, и невнимателен к красотам города, о которых столько твердили наименее живые из моих знакомых. Однако один дом я все же успел заметить и даже полюбить за то, что, несмотря на душевное смятение мое, он вызывал каждый раз прочное, надежное чувство восхищения. Это радовало меня. Все-таки я, значит, мог чувствовать ясно. Дом мой любимый возвышался за узорной решеткой на канале Грибоедова, против мостика со львами. Вот туда-то и шагал я на мучения и позор. Там помещался Губфинотдел.

Фининспектор оказался на месте, в своем кабинете. Корней Иванович отлично знал часы его приема. Молодой человек с припудренными изъянами на бледном лице сидел за столом и отказывал в просьбе какому-то упрямому и несдающемуся человеку. Налогоплательщик говорил тихо, но много, безостановочно, а фининспектор ответил ему только раз, во весь голос, презрительно и гладко:

— Если вам известны подобные случаи, вы должны в интересах фиска информировать нас.

Когда налогоплательщик вышел, не глядя ни на кого, полный негодования и энергии, ничуть не обескураженный, пришла моя очередь.

По непонятным причинам, видимо, потому, что я хлопотал не о себе, я говорю не слишком путано и предъявляю документы, едва бледный молодой фининспектор заговаривает о них.

Он долго хмурится, шурится, качает головой, задумывается и, наконец, пишет резолюцию, и я вижу с восторгом, что сумма налога уменьшилась на шестьдесят миллионов.

В Публичную библиотеку я вступаю как победитель. Теперь я не боюсь никого. Заведующий русским отделом, сердитый старик, прочтя записку Корнея Ивановича, протягивает мне толстую книгу «Русский некрополь». Тут я найду инициалы, год рождения и смерти некоторых лиц, упоминаемых в примечании.

Мне остается выполнить еще одно приказание своего хозяина. Всем тогда случалось торговать. Так же, как в старые времена шли в ломбард, — отправлялись теперь на рынок. И когда Корней Иванович поручил мне продать авторские экземпляры своих только что вышедших книг, я отнесся к этому весьма просто и спокойно.

Здесь-то и подстерегали меня позор и неудача.

В первой же книжной лавке меня приняли за подозрительную личность, укравшую книги в типографии. Напрасно я доказывал, что получил их от самого автора. Холодно и решительно маленький владелец магазина отказался вступать со мной в какие бы то ни было переговоры. Я ушел, в ярости хлопнув дверью, но в другие магазины пойти не посмел.

Ошеломленный и отуманенный всем многообразием пережитых приключений, возвращаюсь я на Манежный переулок, к своему повелителю.

Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими непонятными глазами, и странное чувство нереальности всего происходящего охватывает меня. Зачем я ходил к Лернеру, в Публичную библиотеку, стучался к Замирайло? Нужны ли Чуковскому все эти лежащие на письменном столе труды, и к чему ему секретарь? Да и сам Корней Иванович — существует ли он? Тот ли это Чуковский, которого я так почитал издали, в студенческие годы, за то, что находился он в самом центре литературы, и представлял ее, и выражал? «Журнал журналов»* хвалил его, а что такое Корней Иванович на новой почве, в теперешней жизни?

Я недоедал в то время, и мысли о нереальности происходящего особенно остро переживались мной к середине дня, после путешествий и приключений.



К. И. Чуковский. Фотография М. С. Наппельбаума. Петроград. 1920-е годы

Я встречаю на Невском Давыдова. Он медленно идет под руку со своим племянником, красивым юношей в дохе. Давыдов. Тот ли это артист, о котором я читал в чеховских письмах*, или в наши дни это явление совсем другого порядка?

Из бывшей «Квисисаны»* выходит в компании художников Радаков. Он весел, но более по привычке, держится самоуверенно, но как бы в целях самозащиты. Прошли века с тех пор, как закрылся «Новый Сатирикон»*. Существует ли Радаков, хотя грузная его фигура занимает весьма заметное место на Невском проспекте?

Доклад о выполненных и невыполненных поручениях Корней Иванович выслушивает спокойно, серые глаза его сохраняют загадочное выражение. Но, увидев резолюцию фининспектора, он вскакивает и кланяется мне в пояс, и восклицает своим особенным тенором, что я не секретарь, а благодетель.

Существую ли я? В те дни я и в самом деле как бы не существовал. Театр, в котором я работал, закрылся. К литературе подступал я осторожно, с поклонами, заискивающими улыбочками, на цыпочках. Я дружил в те времена с Колей Чуковским и все выпрашивал: как он думает – выйдет ли из меня писатель?

Коля отвечал уклончиво.

Однажды он сказал так: «Кто тебя знает. Писателя все время тянет писать. Посмотри на отца: он все время пишет, записывает все. А ты?»

Я не осмеливался делать это. Но Корней Иванович и в самом деле записывал все.

У него была толстая переплетенная тетрадь по имени «Чукоккала», которой Корней Иванович очень дорожил. И не без основания. Там, на ее листах формата обыкновенной тетрадки, красовались автографы Блока, Сологуба, Сергея Городецкого, Куприна, Горького, рисунки Репина. Все современники Чуковского так или иначе участвовали в «Чукоккале». По закону собраний такого рода, чем менее известен был автор, тем более интересны были его записи. Во всяком случае, ощущалось – старание. Но, так или иначе, тетради этой не было цены. Однажды Корней Иванович доверил ее мне. Лева Лунц уезжал*. Были устроены проводы, и Корней Иванович поручил мне собрать в «Чукоккалу» автографы присутствующих.

Проводы оказались настолько веселыми, что я не рискнул выполнить поручение.

На другой день после проводов я у Чуковского не был. Он сказал, что я не буду нужен. А вечером того же дня пришел ко мне Коля и сообщил, что папа очень беспокоится за судьбу альбома.

Я принес «Чукоккалу» утром, к восьми часам, но Корней Иванович уже не застал. Он умчался по своим делам, а может быть, размахивая руками, словно утопающий, шагал огромными шагами вокруг квартала. Я сел за стол и принялся ждать.

И тут я убедился, что и в самом деле Корней Иванович записывает все. На промокательной бумаге стола, на нескольких листиках блокнота, на обложке тетради стояли слова: «Шварц — где Чукоккала...!!!» Первое движение, первое выражение чувства для него была потребность записать. «Где Чукоккала?», «Пропала Чукоккала» — вопияли на столе со всех сторон взятые в квадратные и овальные рамки слова. «Где Чукоккала? О моя Чукоккала!»

Корней Иванович в те дни неустанно горевал о дневниках своих. Он вел их всю жизнь, и вот остались они на даче в Финляндии*.

Полагаю, что дневники его и в самом деле будут кладом для историка литературы. Придется ему долго разбираться в той смеси, сети, клубке правдивости, точнее — искренности — и лжи, но лжи от всего сердца*.

Я при тогдашней своей любви ко всему, что связано с литературой, наслаждался всеми рассказами Корнея Ивановича, даже в недостоверности их угадывая долю правды, внося поправки в его обвинения, смягчая приговоры, по большей части смертные. Однажды Коля пожаловался: «Папа наговорил о таком-то, что он и негодяй, и тупица, и готовый на все разбойник. А я познакомился с ним и вижу — человек как человек». И я учитывал эту особенность рассказчика.

Однако в самые черные дни его даже я несколько омрачился, наслушавшись обвинительных актов против товарищей Корнея Ивановича по работе*. Если верить ему, то они прежде всего делились, страшно повторить, — на сифилитиков и импотентов. Благополучных судеб в этой области мужской жизни Корней Иванович, казалось, не наблюдал. Соответственно определял он их судьбы и в остальных разделах человеческих отношений.

Вот несколько наиболее добродушных его рассказов.

Корней Иванович, стоя у книжной полки, открывает книжку, и вдруг я слышу теноровый его хохот. Широким движением длинной своей руки подзывает он меня и показывает. К какой-то книге Мережковского приложен портрет: писатель сидит в кресле у себя в кабинете. Вправо от него на стене большое распятие, и непосредственно под крестом, касаясь его подножия, чернеет кнопка электрического звонка*.

— Весь Митя в этом! — восклицает Корней Иванович с нарочито громким и насмешливым смехом.

Но вот смех обрывается, и Корней Иванович темнеет, прищурив один глаз.

И я слышу жалобы, правдивость которых не вызывает у меня ни малейшего подозрения.

Мережковские приготовились бежать из Советского Союза и тщательно скрывали это от друзей. В течение двух недель ходили они по издательствам, заключали договоры и получали гонорары. В советских условиях они были робки, все обращались за помощью к Корнею Ивановичу, и он выколачивал для них наличные деньги у самых упрямых хозяйственников.

И ни слова не сказали Корнею Ивановичу о планах побега. А ведь считались друзьями, да что там считались — были, были настоящими друзьями. И Чуковский показывает искреннее и трогательное стихотворение Гиппиус об одиночестве, в котором очутилась она. Только одно и есть у нее утешение — приход «седого мальчика с душою нежной»*.

Вот как она писала. А потом удрала за границу, ни слова не сказав о своих планах друзьям. Ни намек! И там стала обливать нас, оставшихся, грязью*. Ругалась, как торговка. Вся Зинаида Гиппиус в этом. Вся.

Однажды Брюсов сказал Корнею Ивановичу, что сегодня ему исполнилось сорок лет*. А тот ему ответил: «Пушкин в эти годы уж и умереть успел!»

У Корнея Ивановича, как у великих фехтовальщиков, была выработана своя система удара. Фраза начиналась с похвалы и кончалась выпадом.

Он сказал однажды Короленке:

— Владимир Галактионович, как хорош у вас слесарь в рассказе «На богомолье»*, сразу видно, что он так и списан с натуры.

И Короленко ответил спокойно:

— Еще бы не с натуры: ведь это Ангел Иванович Богданович.

Ответ этот привел Корнея Ивановича в восхищение.

Это был один из немногих случаев, когда Корней Иванович отдавал писателю должное. При оказиях подобного рода он отводил душу, ругая певучим тенором своим других прозаиков.

Пусть попробует так поступить такой-то с его лимфатическим благородством или такой-то с его куриной грудкой. Взять редактора толстого марксистского журнала, Ангела Ивановича, которого наборщики прозвали Чёрт Иванович, и перенести его совсем в другую среду, где характер его вырисовывался выразительнее и отчетливее. Пусть попробует так сделать такой-то с его жидким семенем! Он и с натуры писать не может своими хилыми пальчиками.

Расстались мы с Чуковским летом 23-го года, когда я уехал погостить к отцу в Донбасс.

Разногласий у нас не было. Если выговаривал он мне, то я сносил. А он со своей возвышенной чувствительностью чувял, конечно, как бережно, с каким почтением я к нему отношусь. Словно к стеклянному. Он нередко повторял, что я не секретарь, а благодетель, но оба мы понимали, прощаясь, что работе нашей совместной пришел конец. Есть какой-то срок для службы подобного рода. И я удалился из полосы отчуждения.

Только перед самым уже отъездом заспорили мы по поводу статьи его о Блоке*. Мне казалось, что поэт, сказавший об имени своем, сожженном крестьянами, «туда ему и дорога», — заслуживает более сложного разбора*. Спор этот Корней Иванович запомнил. Когда я уже уехал, он сказал Коле, что гонорар за статью о Блоке переведет мне. Однако не перевел.

По возвращении моем мы встречались довольно часто, и Корней Иванович бывал добр ко мне, со всеми оговорками, вытекающими из особенности его натуры.

Кончая редактировать одно из изданий книжки «От двух до пяти», Чуковский сказал мне, что, прочтя кое-какие изменения и добавления к ней, я буду приятно поражен.

Дня через два мне случайно попались гранки книжки. И я прочел: «В детскую литературу бросились все, от Саши Черного до Евгения Шварца»*.

По правде сказать, я вместо приятного удивления испытал некоторое недоумение. Впоследствии он заменил фразу абзацем, который и остается до сих пор, кажется, во всех переизданиях. Там он спорит со мной, но называет даровитым, что меня и в самом деле поразило.

Все анекдоты о вражде его с Маршаком неточны*. Настоящей вражды не было. Чуковский ненавидел Маршака не более, чем всех своих ближних.

Просто вражда эта была всем понятна, и потому о ней рассказывали особенно охотно.

Во время съезда писателей, узнав, что Маршак присутствовал на приеме, куда Чуковский зван не был, этот последний нанес счастливцу удар по своей любимой системе.

— Да, да, да! — пропел Чуковский ласково. — Я слышал, Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем приеме, и так радовался за вас, вы так этого добивались!*

Встретив в трамвае Хармса, Корней Иванович спросил его громко, на весь вагон:

— Вы читали «Мистера Твистера»?

— Нет, — ответил Хармс осторожно.

— Прочтите! — возопил Корней Иванович. — Прочтите. Это такое мастерство, при котором и таланта не надо. А есть куски, где ни мастерства, ни таланта: «Сверху над вами индус, снизу под вами зулус» — и все-таки замечательно.

Так говорил он о Маршаке.

Зло?

Да. Может так показаться.

Пока не вспомнишь, как относился этот мученик к самым близким своим. К своему первенцу, например.

Во время войны я привез Корнею Ивановичу письмо от Марины, жены его старшего сына. Она рассказывала в нем чистую прав-

ду. Ей удалось узнать, случайно, что Коля сидит без работы, в части, где газеты нет и не будет, под огнем, рискуя жизнью без всякой пользы и смысла. Она просила, чтобы Корней Иванович срочно через Союз хлопотал о переводе Коли не в тыл, нет, а в другую фронтовую часть.

Мы встретились с Корнеем Ивановичем в столовой Дома писателей, во втором этаже, где кормили ведущих и приезжих. Я спросил Корнея Ивановича о письме.

К ужасу моему, лицо исказилось на знакомый лад. Судорожное самоубийственное желание укусьть ясно выразилось в серых глазах, толстых губах. И этот мученик неведомого бога, терзаемый недоброй своей силой, запел, завопаял, обращаясь к старику Гладкову*, сидящему напротив:

— Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что находится на волоске от смерти, и она молит: спасите, помогите! А он там в тылу наслаждается жизнью.

— Ай, ай, ай! — пробормотал старик растерянно. — Зачем же это он?

Вот как ответил Корней Иванович на письмо о находящемся в опасности старшем своем сыне. Младший его, — следует помнить об этом, — к тому времени уже погиб на фронте*. Нет, я считаю, что Маршака Корней Иванович скорее ласкал, чем кусал.

В апреле 52-го года, слушая доклад Суркова на совещании о детской литературе*, я оглянулся и увидел стоящего позади седого, стройного Корнея Ивановича. Ему только что исполнилось семьдесят лет, но лицо его казалось все тем же свежим, топорным, и нежным, особенным. Конечно, он постарел, но и я тоже, и дистанция между нами сохранилась прежняя. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в разных углах зала, пожимая правой левую, прижимая обе к сердцу.

Я пробрался к нему.

Сурков в это время, почувствовав, что зал гудит сдержанно, не слушает, чтобы освежить внимание, оторвался от печатного текста доклада и, обратившись к сидящим в президиуме Маршаку и Михалкову, воскликнул:

— А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры о детях.

И немедленно, сделав томные глаза, Чуковский пробормотал в ответ:

— Да, да, да! Это национальное бедствие!

На несколько мгновений словно окно открылось, и на меня пахло веселым воздухом двадцатых годов.

Но не прошло и пяти минут, как Корней Иванович перестал слушать, перестал замечать знакомых, и я почувствовал себя в старой, неизменной полосе отчуждения. Прищуриив один глаз, ступил он в сторону за занавеску к выходу и пропал, как будто его и не было. Удалился в свою пустыню обреченный на одиночество старый белый волк.

О «БЕЛОМ ВОЛКЕ»

Как-то в начале пятидесятых годов Евгений Львович Шварц прочел мне свою только что законченную рукопись. Я всегда охотно, с большой радостью, а часто и с наслаждением слушал чтение Шварцем его мемуаров или «ме», как я их, шутя, называл. На этот раз ни малейшей радости мне испытать не довелось.

То, с чем меня познакомил Шварц, называлось «Белый волк». Это были воспоминания о Корнее Ивановиче Чуковском и относились к тем, очень далеким, временам, когда еще совсем маленький Женя Шварц работал у достаточно уже маститого Чуковского в должности его личного секретаря.

Заметки эти меня мало того, что не порадовали, они меня до крайности удивили и огорчили. Я не узнал здесь не только Чуковского, но и самого Шварца. С Евгением Львовичем мы уже давно дружили, и он был известен мне как человек умный, добрый, сдержанный, по-чеховски деликатный и по-чеховски же снисходительный и доброжелательный к людям...

В «Белом волке» деликатности и следа нет. Чуковский выведен глуповатым, вздорным, истеричным и бездушным эгоцентриком.

Я честно сказал Шварцу, что в его литературном портрете не узнаю того, с кого он рисован.

— А ты его и не можешь узнать, — ответил мне Евгений Львович. — Ведь ты его в те годы еще и в глаза не видывал.

Я заметил, что вряд ли за протекшие годы человек мог так разительно перемениться. И прибавил, что портрет этот написан

грубо, однолинейно, одной — даже не черной, а какой-то ядовито-зеленой, змеиной краской.

Евгений Львович слушал меня, посмеивался, отшучивался, но видно было, что критика его все-таки задела.

А через какое-то время возвращается Шварц из очередной поездки в Москву и первое, о чем сообщает мне:

— Ты знаешь, иду вчера вечером по улице Горького мимо телеграфа и вдруг вижу навстречу — кого ты думаешь? — Корней Иванович! Ты не поверишь, я сам удивился, до чего ж меня обрадовала эта встреча! А главное, ведь и он тоже обрадовался. Честное слово! Так обнимал, такие симпатичные, удивительно положительные слова по моему адресу употреблял...

И добавил уже другим тоном, даже с некоторой грустью:

— Ты, конечно, был прав, я ошельмовал Корнея в своем «Белом волке». Написалось с маху, сгоряча, под влиянием минуты... Найду время, непременно перепишу.

И — не нашел, не переписал, не успел.

А «Белый волк» тем временем чьими-то недобрыми стараниями пошел во многих копиях блуждать по свету и стал достоянием, как мне известно, довольно широких читательских кругов.

Все это время меня это, признаться, мучило. Всякий раз, когда в моем присутствии заходила речь о «Белом волке» или когда я сам вспоминал об этом пасквиле, я испытывал — да и сейчас испытываю — чувство горечи и сожаления, что очевидная обмолвка автора, случайно, под горячую руку написавшиеся страницы навсегда бросили тень сразу на двух близких мне людей. Я понимал, чувствовал, что мне следует каким-то образом реагировать, рассказать все, что я знаю о «Белом волке», о позднем раскаянии автора, а также о его намерении заново переписать портрет. Несколько раз я даже делал попытки набрасывать что-то вроде комментариев к запискам Шварца. Но ведь «Белый волк» не был опубликован. Куда же и кому следовало адресовать эти свои воспоминания и пояснения?

Но вот мне становится известно, что «Белый волк» напечатан. Да, напечатан. Правда, не у нас, не в Советском Союзе, а за границей, в Париже, в эмигрантском журнале «Память». Как он туда попал в эту «Память» — не ведаю. И уж совсем не могу представить, каким образом залетели туда и оказались напечатанными

в непосредственном соседстве с «Белым волком» — мои неопубликованные воспоминания о Корнее Ивановиче.

Это прискорбное и, прямо скажу, довольно-таки противное обстоятельство, то есть нарушение соответствующей статьи Женевской конвенции, самочинная публикация моего труда, — мне кажется, дает мне и право, и повод не только заявить публичный протест, но и рассказать все, что я знаю о подлинном отношении Евгения Шварца к Корнею Чуковскому.

Прежде всего, слово самому Шварцу.

В руках у меня копия его давнего письма к К. И. Чуковскому. В октябре 1956 года Чуковский поздравил Шварца с шестидесятилетием. И вот как ответил ему Шварц:

«Дорогой Корней Иванович! Спасибо за письмо, которое Вы мне прислали к моему шестидесятилетию. Я его спрятал про черный день. Если меня выругают — я его перечитаю и утешусь.

Увидал я Ваш почерк и не то что вспомнил, а на несколько мгновений пережил двадцать второй год. Увидел Вашу комнату с большими окнами, стол с корректурами переводов Конрада*, с приготовленными к печати воспоминаниями Панаевой, с пьесами Синга. Я подходил тогда к литературе от избытка уважения на цыпочках, робко улыбаясь, кланяясь на каждом шагу, пробирался черным ходом. И главное, ничего не писал от страха. Попав к Вам в секретари, я был счастлив. А Вы всегда были со мной терпеливы и ласковы.

Очень странно мне писать о собственном шестидесятилетию, когда секретарем у Вас я был будто вчера. И то, что Вы похвалили меня, я ощущаю с такой же радостью и удивлением, как в былые годы.

Я знаю, помню с тех давних лет, что хвалите Вы, когда и в самом деле Вам вещь нравится. И бывает это далеко не часто. Поэтому и принял я Ваше письмо, как самый дорогой подарок из всех. Спасибо Вам, дорогой, дорогой Корней Иванович.

Целую Вас.

В ноябре буду в Москве и непременно найду Вас, чтобы поблагодарить Вас еще раз.

Помните, как Вы бранили меня за почерк? А он все тот же. Как я».

Да, Шварц написал правду: с годами он не менялся. Росла его душа, мужал талант, но основные линии характера оставались теми же: щедрая доброта, высокая духовность, юмор, особая, очень тонкая (петербургская, как не совсем точно, но вместе с тем очень правильно

кто-то заметил) интеллигентность. Но были черты или черточки, которые при желании можно было бы назвать отрицательными. В моих давних воспоминаниях о Шварце я говорил о его тщеславии. На предыдущей странице я упоминал о его деликатности, сдержанности. Да, он умел держать себя в руках. Но бывало на моей памяти и такое, когда эта благородная, достойная сдержанность вдруг прорывалась вспышками буйного, иногда даже дикого гнева. Не один раз я и на себе испытал этот чудовищный гнев, выслушивая слова, несправедливость которых, бывало, уже через полчаса признавал и сам Шварц.

Думаю — и убежден в этом, — что «Белый волк» написан именно в такую, недобрую, лихую минуту.

Но что же — выходит, что Шварц все выдумал, что в приступе гнева или задетого тщеславия он оклеветал Чуковского?

Да нет, если говорить по совести, думаю, что не все выдумал.

Лет пять назад зашел у нас разговор о Чуковском с ныне покойным И. И. Ивичем. Вернее, говорили мы не о Чуковском, а о «Белом волке». И я высказал сожаление, что эти обидные для памяти Чуковского (как и для памяти Шварца) заметки ходят по рукам.

— А ты знаешь, — сказал мне Ивич, — ведь в те годы Чуковский был не совсем тот, каким вы его знали. Я помню очень хорошо, какой многосложный он был в начале двадцатых годов.

И добавил:

— С годами он лучше.

И я тогда же подумал, что, наверно, это очень точно, что ведь лучше Корней Иванович, и сильно лучше, становился добрее, мягче, отзывчивее к людским бедам и на моей памяти. Но ведь это, к сожалению, не так часто бывает, чтобы духовный облик человека с годами светлел, а не темнел.

Я уже где-то писал, вспоминал, что когда в 1926 году меня, девятнадцатилетнего познакомили с Чуковским, он мне здорово не понравился. Мог ли я тогда думать, что со временем полюблю этого человека и буду любить сильно и нежно, как мне довелось его любить несколько долгих десятилетий.

Так же сильно любил Чуковского до последнего дня своего и Евгений Львович Шварц. Только ради этого, — чтобы засвидетельствовать этот далеко, мне кажется, не маловажный факт, я и взялся сегодня за перо.

ТАЛАНТ ЖИЗНИ



К. Чуковский. Эскиз работы П. Бунина

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я ВИДЕЛ БЛОКА

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911—1912 годах мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. У выхода папа купил журнальчик «Обозрение театров», памятный для меня тем, что в каждом его номере печаталось чрезвычайно мне нравившееся объявление, на котором был изображен маленький человечек с огромной головой; он прижимал палец ко лбу, и вокруг его просторной лысины были напечатаны слова — «Я знаю все!».

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановясь под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно — оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестящем при ярком свете электрических фонарей Невского.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

— Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Вероятно, я и запомнил его только оттого, что папа назвал его пьяным. В нашей непьющей семье мне никогда не приходилось встречаться с пьяными, и пьяные очень волновали мое воображение.

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты — до того он изменился.



Александр Блок и Корней Чуковский. Фотография М. С. Наппельбаума.
Петроград. БДТ. 25 апреля 1921 года

В те времена Горький был председателем правления Дома искусств*, а членами правления были и Блок, и мой отец*. Отец мой был, по-видимому, очень деятельным членом правления и потому имел позади библиотеки комнатку для занятий — нечто вроде служебного кабинета. В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной*, и меня, чтобы уберечь от заразы, родители переселили в Дом искусств, в этот «папин кабинет». Но уже через несколько дней заболел и я. Не знаю, была ли это скарлатина, но проболел я довольно долго и, главное, долго провалялся, потому что и тогда, когда мне стало лучше, меня никуда не пускали, чтобы я не разносил заразы. В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца*. Им удалось выпустить всего два номера журнала*, но собирались они часто и трудов положили много.

Одно заседание редакции состоялось как раз в той комнате за библиотекой Дома искусств, где я, выздоравливая, лежал в кровати. Блок пришел первым и, кажется, удивился, увидев меня. Спро-

сил, будет ли здесь Корней Иванович. Негромкий, словно затрудненный голос его звучал глухо. Я, заранее предупрежденный, сказал ему, что отец просит подождать. Блок сел на кровать у моих ног, опустил голову и не сказал больше ни слова.

Так прошло, по крайней мере, минут сорок. Темнело. Я смотрел на него сбоку. От благоговения и робости я не осмеливался заговорить, не осмеливался двинуться. Сгорбленный, с неподвижным большим лицом, печально опущенным, он был похож на огромную птицу. Не знаю, думал ли он или дремал. Отец и Горький очень запоздали, но наконец пришли — оба. Отец включил свет, громко заговорил. Блок поднялся и пересел к столу.

ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

В годы Первой мировой войны я видел Маяковского так часто, что память моя не в состоянии отделить одно его посещение от другого. Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме. Лето пятнадцатого года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале в других дачах, он почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по воскресеньям со своими приятелями — Василием Каменским, Бенедиктом Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным...

Если не ошибаюсь, впервые они приехали к нам из города втроем — Маяковский, Каменский и Лившиц. Мне тогда было лет одиннадцать. Они потрясли мое воображение и восхитили меня — три красавца, высокие, молодые, громкоголосые, веселые. Больше всех в тот приезд мне понравился Василий Каменский. Он был самый шумный из всех, и, кроме того, он был летчик, или, как тогда говорили, авиатор. За ужином он рассказывал что-то удивительное о полетах, а потом громовым голосом читал своего «Стеньку Разина»:

Сарынь на кичку,
Ядреный лапоть!

И одет он был не обычно, а в какую-то особую куртку из светло-коричневой кожи, придававшую ему особенно мужественный вид.

И русые кудри его вились, и белые зубы блистали. Восхищался им не один я — Илья Ефимыч Репин, тоже сидевший за столом, смотрел на Каменского с умиленным восторгом, а когда тот кончил читать, расхвалил его безудержно, с множеством восклицаний. Репин вообще любил хвалить и восхищаться, и его похвалы, насколько я помню, были всегда так же гиперболичны, как и его порицания.

Но затмить Маяковского Каменскому удалось только в один этот приезд. Потом Маяковский воцарился у нас за столом и, в сущности, в течение двух лет царил за ним один безраздельно.

«Облако в штанах»* он писал, живя у нас. То есть не писал, а сочинял, шагая. Я видел это много раз. Записывал же значительно позже.

Наш участок граничил с морским пляжем. Если выйти из нашей калитки на пляж и пойти по берегу моря направо, то окажешься возле довольно крутого откоса, сложенного из крупных, грубо отесанных серых камней, скрепленных железными брусьями. Это массивное сооружение носило в то время название «Бартнеровской стены», потому что принадлежало дачевладельцу Бартнеру, не желавшему, чтобы море во время осенних бурь размыло его землю. Бартнеровская стена стоит до сих пор, хотя название ее давно забыто и никому уже не ведомо, что ее построил Бартнер...

Вот там, на Бартнеровской стене, и была создана поэма «Облако в штанах». Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро после завтрака. Там было пусто. Мы с моей сестрой Лидой, бегая на пляж и обратно, много раз видели, как он, длинноногий, шагал взад и вперед по наклонным, скользким, мокрым от брызг камням над волнами, размахивая руками и крича. Кричать он там мог во весь голос, потому что ветер и волны все заглушали.

Он приходил к нам к обеду и за обедом всякий раз читал новый, только что созданный кусок поэмы. Читал он стоя. Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова. Многие куски «Облака в штанах» я помню наизусть с тех пор...

По нашим семейным преданиям, тщательно скрываемым, Маяковский в те годы был влюблен в мою мать и свою любовь к ней изобразил в «Облаке в штанах». Об этом я слышал и от отца, и от матери. Отец вспоминал об этом редко и неохотно, мать же многозначительно и с гордостью. Она говорила мне, что однажды отец выставил Маяковского из нашей дачи через окно. Если такой эпизод и был, он, кажется, не повлиял на отличные отношения моего отца с Маяковским.

На всех печатных экземплярах «Облака в штанах» стоит посвящение: «Тебе, Лиля!» Но «Облако в штанах» написано весной и летом 1915 года, а с Лилей Брик Маяковский познакомился только осенью 1915 года. Следовательно, посвящение сделано после окончания поэмы, и женщина, о которой говорится в поэме, никак не связана с Лилей Брик. И зовут ее не Лиля, а Мария — так же, как звали мою мать. Во всяком случае, мама моя уверенно утверждала, что это написано про нее. Конечно, с этой точки зрения кое-что в поэме и необъяснимо, например, строчка:

«Знаете —
я выхожу замуж».

Но когда я читаю:

Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть! —

передо мной необыкновенной яркостью встает образ моей матери тех лет. Во фразе о Джеке Лондоне я даже слышу ее звонкий самоуверенный голос. Джек Лондон в те времена был постоянной темой споров между отцом и матерью, споров, которые велись и наедине, и при гостях. Отец никогда не любил Джека Лондона, считал его писателем механическим и пошловатым*. Напротив, мама моя Джеком Лондоном зачитывалась и восхищалась и восхваляла его на всех куоккальских сборищах, — именно теми словами, которые приводит Маяковский. Похищение Леонардовой Джиоконды из Лувра* — тоже была любимая тема моей мамы. Я отчетливо помню, например, как она рассуждала об этом с Репиным в связи с нападением сумасшедшего на репинскую картину «Иван Грозный»*.

В годы Гражданской войны Маяковский часто заезжал в Питер, но на нашу квартиру не заходил никогда. Что было тому при-



Портрет М. Б. Чуковской работы И. Е. Репина. Акварель. Куоккала. 1909 год

чиной — не знаю. Мы с сестрой моей Лидой ходили на все его публичные выступления, и я несколько раз слышал, как он читал «Мистерию-буфф», «150 000 000», «В сто сорок солнц закат пылал»*. Мы слушали, потрясенные. Кстати, нигде я не встречал до сих пор упоминания о том, что Маяковский, читая стихи, некоторые места пел. В «Мистерии-буфф» он четыре строчки:

Хоть чуть Чернее снегу-с,
но тем не менее
я абиссинский негус.
Мое почтенье, —

неизменно пел на мотив матчиша*.

К нашему с Лидой конфузу, он всегда узнавал нас и после чтения подходил к нам и заговаривал. Говорил он о самых обыденных

вещах, спрашивал о здоровье наших родителей, просил передать им привет, при этом ласково трогал нас, окруженных толпою, за плечи, и я от застенчивости впадал в состояние столбняка...

В последний раз видел я Маяковского уже незадолго до его смерти, — на спектакле пьесы «Клоп» в Выборгском Доме культуры*, в Ленинграде. Пошел я туда с мамой, по ее просьбе. Никто нас туда не приглашал, — мама, видимо, просто купила билеты. Она надела черное шелковое платье и, кажется, волновалась. В антракте Маяковский медленно прошел к сцене через зал между стульями. Мы впервые видели его с бритой головой. Маму мою это поразило. Он вообще показался ей очень изменившимся. Она почему-то считала его несчастным. Больше я его не видел.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Я впервые увидел Николая Степановича Гумилева в Куоккале, у нас в саду, летом 1916 года, в одно из воскресений. Он тогда был мало знаком с моими родителями, и приехал в черной визитке, в крахмальном воротнике, подпирившем щеки. Стояла жара, гости пили чай в саду под елкой, и было жутко и жалко смотреть на тощего прямого человека в черном с задранной неповорачивающейся головой. Он был похож на того копченого сига, надетого на торчавшую изо рта палочку, которым моя мама неизменно угощала наших воскресных гостей...

Такой он был всегда — прямой, надменный, выпранный, с уродливым черепом, вытянутым вверх, как огурец, с самоуверенным скрипучим голосом и неуверенными, добрыми, слегка косыми глазами. Он вещал, а не говорил и, хотя имел склонность порою тяжеломерно и сложно пошутить, был полностью лишен юмора.

Следующий раз я увидел его через два года — в конце лета восемнадцатого. Папа, которого я во время его походов по городу сопровождал, как собачонка, забрел в редакцию журнала «Аполлон». Редакция этого изысканного художественного журнала помещалась в самой грязной булыжно-торговой части города — на углу Разъезжей и Николаевской. «Аполлон» в 1918 году уже не издавался, но помещение редакции еще имело прежний вид — гипсовая копия Апол-

лона Бельведерского в углу, и длинный ряд канцелярских столов. В одной из задних комнат этой редакции жил Н. С. Гумилев.

Он был все такой же, события нисколько его не изменили. С тех пор я видел его часто. Вместе с моим отцом и Блоком он был приглашен Горьким к созданию издательства «Всемирная литература», и все они постоянно встречались. С осени 1918 года мы жили на Манежном переулке, а коллегия «Всемирной литературы» собиралась на Моховой, совсем близко от нас, и после заседаний отец нередко приводил с собой Николая Степановича. Помню, он однажды обедал у нас, раза два ужинал. За обедом у нас он познакомился с двумя прехорошенькими и очень светскими барышнями Терещенко. Это были дочери того богатейшего сахарозаводчика Терещенко, который при Керенском был министром финансов. Гумилев, видимо, несколько растерялся в их присутствии, потому что отец мой после обеда сказал мне:

— Никогда не думал, что Николай Степанович способен так робеть в женском обществе. Он вел себя как гимназист.

Отец мой не любил его стихов и называл их «стекляшками».

В эпоху борьбы Гумилева с Блоком в 1920—1921 годах я был ярым блоксист, тоже охотно бранил его стихи. Но и в моей жизни был период, когда я увлекался Гумилевым, — осень 1918 года. Мне попалась его книга «Романтические цветы», и я выучил ее всю наизусть, восхищаясь нарядностью стихов. Очевидно, я уже тогда читал ему свои младенческие вирши, потому что он подарил мне «Жемчуга» с такою ласково-насмешливою надписью:

«Коле Чуковскому, моему собрату по перу.

18 ноября 1918 года».

Впоследствии эту книжку у меня украли.

ДОМ ИСКУССТВ, ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ ДОМА ИСКУССТВ

Дом искусств, клуб Дома искусств, литературная Студия Дома искусств — вот учреждения первых лет революции, основанные по инициативе Горького*, о которых я обязан рассказать, чтобы сделать понятным мой дальнейший рассказ. Вся жизнь художественной и литературной интеллигенции Петрограда в знамена-

тельное четырехлетие с 1919 по 1923 год была связана с Домом искусств. В Доме искусств завершилось многое из того, что пышно цвело в русской культуре в предшествующую эпоху. Дом искусств был колыбелью для многого, чему предстояло возмужать и расцвести в последующие годы.

Первое важное событие, происшедшее в стенах Дома искусств, был прием, устроенный петроградскими литераторами во главе с Горьким в честь приехавшего в Советскую Россию Герберта Уэллса*.

Уэллс приехал в Петроград вместе с сыном, юношей девятнадцати лет*. Они явились к Горькому. Горький попросил моего отца, как человека, хорошо знающего английский язык, водить гостей по достопримечательностям.

Дело это было нелегкое, потому что оба гостя оказались на редкость неразговорчивыми и даже вопросов почти не задавали. Они как будто чего-то все время боялись, хотя чего именно, понять было невозможно. Суровый, голодный, оборванный, без света и тепла, без извозчиков и без автомобилей, полупустой город со стоящими трамваями, с траншеями и брустверами посреди улиц и площадей для отпора белогвардейских банд Юденича навел на них ужас одним своим видом.

Не зная, что им показывать, отец предложил им посетить школу. Они согласились. Естественно, что отцу проще всего было свести их к нам, в бывшее Тенишевское училище*, где учились я и моя сестра. Так он и поступил.

Там я впервые увидел Уэллса.

Для нас, школьников, встреча с ним была большим событием. В те годы мальчики и девочки из интеллигентских семейств зачитывались Уэллсом, а в Тенишевском училище преимущественно дети интеллигенции. Радостной толпой встретили мы его в одном из наших длинных залов и жадно разглядывали. Это был полный коротенький господин со светлыми беспокойными глазами, с гладкозачесанными светлыми редкими волосами. Сын его был очень на него похож, только длиннее и тоньше. Оба они не снимали пальто, потому что школа в ту осень не отапливалась. Отец мой, возбужденный, говорливый и веселый, как всегда на людях, спрашивал то одного мальчика, то другого, какую книгу Уэллса он любит больше всего. Ответы так и сыпались:

- «Машину времени».
- «Борьбу миров».
- «Пищу богов».
- «Фантастические рассказы».
- «Когда спящий проснется».
- «Невидимку».

Все книги Уэллса были названы, даже такая не детская, как «Мистер Бритлинг и война». Не было ни одного мальчика, который не мог бы назвать какой-нибудь книги Уэллса. Отец мой все это добросовестно и эффектно переводил на английский. Но Уэллс слушал хмуро. Он ни разу нам не улыбнулся и не задал ни одного вопроса. Он не скрывал, что хочет поскорее уйти. Все пребывание его у нас в школе продолжалось не больше получаса.

Впоследствии он написал об этом своем посещении советской школы, что все это была инсценировка, устроенная Чуковским, что его встретили дети, которых накануне заставили вызубрить названия его книг. Он не поверил в нас, потому что слишком жалкими мы ему показались. И действительно, на человека, приехавшего из Лондона, мы, дети русского девятнадцатого года, должны были производить жуткое впечатление. С синими от голода прозрачными лицами, с распухшими от холода пальцами, закутанные в лохмотья, обутые в дырявые солдатские башмаки с веревками вместо шнурков, мы, выросшие в трагические годы, были гораздо начитаннее своих английских сверстников. Но оказалось, что чистенькое воображение не могло поверить в интеллектуальное преимущество столь убогих созданий.

Был я и на официальном приеме, устроенном Горьким Уэллсу в Доме искусств от имени художественной интеллигенции Петрограда. Разумеется, отец мой захватил меня туда с собой только для того, чтобы накормить. Заранее было известно, что Петросовет* выделил для этого торжества редчайшие продукты, в том числе целый ящик шоколада. Я не видел шоколада уже больше трех лет, с весны шестнадцатого года, и мечтал о нем гораздо больше, чем о новом свидании с Уэллсом. И действительно, был шоколад, — город, начавший мировую революцию, с безграничной щедростью чествовал знаменитого английского мечтателя. Из нафталина были извлечены давным-давно не надеванные, старомодные фраки, визитки, пиджаки, пожелтевшие крахмальные манишки, стол

был накрыт в большой елисеевской столовой со всей пышностью елисеевской обстановки*. Паркет был натерт, было блаженно тепло, и только электричество горело несколько тускло. Присутствовало человек пятьдесят — шестьдесят, не больше. Лиц я не помню, — по-видимому, в основном те, кого я уже упоминал на этих страницах. Произносились какие-то речи, но я их забыл бесповоротно. Помню только, что среди говоривших был и правый эсер Питирим Сорокин*. Не знаю, попал ли он туда по недосмотру или его нарочно пригласили, чтобы беспристрастно представить Уэлсу и иную точку зрения. Сорокин произнес длинную, полную намеков речь о том, как большевики притесняют великую русскую интеллигенцию. Уэлс выслушал перевод его речи так же, как слушал переводы всех остальных речей, — с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать. Не помню, говорил ли он сам что-нибудь*.

Через несколько месяцев отец показал мне книжонку Уэлса *Russia in the dark** — отчет о его поездке в Советскую Россию. Помню, отец был оскорблен этой книгой. Уэлс не поверил ему, не поверил ничему, что видел*. Всю жизнь человек писал о чудесах, но, единственный раз встретившись с настоящим чудом, не узнал его...

Известные литераторы не слишком часто посещали Дом искусств. И он пустовал бы, если бы его не наполнила толпа молодежи из Студии.

Студия была месяца на два старше, чем Дом искусств. Она первоначально задумана была как студия при издательстве «Всемирная литература». И открылась в конце лета 1919 года в доме Мурузи на Литейном*, в помещении Дома поэтов. Но тут Дом поэтов закрылся, а Дом искусств открылся, и она переехала в Дом искусств.

Семинаром по критике руководил мой отец. Этот семинар просуществовал недолго — отец, пылко взявшись за дело, скоро охладел к нему. И студисты его, весьма многочисленные, разошлись по другим семинарам.

Однако десяток занятий отец все-таки провел. Начал он с того, что дал своим студистам задание: написать критическую статью о стихотворениях С. Надсона. Подобно большинству литераторов того времени, отец мой считал Надсона одним из самых плохих поэтов на свете, как бы учебно-показательным образ-

цом плохого поэта. На следующем занятии отец уже разбирал принесенные статьи. Статьи были беспомощные, плохие, и отец эффектно и радостно высмеивал их недостатки. Особенно долго и беспощадно издевался он под общий хохот над одной статьей, автор которой, тоненький небольшой молодой человек с военной выправкой, с красивым лицом итальянского юноши, сидел на самом дальнем стуле в конце комнаты. Смуглые щеки его бледнели от смущения и обиды. Это был Михаил Зоценко, и статья о Надсоне была первым его литературным произведением. Разобидевшись на моего отца, он перешел в семинар прозы, которым руководил Евгений Иванович Замятин. И стал писать прозу.

Самыми способными людьми в семинаре моего отца, выделившимися с первых же занятий, оказались два студента Петроградского университета: Лев Лунц и Илья Груздев. На одном из занятий отцовского семинара Лунц прочитал реферат о прозе Андрея Белого. Когда семинар по критике прекратил существование, Лунц и Груздев тоже перешли в семинар Замятина.

В семинаре у моего отца начали свое студийское существование и две самые хорошенькие девушки Студии — Дуся Каплан и Муся Алонкина. Не помню, в какой семинар пошли они после прекращения семинара по критике, но Студии они не покинули и играли в ней все возрастающую роль.

Новый 1920 год мы встречали пшенной кашей. Крупу где-то достал мой папа, он же организовал встречу. Ничего, кроме пшенной каши, не было. Кашу сварила нам Марья Васильевна, служившая еще у Елисеевых, и пировали мы за дубовым столом в елисеевской столовой, сидя на высоких, дубовых, резных готических стульях. Студия тогда еще была молода, и мы не успели еще достаточно ни приглядеться друг к другу, ни сдружиться, ни размежеваться. Из «взрослых» присутствовали папа и Миша Слонимский. Вначале над созданием веселья трудился папа. Он вовлек всех в соревнование: кто лучше напишет сонет на заданные рифмы. Сонеты писались и читались с увлечением, подробно разбирались, как на семинаре. К досаде поэтов, лучшим был признан сонет Миши Слонимского*. Но сонетами занимались, только пока не наелись каши. Горячая каша подействовала на голодные желудки возбуждающе. Лица покраснелись, хохот стал громче, и разгорающимся весельем дирижировал уже не мой

папа, а Лева Лунц. И началось нечто сверкающее, нечто слишком стремительное, чтобы можно было передать обыкновенными медленными словами...

Холомки

В 1921 году наша семья с мая по октябрь прожила в Холомках. Холомки — это было имение князей Гагариных в Псковской губернии, на берегу Шелони, в двадцати пяти верстах от уездного города Порхова. Пахотные земли Гагариных были поделены между крестьянами, а усадьба Холомков была объединена с соседней усадьбой имения Новосильцевых «Бельское Устье» и превращена в совхоз. Главной драгоценностью совхоза был новосильцевский яблоневый сад — семь десятин великолепнейших старых яблонь, все ранет и белый налив. Остальные хозяйственные статьи совхоза были ничтожны — кое-какие огородишки да четыре тощие запаршивевшие лошади и две коровы. Лошадей и коров пасла шепелявая дурочка-пастушка, безобразная, немолодая, одетая в мешковину и до того грязная и вонючая, что к ней страшно было подойти. У пастушки этой почему-то были золотые зубы. Почему — не помню, вероятно, она была из опустившихся «бывших» — бывшая кухарка, бывшая лавочница, а может быть, и чиновница. Во всем уезде ни у кого, кроме нее, не было золотых зубов, и крестьяне, встречаясь с ней, не отрываясь, смотрели ей в рот, как на чудо. Она постоянно опасалась, что кто-нибудь выбьет ей зубы с целью грабежа, и часто говорила об этом.

Для моего отца поездка в Псковскую губернию летом 1921 года была выходом из чрезвычайно тяжелого материального положения. В 1920 году родилась моя сестра Мура — четвертый ребенок в семье, — и отцу, единственному нашему кормильцу, решительно нечем было кормить нас в голодном Петрограде. Оставался только один выход — уехать в деревню и жить там, меняя вещи на продукты*.

Беда заключалась в том, что никаких вещей у нас не было. К двадцать первому году мы уже все обносились до предела. Но отец нашел выход — с запиской от знакомых работников Петровета он обратился на один из петроградских металлургических



К. И. Чуковский с сыновьями Николаем и Борисом.
Фотография М. С. Наппельбаума. Ленинград. 1927 год

заводов и получил там мешок гвоздей и четыре стальные косы*. Мешок с гвоздями притащил домой на спине я, — никогда в жизни мне не приходилось тащить ничего более тяжелого. Это было богатство — деревня погибала без гвоздей и кос. В Холомках мешок гвоздей и четыре косы мы обменяли на четыре мешка ржи. И жили там, пока не съели эту рожь, — до середины октября.

Холомки были открытием художника Добужинского*. Он был знаком с Гагариными еще до революции, списался с ними и первым уехал к ним, увезя с собой всю семью. Гагарины продолжали жить в своем помещичьем доме благодаря неизреченной доброте А. В. Луначарского, который выдал им охранную грамоту*. Семья Гагариных в это время состояла из трех человек — старой княгини, княжны Софьи Андреевны, женщины лет тридцати двух, и князя Петра Андреевича, семнадцатилетнего мальчика, моего ровесника. Старый князь уже умер, а старшие сыновья были в бегах за границей*. Двухэтажный каменный дом их на берегу Шелони был построен перед самой войной и скорее напоминал виллу, чем

помещичий дом. В доме сохранилась отличная библиотека Гагариных, и княжна Софья Андреевна, числясь библиотечаршей и получая зарплату из Порхова, выдавала книжки желающим.

Гагаринскую землю крестьяне запахали, но к ним самим относились добродушно и дружелюбно. Бывало, в какую избу ни зайдешь с Петей Гагариным — усаживают за стол, жарят глазунью с луком. Эти глазуньи, которых я так давно не пробовал, потрясали меня до глубины души. Петю крестьяне называли не иначе как «вашим сиятельством».

КОКТЕБЕЛЬ

С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился осенью 1922 года во время его первого после революции и Гражданской войны приезда в Петроград*. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считала его одним из второстепенных подражателей Брюсова...

В двадцать четвертом году приехал он в Ленинград с женой, Марьей Степановной, трогательно ему преданной. Это была его вторая жена; первая его жена была Сабашникова, судя по фотографии, красивая женщина — из известной семьи московских купцов и издателей, Марья Степановна была маленькая женщина, очень ему преданная и трогательно считавшая его великим поэтом и великим человеком. «Когда я была девушка, — рассказывала она, — все мои подружки мечтали выйти замуж за красавцев, или генералов, или богачей. А я говорила: не нужно мне ни красавца, ни генерала, ни богача, был бы мой милый умен. Так и получилось». Говорилось это с наивным простодушием, чуть-чуть наигранным. Марья Степановна была по образованию фельдшерица, и именно как фельдшерица попала в коктебельский дом Волошина, — ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой*.

В тот их приезд в Петроград я встретился с Волошиным дважды — у Марии Михайловны Шкапской и дома у моих родителей...

По-видимому, я в тот раз пошел к ней только для того, чтобы послушать Волошина.

Стихи Волошина произвели на меня большое впечатление. Это было совсем не то, что я ожидал. Ни брусовщины, ни гумилевщины не оказалось в них ни капли — никакого «Аполлона»*. Это были серьезные живые раздумья о России, о революции, об истории, о только что утихнувшей Гражданской войне, выраженные в несколько тяжеловатых, длинноватых, но страстных и искренних стихах...

Через несколько дней Волошины обедали у нас на Кирочной. Отец мой встретил Макса приветливо, как старого знакомого. Макс вначале держался слегка застенчиво, — чувствовалось, что за несколько лет, проведенных вдали от больших городов, у него появилась робость провинциала. Но уже за супом он разговорился и не без удовольствия стал рассказывать, как уважительно приняли его в Москве. Во все время этого рассказа Марья Степановна, заботясь о том, чтобы он не уронил своего достоинства, громким звонким голосом вставляла свои пояснения и дополнения, имевшие своей целью доказать, что любые почести, оказываемые Максимилиану Александровичу, не могут поколебать независимости его взглядов.

После обеда Макс читал свои стихи — те же самые, которые я слышал у Шкапской.

Отец мой вежливо хвалил их, восхищался отдельными удачными выражениями, но по тону его я понял, что стихи понравились ему не очень и что он, как и раньше, считает Макса поэтом второстепенным. Показалось мне, что понял это и сам Макс. В его ответах на вопросы отца появился холодок. Однако отношения скоро опять утеплились — после обеда все мы собрались в кабинете. Марья Степановна запела, и пение ее привело отца в восторг*. Он растрогался, на глазах у него заблестели слезы. «Зарю-заряницу»* он издавна любил и все заставлял Марию Степановну петь снова и снова:

Огонь небесный жарок,
Высок, далек да зорок
Илья, святой пророк.
Он встал, могуч и ярок,
И грозных молний сорок
Связал в один клубок.

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица!

По облачной дороге,
На огненной телеге,
С зарницей на дуге,
Помчался он в тревоге, —
У коней в бурном беге
По грому на ноге.

Конечно, восхищение отца пением Марьи Степановны не могло возместить его холодности к стихам Макса. Макс принадлежал к числу тех литераторов, которые не сомневаются в величии всего, что они пишут, и позволяют слушателям только восхищаться. Марья Степановна постоянно говорила о нем в его присутствии как о гениальном человеке, и он выслушивал ее восхваления с довольной, ласковой и снисходительной улыбкой. И мой отец, несмотря на искреннюю свою симпатию к Макс, навсегда остался с Волошиным в далековатых и прохладных отношениях.

Однако он получил приглашение пожить у них на даче в Коктебеле на берегу моря и летом 1923 года воспользовался им*. У Волошиных прожил он месяц и вернулся из Крыма довольный, помолодевший, с лукавыми глазами.

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

Мне трудно писать о нем, потому что я знал его слишком близко и слишком долго. Я познакомился и подружился с ним сразу после его приезда в Петроград в 1922 году* и был у него в последний раз за месяц до его смерти в 1958 году. Я столько пережил с ним вместе, столько разговаривал с ним, наши согласия и разногласия носили такой устойчивый, привычный, застарелый характер, что я относился к нему скорее как к брату, чем как к другу. А никому еще не удавалось написать хороших воспоминаний о собственном брате.

Не могу припомнить, кто меня с ним познакомил, где я его увидел в первый раз. Он сразу появился и у серапионов, и у Напельбаумов, и в клубе Дома искусств*. И у серапионов, и в Доме искусств его быстро признали своим, привыкли к нему так, словно были знакомы с ним сто лет.

В то время он был худощав и костляв, носил гимнастерку, обмотки и красноармейские башмаки. Никакой другой одежды у него не было, а эта осталась со времен его службы в продотряде. У него не хватало двух верхних передних зубов, и это тоже была память о службе в продотряде; ночью, в темноте, он споткнулся, и ствол винтовки, которую он нес перед собой в руках, заехал ему в рот.

Шварц стал часто бывать у меня. Жил я тогда еще с родителями, на Кирочной улице.

Родителям моим Женя Шварц понравился, и отец мой взял его к себе в секретари. Не понравиться он не мог, — полный умного грустного юмора, добрый, начитанный, проникнутый подлинным уважением к литературе, очень скромный и деликатный, Женя Шварц уже тогда обладал непобедимым обаянием, привлекавшим к нему всех думающих и истинно даровитых людей. У отца моего с первых лет революции всегда был какой-нибудь секретарь или, как он говорил, помощник. Это была странная должность с трудноопределимым кругом обязанностей. Пожалуй, основная и непеременимая обязанность секретаря или помощника заключалась в том, чтобы разделять все умственные увлечения моего отца, будь то увлечение детским языком, или текстами Некрасова, или тайнописью Слепцова, или искусством перевода, или Блоком, Ахматовой, Репиным, Маяковским. Секретарь служил для моего отца первой проверкой всего, что он писал: отец читал ему свои наброски и черновики и жадно следил по его лицу, какое это производит впечатление. Таким образом, секретарь, прежде всего, был собеседник, на котором проверялись мысли. Все остальные обязанности секретаря — ходить с поручениями в издательства, доставать нужные книги в библиотеках, подходить к телефону, надписывать и заклеивать конверты — носили третьестепенный характер. Естественно, что секретарь должен был быть человеком, мнение которого отец мог уважать. Если секретарь не любил литературу, оказывался невосприимчивым к ней, он дол-



Корней Чуковский. Ленинград. 1930 год

го не удерживался. Зато человеку пытливому, истинно литературному секретарство у моего отца давало образование, которого не мог дать университет. Секретарями моего отца были в свое время такие известные впоследствии литературоведы и критики, как Василий Гиппиус, Симон Дрейден, Максимович, такие писатели, как Михаил Слонимский и Евгений Шварц. С большинством секретарей у отца устанавливались дружеские отношения, которые потом не прерывались уже всю жизнь. Так как секретарь обедал и ужинал в нашей семье, у него устанавливались дружеские отношения со всеми членами семьи. И те несколько месяцев, которые Шварц проработал секретарем у отца, сблизили меня с ним еще больше.

Он всегда судил людей, всегда награждал их в глубине своей души за доброе и осуждал за злое. Это был суд нелицеприятный, справедливый, суд, в котором ничего не было похожего на пристрастный суд Серго Куртикидзе, говорившего: «Архиерей такой интеллигентный человек — прекрасно ко мне относится»*. Суд

Шварца был не только суд справедливый, но и добрый, милостивый; судя, Шварц никогда не забывал о той многогрешной старухе из «Братьев Карамазовых», которая один раз нищему луковку подарила и тем искупила все свои грехи. Кроме того, это был суд тайный, о котором никто не догадывался и приговоры которого никто не приводил в исполнение, даже сам Шварц. Свои приговоры Шварц всегда скрывал за шутками, и нужно было быть очень душевно чутким человеком, чтобы догадаться, что эта шутка и есть приговор. Явного суда он не любил и не признавал права судить вслух ни за кем, даже за собой; ему по душе был только один громкий, явный суд — суд искусства.

1960-е годы

СЕДОВЛАСЫЙ МАЛЬЧИК

Эти заметки я должен начать с признания, что когда я сорок пять лет назад познакомился с Чуковским, он мне, попросту говоря, не понравился.

Чем не понравился — объяснить трудно. Гораздо легче и проще рассказать, чем и как человек полюбился.

Однако попробую...

Как поэта, автора, я знал Чуковского с детства, лет с восьми-девяти. Где-то я уже писал о том, как весной 1917 года, в день, когда за окнами пасхальный колокольный звон сливался с победными звуками «Марсельезы», я получил в подарок от мамы необыкновенную, непохожую на все другие, вытянутую, как нотная тетрадь, книгу с удивительным названием: «Крокодил». На обложке (или на форзаце) книги был изображен длинноносый и длинноногий человек с таким же длинноногим именем: *Корней Чуковский*.

Прошло девять лет, и вот в один прекрасный день, кажется поздней осенью 1926 года, меня и моего соавтора Гришу Белых представляют живому Чуковскому.

Дело происходит на пятом этаже ленинградского Дома книги, все в том же детском отделе Госиздата, где к тому времени мы уже успели познакомиться и с Маршаком, и с Шварцем, и с Лебедевым, и с Житковым, и с Олейниковым... Надо сказать, что всех этих людей еще полгода назад мы и по именам не знали. А вот Чуковского узнаем сразу даже в лицо — до того он похож на тот полукarikатурный портрет, который нарисовал когда-то художник Ре-

Ми на обложке «Крокодила». Чуковскому рассказывают о нас, о нашей повести. Редактор «Республики Шкид» Е. Шварц приносит рукопись, разыскивает главу «Крокодил», — где речь идет как раз о книжке Чуковского, — и, с согласия высокого гостя, читает ему эту главу. Чуковский слушает почему-то стоя, снисходительно улыбается, часто и размашисто кивает головой. А когда Шварц кончает читать, он разводит свои длинные руки и, обращаясь к нам, нараспев, несколько даже театрально и не совсем, как нам кажется, естественно говорит:

— Ну, что ж. Нам тлеть, вам цвести!..

Вот тут-то, вероятно, и возникли эти колючки, этот заборчик, надолго отдаливший меня от Чуковского. В словах его и мне, и Грише тоже послышалась насмешка, ирония, скепсис, совершенно, кстати сказать, неожиданные для нас. Дело в том, что в редакции нас успели к тому времени сильно избаловать. В течение целого месяца, а может быть и двух, мы были именинниками. С нашей «Республикой Шкид» носились как с писаной торбой. Мы слышали каждый день только теплые, дружественные и даже восторженные слова. И вдруг эта книжная цитата с тлением и цветением! Впрочем, не в цитате даже дело, а в том не совсем, как нам слышалось, искреннем, чуть-чуть даже ядовитом тоне, каким она была произнесена.

Короче говоря, в этот день, при нашем первом знакомстве, и родилось это отчуждение и недоверие. При каждой новой встрече оно каким-нибудь образом утверждалось, если не подкреплялось.

Долгое время я смотрел в сторону Чуковского настороженно, внутренне сопротивляясь тому очарованию, тому умению влюблять в себя, каким обладал этот необыкновенный, не похожий ни на кого другого человек. Даже много лет спустя, в зрелые свои годы, когда я уже давно не только любил Корнея Ивановича, но и в полную меру испытал на себе силу его сердечности, привязанности, доброжелательства, товарищеской выручки, даже в эти годы я иногда излишне осторожно относился ко многим его добрым словам и высказываниям.

Были ли основания для этого? Прежде чем решиться на категорический ответ, приведу еще один-два примера.

Вот передо мной открытка, датированная декабрем 1929 года. Только что вышла из печати моя книжка «Часы», и Корней Иванович пишет:

«Спасибо, дорогой Пантелеев, за Ваш драгоценный подарок. Я понимаю, почему Вы столько работали над своими «Часами». Я не нахожу в этой вещи ни одного шва, ни одной словесной или психологической фальши. Каждое положение доведено до высшей азартности и в то же время — полновесно по-толстовски...»

В ту пору мне не было двадцати двух лет, над «Часами» я и в самом деле работал долго и серьезно, знал и тогда, и сейчас знаю, что у повести есть достоинства, но — «полновесно по-толстовски»! — нет, уже и в те ранние годы у меня хватило ума, вкуса, юмора, чтобы услышать в этих словах самое чудовищное преувеличение. И в этом случае мне тоже показалось, что похвала Чуковского граничит с насмешкой. Кажется, я даже не поблагодарил его, не ответил ему — не знал, что ответить.

А вот времена совсем другие — апрель 1960 года:

«Дорогой, родной, щедрый, необыкновенный Алексей Иванович!»

Что случилось? В чем дело? Что я такое совершил? Спас его жизнь? Подарил ему автомобиль «москвич»? Или — дачу на Крымском побережье? Или — перстень с лунным камнем?

Нет, никакого «москвича» и перстня я ему не дарил. Незадолго до этого был я у Корнея Ивановича в Переделкине, он показывал мне чудесную библиотеку, только что построенную им в дар переделкинским детям, показал книги и картины, пожертвованные библиотеке разными писателями и художниками, и, между прочим, не без укоризны заметил, что среди этих даров нет только моих книг. Я устыдился и, вернувшись в Ленинград, тотчас надписал и послал в библиотеку несколько своих книжек. Кроме того, мы с женой поехали в игрушечный магазин и купили там два посылочных ящика всяких игрушек. Как известно, хорошие игрушки у нас в продаже бывают редко. А в этот день и вообще была какая-то дрянь. Стыдно было посылать в Переделкино эти скучно окрашенные лодочки и грузовики, тусклые, плохо надутые мячики, пластмассовых петрушек, буратино, чиполлино и прочую дешевку.

И вдруг этот отклик, эти громкие, пышные, свехвосторженные слова:



Корней Чуковский в своем кабинете. В руках кукольная фигурка Андерсена, которая стояла у него на письменном столе.
Фотография Н. Акимова. Переделкино. 1960-е годы. Публикуется впервые

«Должно быть в Питере не осталось ни одной игрушки: все, какие там были, высланы Вами сюда, в Переделкино. И какие они милые, и сколько счастья дадут они детям».

«Я еще не знаю, что с ними делать. Может быть, раздать в качестве призов лучшим читателям. Может быть, “включить их в состав” нашей игротеки... может быть, поставить под стекло и надписать: “Дар писателя Пантелеева”».

Все это решится, когда Лида вернется из Малеевки — устроим совещание с библиотекарями. Мне кажется, лучше всего раздать их в виде призов».

Даже сейчас, когда я переписывал эти строчки, уши у меня пылали. Надо же: «Дар писателя Л. Пантелеева!..»

А ведь сколько на моей памяти таких неумеренных восторгов, гиперболических похвал, гомерических восклицаний!..

Послал ему как-то рецепт на лекарство от бессонницы. Ответ следует немедленно:

«Дорогой, родной Алексей Иванович!

Вы балуете меня своим драгоценным сочувствием. Спасибо, спасибо за рецепт — и, главное, за то, что Вы, не жалея времени и труда, переписали его весь своей рукой!!! не думал я, что у меня (в “Чукоккале”) будет такой драгоценный автограф...»

Не помню, где и когда, — кажется, в собрании сочинений самого Чуковского, — я прочел письмо к нему В. Я. Брюсова. Оно мне так понравилось, что я не поленился и переписал его в записную книжку. Вот что писал Брюсов Корнею Ивановичу в 1915 году:

«Дорогой Корней Иванович!

Знаю, что Вы — человек весьма вежливый, что из Лондона Вы вывезли ту европейскую urbanitas, которая побуждает Вас в письмах (статьи — “статья иная”) говорить приятное...»

Вот, оказывается, где объяснение: urbanitas, то есть изысканная вежливость, изощренная любезность. Значит, в этом все дело? В urbanitas?

Да, эта urbanitas была присуща Корнею Ивановичу, да, очень правильно и то, что у Брюсова сказано в скобках: статьи — «статья иная». В статьях Корней Иванович, как правило, держался ближе к тому, что называется гамбургским счетом.

Значит, и в самом деле не всем восторгам Чуковского можно было верить? Значит, выходит, недоверие мое, настороженность моя, косые взгляды в сторону Чуковского имели основания?

Имели. И все-таки все было не так просто, все было гораздо сложнее, многозначнее. И сам Корней Иванович тоже был фигурой куда более сложной и многозначной, чем он казался многим, в том числе, увы, и мне.

Первое впечатление, как мы знаем, самое сильное.

— Ну, что ж. Нам тлеть, вам цвести!..

Но вот прошли годы, мы навсегда простились с дорогим Корнеем Ивановичем. Создана комиссия по его литературному наследию. Началось изучение его архива. Собираются его письма, взору близких ему людей открываются его дневники.

И вот что я узнаю.

В 1926 году, в том самом году, — а может быть и в тот самый день, — когда молоденький Женя Шварц, давась от смеха, читал Корнею Ивановичу главу из «Шкиды», а тот с холодной (как нам

казалось) усмешкой благосклонно кивал нам головой и произносил некие, помянутые выше, пушкинские слова о тлении и цветении, — в тот самый день, вернувшись домой, Корней Иванович садится за стол и пишет восторженное письмо о «Республике Шкид».

Выписку из этого письма, хранящегося в одном из московских архивов, мне прислали. Корней Иванович пишет горячо, взволнованно, увлеченно, без малейшего скепсиса, без какого-либо намека на усмешку, называет книгу «великолепной», «веселой», «яркой»... И пишет он не кому-нибудь, не мне, и не Белых, а пишет в далекую заморскую Италию, Алексею Максимовичу Горькому...*

Столь же неожиданно кончилась для меня и злополучная история с «двумя ящиками игрушек».

Сразу после смерти Корнея Ивановича в печати стали появляться воспоминания о нем. И однажды в чьих-то воспоминаниях я читаю о том, как Чуковский рассказывал автору записок о «щедрости Пантелеева», приславшего «целых два ящика» игрушек переделкинским детям. Но ведь и эти слова о щедрости тоже могли быть сказаны с усмешкой... Нет, оказывается, и здесь никакой усмешки не было. В руках у меня письмо моего старого друга Л. К. Чуковской. Лидия Корнеевна пишет, что читала сегодня дневники отца за 1960 год — и «знали бы Вы, с какой благодарностью, с каким восторгом пишет он о тех игрушках, которые Вы подарили библиотеке»!

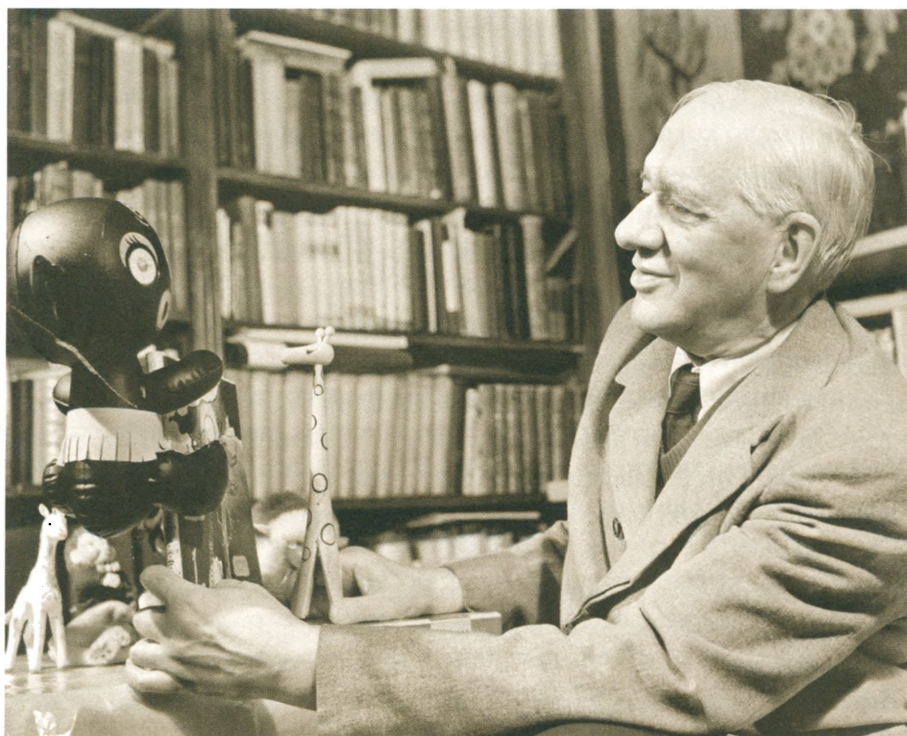
Когда я задумал работу над этими воспоминаниями, я попросил прислать мне точную цитату. Мне прислали. И оказалось, что наедине с собой Корней Иванович говорит о «щедром подарке» более горячо, чем в письме*.

Вот тебе и urbanitas!..

Значит, все не так, все неправда, фантазия, туман и мираж? Выходит, что под личиной скептика и пересмешичника скрывался добрый, нежный, доброжелательный, любвеобильный, тончайшего душевного склада человек?

Нет, пожалуй, ни один из этих эпитетов к Чуковскому не привязывается.

Он сделал очень много доброго, но добрым его почему-то не назовешь. Любвеобильный? Я знал Корнея Ивановича не очень уж близко, никогда (или почти никогда) не вел с ним задушевных,



Корней Чуковский среди игрушек в своем кабинете. Фотография В. Савостьянова. Переделкино. 1960-е годы. Публикуется впервые

сакраментальных бесед и все-таки решаюсь высказать предположение, что в жизни своей он любил по-настоящему только двух, может быть — трех людей.

И перо его тоже далеко не всегда было добрым. Когда он писал предисловие к моему собранию сочинений, он признался мне, что работать ему было трудно, что гораздо легче пишется ему о тех, кого он ненавидит и презирает, чем о тех, к кому испытывает чувство расположения.

Да, конечно, Чуковский был выдающимся критиком, зоилом, весь блеск его лучших статей обязан именно тому атакующему стилю, тому изничтожительному пафосу, каким проникнуты как ранние, молодые, так и многие поздние, послереволюционные его статьи: о Вербицкой, о Чарской, о Мережковском, о футуристах, о вульгарных социологах, о гонителях сказки...

Но ведь он был не только критиком. И ведь далеко не все, что им написано, отравляет ядом ненависти или обжигает холодом презрения. Я сказал неполную правду, когда написал выше, что Чуковский мало кого любил, нет, он всю жизнь любил — горячо, нежно, преданно, чисто, бескорыстно и беззаветно любил детей! И своих, и чужих; и городских, и деревенских; и близких, и дальних; и русских, и английских, и украинских, и бельгийских, и узбекских, и грузинских... он влюблялся в детей всюду, где они попадали в поле его зрения: на улице, на пляже, в библиотеке, в лесу, в вагоне трамвая... Лучшая часть его души и в самом деле всегда была обращена к тем, для кого он написал «Крокодила» и «Муху-Цокотуху».

О детских писателях часто говорят: он и сам был ребенком. О Чуковском это можно сказать с гораздо большим основанием, чем о любом другом авторе. Если, например, С. Я. Маршак не один раз утверждал, что ему — не пятьдесят, не шестьдесят, не семьдесят, а всего лишь четыре года, то Корнею Ивановичу было, вероятно, еще меньше — три с половиной или около этого.

Кто хоть раз видел, как Чуковский играет с детьми — с собственными внуками или правнуками или с первым встретившимся ему на переделкинской улице пацаненком, тот никогда не забудет этой хватяющей за душу картины.

Вот что он сам писал мне (в письме от 30 июня 1957 года) о своей любви к детям:

«... Чем старше я становлюсь, тем больше я привязываюсь к детям. У моего соседа по даче — Аркадия Райкина — есть 7-летний мальчишка Костя, артистическая натура, ни грамма пошлости, очень впечатлительный, скромный; каждый вечер я бегу к нему как на любовное свидание, мы собираем с ним сучья для очередного костра, или ходим на пруд купаться, или “путешествуем”; и когда я после этого попадаю в общество взрослых, я чувствую себя не в своей тарелке...»

И вот теперь, когда я перечитал это письмо и выписал из него эти 12 драгоценных строчек, мне кажется, что я могу наконец дать объяснение всему, о чем говорилось выше.

Не в изощренной сложности и многозначности Чуковского дело, а в его ребячливости, детскости, в неугасаемом его мальчишестве.

Глазами деревенского ребенка смотрел он на мои убогие мячики, паровозики и грузовички, и отсюда эти вопли восторга, это неумеренное, непонятое мною сразу оживление, кипение: что делать с этими игрушками, кому их дать, как разделить?

И не взглядом больного старика, а опять-таки взглядом ребенка, десятилетнего мальчика-коллекционера оценил он мой аптекарский рецепт на снотворное лекарство. Ура! Даешь его сюда! Пригодится в «Чукоккалу»...

Ему было 84 года, когда он признался (в письме к Д. Я. Дару), что его «и сейчас очень радуют и снег, и котенок, и новый забор, и подарки»... Да, могу свидетельствовать, что истинным счастьем было сделать Корнею Ивановичу даже самый пустячный подарок — до того чистосердечно, по-детски радовался он этому пустяку. И как изящно, с какой веселой галантностью благодарил он за эти подарки!

Жена моя послала ему как-то ко дню рождения какое-то самопишущее гусиное перо, и вот он пишет (в год смерти, за несколько месяцев до конца):

«...Элико Семеновне я бесконечно благодарен за зеленое гусиное перо, но, конечно, я не дерзаю писать им — оно исполняет у меня чисто декоративную функцию, — очень эффектно торчит из чаши с авторучками на письменном столе.

В Англии в Британском музее я еще застал гусиные перья, и если бы я принес туда Ваше волшебное гусиное перо, пишущее без чернил, удивлению всех окружающих просвещенных мореплавателей не было бы границ. Да и гуси удивились бы...»

А как по-детски весело, замысловато и вместе с тем любезно умел сам он преподнести что-нибудь. Посылая мне великолепную монографию о творчестве д-ра Куниеси Обара, основателя известного токийского детского театра, на сцене которого шла инсценировка моей повести «Часы», Корней Иванович пишет:

«Думал ли Гончаров, подплывая к Японии на фрегате “Паллада”, что через сто лет в Японии будет с успехом поставлена русская пьеса?»

Да, под его очень недетской (но очень импонирующей детям) внешностью, — внешностью долговязого Полишинеля, — всегда таился, прятался, готов был каждую минуту выскочить, расхохо-

таться, отколоть какую-нибудь штуку ребенок, мальчишка. Ведь только этот седовласый ребенок мог написать в письме к младшему товарищу, что поздно ночью, вернувшись из Москвы с собственного юбилея (ему исполнилось тогда 75 лет!), измученный и истерзанный этим юбилеем, он сидит у себя в кабинете на полу и — ест конфеты. «И меня так восхищает их запах, их вкус, что жалко поделиться ими даже с Лидой, с Люшей, с Колей — и с другими семейными».

Да, ребенок. Но можем ли мы забыть, что это тот самый ребенок, который написал «Мастерство Некрасова», подарил русскому читателю Уолта Уитмена, выпустил шеститомное собрание своих сочинений и мог бы при желании выпустить еще двенадцать томов!*

Оставаясь ребенком, Чуковский был мастером. И был тружеником. Очень рано стал мастером и до конца дней своих оставался тружеником.

Прочтите в журнале «Юность» (№ 1 за 1970 год) текст его последнего выступления по Всесоюзному радио.

— Чуть только я встаю спозаранку, — говорил он в коробочку микрофона, — я тотчас же веселыми ногами бегу к одному из своих рабочих столов и пишу, не отрываясь от бумаги, часа три или четыре подряд, ибо до нынешнего дня — а мне уже 88-й год — я все еще не бросил пера. Отнимите у меня перо — и я тотчас же перестану дышать...

Если читаешь эти строки вслух, голос твой не может не дрогнуть.

Как это удивительно сказано: «бегу веселыми ногами». Ведь так, то есть веселыми ногами, только ребенок может бежать спозаранку — к своим недоигранным играм, к недостроенной снежной крепости...

Но тут я покривил бы душой, если бы не сказал, что это мальчишество, ребячливость Корнея Ивановича иногда, в очень редких (а может быть, и не в очень уж редких) случаях переходили, если позволено будет так сказать, в ребячливость нравственную, душевную.

Как всякий здоровый ребенок, Чуковский не терпел никакой наставительности, морализации, никакой «воскресной школы». Однако временами это сопротивление явному ханжеству оборо-

чивалось у него против любой проповеди добра, против всякой дидактики, против учительной стороны искусства. Как в жизни он не считал за грех устроить с соседскими ребятами маленький пожарчик или разорить с помощью порохового заряда осиное гнездо, так и в своей литературной работе, в критических статьях ему случалось пользоваться средствами если и не совсем теми же, то очень похожими. Сколько раз, например, он прибегал к методу, о котором когда-то, готовя публичную лекцию о Дмитрие Мережковском, писал Леониду Андрееву: «...это должно быть вкрадчивое и любезное уничтожение нашего деревянного Мити»*. А ведь почему-то это не вызывало, даже у жертвы его, ни гнева, ни осуждения, ни протеста. Ему, этому седовласому enfant terrible, этому Гекльберри Финну в мантии доктора Оксфордского университета все сполна прощалось. Почему? А потому, повторяю, что инфантильность — это не весь Чуковский, а только одна из бесчисленных черт, ипостасей его сложной, многогранной и многозначной натуры. Больше того — эта черта неотделима от его образа. Не будь этой теневой грани, и перед нами оказался бы не Чуковский, а кто-то совсем другой. И может быть, я не любил бы его так нежно и сильно, как любил долгие годы и продолжаю любить в своей памяти.

1972

ДВЕ ВСТРЕЧИ

За долгие годы моего знакомства с Корнеем Ивановичем Чуковским я неоднократно — хотя и не так чтобы уж очень часто — бывал у него — и в Питере, и в Москве, и в Сестрорецке, и в том уютном деревянном двухэтажном переделкинском доме, где он провел последние десятилетия своей жизни. А вот у меня Корней Иванович был, если не ошибаюсь, всего два раза. И оба раза при обстоятельствах не совсем обычных, чрезвычайных, хотя и очень типических, созвучных тогдашнему времени и тогдашней обстановке.

Шел тысяча девятьсот тридцать седьмой, а может быть, и конец тридцать шестого. Что это за время, теперь знают и молодые, родившиеся в эпоху более счастливую. Хотя как сказать — знают.



К. И. Чуковский. Ленинград. Фотография Б. Игнатовича. 1932 год

Знать-то они знают, но вряд ли могут представить хотя бы с приближением до одной тысячной, в каком безумном, в каком фантазмагорическом мире мы тогда жили. Меч был занесен буквально над каждым. Над молодым и над старым. Над писателем и над студентом. Над коммунистом и над беспартийным. Над священником и над рабочим. Над русским. Над евреем. Над киргизом. Над политэмигрантом. Над мелкой сошкой и над крупным начальником, наркомом, членом Политбюро и даже над деятелем масштаба международного. Меч висел над каждым, а мы его не видели, — каждый жил как бы в черном саване, в мешке. И участь твою решало не твое поведение, не степень твоей лояльности, преданности революции, партии, народу — нет, не от этого зависели теперь жизнь и свобода, а от той странной рулетки, от той сумасшедшей лотереи, тираж которой безостановочно, без выходных, шел пол-

тора или два года где-то в большом сером здании на одной из центральных улиц города*. А может быть, и не там. Может быть, дальше. Выше. Из мешка мы не видели, не могли видеть.

Лето 1936 года мы с Евгением Львовичем Шварцем проводили в одной дачной местности — в Разливе по Приморской железной дороге. Он жил на Второй Тарховской улице, я — на Четвертой Тарховской... К тому времени оба мы уже успели потерять самых близких друзей: он — Олейникова*, я — Гришу Белых*. Были арестованы и многие другие наши товарищи и друзья — Тамара Григорьевна Габбе, Александра Иосифовна Любарская, Матвей Петрович Бронштейн, Сергей Безбородов, Рая Васильева, А. Лебеденко, А. Серебрянников, Матвеев, Миша Майслер...* Это — по одной только «линии» детской литературы. А ведь литература, она — не только детская. И окружали нас не одни только литераторы. В течение полутора-двух лет не было ночи, когда в квартире кого-нибудь из наших знакомых, родственников, друзей не звучал длинный и властный звонок, и не было утра, когда бы мы не спрашивали друг у друга:

— Кого?

Или:

— Кто?

Даже в таком небольшом поселке, как Разлив, каждую ночь раздавались приглушенные, вороватые автомобильные гудки, скрипели по песку шины.

У хозяев соседнего с нами дома арестовали дочь, работницу Сестрорецкого оружейного завода.

— За что?

— Пела какие-то частушки.

Но это было только предположение, попытка понять, догадаться, проделать в мешке дырочку. Не надо было петь частушек, чтобы угодить в те годы на улицу Воинова, на Константиноградскую, на Нижегородскую, в «Кресты»*.

Наискось от нас, на другой стороне улицы, жила семья рабочего Емельянова, того самого, у которого в 1917 году скрывался Ленин. У них тоже тем летом кого-то арестовали, не помню, самого или сыновей...

Ни я, ни Евгений Львович ночами не спали. Сидели по своим светелкам, работали, прислушались к автомобильным гудочкам.

И были, как говорится, готовы ко всему. Утром отсыпались, а после обеда, встречаясь, говорили об этом. Но не только об этом. И притом напропалую шутили, острили. Да, к чести нашей и во спасение, юмор не умирал в России ни в те годы, ни в лихую пору войны, ни в другие часы и минуты нашей великой эпохи.

Помню, Евгений Львович возмущался «кустарщиной», «неорганизованностью» тогдашних работников безопасности.

— Чудаки! Дилетанты! — говорил он. — Чего они ковыряются? Знаешь, как бы я поступил на их месте? Приехал бы в большом автофургоне, остановился где-нибудь у вокзала или у гастронома и дал бы во всю мощь гудок.

— Ну и что?

— Ну, и все, кто ждет — а ведь ждут в каждом доме, — спокойно, без паники вышли бы на этот гудок с узелками, с чистым бельем, с чаем и сахаром.

Да, ждали все. Ведь лотерейные билеты имелись у каждого, в каждом доме. Но лотереи — штука хитрая. Вот уж, кажется, тебя, к тебе, за тобой — ан нет! Проехало или не доехало.

Особенно запомнилась мне одна августовская, а может быть, уже и сентябрьская ночь. Я сидел у себя на верхотуре и писал. Было тихо. И по-осеннему темно. Вдруг я услышал вдали урчание мотора. Прислушался. Да, опять идет машина. Идет сюда, к нам. Сначала катится по асфальту, потом сворачивает на нашу Приозерную улицу, раздается характерный, омерзительный звук — скрежет буксующих по песку автомобильных шин. Мотор задыхается, кашляет, колеса буксуют, всхрапывают, но все ближе, ближе эти звуки... И вот в ночной тишине я слышу прокуренный стариковский голос:

— А вон наверху в окошечке огонек горит! В аккурат здесь и будет.

Не повернув выключателя, я подошел к окну, чуть-чуть отодвинул занавеску. Сильно потрепанная черная легковая машина «форд», вхолостую работая колесами, сотрясаясь, покачиваясь, медленно шла, ползла по нашей Четвертой Тарховской. На ее подножке стоял ночной сторож и указывал путь.

Я спустился вниз. Осторожно разбудил мать:

— Не волнуйся. Приехали. По-видимому, за мной. Собери, если нетрудно, белье и еды какой-нибудь, что ли...

Удивительно вспоминать сейчас об этом. Мать моя знала, что вины за мной никакой нет. И все-таки не заплакала, не ужаснулась, а вела себя как мать профессионального конспиратора, уже привыкшая к подобным передрягам. Шепча слова молитвы, она без суеты выдвигала ящики, доставала белье, носки, платки.

А я подошел к окну, осторожно выглянул. Машины у наших ворот не было. Я вышел в сад. Черный «форд» стоял, не доезжая нас, у соседнего дома.

Фу, как омерзительно, как стыдно вспоминать это чувство облегчения, это счастливое «пронесло»!

Всю ночь во втором этаже, где совсем недавно, дней за десять до этого, поселились ленинградские дачники, отпускники, шел обыск. Я несколько раз выходил в сад, смотрел. Не было ни криков, ни вообще громких голосов. Несколько раз люди в штатском выходили на балкон, вытряхивали из чемоданов на стол какие-то вещи. И уже совсем рассвело, когда через сад к машине провели этих наших соседей, бездетную пару — мужа и жену. Я стоял за деревом, у гамака, и — видел, как они шли.

Евгений Львович вдоволь посмеялся надо мной в этот день. А потом, перестав смеяться, рассказал, что и с ним не один раз случалось похожее и он испытал это гадкое, постыдное чувство облегчения: «пронесло... не меня... другого».

Запомнил я такой его рассказ.

Однажды, еще в Ленинграде, он возвращался дождливой ночью из гостей домой. Во дворе у их подъезда стояла машина. Сердце заколотилось. К кому?! На плохо освещенной лестнице мокрые следы нескольких пар ног. По этим черным следам Шварц медленно, на каждой ступеньке останавливаясь, поднимался вверх. И вдруг:

— Слава Богу! Не у нас.

Следы обрывались у дверей квартиры переводчика Стенича.

Да, вспоминать этакое, пожалуй, куда страшнее, чем вспоминать случаи подлинной опасности — те пули, бомбы, снаряды, которыми нам не один раз вплотную угрожали*.

...Но я не совсем о том заговорил, не в ту сторону повернул.

Поздней осенью мы переехали в город. Сколько с тех пор прошло времени — не знаю, не помню. Может быть, месяц, может быть, пять. Помню только, что дело было под вечер, горела

зеленая лампа. Я лежал на диване, читал, в квартире никого, кроме меня, не было. Вдруг в прихожей раздался звонок. Не слишком долгий, не слишком короткий. Вежливый, пристойный. Однако откликаться на такой звонок мы в те годы не спешили. Пора была, правда, не ночная, но — условный рефлекс на звонок работал у нас безотказно, в любое время суток.

Звонок повторился. Я пошел и, не спрашивая, кто там, открыл дверь. Передо мной, за порогом, стоял Корней Иванович Чуковский.

— Можно? Я к вам, — сказал он каким-то, как мне показалось, не очень своим голосом и все-таки, как всегда, любезно, с некоторой даже вкрадчивостью.

И когда я, смущенно и растерянно пробормотав что-то, пожал его руку и закрыл за ним дверь, он оглянулся на эту дверь и, понизив голос, сказал:

— Я — оттуда.

Я понял откуда.

Он сказал, что очень спешит, но все-таки, поколебавшись, согласился раздеться, не дал мне, помню, пальто, а сам повесил его на вешалку и большими своими гулливерскими шагами проследовал в комнату.

Пришел он, по его словам, чтобы сообщить мне, что сегодня утром его через дворника вызвали на Литейный в «органы» и там несколько часов расспрашивали обо мне.

— Что их интересует, вы спрашиваете? А интересует их, как это ни удивительно, ваша прелестная повесть «Часы»*.

Увидев мое лицо, мои глаза, Корней Иванович рассмеялся:

— Я тоже, дорогой мой Пантелеев, в первую минуту вытаращил глаза, совсем как это сделали сейчас вы. И даже позволил себе в этом далеко не забавном месте засмеяться. А потом увидел, что история, к сожалению, совсем не смешная. Как я понимаю, эти изверги готовят против вас дело.

— О «Часах»?

— Да. Меня так без обиняков и спросили: не считаю ли я, что в книге Пантелеева «Часы» содержится злостная (учтите, злостная!) клевета на работников государственной безопасности?

— Простите... Корней Иванович... Какие же в «Часах» работники безопасности?

— А-а! И вы — тоже?! И вам не стыдно и не совестно? Мне простиительно, но вы... Вы уже не помните собственного творения! А ваш симпатичный кучерявый мильтон — он разве не представитель правопорядка. О нем, кстати сказать, и шла речь. Компрометация работников милиции. По расчетам этих голубых мундиров*, именно в этом вопросе я и должен был выступить в качестве компетентного эксперта. Однако их надежды не оправдались. Как вы понимаете, я дал достойную отповедь этим начинающим полицейским литературоведам.

— Но ведь, как я понимаю, Корней Иванович, вы дали еще и подписку о неразглашении.

Корней Иванович улыбнулся.

— Дал. И не разглашу, не бойтесь. Вы тоже, я уверен, как-нибудь преодолеете свою феноменальную болтливость, — сказал он, поднимаясь и протягивая мне свою большую руку.

В этот день, на десятом году моего знакомства с Корнеем Ивановичем, я первый раз обнял его и поцеловал.

А «дело», о котором он так бесстрашно в эти страшные дни пришел меня предупредить, это дело, как я впоследствии узнал, было действительно возбуждено и несколько лет спустя сработало, аукнулось, дало о себе знать.

Впрочем, здесь я рассказываю не о себе, не о тех передрыгах, каких немало выпало на мою долю и в эти, и в последующие годы, а о Корнее Ивановиче...

Прошло еще десять лет. Отбушевала война. Мы, те, кто выжил, отпраздновали Победу. Царил подъем. Все и всюду ждали перемен. А. Т. Твардовский в моем присутствии рассказывал, как в последние дни войны или в первые дни мира где-то в госпитале или на эвакуационном пункте ему говорил пожилой раненый солдат из колхозников:

— Не может быть, чтобы теперь, после того, что мы на войне сделали, чтобы опять у нас такой же бардак получился!..

Служивый ошибся. Не сразу — может быть, в других масштабах, иногда под другими вывесками, а все-таки — получился.

В 1946 году было обнародовано знаменитое постановление ЦК о ленинградских журналах. Били Зощенко, Ахматову, Мурадели, Хазина, еще кого-то*.

Потом стали бить по второму кругу. Били уже не в постановлениях, а в газетах — центральных, областных, районных, многотиражных, стенных.

...В круге втором оказался К. И. Чуковский. Лягали его за детскую книжку «Приключения Бибигона». Если я не ошибаюсь, статью о «Бибигоне» напечатала «Правда»*. Из нынешнего далека это может показаться ерундой, пустяками. Ну, что — покритиковали за неактуальную книжку. Учти. Пиши другую. Переиздавай старые. Нет, в те годы так просто все не обходилось. Знаю сам по себе. Меня тоже лягнули. За фантастический рассказ «Приключения Макара Телятникова»*. В связи с публикацией этого рассказа «Литературная газета» поместила статью под симпатичным названием «Воинствующий обыватель»*. В тот же день редакция журнала, заказавшая мне этот рассказ и до тех пор всячески восхвалявшая его, адресовала в «Литературную газету» покаянное письмо за подписью всех членов редколлегии*. Из журнала мне вернули принятый рассказ.

В Москве, где я задержался после демобилизации, я снимал частным образом комнату. А в эти дни жил в писательском Доме творчества в Переделкине. Приезжаю однажды вечером из Переделкина к себе на Плющиху, хозяйка встречает меня смущенной улыбкой.

— Алексей Иваныч, вам тут была открытка из радиокомитета.

— Да?

— Простите, я прочла ее. Там вас просили выступить по радио на будущей неделе в понедельник.

Говорю:

— Прекрасно. А где же эта открытка?

В том-то и дело. Вчера прибегает какая-то взволнованная девушка. Говорит: «Я из радио. Алексея Ивановича нет?» — «Нет, он за городом». — «На его имя открытка была?» — «Была». — «Умоляю, — говорит, — верните ее». Ну, я и вернула. Пожалела ее.

Конечно, девушку надо было тоже понять и пожалеть. Но у девушки был способ спасти себя — взять обратно приглашение. Нам нечего было брать обратно.

Что же было делать в этой ситуации?

Сколько-то времени я подождал, потерпел, а когда увидел, что дней через пять мне не на что будет выкупить карточный паек, на-



К. И. Чуковский. Москва. Фотография М. С. Наппельбаума. 1952 год

писал письмо тогдашнему руководителю нашего писательского Союза — Фадееву.

В свое время Фадеев мне крепко помог. Вместе с С. Я. Маршак-ком и Л. Р. Шейниным он вызволил меня из очень большой беды, может быть, спас жизнь. Позже он вывез меня полуживого из блокадного Ленинграда.

И на этот раз ответ пришел быстро. Александр Александрович просил меня в ближайшее воскресенье утром приехать к нему на дачу. Это было первой удачей: ведь мне и ехать не надо было — жил я, как уже сказал, в Переделкине, в той же местности, где находилась и фадеевская дача.

В субботу вечером, очень для него поздно, часов в девять-десять, ко мне в Дом творчества пришел Корней Иванович.

— Пойдемте гулять, — сказал он.

Мы довольно часто гуляли с ним летом по переделкинским улицам и по окрестным дорогам, но встречались всякий раз или случайно, или, когда я шел мимо, Корней Иванович окликал меня из своего сада, или, бывая в Доме творчества, стучал палкой в мое окошко и выманивал на свежий воздух. А тут пришел не постучав прямо в мою комнату, и по голосу его и по виду я понял, что пришел он не просто так, не для одной прогулки.

На улице в темноте он сказал:

— Я слышал, вы приглашены завтра к Фадееву.

Я сказал:

— Да.

— Алексей Иваныч, поговорите с Александром Александровичем обо мне.

И, не дождавшись ответа, стал горячо, взволнованно и как-то будто немножко по писаному говорить о том, что я и сам по-другому, своими словами мог бы сказать Фадееву. О том, например, что он — первый русский писатель, признавший советскую власть, и о другом в том же духе. Пересказал в подробностях историю всех своих злоключений, начиная с 1929, кажется, года, когда был дан первый сигнал к безжалостной травле его, Маршака, Хармса и других поэтов, пишущих для детей*.

Не знаю, сколько мы с ним тогда ходили по темным переделкинским улицам, может быть, час, может быть, два. Помню, что было очень поздно, дорогу нам — совсем низко, на уровне наших голов, — перелетела сова или какая-то другая ночная птица. И еще лучше помню, что слушать Корнея Ивановича, его панический голос, было мучительно. Не выдержав, я перебил его:

— Корней Иванович, зачем вы мне все это говорите! Я же все знаю...

— Нет, вы не все знаете! Вы не знаете, каким пыткам я подвергаюсь уже не одно десятилетие...

На другое утро в назначенный час я был у Фадеева — в его огромном, светлом, занимавшем, если не ошибаюсь, весь второй этаж дачи, кабинете. Александр Александрович при мне прочел моего злополучного «Макара», сказал, что в нем, по его мнению, хорошо, что неудачно. Криминала в рассказе никакого не нашел, а на вопрос: «Что же мне делать?» — сказал:

– Ничего не делать. Потерпите еще немножко. Скоро дуракам скажут «довольно»*.

В этом странном обещании, которое дал мне наш литературный вождь, было что-то не только странное, но и обнадеживающее. Я поднялся. О Чуковском я не забывал, помнил все время – и когда Фадеев читал мой рассказ, и когда давал свои рекомендации. Поднявшись, я сказал:

– Александр Александрович... Я вот что еще должен вам сказать. Очень несправедливо, даже гадко поступают с Корнеем Ивановичем Чуковским...

– Ну? – как будто даже удивился Фадеев.

– Да. И он очень болезненно переживает все это.

– Вы видите с Корнеем Ивановичем? Да? Передайте ему мой привет. Скажите, что мы высоко ценим его. И скажите, что все будет хорошо.

– А вы напишите ему, пожалуйста, об этом.

– Написать?

Он подумал, как-то тоненько, по-фадеевски хмыкнул и сказал:

– Что ж. Хорошо.

Присел к столу и долго, целую минуту, что-то писал. Писал не задумываясь, не отрывая пера или карандаша от бумаги. Это мне, я помню, почему-то понравилось.

Пять минут спустя я уже спускался, почти бежал по деревянной скрипучей лестнице. Корнея Ивановича я встретил на улице, за углом, неподалеку от дачи Фадеевых. Да, конечно, он волновался, это слышалось и в его не совсем уверенном голосе.

– Ну, как прошла высочайшая аудиенция?

– В общем, прошла хорошо, – сказал я. И не стал мучить его, протянул ему серый дешевый конверт с фадеевским письмом.

Корней Иванович тут же на улице извлек письмо из конверта и, приблизив к глазам, слегка согнувшись, стал читать.

Не забуду, как приятно, как радостно было наблюдать за его лицом. Я и сейчас не знаю, что написал в своей записке Фадеев, но написал он что-то хорошее, доброе*. Лицо Корнея Ивановича светлело, на губах задрожала та счастливая улыбка, какая появляется на губах оживающих больных. Сунув письмо в карман, Корней Иванович протянул мне руку. Потом наклонился и поцеловал меня – где-то около правого уха.

Может показаться, что я сопоставляю, сравниваю, ставлю на одну доску два поступка — Корнея Ивановича и мой. Нет, Боже избави, — поступки эти несопоставимы. Ведь когда я говорил с Фадеевым о Чуковском, я ничем абсолютно не рисковал. Это была приятная дружеская услуга, не больше. А чем грозила Корнею Ивановичу его тогдашняя прогулка с Литейного на улицу Чайковского, чем он рисковал и на что шел — поймет всякий, кто знает — или хотя бы узнал из этих беглых заметок, — в какое смутное, страшное время мы жили и на какой тоненькой ниточке, на каком волоске висели жизнь и свобода советского человека.

1973

НАТАЛЬЯ КОСТЮКОВА

ВСПОМИНАЯ ДЕДА

Судьбе угодно, чтобы я стала чуть ли не единственным человеком на свете, который помнит Корнея Ивановича с 1928 года. Нет, я не собираюсь делиться впечатлениями трехлетнего ребенка. Я хочу попытаться воссоздать то представление о К. И., которое сформировалось у меня по мере постижения этого человека, причем постижения «изнутри» — в семье, в домашней непринужденной обстановке.

Меня иногда спрашивают: что больше всего на свете любил и чего не любил К. И.? На первый вопрос трудно ответить однозначно, но я думаю, что не ошибусь, если назову поэзию. В моем восприятии он был весь пропитан поэзией. Как вы знаете, он передал эту страсть своим детям — и Николай Чуковский, и Лидия Чуковская стали профессиональными поэтами. Наверное, большим поэтом могла бы стать и Мурочка. И даже его младший сын Борис, который, говоря современным языком, был стопроцентный «технар», знал и любил поэзию. Именно он первый прочитал мне русские былины. Он знал наизусть множество стихов. Как-то со страстью он прочитал мне «Сон советника Попова»*. В последний раз я видела его весной 1941 года. Борис Корнеевич приехал к нам в Ленинград из Москвы. Помню, как, лежа на диване, он великолепно прочел наизусть «Необычайное происшествие...» Маяковского.

А сам К. И., как только приходил к нам, сразу хватал с полки книгу стихов и начинал читать нам. И не любые стихи, а те, которые мы сами могли и не узнать. Например, Мятлева, Курочкина, переводы из Гейне.

Очень любил шутя вставлять известные стихотворные строки в свою речь. Например, как только я показала в новом платье, он тут же воскликнул: «Старика разорит на подарки, в сердце юноши кинет любовь!»*

Вообще, К. И. был человек увлекающийся и сразу начинал любить то, чем ему приходилось заниматься. А вот чего он больше всего не терпел, так это безделья. Я никогда не видела его праздным. Он всегда старался вовлечь в работу нас, внуков. Когда я, четырех-пяти лет от роду, увидела у него пишущую машинку и полезла к ней, он тут же разрешил мне на ней печатать. Постепенно я овладела машинописью и помогала ему в трудные военные годы, и как это помогло мне в моей дальнейшей жизни!

Или зайдешь к нему с подружкой (а он любил, когда я приводила к нему детей) — он тут же поручает нам расставить книги на полке по темам: сказки в одну сторону, приключения — в другую. И обязательно давал с собой книжку прочитать. Он всегда придумывал такое занятие, чтобы оно было полезным для нас.

Однажды К. И. зашел к нам, когда мы с братом играли в домино. Он был очень недоволен, сказал, что это — пустая трата времени, сделал упрек родителям. Сам К. И. никаких игр типа карт не признавал. И, даже выйдя из своего кабинета, чтобы пообедать или поужинать с нами, заполнял трапезную беседу чем-то существенным — или говорил о той работе, которую сейчас делает, или — о недавно прочитанном, или вспоминал любопытные случаи из своей жизни.

А знаменитые чтения перед его засыпанием? Я не знаю, что читали ему взрослые, но меня, подростка, он заставлял читать то, что могло быть интересным мне, — Диккенса, например, которого и сам любил. А уж будучи студенткой, я читала ему мемуары, и тоже не самые распространенные, чтобы меня приобщить к ним. Помню, он говорил, что после шестидесяти лет ему интересны только мемуары, а не романы и повести.

Говоря нынешним языком, К. И. был типичным «трудоголиком» и прививал это качество всем окружающим.

В середине 1930-х годов популярность К. И. как детского писателя была невероятной. Он не чурался этой славы. К этому времени он уже вступил в детскую литературу как в свое основное занятие, оно перестало быть «хобби», и К. И. осознанно занял эту «нишу». Где-то в душе он ревновал себя к своей былой славе лите-

ратурного критика, но одновременно отчетливо понимал, что в роли последнего он не мог бы иметь такой читательской массы, как будучи детским писателем. Я это говорю на основании своих тогдашних наблюдений.

Его известность среди учителей и детей, точнее — их родителей, меня безумно смущала и, как мне казалось, ставила меня в ложное положение. К. И., напротив, всячески поддерживал это внимание ко мне, как отражение его популярности. В 1930-е годы по выходным дням он часто выступал на детских утренниках, и брал меня с собой. Помню, как тряслись мы с ним с пересадками на ленинградских трамваях — ехали в очередной дом культуры или дом пионеров на какой-нибудь утренник. Зал к нашему приходу уже был забит детьми, и меня сажали где-нибудь сбоку сцены или даже за кулисами. И вот среди выступлений фокусников, дрессировщиков с собачками, чтецов (был такой жанр — чтение стихов и прозы со сцены) и полных дам с красными флажками в руках, поющих про «Орленка», выступал и К. И. Он обычно вступал в разговор с аудиторией, читал загадки, которые зал хором отгадывал, а напоследок — одну из сказок.

Вспоминаю такой случай. К. И. был «почетным пионером», и в связи с этим добыл мне два раза подряд путевку в «Артек». Это — по словам К. И., «самое лучшее место для детей на Земном шаре» (а по-моему — золоченая детская казарма) — требует отдельного описания. А здесь я скажу, что мой день рождения (в июле 1925 года) совпадал с датой постановления об организации «Артека». И каждое лето эту годовщину праздновали. Мы готовили номера — танцы, хоровое пение, физкультурные упражнения. А у меня было домашнее прозвище, данное мне мамой в насмешку над моей детской неуклюжестью, — Эльвира. Так вот, К. И. прислал мне в «Артек», в день торжества, поздравительную телеграмму: «Привет тебе, Эльвира, от деда Мойдодыра!». И ее зачитали громогласно при большом скоплении детей то ли в столовой, то ли на линейке! Пришлось открыть тайну моего дня рождения. Справедливости ради скажу, что к ужину был испечен торт с надписью «Наташе — ровеснице «Артека» и поставлен на мой столик. Но главное, было обнаружено мое смешное прозвище! Впрочем, окружающие взрослые этого не уловили, решив, что любящий дедушка называл меня не простецким именем, а изысканным, заграничным.



Тата (Наталья), Люша (Елена), Гуля (Николай) Чуковские и Катя Фроман.
Сестрорецк. 1937 год

А еще К. И. любил ходить по школам. Приходил и в мою школу. Я каждый раз страшно стеснялась его прихода. Последнее посещение было предвоенной зимой, когда я училась в девятом классе. Невероятно смущаясь, я по его просьбе предупредила директора о визите. К. И. собирался посетить урок литературы. В это время мы проходили «Обломова». Перепуганная учительница дала нам домашнее задание к приходу К. И. — сравнение Обломова и Штольца. К. И. пришел. Перед уроком на перемене прогуливался с завучем среди ребятшек, забегающих перед ними, чтобы заглянуть в лицо К. И. Урок начался. К. И. сел на стул рядом с учительницей. Для начала вызвали какую-то старательную девочку, которая рассказала все, что она думает об Обломове и Штольце. После этого К. И. стал говорить сам. К удивлению учительницы (и радости учеников!), он рассказал об отношениях Гончарова и Тургенева, о том,

что Гончаров терпеть не мог Тургенева, подозревал его в краже своих сюжетов и поэтому запирает на ключ ящики своего письменного стола. Затем К. И. вполне серьезно, с приемами поэта прочитал наизусть свою поэтическую сказку о Медведе*.

В годы войны мы жили вместе с Корнеем Ивановичем в его московской квартире — с марта 1943 года. Он только что вернулся из ташкентской эвакуации. Побывавшему в Москве до этого (в сентябре 1942 года), моему отцу Николаю Корнеевичу московская жизнь показалась раем после ленинградской блокады, и он стал просить К. И. взять нас в Москву из Перми, где мы голодали и холодали. К. И. был тогда достаточно «могущественен» для этого. Перевод состоялся быстро. Мы получили пропуска на въезд и прописку. Выигрыша не оказалось никакого, кроме климатического. Москва была прифронтовым городом: Смоленск был в руках гитлеровцев. Часто нас беспокоили ночные тревоги, хотя ни одного состоявшегося налета уже не припоминаю. Карточки плохо и неполно «отоваривались», причем за всеми продуктами, кроме хлеба, надо было стоять в очередях. Большинство домов было «законсервировано», то есть там не было ни газа, ни отопления, а электричество включали «по лимиту». Исчерпали лимит — вас отключают! А жили-то в коммунальных квартирах, как тут уследишь! К счастью, дом К. И. отапливался и даже имел горячую воду, и лимита на свет не было. Неохотно спускаясь в бомбоубежище, К. И. брал с собой только папку с «Чукоккалой».

Во время войны К. И. тщательно следил за ходом военных действий, не терял веры в нашу победу. Хочу вспомнить один эпизод военного времени. Где-то 8—10 августа 1945 года я приехала в Переделкино и К. И. встретил меня словами: «Знаешь, радио только что передало, что американцы сбросили на Японию какую-то новую бомбу, и японцы сразу запросили мира!» И все мы этому дружно обрадовались. Кто бы знал!

Осенью 1943 года в квартиру К. И. перебралась из Ташкента Лидия Корнеевна с дочкой Люшей, и мы стали жить ввосьмером.

Знаменитый «подвал» Юдина в «Правде» 1 марта 1944 года был при мне*. Как мне тогда показалось, для К. И. это была полная неожиданность. Он слег. Мне тогда в мои восемнадцать лет казалось, что он «старый» и поэтому не выдержал удара, а ему было без малого только 62 года! Разве это старость? Мы по очереди читали ему вслух, не помню уже что.

Как известно, скандал произошел из-за доноса художника Васильева. Васильев рисовал Ленина «во всех ипостасях». Художник жил в нашем доме, Мария Борисовна общалась с его женой по хозяйственным делам. Васильев иногда заходил к К. И. и показывал ему свои работы. Считают, что, увидев эскиз картины «Ленин и Сталин в Разливе», К. И. сказал, что на самом деле Ленина в Разливе навещал не Сталин, а Зиновьев. О разговоре с Васильевым дед рассказал мне еще до этой статьи, и несколько иначе. Заходил, говорит, Васильев. Показал очередные рисунки — Ленин в Разливе. Я сказал, что нарисовано, мол, хорошо, но мне-то известно, что Ленин не очень-то любил Сталина, и едва ли они могли беседовать так дружелюбно. Конечно, сути дела это высказывание не меняет, скорее всего, он говорил и то и другое.

По моим тогдашним наблюдениям эта статья никак не повлияла на популярность К. И. среди населения, читающего его книги; ее просто не заметили. А вот на его благосостояние, полностью зависящее от печатания его трудов, статья очень повлияла. Перестали печатать, отобрали «академический» паек. Продолжающаяся до конца 40-х годов «опала» также прошла незамеченной для народа, то есть читателей его сказок. Я говорю это как человек, волею судьбы живший вне литературной среды, именно среди того самого «народа». Моя фамилия по-прежнему привлекала «нездоровый» интерес. Я была окружена мифами о богатстве нашей семьи, о могучих возможностях К. И. в плане устройства комфортной жизни. Помню, в начале последней военной зимы я, студентка мединститута, попросила, чтобы мне дали место в общежитии. Дом в Ленинграде, где я жила до войны с моими родителями, был разбомблен, папа был на фронте, а мы с мамой и двумя братиками поселились в трехкомнатной квартире К. И. (одна — его кабинет!), где кроме К. И. и бабушки жили еще Лидия Корнеевна с Люшей и Женья. Моя просьба вызвала возмущение у студентов-общественников: «ЧУКОВСКАЯ просит общежитие!». Пришлось снять угол в коммунальной квартире.

Мне кажется, что К. И. по натуре был прежде всего просветителем. Как-то, уже в 1960-х годах, когда мы вместе выходили из переделкинского Дома творчества, где он прочитал нечто вроде лекции писателям, он мне сказал, что главное дело писателя в России — «снять разумное, доброе, вечное»*, чему и следовал всю свою жизнь.

2007, 2012 годы

ЕВГЕНИЙ ЧУКОВСКИЙ

Слово «Дед» здесь всюду
написано с большой буквы,
потому что так писали в его доме
с тех пор, как он стал Дедом.

ПРО ДЕДА

БЕЗДЕЛЬНИКОВ ДЕД ПРОСТО ПРЕЗИРАЛ

Нас было пятеро внуков, среди них и я. Корнея Ивановича в семье все называли Дедом. Мой отец, уходя на фронт, просил Деда, если что случится, позаботиться о сыне. Случилось — отец погиб, а Корней Иванович позаботился — воспитал меня.

Отец был инженер-гидротехник. Работал вольнонаемным на строительстве канала Москва — Волга, сейчас это канал имени Москвы. На фронт ушел добровольцем и погиб в первый год под Смоленском. А где его могила — неизвестно.

В ту пору, что я застал, Дед очень любил детей. Но не помню, чтобы он гладил по голове или сюсюкал. Общая обстановка доброжелательности была такая, что этого и не нужно было. Но когда он говорил: «Молодец!» — я знал, что это высшая похвала.

Я глубоко убежден, что каждый нормальный ребенок растет с желанием «я — сам». Сейчас дети ничего не делают — ходят в школу, готовят уроки, на этом их обязанности кончаются. Привыкают, что кто-то другой починит велосипед, сходит за булкой. В результате вырастает бездельник и к тому же эгоист. В нашей семье было по-другому, каждый имел обязанности. Кстати, после войны в Переделкине было пропасть земляники, мы собирали ее и знали, что первая кружка — Деду, вторая — бабушке, а третья — уже себе. Корней Иванович бездельников не то что не любил — презирал. Он ни разу не отдыхал в том понимании — лежать днями на пляже. Обычно, закончив большую работу, еще усталый, через несколько дней садился за стол, писал. Иначе, говорил, скучно.

Сам умел многое. В молодости был маляром. По его словам, эта работа способствовала изучению английского: крася крышу, он выводил на ней разноцветной краской слова — так быстрее они запоминались, а потом закрывал все общим тоном. Когда ему было за восемьдесят, пришли маляры. Дед взбунтовался: это же тят-ляп! Влез на крышу и продемонстрировал, как должно красить. Те вылупили глаза — его квалификация оказалась намного выше. И меня, и соседских ребят учил этому ремеслу. Устраивал конкурсы. Тому, кто лучше выкрасит скамейку и при этом меньше всех измажется, давал грушу. А как здорово он умел грести! Соберет ребят — и на пруд. Сядет в лодку, показывает, как надо держать весла, чтобы, потратив меньше сил, получить больший эффект.

В школе я был плохим учеником. Корней Иванович считал, что дело не в том, кто учится, а кто учит. Разбор предложений, нудный на школьных уроках, Дед превращал в увлекательную игру. Но учить английский заставлял.

«Слушай, я за тобой наблюдаю, ты ничего не делаешь», — журил он. «Так каникулы», — отнекивался я. «Вот тебе словарь, выучишь отсюда досюда, как “Отче наш”. Понял?» Как я благодарен ему за это. Сегодня кое-что могу читать в подлиннике. А когда меня занесло в Америку, проблем с языком тоже не было, и я в который раз вспоминал Деда.

Корней Иванович считал литературную деятельность самой лучшей специальностью. Зная мою цепкую память, заставлял учить все тот же английский, каждый раз просил помочь в работе над переводом или корректурой. Впоследствии, когда я подал заявление во ВГИК, очень огорчился.

А до того времени моя голова была занята моторами, фотографией. Когда начал учиться водить машину, Дед отнесся к этому положительно, хотя обычно говорил, что знать не знает, почему эта «штука» движется без помощи лошади. Но ездил с удовольствием и только сзади, объясняя, что сидеть впереди — то же, что восседать с кучером на козлах.

У Деда была память бешеная. В больнице, когда был совсем уже плох, ему читали рукопись, а он правил по памяти. Любые стихи, если нравились, запоминал с первого раза.

Читаю ему на ночь, пропускаю по какой-то случайности фразу или начинаю не с того абзаца, он тут же перебивает: «Постой,

постой, там должно быть не так». Это он произносит засыпая, совсем сонным голосом.

Уже в годах, укладываясь в постель, для собственного удовольствия торжественно цитировал Державина:

Едва увидел я сей свет*,
Как надо мной уж смерть трепещет,
Как молнией, косою блещет.
И дни мои, как злак, сечет.

АВС

Когда мне было четыре с половиной года, Дед стал учить меня грамоте. Букваря у него не было, и никаких книжек он мне не давал. Зато на столе возвышалась прекрасная пишущая машинка Smith Premier модели 1916 года.

Из нее торчали черные и белые кнопки. Черные сверху, белые снизу. Потому что большие буквы располагались отдельно от маленьких.

На машинке русский алфавит белым по черному выглядел вот как:

ЯЧСМИТЬБЮЦ
ФЫВАПРОЛДЖ
ЙУКЕНГШЩЗХ,

а ниже — черным по белому:

ячсмитьбюц
фывапролдж
йукенгшщзх.

И Дед начал мое обучение с помощью этого великолепного инструмента.

Сначала он сообщил мне, что буквы делятся на гласные и согласные. И, шлепая пальцем по клавишам, показал, как выглядят А, Е, О, У и даже Э обратное.

Через несколько дней настала очередь согласных. Только букву «Я» да букву «Ы» Дед от меня утаил. Я выучил всю азбуку без этих букв. И пустил свои знания в ход.



Корней Чуковский с внуком Женей. На переднем плане фигурка Бибигона.
Москва. 1946 год

Первое в моей жизни послание было адресовано бабеньке и гласило:

«Еа пошел гулеать».

Ее возмутило это ЕА. Она сказала:

— Буква «Я» вот как пишется!

И заодно изобразила мне на бумажке весь алфавит. Дед бумажку увидел и отнесся к ней очень ревниво.

— Не надо забегать вперед. Всему свое время, — сказал он.

Бабенька оправдывалась:

— Я это машинально! (Я услышал «мышинально» и долго соображал, при чем тут мыши.)

Букву «Ы» я узнал на следующий день. Утром, во время завтрака, Дед подозвал меня к себе и сказал:

— А теперь я открою тебе страшную тайну. Есть такая ужасная буква! Ы! Она похожа на мягкий знак, но рядом с ней стоит еще палочка. От этого она такая страшная!

Я никак не мог понять, что же тут страшного. Но было очень интересно.

Наконец, Дед использовал в качестве наглядного пособия диск телефонного аппарата, и я узнал цифры.

Так я научился читать и считать. А писал я только печатными буквами или же одним пальцем на пишущей машинке. В каретке частенько оставались листки бумаги с какими-то бестолковыми моими фразами.

Позднее Дед решил упорядочить эту писанину. Он предложил мне издавать газету и сам придумал для нее название: «Последние известия». «Последние известия» сообщали о событиях, поразивших мое воображение за истекший день. Это был, так сказать, вечерний выпуск. Внизу следовало писать: «Редактор-издатель Жень».

«Последние известия» частью сохранились в архиве Корнея Ивановича. И некоторые строки принадлежат ему самому.

Как-то раз меня чуть не забодала сердитая телка. Я очень испугался. А Дед сказал:

– Напиши непременно:

«На участке № 13 живет бешеная корова. Она набрасывается на людей!»

Сначала я, разумеется, писал с орфографическими ошибками. Дед считал, что так и должно быть, и никогда меня не поправлял. Но потом, когда я уже стал учиться в школе, писать с ошибками стало решительно невозможно.

Однажды я написал: «транвай», и Дед это заметил. Он меня не ругал. Нет.

– Как же ты не понимаешь, – говорил он (а в этот момент ему и в голову не приходило, что я могу это не понимать), – что слово «трамвай» происходит от английского слова *the tram*, которое оканчивается на букву «m», и, следовательно, о букве «Н» в слове *трамвай* не может быть и речи!

Или когда я сделал ошибку в слове «велосипед»:

– Как же ты не понимаешь, что слово «велосипед» происходит от двух латинских слов: *velosis*, что значит «быстрый», и *pedis*, что значит «нога». Так что нельзя писать «вилосипед». Этот инструмент не имеет никакого отношения к вилам!

Должно быть, его уроки пошли мне впрок, потому что теперь я пишу без ошибок.

«МУХА-ЦОКОТУХА»

Если спускаться по лестнице переделкинского дома, то пятнадцатая ступенька приводит прямо к окну в сад. Окно это никогда не открывалось. Да и петель у него не было. Приколотили гвоздями оконные рамы к переплету — и все. От стука в верхнем углу окна вылетел стеклянный кусочек, так, мелочь, величиной с горошину. Никто этого не заметил, и простояло окно многие годы с дырочкой в уголке.

Но однажды ее отыскал паук. И уже на следующий день между стеклами была натянута превосходная паучья сеть.

Паутина в доме не нравится людям. Но когда, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, висит в пространстве идеальная инженерная конструкция, то волей-неволей залюбуешься.

Сам паук сидел в уголке, повернувшись к публике католическим крестом, намалеванным у него на спине. Он терпеливо ждал, когда какая-нибудь муха попадетса ему на обед. Мух, однако, не было.

Все мухи в это время грелись на солнышке, сидя на горячих деревянных перилах балкона, где по утрам работал Дед. В прохладное солнечное утро теплые перила привлекали их целыми стаями. Мухи садились, взлетали и снова садились, так что вокруг стояло жужжание как бы от улья с пчелами.

А паука Дед заметил еще накануне. И перед тем как спуститься к завтраку, он подошел к балконным перилам и отменно ловкими и быстрыми движениями поймал несколько мух.

Мухи были препровождены в межоконье через ту самую дырочку, и вскоре паук уже блаженствовал в центре своего паучьего колеса.

Каждый день в десять часов утра Дед нес в каком-нибудь старом конверте очередную порцию мух нашему, как его уже теперь называли, пауку.

На таких харчах паук неприлично растолстел и вправду стал совсем ручным. То ли он чувствовал, когда наступает десять часов утра, то ли научился узнавать Деда, но уже не сидел в своем углу, держась за сигнальную нить, а боком, боком лихо выскакивал на встречу хозяину дома.

Так продолжалось все лето. А осенью паук исчез.

ПИРОТЕХНИКА

В августе 1955 года за тонкой дощатой перегородкой терраски расплодились осы. В перегородке было отверстие, и осы имели прекрасную возможность лакомиться сладостями с обеденного стола. Они летали там и сям и порой очень больно кусались.

17 августа 1955 года оса укусила Деда. И я решил положить конец этим осиным безобразиям.

Дед не любил ос и нередко вдохновлял меня на подвиги под крышей дома. Он с ног до головы закутывал меня в тряпье, а я срывал осиное гнездо и бросал его в ведро с водой.

Однако сейчас эта великолепная система осоуничтожения казалась мне неприемлемой по двум причинам: во-первых, закутаться в тряпки было так же просто, как украсть негра Джима из сарайчика, куда его посадил добрейший дядя Сайлас, а потому — совсем неинтересно; во-вторых, гнездо висело за дощатой перегородкой, и достать его рукой было нельзя.

И тогда я сделал великое изобретение.

Эта штука была похожа на металлическую бутылку, этакую железную четвертинку, из горлышка которой вырывалась струя вонючего дыма, увлекающая за собой ДДТ.

Конечно, я немедленно похвастался Деду крупными достижениями науки в области уничтожения осиных гнезд, и на его вопрос: а не опасно ли? — ответил, разумеется, что ничуть.

Для этого у меня были свои основания. Я уже два раза испытал мое устройство возле выгребной ямы и, благоразумно спрятавшись за деревом, видел, что оно работает превосходно. Некоторые недоработки конструкции выяснились позднее.

После завтрака, по обыкновению, Дед лег спать. Сон его был священен. Разбудить его — преступление. Дом погрузился в тишину, и я пустил в ход свою штуковину.

Взрыв слышал весь поселок. Я остолбенело смотрел на свою руку, болтающуюся на окровавленных клочьях мяса, и с трудом пытался сообразить, что же такое произошло.

Вот тут-то и ворвался на террасу Дед. Он еще не видел меня и был очень сердит: с таким трудом удалось уснуть, а тут этот башибузук устраивает свои дурацкие взрывы!

Я очень испугался. Я еще не понял размеров катастрофы, но зато знал твердо, что Деда я разбудил и поэтому он в гневе. И я сказал страшную фразу. Я сказал:

— Дед, прости меня, пожалуйста!

В этот момент мне и в голову не приходило, что он примет мои слова за последнее «прости». Я с перепугу совсем не это имел в виду. Но он решил, что я умираю, ему стало плохо, и он, обезножив, опустился на стул.

А я бесцельно побрел по лесу, где рехнувшаяся со страху экономка с воем обнимала стволы берез.

Тем временем шофер выгнал из гаража «победу», меня перевязали и уложили на заднее сиденье. Дед сел рядом с шофером, чтобы везти меня в Москву, в больницу. Его трясло. Все боялись, как бы ему по дороге не стало совсем худо. Поэтому вместе с нами поехала наша соседка по Переделкину Валерия Иосифовна Зарахани.

Двинулись. Я лежал сзади, а шофер, Валерия Иосифовна и Дед сидели впереди.

А ехать впереди втроем запрещается.

Конечно же нас в Кунцеве остановил милиционер. Он потребовал у шофера права, а Дед вылез из машины с ним объясняться.

— Нельзя втроем спереди, — говорил милиционер.

— Но у нас особый случай, — отвечал Дед. — Мы везем раненого, и вы можете в этом убедиться.

— Ничего не знаю, — ответил старшина.

И Дед, закипая от ярости, отменно вежливо и мягко сказал милиционеру, что, когда человек ничего не знает, он должен пытаться узнать хоть что-нибудь.

Такой подход к делу настолько озадачил милиционера, что он больше уже ничего не говорил, позволил вынуть у себя из рук шоферские права, и уже через двадцать минут мы подъезжали к больнице.

«ВЕЧНОЕ ПЕРО»

Учитель был нервным человеком. Он выхватил у меня авторучку и швырнул ее в окно.

— Приведешь родителей, — сказал он, выдворяя меня из класса.

Преступление мое было тяжким. Я посмел писать «вечным пером», а это было строго-настрого запрещено. Потому что авторучки портят почерк.

«Вечные перья» тогда были редкостью и стоили дорого. Но я добыл его себе сам, изготовив из обломков трех или четырех сломанных. Правда, иногда с пера соскакивали огромные кляксы, но зато не надо было макать в чернильницу. И чернила в него заправлялись не фиолетовые, а голубые. Оно вызывало всеобщую зависть, и мне уже предлагали обменять его на перочинный нож с шестью лезвиями.

В школу Дед отправился на следующий день. Вернулся не скоро и сказал мне:

— Женя, зайди ко мне наверх.

В классе за мною числилось множество разных грехов. Так что ничего хорошего я для себя не ждал. Скрепя сердце я поплелся в кабинет.

Но Дед не ругал меня. Он обратился ко мне как равный к равному и не запрещал мне писать авторучкой, а только просил этого не делать. Таким точно образом, как просят об уступке больному человеку.

— Видишь ли, — говорил Дед, расхаживая по комнате большими неслышными шагами, — когда-то все люди должны были уметь писать красивым и разборчивым почерком. Потому что не изобрели еще пишущих машинок, и рукописи, и деловые бумаги, и письма просто нельзя было бы прочесть, будь они написаны каракулями. И когда на смену гусиным перьям пришли стальные, против них ополчились все учителя чистописания: они запрещали школьникам писать стальными перьями, чтобы школьники не испортили себе почерк. Так, по крайней мере, утверждали специалисты чистописания. Но прошло время, и от гусиных перьев осталось одно лишь название — «перо». Все люди пишут перьями стальными. И, конечно, кому-то надоело макать ручку в чернильницу, и он изобрел «вечное перо», которое обвинили в тех же самых грехах, в каких обвиняли когда-то обыкновенную ручку со стальным пером. Я уверен, — сказал Дед, — что наступит время, когда школьники будут писать авторучками. Но тогда же выдумают еще что-нибудь пишущее, и все учителя будут говорить в один голос, что эта новая выдумка только почерк портит. Так что,

Женя, не раздражай своих наставников, уступи им. Они от ваших штук и без того устали.

Так и окончилась бы эта история, если бы через двадцать пять лет меня не вызвали в школу поговорить о поведении моего сына. И его классная руководительница мне сказала:

– Школьникам запрещается писать шариковыми ручками. Шариковые ручки портят почерк. Пусть пишет обыкновенной авторучкой, как все!

Слюнявчики

Я думаю, что никому не нравится, если под окном то и дело трещат винтовочные выстрелы.

Упражнялся с винтовочкой я, а выстрелы вынужден был слушать мой Дед. Всякий другой на его месте отнял бы у внука опасный инструмент, и все. Но эту винтовку раздобыл я себе сам, и Дед не считал возможным отобрать ее.

Однако стены дачи были уже порядочно истыканы пулями, кое-где в стеклах попадались аккуратненькие дырочки, окруженные паутиной трещин, и дом был, можно сказать, на военном положении. Терпеть дальше было уже не вмоготу. И как-то ночью Дед мою винтовку украл. И спрятал.

Спрятать что-нибудь от мальчишки очень трудно, потому что мальчишка знает в доме все потайные местечки.

И уже через несколько часов я извлек мое оружие из-за книжных полок, стоявших на стеклянной террасе.

Возле дома стрельбу пришлось прекратить. Полигон перенесся в глубь участка. Я сделал в стрельбе большие успехи, и певчие птицы перестали по утрам услаждать слух своими трелями.

Это было беспощадное уничтожение всего, что бегало, прыгало и летало на расстоянии винтовочного выстрела от меня. И когда очередная моя жертва брякалась оземь, я делал на прикладе ружья аккуратненькую зарубочку.

Еще дважды исчезала по ночам винтовка. И оба раза она незамедлительно возвращалась к своему владельцу.

Дед, однако, про стрельбу ничего не говорил. Я – тоже.



Корней Чуковский с внуком Женей. Москва. Начало 1950-х гг.

А уже начала поспевать земляника, и надо было обрывать усы и рыхлить землю. Тут и заметили мы, что многие кустики стали чахнуть, потому что в пазухах листьев, как будто кто-то плюнул, пузырится белый сок. Там, в середине, сидела бледно-зеленая тварь величиной меньше половины спичечной головки. Она нещадно тянула из растения соки, окружая себя этаким вспененным плевком.

Дед назвал паразитов слюнявчиками и велел уничтожить их всех. Руками.

Занятие медленное, бесперспективное, невероятно скучное.

И вот, когда я, проклиная свою несчастную судьбу, выгаскивал из плевка уже сто сорок седьмого слюнявчика, чтобы предать его немедленной смерти, подошел Дед и протянул мне хорошее увеличительное стекло.

— Посмотри, какие у него глаза, — сказал он.

Сквозь стекло на меня смотрели две черненькие бусинки. Там был и рот, и усы, и ножки. И вообще из отвратительно зеленоватого кусочка слюнявчик превратился в животное, у которого есть свои желания, свои враги, своя защита, да мало ли что еще!

Давить его на ногте и противно и страшно. Я завернул слюнявчика в бумажку.

— Это всегда так, — сказал Дед. — Как только присмотришься поближе, так и думаешь: как же я теперь его убивать буду? Поэтому так просто убивать издалека.

Он не сказал ни слова про винтовку.

Но почему-то стало очень трудно стрелять по птицам.

ДСП

Он любил английский язык всей душой. И своих детей и внуков непременно учил читать по-английски. Взяв книжку, он водил пальцем по строчкам и слово за словом читал ученику весь абзац. Хотя бы тот ничего и не понял. Потому что у него уже была подготовлена заранее бумажка, где были выписаны трудные, по его мнению, слова (я всегда удивлялся, откуда он знает, какие именно), и после занятий говорил:

— Слова знать к завтраму! И читать дальше.

Дальше были видны кое-где его карандашные пометки и в уголке подпись ДСП, что, как видно, означало: до сих пор.

Но горе было тому, кто внял бы этой надписи! Он терпеть не мог чиновников и был глубоко убежден, что тот, кто прочитал заданный урок ДСП, поступает именно как чиновник.

— Мне был бы понятен твой поступок, — сказал он мне по этому поводу, — если бы ты не приготовил урока. Мало ли какие могут быть обстоятельства! Но ты прочитал точно до сих пор, как бюрократ, и даже не поинтересовался, что же будет потом!

Сам он, сработавший множество превосходных переводов, никогда не позволял себе быть чиновником.

На титульном листе книги было написано: «Перевод под редакцией Корнея Чуковского». Это написано. А получилось так: он

протянул мне рукопись и сказал: «Смотри, вот здесь две страницы перевода. Я из них сделал всего один абзац. В нем говорится то же самое, только вкусно по-русски».

Я помню, как он бился над одной фразой из «Принца и нищего», которую никак не удавалось заставить звучать вкусно по-русски. При этом его совершенно не смущало то обстоятельство, что и Марк Твен не справился с этой фразой, и у него она не звучит вкусно по-английски! Я тоже изрядно повозился над ее переводом. «Тоже» потому, что ночевал у Деда в кабинете — больше мне спать в то время было негде, — и часов этак в пять утра я проснулся от зубной боли и уже заснуть не мог. А у Деда как раз в это время начинался рабочий день. Вот он и дал мне занятие, чтобы я не так мучился. И покуда я перебирал в голове все возможные комбинации из нескольких русских слов и вспоминал их синонимы, он ходил по комнате, переносил кое-какие предметы с места на место, чтобы перед работой навести в своем хозяйстве порядок.

— Если каждое утро делать сто движений, — говорил он, — то окажется, что содержать стол в чистоте очень просто.

А потом он садился работать. В комнате было очень тихо, и только перышко поскрипывало по бумаге...

В десять часов он шел завтракать. После завтрака отдыхал, а потом снова принимался за работу.

И так ежедневно, зимой и летом, в будни, в праздники, в воскресенье.

Он мне как-то сказал:

— Вот закончу книгу — отдохну. Совсем ничего не буду писать целую неделю!

Книгу он сдал, но уже на следующий день, как всегда, сидел за столом и работал над какой-то новой статьей.

— Что же, — спросил я, — а ты говорил отдыхать будешь?

— Не умею я заниматься ничегонедельем, — ответил он.

Конечно, ему здорово повезло: он занимался любимым делом.

И он никак не мог взять в толк, как это люди становятся пенсионерами и не работают. Возмущался:

— Что же, они терпеть не могут свою профессию?

Я иногда возил его на машине из Переделкина в город. В тот раз мы ехали в Библиотеку имени Ленина. То есть Дед пошел в би-

блиотеку, а я поставил машину на стоянку. Неподалеку разговаривали о том о сем шоферы в ожидании пассажиров.

– Хозяин? – спросил один из них, кивая головой на Деда.

– Ага.

– Ну как он, не обижает?

– Да нет, чего там.

– А он кто будет?

– Писатель.

– Как фамилия-то?

– Чуковский.

– Старик. Ну как он, еще работает?

Удивительный вопрос! Мне казалось, что всем известно: Корней Чуковский перестанет работать тогда, когда умрет.

ПАВЕЛ БУНИН

ТАЛАНТ ЖИЗНИ

КАК БЫ ВСТУПЛЕНИЕ

Около этого человека я был скорее тридцать, чем двадцать лет. Но после книги Л. К.* вижу, что слово «знал» было бы с моей стороны и наивной, и легкомысленной ошибкой. То, что мне только иногда брезжило, она назвала своими словами и с завидной прямоотой глубоко любящего человека. Но «душа моя уязвлена стала»* — К. И. любил (опять ошибка: не любил, конечно, но ему это нравилось, «забавляло иногда»*, как сказано в действительно им любимом, мне так казалось, стихотворении) эту мою память на цитаты. Он даже объяснил ее моей настоящей любовью (опять-таки и на этот раз, похоже, правда) к литературе. «Вот за что я его люблю!»* — восклицал он своим действительно неизменно привлекательным, в доску фальшивым, крепко-крепко сделанным голосом. Пожалуй, можно понять, что между семнадцатью—восемнадцатью годами хотелось хоть иногда поверить в нечто подобное... Конечно, некоторое чувство юмора и тогда подсказывало, что, как говаривал Мефисто:

Все это, братец, только так,
а ты поверил и размяк!*

Совершенно верно, размякнуть иногда так приятно...

В повседневности непременно следовала моя реплика: «К.И.! В подлиннике — «Вот за что тебя люблю я...»* (Кто-то из гостей: «Ну, это грубая лесть...»)

К. И. Ха! Ха! И молодец! знает классика! В конце концов, что мне нужно — немного подобострастия... вот и все... (*Бормочет в дру-*

гом регистре.) Вот и все... (Но тут же спохватывается.) Бунин! Душа жаждет Щедрина — давайте!

Я. А откуда?

К. И. Ну, я уж по вашей физиономии вижу — вот это, «ежели бы все рыбы...»*

Я. «...договорились жить от общих трудов и...»

К. И. (полнокровный, великолепный и отнюдь не сделанный хохот). Ну-ну, валяйте!

Я. Сейчас... «Поди prospись (это продолжение цитаты), плыву это я... и вдруг рядом — карась. Ну и что? — Как что? Тут щука поглядела до того загадочно, что как ни прост был карась, но и то — догадался...»

К. И. Нет! Наш Павлик... вот вам яблоко! Идемте! (И, обращаясь к неостроумному гостю.) А вы подождите — сейчас подадут на стол нечто сказочное! (Мне.) Бежим...

Сбегая с крыльца, неожиданно замечает разросшуюся тут же крапиву.

— Какая гадость! Бунин, истребите ее! Ах да... трусость иудейская...

Но номер не проходит, и вот почему: в особо счастливые годы я зайцем ездил за город и там набирал мешок крапивы для супа... витамины, так сказать. Так что без особых повреждений срываю пальмообразную мерзость у ее основания.

К. И. немедленно меняет тональность и говорит своим нормальным (без парадно-ликующих, с оттенком равнодушия, интонаций) голосом (для меня это всегда — знак симпатии): «Идемте, Павлик», — и идет к калитке своей стремительно-ныряющей походкой... Несмотря на совершенное формальное несоответствие, он очень похож на Рузвельта. Это победоносно-уверенное в себе обаяние, этот невысказанный юмор, на дне которого — цинизм, эта способность мгновенно понять собеседника, эта широта интересов... Что тут говорить! Повторяя его собственные слова об Уайльде, — «он всюду кричал, что он культурен — он действительно был культурен...»* Да и потом — уже специально для меня: он любил столько вещей, которые и я любил: имена... события... вплоть до «замка Смальгольм»*, к которому я, конечно, сделал кучу рисунков. Мы между тем маршируем к пруду, сказочно прекрасный летний день, что-то между пятью и шестью часами. Идем как бы



К. Чуковский. Переделкино. 13 июня 1957 года

сквозь золотой строй деревьев (уже косые, предвечерние лучи).
К. И. бормочет: «Боль проходит понемногу...»*

Я (так же тихо, как и он). «...Не навек она дана...» (Где-то на середине не выдерживаю.) К. И., какое чудо!

К. И. Да. И вы знаете — он только где-то в это время стал подлинным...*

И мы идем назад. А теперь можно и посквернословить...

Я. К. И.! А кто этот светоч за столом, стрелочник?

К. И. (смеется). Почему?

Я. Да как товарный состав... и погромыхивает... и конца нет... и порожняком...

К. И. (небрежно, притворяясь сочувствующим). Ну чем человек виноват, что он бездарен?

А потом у калитки: «Вы не зайдете поужинать?»

Я. Да нет — уж очень убог, мало радости.

К. И. (светски). Вы так уж уверены, что эту радость он доставит МНЕ?

Я. Он доставит ее себе.

К. И. (*доволен*). О лстец! Так приходите завтра, послезавтра, когда угодно!..

Прекрасная большая ладонь пожимает мою, и, огибая дом, К. И. исчезает.

И так было год за годом, десятилетие за десятилетием... Вовсе не требовалось непременно вести умные разговоры, можно было и вообще не говорить. Он сидел за столом и правил корректуры, а я где-нибудь тут же в кресле, вытащив с полки не менее дюжины книг и почти всегда среди прочих «От Чехова до наших дней»*. Я часто брал сразу все тома Дружинина (масса интересных статей – англоман!)*, и К. И. это нравилось. Работал он упорно и углубленно, но иногда: «Ну чего вы там смеетесь?»

Я. Да знаете – тещи. «Перед старухами забор – они через забор» (блестящая разносная статья о кино «Бега тещ»)*.

Конечно, он видел, что мне действительно все это страшно нравится. «Свежо и нервно»*. Да нет, чего там, – блестяще! «Ну, читайте, как там?»

Я (*с полнейшим наслаждением*). «Перед ними канава – старухи через канаву... наконец одна... растрепанная, задыхающаяся... приседая, подбегает первой...» (*Невольно.*) Бедная!

К. И. (*совершенно серьезно*). Вы правы...

ОН И Я (О НАШИХ ХАРАКТЕРАХ)

Не знаю, надо ли тут употребить слово «любовь», но тянуло меня к нему как мало к кому. Мне приходилось встречать незаурядных людей, а иногда и вести с ними длительные знакомства. И вот, положив руку на сердце, он был едва ли не самый яркий. И не только это. Однажды он сказал мне очень памятные слова: «Культура – это тонкость восприятия».

Это восприятие было у К. И. в огромной мере. Откуда берется эта тонкость? Много ответов: тут и врожденные свойства (еще бы!), тут и живой интерес к тысяче вещей, прямо вовсе не относящихся к вашей профессии, тут и живой ум, откликающийся (как правило) на самые разнообразные вопросы, и доброжелатель-

ность или хотя бы ее элегантные заменители, и многое, многое другое... И на какой же хрупкой и непрочной основе было это такое многолетнее, так радовавшее меня общение...

Мне казалось, мне и сейчас кажется, что некоторая доля симпатии была и с его стороны — иначе почему это длилось так долго? Ведь достаточно мне было на некоторое время по тем или иным причинам исчезнуть — и от него шли письма с запросами — где я, что, как? И мне было это дороже его многократной и сильной денежной помощи (я всегда привозил долги вовремя, вызывая неудержимый, но довольный смех: «Не понимаю — другие строят на мои деньги дачи и не отдают ни копейки. Говорите прямо — вы замыслили какую-то адскую интригу?»).

Но то, что происходило иногда меж нами в совсем другом ключе и что мне казалось чем-то иррациональным, стало (уву!) понятным лишь после прочтения книги Л. К.

И мне хочется сказать несколько слов. Если, как пишет Л. К., К. И. верил в возможность людей общаться только через искусство, я, художник-профессионал, независимо от своего уровня, достаточно хорошо знающий искусство и всю жизнь им занимающийся, говорю — НЕТ! Это ошибка. Симпатия человека к человеку вовсе не требует чего-то вроде «общей платформы». И иногда достаточно одного взгляда в глаза, чтобы почувствовать к нему, человеку совсем другой профессии и других интересов, нечто доброе и надолго и нечто запрещающее в минуту скверную, в минуту неудавшейся работы (велика важность! Для успокоения достаточно подумать о взорванном Парфеноне хотя бы)* или при несварении желудка пнуть этого человека сапогом в душу — тем самым сапожищем, о котором К. И. так красочно выразился (см. ту же книгу Л. К.).

Это первое.

А второе — Сенека замечает: «Тот, кто имеет много знакомых, имеет обычно мало друзей». Дружба — это тоже дар и талант, и, на мой взгляд, талант не из последних.

И я положительно не припомню, чтобы К. И. говорил хоть о ком-нибудь как о своем друге... И дружба — это одно, а коллекционирование экспонатов и литературных скальпов — нечто совершенно иное.

А между тем тот же Уолт Уитмен сказал совершенно справедливо: «Я заметил, что быть с любимым человеком — довольно».

И искусство тут ни при чем.

Далее. Эта фетишизация работы... (а хотя бы и работы в искусстве). Мы знаем несколько иной взгляд на проблему, и взгляд этот изложен достаточно авторитетно... И о лилиях полевых*, кои не трудятся, не прядут, и о том, что «лучше горсть покоя, чем пригоршни труда и томленья духа»*, и что автор этих трудов видит, что и они — суета, и великий Хайям, обращаясь к себе, также заключает: «Все, что сделал ты, — пустяк». И я не думаю, что приведенные выше мысли — лишь кокетство или легкомыслие. Понятно, когда человек кидается в работу от избытка сил, ради хлеба насущного или, наконец, от горестей, как в своего рода наркотик, но принимать этот наркотик, хотя бы и самый сладкий, за высшую ценность, я думаю, не стоит.

Всякий фетиш — в конце концов не более чем фетиш. И я, знающий, что такое тяжелый труд, говорю: и это не более чем фетиш. Труд может быть необходимостью, как оно сплошь и рядом бывает, но

Ты ведь тоже — человек!*
Приглядиись поближе —
Видно: ты не выше всех,
Но ничуть не ниже.

Гёте

Мог ли я думать, что этого блестящего человека (слово это к нему особенно подходило, да других людей с подобной аттестацией я и не знал, кроме разве еще одного-двоих), так, говорю, мог ли я хоть на мгновение вообразить, что этого денди русской критики (денди — это ведь тоже нечто вечно юное, блестящее) могла терзать бессонница, и только ли она одна. При его почти постоянном оживлении любая хворь казалась либо начисто исключенной, либо (не считите за скверную шутку) тоже чем-то вроде игры, правда, не самой лучшей. До сего момента мне казалось, что, заставляя меня иногда читать ему перед сном книги, он скорее проверял свою власть надо мной, чем нуждался в этом бормотании над своим ухом. Я всегда норовил улизнуть при первой возможности, а вдогонку неслись крики «спящего»: «Куда? Стой, негодяй! Куда?!»

Мог ли я (спящий, как камень) подумать, вообразить... Терзала бессонница... плохо, конечно, но, в конце концов, редко кто властен над собой в такой степени, как корсиканское чудовище*, умеющее приказать себе спать в любой момент, когда сочтет нужным (под Ваграмом*, рассудив, что обстановка прояснится только через полчаса, монстр тут же их и использовал, заснув под грохот двухсот орудий).

Но чтобы так могло мучить прошлое, хотя бы и тяжкое, чтобы так приходиться в отчаяние от отзыва кого бы то ни было... Это выше моего понимания. Ведь знал же он, конечно: «Ты сам свой высший суд...»* (ну и т. д.). Воистину, как говорили греки, «человек волнист и разнообразен»*. «Он совершил самый трудный шаг: из мещанства в интеллигенцию»*. Так ли? Сын мельника Рембрандт, бастард Леонардо и сколько других, кончая хоть Шаляпиным, шагнувших в интеллигенцию, в аристократию...

«Вы уронили кисть, пфальцграф», – сказал повелитель мира, подняв ее и подав бывшему пастуху... Тот и бровью не повел...*

Наверное, в случае с К. И. следовало бы сказать – «самый трудный для него шаг».

Быть может, именно поэтому так преувеличенно он ценил свою профессию... Божьей милостью критиком был он, но, видимо, считал (хочу думать – лишь иногда), что взял свое место с бою, трудом... Смешно. Он родился для этого места.

Гейне, измываясь над не слишком новой идеей о том, что «терпение и труд все перетрут», заметил: «Мы берем молодую мышшь, затем, после известной тренировки, снабжаем ее кошачьими когтями и, наконец, в награду за трудолюбие – лвиной гривой, уверяя беднягу, что уж теперь-то она – настоящий лев...»

Мужики, не читавшие Гейне, говорили то же самое, только короче: «Каков в колыбельке – таков и в могилку...»

Надо не быть художником в своей основе, чтобы ссылаться на бесчисленные черновики к «Медному...». Любой подлинный художник (большой или малый – все равно) объяснит вам, что это совсем не то, что можно назвать тяжелым трудом, трудом до кровавого пота и как там еще. Это радостное действие, больше всего похожее на часы интимной близости... Вот так – прекрасно, но так – еще лучше, а попробуем... И пробуют, и вопреки обычной физиологии – все это длится, длится...

Но этому умению не научишь. «Поэтами рождаются», — говорили римляне. И, например, так любившему их Брюсову следовало это помнить, а не угрожать своей музе, галантно сравнивая ее с волом и доверительно сообщая — «мой кнут тяжел», и не требовать от нее результатов*. Они и были — соответственные.

Дж. Рескин того же мнения — этому не научишь: иначе все бы рисовали и катали стихи, так же как все пишут и читают...*

Нет, шалишь... «уши ваших понежней»*.

Ни Гете, ни Т. Манна никак не обвинить в недостатке усидчивости, но эти пунктуальные, работающие немцы несут что-то совсем еретическое... «В каждом произведении искусства, — заявляет один, — должно быть нечто от игры...»

А другой: «Все те идеи, которые я развивал всю жизнь, зародились у меня в детском возрасте...»

В свете сказанного не странно ли — я, пожалуй, даже скажу: не трагично ли? — это беспокойство столько пережившего, видевшего и умудренного пережитым человеком о той или иной незаконченной статье... Ну, так он ее не закончит — что с того? Он закончил достаточно других...

Тот же Рескин сказал, что художнику никогда не хватит не то что одной, но двух, трех жизней, так много каждый день несет ему даров.

Но ведь эти дары не только для художника, они для каждого, имеющего живое сердце.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КИПЛИНГ

«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце, — читаем мы в одной великой книге*. — Если б какой человек... прожил и многие годы... но душа его не наслаждалась бы... то я сказал бы: выкинь счастливей его»*.

К чему же эти беспокойства? Эти мучения? Можно догадаться — не хочется.

Вспоминаю: в одну из своих горьких минут (конечно, я не понимал тогда всей глубины ее горечи; мне даже иногда казалось грешным делом — не кокетство ли? Но это ведь тоже сопряжи-

мо...) он изрек (нормальным голосом, что всегда на меня особенно действовало): «Я ведь только папийон*...» С самым искренним восхищением к нему и подавленный этим самоунижением, я не только что перебил его, но и закричал: «К. И., что вы такое говорите – перестаньте!» Кажется, это подействовало. Он, не побоюсь сказать, благодарно улыбнулся, продолжая (но, к моему облегчению, в другом ключе), однако, невыносимую для меня бодягу: «Нет, но в конце концов...»

Я (*чувствуя, что перелом произошел*). В конце концов, прекрасный папийон несравнимо лучше, ну, скажем, летающей кочерги.

К. И. (*раскрепощенно хохочет*). О ком вы это?

Я. Да о ком хотите... вот хоть роман «Тиски»*...

К. И. (*строго-въедливо*). «Носки»... да вы ведь и не читали... ненавижу эту вашу манеру – вот оплевал ни за что почтенного человека...

Звучит вполне фальшиво, и в свой черед смеюсь от радости, не по поводу буффонады, конечно.

К. И. (*меж тем в кои веки размышляя и обо мне, полувопросительно*). Откуда это у вас? Впрочем, конечно – Ольга Николаевна!*

Мудр он, опытен и наблюдателен. Конечно, это мое умение ломать скверное настроение у очень пожившего, старого и очень близкого человека пришло ко мне не сегодня. Результат долгой практики существования около моей бабушки. К. И. знает и ее, и то, что она – № 1 в моей жизни.

И то, что он сейчас мне сказал, есть некоторым образом благодарностью.

Но и хватит.

Он вскакивает: «К Ираклию!»*

И по дороге: «Валяйте Киплинга!» Это еще один знак внимания; он знает мои чувства к оголтелому империалисту, но и это не все...

I've a neater, sweeter maiden in a cleaner, greener land*

Он со вкусом повторяет: «I've a neater, sweeter maiden...»

...Затем, глядя в пространство (мы остановились где-то на полдороге): «Да... надо было видеть это оливковое лицо...» Не знаю, как это он делает, но на мгновение прямо-таки веет присутствием третьего. Только не перебивать его... я уж научен горьким опытом... но... «Неужели он?..» – «Конечно... но об этом не приня-

было говорить. (К. И. считал, что Киплинг – индус.) ... В Лондоне...»

Я (*как эхо*). В Лондоне...

К. И. (*оживляясь*). «И когда вы пойдете вдоль Темзы... как будто могильные плиты... снимают с вашей груди... (*смотрит на меня*) ...вы увидите».

Это говорится с какой-то холодной, английской уверенностью.

Я. Когда?.. Как?

К. И. (*не слушая*). ...и тогда... (*щемяще; этих нот я не слышал еще*)... вы вспомните меня...

Вспомнил. Я стоял на Лондонском мосту: направо – Тауэр, налево – Сен-Поул. Темза. Корабли.

Но я был – один. Не было О. Н., и К. И. не было. И, не очень зная, к кому из них обращаюсь, я пробормотал: «Душенька...»

Слово это было запретное для меня – всегда раскисал. Но сейчас – нет... нет.

– Могу я чем-нибудь помочь, сэръ?

– Спасибо, сержант. Нет.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Началось очень давно. Когда я рассказал о дикой смеси, служившей мне в детстве повседневной пищей, К. И. одобрил: «Со всем неплохо».

Это выглядело так: «Айвенго», «Айболит» (проза, так сказать; но то, что нужно: пираты, паруса, спасение), «Золотой ключик», Андерсен, «Бармалей», «Мойдодыр», «Крокодил» (1-е издание) – дивные рисунки*; «Дума про Опанаса», «Детство» (Горького), «Тихий Дон» (начисто погубивший мою идеологию; красные отступают, Григорий изрубил матросов, от красных прячутся), «Том Сойер» (Гек не пошел, пришлось ждать года три), среди прочего – помянутые Л. К. «Маленькие школьницы»* – текст уже тогда казался подозрительным, но туча интригующих добротных рисунков, вольфовское издание, а это значит – золотой обрез, обложка опять-таки алая с золотом – красота! И как раз тогда, к моей

радости, тоже в красной с золотом обложке вышедший «Маугли» (чудесные иллюстрации Ватагина*: он после любил меня, был на моих выставках: «Я... я благословляю вас...» — к общему конфузу на вернисаже). Для первичной организации мироощущения в 5—6 лет — вполне достаточно. Конечно, было полно и других книг. О Пушкине, Лермонтове, Шекспире и говорить нечего. И конечно, от них так и осталось нечто неустранимое. Между прочим, и от «Чапаева». (Все бредили Бабочкиным, и, конечно, я затребовал книгу.) Запомнилось: ему читают газету, герой отмахивается.

«— Василий Иванович, да ведь цифры!

Чапаев хитро ухмыльнулся:

— А што цифры! Цифру я и сам выдумать могу...

— Но тогда как же?

— Так, повеселить надо...

— Кого?

— Людей вообще...»*

Как говорят англичане, по comment (комментарии не требуются).

В восемь лет — фильм «Дети капитана Гранта» (единственный бандит — явный пролетарий). А дальше — дальше просто перечитывать список книг Л. К. Но я уже рисовал и, значит, несколько более остро воспринимал все эти замки, шпаги, рыцарей, дам, красноармейцев и т. д.

К. И. веселится, когда я рассказываю ему, как стал в тупик с «Опанасом»*. Напечатано по-русски, но непонятно. «У начдива (непонятно) мах (непонятно) ядреный (непонятно), тяжелей свинчатки (непонятно)...» И завершающая неясность: «Хлобысть по сопатке». Почему-то казалось, что эта «хлобысть» — нецензурна.

К. И. (*серьезно кивая головой*). Так оно и есть... Какой был прекрасный вкус у ребенка... (*С хорошо сделанной скорбью.*) И что вышло, я вас спрашиваю?

Он вопрошающе выбрасывает свою необъятно длинную руку, поддерживая ее другой, при этом приседает на корточки, впечатление вполне фантастическое. Затем он поднимается и, усевшись в кресло, критически, но, кажется, и не без некоего удовольствия меня рассматривает. Нельзя не ухмыльнуться.

— Возмутительно! При этом лицемерно-невинном лице эта циничная улыбка. — Он поправляет у меня в кармане платочек. —

И вы все-таки должны следить за выражением своих глаз... Нет уж, брат, опускай не опускай...

Брат бормочет:

— Очевидный результат усидчивого чтения некоего классика...

К. И. Я же и виноват! Нет, какой отпетый негодяй. Вот, пригрел змею... и нечего рассаживаться с таким комфортом, я что-то не помню, чтобы я вас к тому приглашал. Почему вы облизываетесь? Если голодны, то так и скажите...

Я. А бесполезно — «и мысли и дела...»*.

К. И. Отвратительный льстец... вы что-то сегодня в ударе — может, и деньжишки нужны?

Я. Нужно только ваше благоволение, dear teacher! and nothing else*.

К. И. И оно с вами пребудет. (*Подходит к окну.*) Надо посмотреть... если Мария Борисовна вас претерпит, с обедом, полагаю, затруднений не выйдет...

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО

«Да, так о чем это я?» — как говорит Элиза Дулитл*... Я о подспудных течениях, прибивших меня именно к К. И., а не к кому-нибудь другому. И я скажу нечто, что, возможно, звучит несколько странно, но в чем тем не менее я совершенно уверен: мы очень похожи.

1) Он любит английскую литературу. Я тоже.

2) Англия ему импонирует. Мне тоже.

К. И. Я вас понимаю... Китченер... Strong man*, Хартум... Вам импонирует все это?

Киваю.

К. И. (*оживленно*). Поднимаюсь как-то по лестнице, к Уотсу* (*быстрый взгляд на меня*)...

Я (*быстро*). Почтенный джентльмен с седой бородкой, символические картины, но с раскрепощенными красками, портреты и...

К. И. Именно. И вот мимо меня проносится нечто, что я принял за раскаленное ядро...

Я. И это был?..

К. И. Сесил Родс*. Поднимаюсь и застаю Уотса с беспомощно опущенными руками... Вы его видели?.. Нет, тут нужна рука Микеланджело...

Я все-таки думаю, что ему был приятен, так сказать, квалифицированный слушатель, и он продолжает без видимой связи, но с внутренней логикой.

К. И. Да... еду в подземке и вдруг — впечатление, что на остановке вошла целая куча портретов: Асквит, Грей, Балфур...* перешучиваются, насмешничают, обращаются за поддержкой к публике... Что вы там мажете в своем отвратительном альбоме? Дайте сюда! (*Он рассматривает, доволен.*) Да... правильно... Асквит с его сединами, нет, вы все-таки... позвольте, а почему Ллойд-Джордж? Его с ними не было...

Я. Зато он был в «Англии в дни войны»* (книга К. И., мало сегодня известная).

К. И. Молодец! Все знает! (*Увлекается.*) Какой демагог, какой оратор! Я был на его митинге (*с гордостью*) в Кардиффе...

Я (*как бы в пространстве*). Горняки... сорвал их стачку.

К. И. (*кивает*). Горняки... Да. Сеанс массового гипноза. Коо!* (*кричит голосом Л.-Джорджа.*) Это оружие ваших сыновей... Коо!.. я буду работать или нет? За-мол-чи-те!

Я. Не замолчу! Джеллико, Хейг — вы их видели?

К. И. Конечно, видел. Да что это ТАКОЕ — КЛАРА! УБЕРИТЕ ЕГО!

3) Он знает и любит Пушкина. Я не так хорошо, но тоже (память помогает). Глядя вслед даме с вполне недвусмысленной походкой, он бормочет: «Так и пишет...» — Потом, очень свежо: — «Иной имел мою Аглаю...»* Ну что же вы?

Я. «За свой мундир и черный ус...»

К. И. «Другой за деньги...»

Я (*тоже врываюсь, не желая отказать от смака, так что получается хором*). «...понимаю!»

К. И. (*задумчиво*). «Другой за то, что был француз...»

Я. К. И.! Кажется, и она тоже была француженка.

К. И. Не можете не перебить... испортил песню. Дуррак!

Я. Могу испортить и еще нечто — хотите?

К. И. (*заинтересованно, но в пушкинском ключе*). Говори, ну что?

Я. Сейчас. Но прочтите, пожалуйста, блоковскую эпитафию Липпи* — только по-русски... (*Грубо.*) У вас так чудно выходит...

К. И. Подонок. (*Затем с чувством.*) «Здесь я покоюсь, Филипп...» и т. д.

Когда он доходит до строк: «В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий...» — я смотрю на него настолько выразительно, что он, мгновенно догадавшись и не выпадая из каданса, сам вставляет нужную фамилию — не Медичи*. И, только дочитав до конца, с горестным удовлетворением изрекает: «Мэрзавец!»

И вот уж кстати. С пафосом читает: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем...»*

Я. Втрое надо было...

К. И. (*как бы останавливаясь с разбега, тупо на меня смотрит.*) Что — втрое?.. Кто — втрое?

Я. Ремень... ремень втрое сложить — может, помогло бы?..

К. И. (*с нехорошим знанием.*) Едва ли...

Но продолжаю.

4) Мы оба восхищаемся Оскаром Уайльдом, да нет, просто любим его. Читаю К. И. по памяти — вперемежку переводы Бальмонта и Брюсова — «Рэдингскую тюрьму»*.

К. И. (*неожиданно развеселившись.*) Вот вы не любите Брюсова...

Я. Можно подумать — вы его любите...

К. И. Ну, да. Деловой человек. Переводил не он, а Иоанна.

Я. Как это? Расскажите.

К. И. (*с удовольствием.*) Негодяи выработали совершенно идентичный почерк (*говорит это даже с некоторым подобием почтения.*) И когда наш дорогой Валерий Яковлевич...

Я. Дал дуба...

К. И. Не перебивайте меня. Да и что происходит с вашим лексиконом?.. Вы больны?

Я. Пожалуй. Два дня рисовал сталеваров...

К. И. Ага! Ну, ничего — отделались легкой эпидемией... Да, так безутешная вдова повадилась таскать мне в «Лит. наследство» такую тучу автографов покойного...*

Я. Светоча...

К. И. (*с укоризной.*) Вы даже это как-то скверно произносите. (*Смеется.*) Может быть, вы разрешите мне продолжить?

А пропос...* (*укоризна.*) У Уэллса в «м. Блэтсуорси»* дикари не применяют казнь, но «воздают укоризну». «Укоризна, — пишет Уэллс, — воздавалась здоровенным дикарем, вооруженным дубиной, утыканной акульим зубом. Второй укоризны обычно не требовалось». Рассказываю об этом К. И.

Насмеявшись вдоволь, он говорит с редкой простотой: «Да, это был истый гений».

Но далее.

5) Я, так же как и он, выучился английскому сам по себе, просто раскрывая понравившуюся мне вещь Киплинга или Уайльда и выписывая подряд все слова, учил наизусть стихи. Это было не трудно и приятно.

— Дед! Ты послушай его произношение! Это английский, потвоему?

— Да, смейтесь, смейтесь, дурачье! Он будет его знать, потому что любит Англию... — Он замолкает, оставив невысказанное, но явно повисшее в воздухе «А вы?».

Учу АНГЛИЙСКИЙ

Случилось так. Я читал очень интересную книгу Галеви «Англия эпохи империализма»*. Там, говоря о серебряном юбилее Виктории*, Галеви приводит текст «Recessional»*: «Исчезнут наши флоты, погаснут маяки... Судья народов, пощади нас...» — и т. д. Что-то задело сердце. «К. И., прочтите, пожалуйста!» Он охотно берет книгу, роется, бормоча: «Все равно ведь ни черта не понимаете!»

Я. Ничего! А музыка?

Он смотрит на меня с одобрением. Вот он нашел. Читает. Редкостно прекрасно: «The tumult and the shouting dies; the captains and the kings departe...» («буйство и крики умрут; канут капитаны и короли») — доносится до меня, как бы действительно из океана музыки: «Lord God of Hosts, be with us yet, Lest we forget — lest we forget!»*

Он произносит это как бы рыданием, растворяющимся в пафосе: «...lest we forget!»

Молчание. Я взвинчен, но он, кажется, тоже. И доволен произведенным впечатлением. Ведь и Шаляпин, говорят, пел лучше всего не на концертах... Наконец с негодованием: «Ну! Если это вам так нравится, то что же вы!»

Я. Но я же ничего не знаю... грамматика... я и русской-то не знаю...

К. И. (*продолжая негодовать*). Но ведь трещите же! Хорошо, приступим к делу. Сейчас же. И начнем с того, что у англичан вообще нет грамматики...

Я (*радуюсь*). Практичный народ...

К. И. (*бурно*). Вот и подражайте им. Итак. Что вы думаете о моем носе?

Я. Ну... он не самый маленький из тех, что я встречал...

К. И. Он самый большой, и притом — проклятый насморк — он красный; но повторяйте за мной: «My dear teacher have a big and red nose!» (У моего дорогого учителя большой и красный нос!) Ну — разве трудно?

Я. Попробую...

К. И. Пробуйте. Проваливайте и не приходите, не выучив Киплинга наизусть. Неужели вы так же бездарны в изучении языков, как в рисовании?

Я. Так Киплинга-то хоть дайте!

К. И. (*брюзжит*). Самому надо иметь. Так ведь и прет. (*Вручает книгу*.) Воображаю, во что она превратится...

Я. Я БУДУ ЕЕ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО И...

Это несколько из другой оперы, но он подхватывает: «Не пытайтесь меня уверить, что будете ее хранить в чистоте... Куда? Получил и?... А может быть, я хочу угостить вас чаем?»

Не знаю, как его благодарить за подобный тренинг.

Правда, вместе с тщеславием исчезло и честолюбие, и не знаю — хорошо ли это? Он говорил — плохо. Как благодарить за эту закалку? Это было и весело, и необходимо, а, однако, все остальные разносы казались лишь убогой и беззубой шуткой.

Надо ли говорить, что, придя к нему примерно через неделю, я начал с того, что: «Good evening, my good Teacher!» (Добрый вечер, мой добрый Учитель!)

К. И. Как, что? Не — может — быть! Good evening, Paul. (Добрый вечер, Павел.)

Я. But Time is money (Но время деньги), let us begin (давайте начнем). (*И, простирая руку, с пафосом*). «God of our Fathers» («Бог наших Отцов...»).

Он был доволен, я — счастлив...

«Сломали целку», — откомментировал он позже, в несколько иной тональности...

Он любил смешивать разные жанры... импрессионист...

ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СРОДСТВУ»

Помню, на похоронах одного кота-разбойника, повадившегося истреблять запасы молока на кухне в Переделкине, К. И. лирически изрек, держа мертвого бандита за хвост: «Вот так и нас когда-нибудь...»

б) Как вижу, каждый из пунктов что-то разрастается, постараюсь короче.

а) Мы оба знаем множество стихов и всегда готовы читать их направо и налево.

б) Мы оба одновременно — лживы и искренни, веселы и совсем наоборот.

с) В нас сохранилось нечто (наверное, в разной степени) подростковое, нечто надеющееся на то, что еще имеет быть...

д) Кроме того, мы сладострастны. И правильно. Поэзия — не для евнухов. Мои подвиги по этой части его неизменно веселят. Я охотно делюсь и спрашиваю советов, в которых он никогда не отказывает; они отличаются, как правило, высоким профессионализмом.

Больше всего на свете каждый из нас любит себя самого. Если я люблю свою Ольгу Николаевну, а он — семью, это ничего не меняет. Просто это часть нас.

Наконец, мы были (теперь мне как-то наплевать) крайне тщеславны, хуже того, кокетливы. И любим успех. Мы умеем долго работать и, если надо, доводить работу до конца. Вот только я откровенно этого не люблю, а как он на самом деле — просто не знаю.

Но могу сказать. Множество часов провел я рядом с ним во время его работы, и почти всегда он от нее с удовольствием от-



К. Чуковский в своем кабинете. Фотография Н. Носова. Переделкино. 1966 год

рывался при любом моем обращении, а часто и заговаривал сам, особенно если видел, что я читаю что-либо с настоящим интересом...

Короче — мы художники. И наши недостатки — необходимая основа наших достоинств. Лживость — она сродни воображению. («Упадок лганья — катастрофа для искусства», — утверждал наш любимец.)* Любим себя? Но как можно любить других, если даже себя не любишь?

Любим успех. Но это ведь сорт отзвука на нашу работу, в которую, мала она или велика — все равно, по словам Киплинга, мы вложили «надежду, и веру, и гордость»*.

У Некрасова, любимого К. И., мы слышим вечный художнический ответ на утешение в неудаче: «Это кровь, говорит, проливается, — кровь моя — ты дурак!»*

Наше легкомыслие; во-первых, оно не всегдашнее и, кроме того, сродни детской игре и отзывчивости; что в том плохого? Вы только вчитайтесь в книги, авторы которых начисто лишены этого порока, — их работа (пусть даже грандиозная) не потому ли и производит иногда такое тяжкое, безрадостное впечатление?..

Скажем правду: читать их трудно.

Только несколько раз видел его больным. Не видел я его и в последние месяцы его жизни (дикая строчка по отношению к К. И.). Не был рядом с ним ни в тридцатые, ни в десятые годы. Я не смогу подвергнуть профессиональному разбору его лингвистические труды. Не смогу сказать я и ничего интересного о его многолетнем убежище — Некрасове. Ни о переизданном собрании сочинений; для меня его лучшие вещи (он и сам это понимал и говорил мне, включая без сомнения «Цокотуху» и прочее) — те, что им сделаны до тридцатых годов.

Эти веселые стихи будут жить долго. Очень долго. Дольше многого серьезного.

И вот я говорю: этот опус, который я пишу о нем, будет одним из немногих лучших. И если меня спросят, почему я это говорю, я отвечу: по праву избирательного средства.

По поводу чтения книги Л. К.

Его любовь к вещам при одновременном безразличии к их «ходовой» ценности. Это я понимаю; вот и сейчас стоит передо мной грошова сахарница, подаренная моей бабушке к свадьбе. Но я помню ее, как себя. Надеялся внушить любовь к искусству? Едва ли. Как сказал один из его любимцев, «не стучись же напрасно у плотных дверей»*.

Один старик (еще пышущий здоровьем, плохой художник) заискивает и юлит, тщетно пытаясь сохранить достоинство перед другим, тоже плохим художником, но вышестоящим.

Этот последний — развалина. Он топорщится, снисходительно и назидая, колет, наконец отказывает... В совершенном ужасе и отвращении рассказываю К. И. эту сцену, он невесело: «Для вас это еще новость?»

Точки соприкосновения

Застаю его в беседе с очень неприятного вида существом. Говорит в основном гость. К. И. лишь тогда, когда это совершенно необходимо, вставляет своим прекрасно-фальшивым голосом: «Да... да... да, друг мой...» Тот наконец поднимается. К. И. прощается шумно, радостно и пустопорожне: «Спасибо, что навестили старика...» Идет его провожать и действительно похож на старика в эту минуту. Хлопает дверь, он на пороге кабинета: молод, элегантен, англазирован (хотя в том же домашнем платье). Зорко меня оглядывает.

— Корней Иванович! Какая страшная морда!

— Вы правы... Это очень плохой человек... — И для верности называет фамилию. Потом, мажорно: — К черту его! Что вы принесли? — и листает мои рисунки — нечто к французской революции... — Ну! Где здесь Робеспьер? Этот хорош... жди от него пощады... — Рассматривает рисунки: — Мария-Антуанетта на тележке... Да, да... так; быстро, быстро... чего там... — Потом очень вежливо: — Вы знаете, и Х накатал нечто на эту тему...

Я. Да знаю... видел... бездарно...

К. И. Бездарно? Ну нет... Для бездарности тоже нужна известная сила... Просто нуль...

Эдуард VII и бдительность

В другой раз над моими рисунками на английские темы: «Как вы их любите (это говорится не с укоризной)... но (и он произносит таинственно-неудобоваримую фразу) и они очень любят тех, кто их любит (указывает на полки)... Дайте мне вон ту книгу».

Вытаскиваю. Он любовно ее раскрывает. Это дивно изданная английская книга, царски проиллюстрированная. Богато, декадентски-вычурно, талантливо. Эльфы, уютные сказочные домики, ведьмы, феи... Надо всем — несколько удушливая, но отчасти и завлекающая атмосфера Jugend Stil*.

К. И. осторожно листает. На мой немой вопрос отвечает со странной улыбкой: «Мне подарил ее... Горький». Вдруг среди

упадочно-сказочной чертовщины – вполне знакомая фигура в цилиндре...

Я. К. И.! Это не Эдуард Седьмой?

К. И. *(не повышая голоса, но одобрительно).* Это Эдуард... *(Оживляется.)* Мы познакомились с ним... в ночном клубе... * Конан Дойл – вот кому бы вы понравились... *(Объяснять ли, что значат такие слова, когда человеку семнадцать лет? Слова – поступки...)* ...представил меня, и король сказал: «Haben Sie gut geschlafen?» *(Хорошо ли вы спали?)*

Я. К. И.! А почему по-немецки?

К. И. Откуда я знаю... *(Подозрительно.)* А вы откуда знаете, что это немецкий, а не зулусский?.. Нет, вы все-таки состоите *(крайне подозрительно рассматривая меня – будто увидел в первый раз)*... Да... да... конечно... а я-то, дурак... и эта... якобы... бедность...

Я *(отчаянно).* К. И.!

Да посмотрите на мои ботинки...

К. И. *(смотрит).* Они ужасны.

Я. Именно. Неужели я не достал бы что-нибудь более приличное, если б...

К. И. *(перебивая).* Вам их выдают под расписку, чтобы вызывать у меня жалость... *(Смягчается.)* Ну ладно, ладно. А все-таки откуда вы знаете немецкий?

Я *(с некоторой скромностью).* Домашний язык... Ольга Николаевна... да я же вам рассказывал. Да вы же ее видели... Боже мой!

К. И. Ну, хорошо... нечего тут... не притворяйтесь возмущенным... *(И совершенно неожиданно.)* Красавец!

Театр для себя. Евреинов*. Нравится не нравится – привыкай. Я и привык.

ЛОМБАРД

С О. Н. он познакомился следующим образом: с первых заработков я купил золотые часы, чтобы закладывать их в минуту трудную. И вот влетаю к нему: «К. И.!

Одолжите на два часа шесть тысяч».

К. И. *(перебивая).* Почему не двадцать шесть?

Я. Ломбард... надо перезаложить.

К. И. Попался, негодяй! Я бывал в ломбардах. Из очереди не уйдешь — не впустят!

Я. Бабушка осталась в очереди...

К. И. (*смакует*). Бабушка... Врете вы все... Бабушка... какой-нибудь шорник... бабушка, бабушка, почему у тебя такие острые зубы? (популярная сказка о Красной Шапочке).

Я (*раздражаясь и в нетерпении — очередь-то идет*). Ну, в конце концов, пойдите и проверьте.

К. И. И проверю. Давно пора вывести вас на чистую воду... Ждите меня здесь — ни с места! Не отпускать его!

Он исчезает в кабинете и через мгновение предстает, сверкающий элегантностью и великолепием, в прекрасном сером костюме. «Идем!» — и легко сбегает с лестницы. По счастью, это рядом — на углу Пушкинской и Столешникова...

Подходим к гудящей сороконожке.

К. И. (*тихо*). Где она?

Я. Вон, точит лясы с двумя бабами.

К. И. Прекрасно. Как ее зовут?

Я. Ольга Николаевна.

К. И. (*подлетая*). Дорогая Ольга Николаевна! Мы такие друзья с вашим Павликом...

Дальше не помню, потому что с любовью смотрю на обоих, весь превратившись в глаз... Судя по их улыбкам, обмениваются комплиментами. Наконец он оказывается около меня: «Так сколько?» — «Да я же сказал — шесть тысяч». — «Сейчас же приволоку».

Когда К. И. вручает деньги, доносится голос О. Н., не очень обременявшей себя модуляциями: «Это Чуковский... Ну да... известный... Павел его очень ценит...»

К. И. обращает на меня стеклянно-рыбий взгляд (!).

Я. А сами виноваты... так я зайду после, да?

К. И. Конечно! О чем вы!

Он легко выбегает из переполненной клоаки...

Усадив О. Н. в такси, медленно поднимаюсь к улице Горького. Когда вхожу, К. И., сидя за прекрасно убраным, сверкающим столом, излагает поход в ломбард. До меня доносится: «Нет, все-таки Павлик...» Он замечает меня, кричит: «Вхо-ди-те! Мы ждем вас!»

Любил ли я его? Конечно, любил. Да и люблю. А сколько народу перевидал я около него, но почти все они рядом с ним ощуща-

лись какими-то неинтересными, занудными пятнами. Причем он, казалось, ничего для этого не делал. Просто, подобно мингеру Пепперкорну* (есть, кстати, много общего), он сводил их к нулю самим фактом своего присутствия... Они были как куклы в руках опытного, слегка волшебного фокусника. Либо они сами, вдруг осознав свою ценность, затихали, как приемник с перегоревшими лампами, либо — если на то была воля мага — начинали за ним (быть может, даже с внутренним удивлением) буйно веселиться, извлекая юмористические ситуации, казалось, из ничего, из воздуха.

О ДИЛЕТАНТАХ

Яркий, незаурядный человек!

Специалист по детской психике, лингвист? — не знаю. Среди повальной специализации он был, по-моему, чем-то иным. Дж. Рескин говорил об угрозе для личности человеческой, когда один должен всю жизнь заострять иголки, а другой — только приделывать игольное ушко... (Так и слышу: «Вы читали Рескина?» — и в самом вопросе — одобрение.) Т. Манн, размышляя о Гете, сказал, что он принадлежит к редкой, вымирающей породе дилетантов...* (Минералогия, анатомия, ботаника, френология, эстетика, теория цвета... Чего там не было!...) К. И. говорил: «Надо знать». По-моему, он ошибался: такие люди не говорят «надо», а говорят «хочется»... Отсюда же и их всегда готовое проснуться сладострастие — и не непременно к женщине: к науке, к музыке, книге... «А что здесь? Как интересно — хочу узнать, хочу увидеть».

Лев Толстой в мрачную минуту написал страшноватый опус «Сколько человеку земли нужно...»*. Чехов, благоговевший и трепетавший перед ним, немедленно откликнулся*: «Нет! Два метра нужны трупу, а не человеку — человеку нужен весь мир!»

При таком взгляде на вещи просто неинтересно замыкаться в чем-то одном...

И вот, я думаю, К. И. тоже принадлежал к этой породе, породе Леонардо, не побоюсь сказать, — потому что тут дело не в размере, но в типе... Тут дело абсолютно не в специализации, а в жи-

вом интересе, который может пробудиться к чему угодно и, увлекая себя, увлечь других... Темперамент живого человека, короче говоря...

Однажды академики искренне рассмеялись, когда Наполеон выразил сожаление, что он не астроном. Лаплас не смеялся; он сказал: «Я не сомневаюсь, что император, займись он астрономией, сделал бы великие открытия».

По-видимому, в том же роде был и Цезарь — поэт (правда, плохой), писатель (превосходный), оратор, любовник (это тоже не каждому дано), филолог, лингвист, политический деятель, демагог... ну и полководец... Но фон Шлиффен правильно поймал суть дела: «Хороших полководцев было много, но подлинно великие — всегда гуманитарии, получившие широкое образование». Я бы только сказал — при их живом интеллекте, с их жадностью к знаниям постоянно оттого обновляющемся, — они дали себе это образование... В том же роде был и Пушкин, да и Толстой, при всей его брани в адрес культуры, сам-то...

Люди этой породы обычно плохие школьники, и меня несколько не удивило, что К. И. относился к отметкам своих детей с величайшим равнодушием, — это же естественно! (Толстой — своим детям: «Если вы хотите доставить мне удовольствие — провалитесь на экзамене!» Те, разумеется, не преминули...) Люди эти обычно не на лучшем счету у своих педагогов; им так часто не хватает умеренности и аккуратности...

Не на лучшем счету они обычно и дальше (смешно, что вообще приходится быть на чьем-то счету), и жизнь их далеко не всегда складывается так, как предназначают окружающие... Другая порода. Не «от сих — и до сих!», как закричал у Щедрина Угрюм-Бурчеев*, обращая свое «мание» к реке, — здесь это не действует — «река продолжала течь», — холодно замечает вице-Робеспьер. И потому — «Некрасов, Шевченко (К. И. научил меня читать великого Тараса в подлиннике: “Шевченко — в переводах! Вы с ума сошли!”). Воздухоплавание...»*

Да и мало ли что еще!

«Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум...»*

.....

Если их сравнивать, то Маршак всегда казался мне старше, обесцвеченным, глубоко ко всему равнодушным и безнадежно

уоставшим. Меж тем по-английски он говорил неизмеримо лучше и знал он разных разностей, быть может, не меньше. Не было огня (искусственного или настоящего — все равно). Будучи около К. И., я развратился в этом отношении. Притом искусственный огонь К. И. с чрезвычайной легкостью превращался в настоящий; требовалось только не быть бревном, и если не интересоваться его очерёдной темой (что мне было почти всегда трудно), то уж быть собеседником — во всяком случае.

И был нужен юмор, прежде всего направленный на вас самих, и быстрая реакция, и живая заинтересованность (но действительно живая) в чем угодно. К. И. вспыхивал почти немедленно.

И происходило иногда нечто совсем странное — как бы исчезала разница лет; я говорю это с высоким восхищением, разумеется, а не от безвкусной тяги к фамильярности... Надеюсь, это понятно само собой...

Кроме того, Маршак очень легко впадал в состояние все постигшего мэтра; К. И. (при мне, по крайней мере) — никогда. Он мог (мне всегда чудилась в этом своего рода легкая гимнастика) вполне ядовито вас вышутить. Весело, ядовито, да, но не мрачно-злобно. Он наслаждался обычно самой шуткой, а не причинением боли. И если вместо тупых доказательств или оправданий у вас хватало ума ответить в том же ключе (причем можно было при неуловимой, но явной границе заходить очень далеко), он не злился никогда (я, по крайней мере, этого не припомню)...

Раз был пир... то пир был граций!

Острых слов, импровизаций...* —

сам же он процитировал в своей блистательной статье-поэме об О. Уайльде*. Она была сделана на таком широком дыхании, с таким заражающим вас наслаждением, с такой увлекательной кокетливой искренностью-сочувствием и пониманием-неискренностью (убейте, не поверю, что сделана она с кровью, хотя бы и увидел тучи черновиков... Думаю, что кроме всего прочего было и понимание интуитивное — ведь и Оскар той же породы), что, прочтя ее и сделав несколько рисунков к уайльдовским сказкам, я и отправился — знакомиться. Тут не было и тени расчета. Было вполне иррациональное тяготение...

ЗНАКОМСТВО

Я. К. И.! Ваш, как вы его назвали, этюд об Уайльде... простите, если я позволю себе сказать, что, при всей элегантности этого чисто художественного слова, оно далеко не определяет всего того, что...

В ответ на меня низвергается водопад комплиментов. Он явно не раздосадован моим вторжением, а я, видя это, спешу исчезнуть, чтоб не испортить впечатления...

К. И. Но куда же вы?

Я. Я просто не предполагал, что у вас найдется для меня столько времени, и потому...

К. И. Но я надеюсь, что в следующий раз оно и у вас найдется, не так ли?

«Вас» — он особенно подчеркивает; я очень походил тогда на мальчишку и всячески это усугублял. У меня, например, как и у него, был свой парадно-фальшивый голос — некое лицемерное сочетание невинных интонаций и совершенной открытости. Я твердо уверен, что он сразу же — при его-то интуиции и опытности — почувствовал во мне родственную породу... Конечно, заметил он и номер с голосом... Когда я позвонил через недели полторы (хотелось, разумеется, на следующий же день, но...), он с этого и начал: «Я узнал ваш прелестный голос...» Его собственный при этом переливался как симфонический павлиний хвост...

Вот так и началось...

Знал я его плохо, до самого конца. Но многое угадывал. Можно ли это назвать знакомством, если нет — то как? А никак... «Определить — значит ограничить»*, — выразился излюбленный нами автор... Но и Уайльд оказался далеко не единственной точкой соприкосновения...

К. И. зачем-то нужно на почтампт — напротив. Мы застреваем на середине улицы.

К. И. «Мчались омнибусы, кебы и автомобили...»*

Я. «...был неисчерпаем яростный, людской поток...»

К. И. Вам нравится?

Я (*готовлюсь сказать нечто, как мне кажется, интересное и поэтому перехожу на инфантильные интонации... медленно*). Как вам ска-

зять... Ну да, крепко сбито... может быть... слишком крепко... Нет воздуха... нет подкупающей беспомощности... Не вполне поэт... прочная имитация...

К. И. (*быстро на меня взглянув*). Вы серьезно?

Он, кажется, несколько заинтересован... Я и действительно так думаю о замоскворецком маге, рожа скверная, псевдозначительная, угрюмая.

«А Пушкин, а “памятник” себе?..»

А впрочем, кто его знает — то ли он заинтересован, то ли сорт экзамена на ходу... Но увлекаюсь и я: «Ну конечно, К. И.! Это ведь вещь декларативная... Нет! “Не то чтоб разумом моим я дорожил... Да вот беда — сойдешь с ума... цели нет передо мною... Куда ж нам плыть...” * Вот, я бы сказал, — высокая беспомощность...»

К. И. Что-то вы почувствовали... Блок иногда... казалось, он не властен... Гумилев — вы его любите?

Гумилев, Блок и Гоголь

Я. Н-не очень. Команден, лапидарен, холодно экзотичен... «Барсы... парсы...» *

К. И. (*смеется*). «Румб... Колумб...» * — странно, я думал в ваши годы... (Мне около семнадцати).

Я. Да нет! «Песни весенней намека» * — вот это настоящее, да и посмотрите (*указывая на небо*), там — совершенно точное изображение следующей строки.

К. И. (*произносит ее удивительно: несколько монотонно, сладко щемяще и тихо*). Мне Блок так читал.

А я — внутренне «мне грустно и легко»... *

И вдруг доносится: «Бежим, наконец!» Мы бежим на зеленый свет...

Я и понятия тогда не имел о громадной любви К. И. к Блоку, не знал и об их знакомстве... Прощаясь со мной, К. И. дает мне книгу: «Вот, прочтите ее». Его книга о Блоке *. Я ее прочитываю, о чем и сообщаю К. И. на следующий же день. Смех в трубке: «Но когда же вы успели?»

— К. И.! Это так просто — надо только не пойти в школу.

– Так приходите ко мне. – И встречает словами:– Ну как, понравилось?

Я (*стаскивая пальто*). «...Вплоть до колен текли ботинки; являлись икры вид полен...»

К. И. (*отнимает у меня следующую строку, коронную*). «...Взгляд обольстительный кретинки светился как ацетилен».

Когда мы у него в кабинете, я как раз заканчиваю: «Что он давно деклассирован...»

К. И. (*за столом, сложив на нем руки, глядя на меня хорошо сделанным взглядом инквизитора, отечески*). «...И что ему пощады – нет...»*.

При этом он отрицательно-безжалостно покачивает головой. Упоение!

В той же его книге было очень хорошо о Гумилеве: «Повелитель своих вдохновений» излагал свои пиитические декларации Блоку, а тот: «Не знаю... Вы бы это могли хорошо сказать по-французски...»*

Не любил я ни того ни другого: один, хоть и обращался к моему чувству историзма, был холодно красочен, а другой поэт, правда, околдовывал, но в этом колдовстве так часто было нечто, может, и выстраданное, но несколько эстрадное, нечто трупное, иногда даже ощущался некий ночной яд... По счастью, знал я их достаточно, ведь для К. И. они слишком знакомцы, современники, его юность... Много позже, еду как-то из Переделкина в Москву, я всю дорогу долбил с упорством попугая стихи то одного, то другого. Инициатива была не моя, К. И. меня завел – кто знает, быть может, он опять же с их помощью предполагал заснуть, но не получалось: то ли мое увлечение заражало его, то ли (вернее) стихи будили его память... «Приближается звук... и подобно щемящему звуку, молодеет душа...»*

Что тут говорить! И К. И. не выдерживает, врывается, читает сам: «Зачатый в ночь я в ночь рожден!...»*

Наслаждается этими звучаниями, этими «Ч», а потом, отрывисто, молодо, чеканно:

Май Жестóкий
С БЕлыми Нóчами...*

Дождавшись конца, я как можно вкрадчивее: «“Тяжелый плуг... топор...”», он еще его к тому же “широко размахнул”...»*

К. И. (*грозно*). Вы это к чему? Куда гнешь?

Я. Туда, что какая-то дисгармония... Елагин мост* – и вдруг все эти топоры, хорошо хоть, что не бумеранги... «...Твой звериный взгляд, мой звериный взгляд...»* Ну какой у него, к черту, звериный взгляд?.. Что с ним случилось, в конце концов? Ведь такой поэт?! Неужели Гамсун всех так клюнул?*

К. И. Вот то-то! Это было в воздухе... Вы не представляете себе, как это все похоже...

Я. Нет, я понимаю: «Ночь, улица, фонарь, аптека»* – здорово! Но эстрада! Ведь это хочется подпевать. (*Пою, с цыганскими интонациями.*)

...Эх, опустишь,
да занавеска
линялыя...*

Геннадий (шофер) оборачивается, в широкой улыбке скаля зубы.

К. И. (*и раздражен, и ему смешно*). Геннадия бы постыдился... бессовестный!

Я. Успеется...

Ты ушла,
эх, на свидание
кы любовнику!..

К. И. Молчи-те!

Я (*почти по тексту*).

Я один
что-то там –
Я молчу!*

К. И. (*безнадёжно-прозаически*). Вы-то замолчите... Но запомните: я покараю вас, жестоко покараю...

Я. «...Без милости, карай»* – а пока, что ж – «вонзай же, мой ангел вчерашний...»

К. И. (*оглядывает свою обувь – это уж никак не то, что можно вонзить, да и на французский каблук не похоже, смеется*). Ну признайтесь, вы ведь на это и рассчитывали – увидели, что я безоружен... Дуйте «Капитанов»!*

Я. Охотно. Так как — сначала?

К. И. Да, это хоть на какое-то время избавит меня от ваших безобразий... Ну!

Я. «На полярных морях и на южных...»

К. И. *(не перебивая меня, удовлетворенно).* Вот так-то лучше *(показывает мне кулак весьма внушительных размеров).*

...Ну, от этого я отказаться не могу... «удары трости и клочья пены» подождут...

Я. «А шинель-то ведь моя!» — Акакий Акакиевич хотел уж закричать... как тот приставил ему ко рту кулак, величиной с чиновничью голову, промолвив: «А вот только крикни...»

К. И. *(в немедленном восторге от своей постоянной любимицы «Шинели»).* Ну а имена, имена вы тоже помните?

Я. Еще бы! Как там... «...представили ей на выбор — Мокий и Павсикахий... “Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие...” Развернули календарь еще раз — вышли Дула и Варахасий... *(Надо при этом видеть лицо К. И. — он совершенно молод!)* “Наказание, — проговорила старуха, — а, чего там... *(Знаю, в подлиннике длиннее, но нетерпение душит.)* Отец был Акакий, так пусть и сын...”».

К. И. *(в упоении от Гоголя).* «Акакий Акакиевич закричал (когда его крестили), он как бы предчувствовал, что будет титулярный советник...» И это вы помните — и «того, Петрович», а? *(Перебивает сам себя.)* И вы помните, у него были любимые буквы... Боже мой!..

Я *(робко).* Ну и — «за что вы меня обижаете... я брат ваш...»*

К. И. одобрительно кивает....

Вот тут лучше действительно помолчать, и я замолкаю, не нарушая его нирваны, не лишенной некоторой светлой грусти... Потом, когда подъезжаем к Москве, он из нее выходит действительно как-то преображенный... Ну, теперь остались считанные минуты, а потому и разговор легкий. И среди прочего: «К. И.! А что, Дельмасиха действительно была так уж?...»*

К. И. *(совершенно спокойно).* Вы разве не видели? Нелепая, толстая баба...

Вот так-то... все познается в сравнениях... Это Гоголь... Это действительно первый класс. А все эти сенегамбии, дифирамбии...*

К. И. *(поглядывая на меня с видом большого кота, глядящего на масло, потом как бы провоцируя).* Ну, хорошо... это вы с ним расправились... но...

Я (*потеряв всякий стыд*). «Был он только литератор модный...»

К. И. (*гневно-лебединьим голосом*). «Только слов кощунственный творец...»* (*Затем.*) Какие стихи! Неужели вы настолько тупы...

Я. Нет же, К. И.! Это я только так... для дороги... Вы ж помните: «Со многим я не согласен, многое мог бы опровергнуть. Просто я предлагаю лишь одну из возможных точек зрения...»*

К. И. А я предлагаю вам вспомнить, что если вы так по-царски распорядитесь своим временем, то у меня его несколько меньше... (*Широкое ружельтовское рукопожатие.*) Ну ступайте же! Не знаю, за что я вас так люблю!

Вылезши из машины, я не уйду. Мне приятно на него смотреть.

Он откидывается на спинку сиденья; Геннадий подмигивает. Машина срывается с места и круто сворачивает за угол.

ЧИТАЯ ТАРАСА

На столе лежит том Блока.

К. И. По своей разнузданности вы наговорили черт знает что! И сейчас я вас испепелю.

Мне очень жаль, но я должен повторить фразу из книги Лидии Корнеевны: «В гневе я ужасен — вы готовы?»

Я. Нет. Ведро не вижу... да и метлы...

К. И. (*хмуро*). Зачем это?

Я. Ну, как же... «...Подошла к Никите и говорит: “Дай, Никита (у К. И. выражение лица начинает меняться), положу я тебе на плечо свою ножку...”»

Оба. «И как увидел Никита ее белую, полную, стройную ножку...» и т. д. «...вечером приходим и видим — пропал наш Никита — только в углу ведро с золой... и метла...»

К. И. (*торжественно*). Вы прощены! На колени!

Я. Сейчас... А перед этим, помните: «Вот рядом с тобой сидит мой кум — тоже хороший псарь, но рядом с Никитой он дрянь, помой!»

К. И. «Ты говоришь хорошо, — сказал Дорош. — Я расскажу про Никиту...»

Я. А теперь, нет, только послушайте, К. И.! «Я расскажу про псаря Никиту, — сказал человек, с лицом чрезвычайно похожим на лопату...»* (*Оба хохочем.*)

К. И. Нет, но ведь из ничего! И какая густая специфика!..

Я. Что вы хотите! Это же совсем другой край.

К. И. Юг!.. просторы... неторопливость... Лень...

Я. Галушки в рот...

К. И. Именно. И в то же время... (*В его руке сам собой оказывается «Кобзарь»*.*) Вот... (*И ликующе-мажорно, совсем иначе, чем Блока, чем многих других.*) «Зізділи ми Польщу и всю Україну...»

Украина действительно звучит у него волшеббно-соловьино.

У меня, как всегда во время его чтения Шевченко, слезы в три ручья. Не знаю, чем это объяснить... что-то чисто медицинское... не знаю...

К. И. доволен. Глаза его блестят, и похоже, что и у него они... Потом оба взрываемся восторгом, попеременно.

— Нет, но этот размах, эта нерасщепленность!

— Но это эпос, эпос! Нет — подумать — эпос в девятнадцатом веке! Да, как же, варварский, но рыцарский кодекс!..

— А вы что думаете, что они были как у В. Скотта? Да, как же, ха, ха!

— Но эта изобразительность, этот взмах руки — ведь мы видим его, а у Тараса ни слова!

— Неважно, предыдущее заставляет нас видеть. (*Вдруг.*) Вы-то почему это понимаете?

Вынырнув из моря восклицаний, он пристально на меня смотрит — я на него. Потом отвечаю:

— Это неважно... Известная вам инстанция веет где хочет*.

Он еще смотрит на меня, затем шутит:

— Выбрала себе местечко, где веять! (*Громко и энергично. Тема о моей несостоятельности на сегодня, кажется, исчерпана.*) Ну а дальше! Читаем еще?

Я (*подхватывая, в том же ключе*). Еще бы!

А уж после, когда оба успокоились, он (*удовлетворенно*):

— И вы таки ревели в три ручья...

— Ничего не могу поделать; у этого чудовища какие-то запрещенные приемы...

— У этого, как вы непочтительно выразились, чудовища — гений.

– Нет, тут что-то не то... гениев, в конце концов, много... Цельность пророка... эта нечеловеческая ненависть, эта любовь...

– И вы знаете, таким он и родился...

– Как некий великий птеродактиль из своего яйца...

– Полегче... Но что-то в вашем бреде есть... Эта допотопная цельность, эта мощь...

– Отсутствие гамлетизма, я бы сказал.

К. И. Да. Этим он не страдал (*смеется*).

Я. А подумайте, **К. И.**, полное ощущение: «Я всегда прав...», ни тени...

К. И. Ну вы же сами сказали – пророк... Много вы видели пророков, заеденных рефлексией?

Я. **К. И.**! Чтобы достойно завершить этот вечер, еще одна просьба.

К. И. Деньги, наверное? Не дам! (*Он, разумеется, уверен, что сегодня я их просить не собираюсь. Надо же все-таки...*)

Я. Нет, вы знаете – забыл, к своему позору, как она называется, но уж если хотите доставить мне радость, прочтите, пожалуйста, ну, это... «Ой, чого ты почорніло...»

К. И. (*не заставляя себя упрасивать, читает дальше*). «...Зеленее поле... почорніло я од крові за вольную волю...»

Это звучит у **К. И.** громовыми раскатами; он машет на меня рукой:

– Перестаньте реветь, лучше читайте дальше...

Я стараюсь продолжать по памяти; **К. И.** при этом придирчиво следит по «Кобзарю».

Уже поздно. Он провожает меня до калитки – и тихо: «До свидания, Павлик...»

СВЕТСКИЙ ВЕЧЕР

Мы стоим у застекленного окна террасы. Вечереет. Зима. **Я** бормочу: «В черных сучьях деревьев обнаженных / Желтый зимний закат за окном...»

К. И. (*пожалуй, даже отчасти бессознательно, но с напором*): «К эшафоту на казнь осужденных / Поведут на закате таком...»* И после подобных стихов вы еще смеете что-то там говорить...

Я. Конечно, смею... Вы только припомните, где он избывает свою скорбь, дом свиданий... грязная кнопка звонка... гадость...

К. И. Вы-то хороши... ваши рисунки...

Я. По крайней мере, я делаю их дома... да и потом... я как-то не очень понимаю, зачем женщине свистать в эти минуты...

К. И. (*вздыхая*). Вы еще много чего не понимаете... сложно-ассоциативное мышление – вот это что!

Я. М-м-м... Может быть, а все-таки смешно: вы только представьте – женщина пребывает в одном из тех положений, которые так привлекательны... и вдруг заливается бандитским свистом.

Подъезжает машина – привезли корректуры, которые К. И. ждал с нетерпением и беспокойством.

Теперь он, с облегчением засмеявшись, спешит в столовую, куда уже входит с сумками и пакетами секретарша (еще не Клара). У двери он оборачивается и еще раз: «Что вы знаете!»

Спешу следом и, чтобы потешить его, преувеличенно внимательно помогаю даме снять пальто.

К. И. (*не отрывая глаз от корректур*). Оставьте ее в покое. Это моя секретарша, а не ваша...

Я. Она пришла с мороза раскрасневшаяся...*

К. И. (*все еще не поднимая от бумаг головы*). Допустим, но это еще не резон для вас удручать ее своей разнузданностью...

Я. Да она вовсе не удручена...

К. И. Разве? (*Поднимает голову.*) Да... действительно... Дорогая моя (*наставительно*), я обращаю ваше внимание на то, что я вам плачу ваше жалованье, я, а не Павлик... А вы (*это ко мне*)... я не нахожу слов, чтобы оценить ваше поведение... впился, как скорпион...

Я. Так ведь я и есть – по гороскопу...

К. И. Оно и заметно...

Все это – просто так. На самом деле он торопится к себе на второй этаж, в кабинет, разобрать привезенное, а потому обронив: «Пусти скорпиона в огород...», он быстро взлетает по лестнице, скрипя ступенями... Не раньше, как через сорок минут слышу его окрик сверху: «Пав-лик!»

Он сидит за столом, весело на меня поглядывая.

– Я вас ни от чего не оторвал?

Я. Почему не «ни от кого»?

К. И. Есть обстоятельства, друг мой, они, полагаю, вам известны, когда это — уже второстепенный вопрос... Так не отклоняйтесь... Что вы там делали?

Я. Что я там делал... What I did it matters not, for my knowledge of life is too poor, but such Master as you*.

К. И. You flatter me... no, really... (Вы льстите мне... нет, действительно...) Меня это занимает... несмотря на ваш вид... я иногда воспринимаю вас как из совсем другого времени (*раздумывает*).

Я (*действительно скромно и по возможности искренне*). Но, К. И., не забудьте... ведь я воспитан не поколением моего отца, но деда... быть может, разница в атмосфере дома... характер библиотеки, музыка... ведь это все и неуловимо, и так важно...

К. И. (*размышляя о чем-то своем*). Именно.

Я (*ободренный — тема интересна и мне*). И не сочтите амикошонством — вы же знаете, как я трепещу перед вами на самом-то деле (*К. И. отмахивается*), но хочу сказать — со всеми подобающими оговорками, — мне с вами легче, чем со многими моими сверстниками...

К. И. For example? (Например?)

Я. Пожалуйста. Один мой хороший знакомый, видимо, будет блестящим математиком... умница, порядочен and so forth... (и так далее...) И что же... вдруг увидел у него стихи Евтушенко.

К. И. А откуда вы знаете, что стихи плохие? Вы ведь их не читали.

Я. Конечно нет. Но ведь он что-то вроде моего старшего сверстника... Стало быть, нет оснований думать, что он знает или чувствует что-то такое, чего бы я не знал... Нет уж! Мне жить не сто лет! И уж раз есть свободная минута...

К. И. (*не без одобрения*). Если это безумие, в нем есть система...* Но ведь так можно отнестись и к вашим опусам?

Я. Бога ради. Пройдя вашу школу, я приму это с совершенным спокойствием, с совершенным... если, конечно, это не отразится на моем кармане.

К. И. (*с чувством*). Понимаю вас. И когда же сложилась эта философская система?

Я. Года за два до того, как я имел счастье увидеть вас. Но это не моя заслуга: Джон Рескин — «Лекции в Кембридже».

К. И. Вот как! А вы знаете, Уайльд тоже их прослушал...

Я. Знаю, из вашей книги. Если я вас не утомил — вот на сегодня заключительная цитата.



К. Чуковский. Фотография Н. Носова. Переделкино. 8 апреля 1956 года

К. И. Прошу вас (*он очень аристократичен в эту минуту*).

Я. Вот она. «Сегодня я скажу вам то, что вы и так, без сомнения, знаете. Я скажу вам, что жизнь коротка. Но понимаете ли вы, что то, что вы не успеете сделать сегодня, вы не успеете завтра? Аристократизм избранного вами круга чтения с неизбежной точностью укажет на меру присущего вам аристократизма. Живой лорд может притвориться приветливым, живой философ (*не прерывая цитаты, делаю жест в его сторону*) снисходительно растолкует вам свою мысль. Но великая аристократия книг не притворяется и не растолковывает.

Хотите быть в обществе благородных? Станьте благородным.

Хотите услышать мудрых? Научитесь их понимать — и вы их услышите.

Можно на других условиях?

Нет. Нельзя».

Я слышал потом, говоря с кем-то обо мне, К. И. сказал: «Нет, Павлик совершенно прав — он их просто не читает».

Идиллия

Потом, это было уже летом, мы вышли с ним прогуляться до мостика над речушкой Сетунь... Милый, спокойный вечер. Иногда перестукивают электрички. Откуда-то доносится песня нескольких пьяных.

К. И. (*прислушивается к песне*). Вас не коробит?

Я. Нисколько... «И говор пьяных мужичков...»*

К. И. (*неожиданно*). Молодец! Правильно. (*Почти без всякого перехода*.) А кто вам посоветовал прочесть Рескина?

Я. Никто... инстинкт.

К. И. Ну, хорошо. Но я чего-то не понимаю. Вот школа: столько-то часов вы там... (*Подсказываю: «Семь».*) Вот видите... потом уроки... Ну, хоть час надо на них ухлопать... Так когда же Рескин?

Я (*с полным презрением к перечисленному распорядку*). Все несколько иначе, К. И. Начнем с того, что три часа — рисование. Это только удовольствие, и это значит, что в двенадцать я уже свободен.

К. И. Как это? (*С напускным негодованием*.) Надо ли это так понимать, что вы?..

Я. Именно так и надо понимать. Таким образом, в два я уже в библиотеке — и до восьми... Наслаждение! Когда залезаю в каталоги, прямо-таки начинаю метаться как отравленная крыса на горячей плите.

К. И. Более изящного сравнения вы к себе применить не могли?

Я. Зато наглядно. Притом, вы же помните, это из Свифта...

К. И. Верно! А дальше?

Я. Дальше? Ну, в девять я дома, и если не противно и не устал, ну, что-нибудь из уроков в течение часа, а там еще час или два с какой-нибудь чудной книгой... У меня неплохая библиотека... Почему бы вам не спросить, откуда?

К. И. Но вы же рассказывали — дед...

Я. Все украдено... Нет, я закупил ее в последние годы.

К. И. (*заинтересованно*). Каким образом?

Я. В качестве особо одаренных мы получаем рабочие карточки... Вот я и загонял свой хлеб... пятьсот руб. полкило... Как раз

напротив школы — маленький рынок... уговаривать не приходится... и на запятках троллейбусов еду в «Академкнигу», как раз у вас внизу. Они там меня знают, вот я и роюсь в их запасах и уж всегда что-нибудь непременно куплю... Ну, правда, иногда вместо книг покупаю подарки бабушке или маменьке...

К. И. Вы мне про нее ничего еще не рассказывали...

Я. Она еще достаточно молодая женщина, нет и сорока... и очень добрая...

Старый шармер, улыбаясь, добавляет: «И очень красивая, почему вы этого не говорите?»

Я молча проглатываю комплимент, а до меня доносится: «Но ведь что-то вам НАДО есть?»

Я. Совсем не обязательно... дело привычки... Потом — не каждый же день!.. Ну, что вы воззрились на меня с такой скорбью?

К. И. *(действительно скорбно).* «My happy Prince... (мой счастливый Принц...) так вот оно как... С ТОБОЙ...» *(Долго молчит, и только после молчания, очень бережно.)* Пойдемте...

Мы молча идем обратно, и только уж почти у калитки К. И. говорит каким-то раненым голосом: «Ну хоть приходите ко мне почаще! Я хоть постараюсь вас как-то подкормить... ну, я не знаю...» Он подает мне большую, теплую руку и быстро уходит...

ДЕТСТВО, ОТМЕТКИ И КИПЛИНГ

К. И. Что вы там делаете, черт возьми?

Я. Я возносил мольбы Астарте и Гекате...*

К. И. Я так и предполагал... Но это еще не повод так скверно ухмыляться... Что у вас там?

Я. Right you are as usual, dear teacher! (Вы, как всегда, правы, мой дорогой учитель!)

К. И. Это я и без вас давно знаю — ну, что?

Я. А работать кто будет? *(Указываю на корректуры.)*

К. И. Невыносимо. Ну!

Я. Я бы сказал «баранки гну»... да, так вот... *(Читаю с его интонациями.)* «И Северянина тоже влечет к детям, но как-то своеобразно:

Цветик милый, деточка!
стань скорей на цыпочки...»*

Нет, экая мразь!

К. И. (*мажорно*). Здорово написал старик! Принесли?

Я. Такого не вижу... принес...

К. И. (*листает мои рисунки*). Вот это я возьму... и это... Ха! Ха!
Как вы верно схватили ее тупое рыло... досталось?

Я. Ох, едва отпоили чаями...

К. И. Беру ее тоже! Не возражать! Я богатый старик, я вам еще пригожусь!

Я. К. И.! Приятные воспоминания...

К. И. Ничего, вы их освежите! А ведь совсем недавно был интеллигентным ребенком... (*Это произносится вопреки тексту в крайне ядовитом тоне.*) «Ты так весел, так светла твоя улыбка...»*

Я. А знаете, К. И., я в доску разлюбил его!

К. И. Почему? Ведь любите же вы Киплинга – так чего вам еще? Эта экзотика...

Я. К. И.! Именно. Но Киплинг в ней родился. Ведь вся топография «Маугли» – это же его детство... Покинутый город... Вайнганга... он бегал там мальчишкой... для него это быт и детские воспоминания, а не экзотика; это остается в крови... Уверен, он знал хинди...

К. И. (*хочет что-то сказать, но сдерживается*). А почему вы так думаете?

Я. Как будто вы не знаете – «We've drunk to the Queen». («Мы пьем за Королеву»). «God bless her...» («Господи, благослови ее...») Ну, я забыл нужную строку по-английски, но вот в терпимом переводе:

За говор черных кормилиц,
что был нам с детства знаком и –
раньше – наречия – белых
был нашим родным языком...

Чего же еще? Да и так ясно: он любил Индию... Нет, как бы сказать... сросся с ней... это еще крепче... К. И., простите, мне кажется, вы хотите нечто сказать.

К. И. Да, правильно. Вы знаете, няня говорила ему: «Пойдешь к столу — так обращайся к Ма только по-английски...» Но продолжайте...

Я. Охотно. Он мог сколько угодно ругать индусов — это как раз и указывает, как он к ним прирос... Эти запахи, эти ночные шорохи... помню, к ночи меня так и тянуло — при всем страхе — выбежать на минуту в сад — чернота, глаз выколи, но ведь...

Звери, хвост поджавши, прячутся в лесах,
Вслед тебе несутся вздохи, и листок крошится вялый —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

Повторяю эти удивительные строки по-английски: «It is Fear, o Little Hunter, it is Fear!» («Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!»)

К. И. Кстати, о Fear (страхе) — как у вас с отметками?

Я. Катастрофа, как всегда...

К. И. Не врете. По литературе?

Я. Вот разве что... ну и еще по истории. Но ведь тригонометрия... Ну, вот хоть пистолет приставьте — ничего не понимаю... «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц...»*

К. И. Только в эти минуты, Павлик? Я как раз хотел сказать, не плюнуть ли вам на рисование? Ведь я же вижу — вы так и вспыхиваете, когда...

Я. Что вы хотите? В вашем обществе... кроме того, люблю рисовать автопортреты, все ведь это ненадолго... Ну, авось кривая вывезет... Ночью перед экзаменом обокраду какую-нибудь клумбу и поднесу цветы...

К. И. Вы на это способны?

Я. Очень помогает.

К. И. Откуда вы знаете?

Я. Пробовал.

К. И. И, конечно, со своим невинным видом; может быть, по своему лицемерию даже опустив глаза...

Я. Как когда...

К. И. А кто она?

Я. Милая пожилая дама, К. И.

К. И. Друг мой, я спокоен за вас! Но постойте — вы, кажется, сказали — кривая вывезет?

Я (*неуверенно*). Кажется... а што?

В его присутствии надо говорить: «Бох, Грушницкий, што», и уж совсем недопустимо сказать «пара кусков сахара». Немедленно раздастся отчаянный крик, сквозь который прорвется: «Пара сапог, негодяй!»

Я. Бог простит...

К. И. А я нет! Вон! Вон из моего дома!

Наверно, он был прав. Много позже Татьяна Григорьевна Цявловская говаривала: «Я давно не слыхала такого хорошего русского языка, как у вас, П. Л.!»

К. И. (*смеется моей настороженности*). Нет, на этот раз все в порядке... Просто я вспомнил, Саша Черный как-то накатал...

Я. Он был милый человек?

К. И. Очень, но не перебивайте меня. Итак:

Закрыв глаза и перышком играя,
Впадая в деланный холодно-мутный транс,

(*что он и делает по ходу изложения*),

Седлает линию... Ее ЗОВУТ – КРИВАЯ,
Она вывозит...

Так что вы можете быть совершенно спокойны – вывезет! (*И кое-как заканчивает.*)

...и блюдет баланс...*

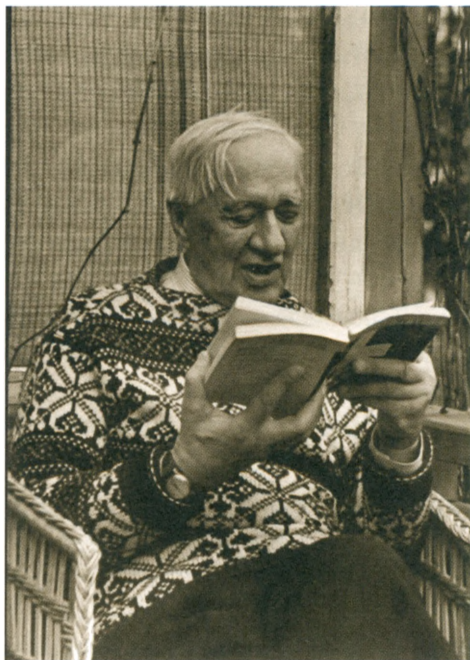
Я. Каково? Прелесть! Уверен, что вы на него не рассердились.

К. И. На Сашу нельзя было сердиться – вы правильно сказали – милый человек... Но вернемся к Гумилеву – так-таки ничего?

Я. Нет, нет, К. И.

Кончено время игры*,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути...

К. И. (*немедленно, как только я начал читать, подхватывая этот ритм и отстукивая его своими прекрасными пальцами*). Что же вы не продолжаете?



К. Чуковский. Фотография В. Веселовского. Переделкино. 1968 год

Я. А дальше, как всегда (*К. И. делано хмурится*), как почти всегда — литературщина, и даже с декадентским оттенком — «область унынья и слез...» — что-то противное... вроде Беклина...

К. И. Возможно. Но не смейте того же говорить о Блоке, я вам это запрещаю! Слышите?

Как я понимаю, это несколько похоже на провокацию.

Я. All in good time*. Да, так вот — «Изысканный бродит жираф»...* Сразу видно, что не его это дело, что-то не припомню, чтобы по страницам Киплинга кто-нибудь изысканно бродил... Все эти жирафы и археоптериксы...

К. И. (*смеясь*). Вы хоть знаете, что это такое?

Я. Зоологией надо интересоваться... Да и потом... у этого, как его... Городецкого, нет, Зенкевича — махайродусы... да, так они для Редьярда — быт... и потому он так запросто говорит их голосами...

К. И. Валяйте пример!

Я. Пожалуйста. «Давай поговорим, — сказал Наг, — ты ешь птиц?»* Или: «Beg pardon sir, may I ask you...»

– «I am a Crocodile, – said the Crocodile. – Come here Little One. Why do you ask me such things?»*

К. И. смеется опять, он растянулся на диване во весь свой бесконечный рост и как-то напоминает...

Я. ...Или вот. Нагайна гонится за женой Дарзи. «Ну, что тебе за польза от меня бежать?» – «I am sure to catch you». – «Little Fool, look at me!»*

Для смака я не выдерживаю и повторяю: «Дура, посмотри на меня!»

К. И. Павлик, вы сделали чудо! Я сейчас буду спать! Но не исчезайте! Возьмите какую-нибудь книгу (хотя зачем вам книга!) и подождите – будем вместе пить чай!

Хватаю том Дружинина и стремглав скатываюсь с лестницы. Внизу Женька:

– Павлик, что дед?

– Спит!

– Вы его уходили – мы слышали, как вы там...

Когда К. И. примерно через час, мажорно выкрикивая стихи о Деларю*, спускается вниз, все настолько похоже на описание Л. К., что и повторять нечего. Скажу лишь, что стихи –

Частью по глупой честности*,

Частью – по простоте... –

услышал от него, когда мне для чего-то понадобилась большая сумма денег и когда он отсчитывал мне множество крупных купюр; особенно хорошо звучало:

Пропадаю в неизвестности,

Пресмыкаюсь в нищете...

ПОД СЕНЬЮ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

К. И. Ну, поговорите по-японски, прошу вас... да, а где вы его откопали?

Я. А помните – конгресс славистов? Вот...

К. И. Конечно, помню. Я еще подумал: Бунин стремительно превращается из карася в щуку... Нет, серьезно — я первый раз видел вас за настоящей работой, даже не без шика... Как вы у них отбирали эти автографы...

Я. А помните, я и у вас взял — в назидание шушере, — он висит у меня на стене.

К. И. И трещина на ужасном английском и в то же время рисуя. (*Неожиданно, я-то ожидаю чего-то вроде «циничный прохвост».*) Молодец, так и надо! Хороший репортер, как говорили мы в Одессе...

Я. Но, К. И.! Живые деньги — поработаешь два дня, и плюй в потолок полгода...

К. И. Правильно! Работать — так уж не спустя рукава... Это по-нашему, по-журналистски!

Я. Кстати, я среди них и состою.....

К. И. Где это?

Я. А в этом самом — в Союзе журналистов...

К. И. Врете?! И туда пролез... (*Всплывает на минуту вечная тема; пригорюнившись, старушечьим голосом.*) «И всюду-то они лезут...»

(*Ну, теперь мне это не в новинку — пятьдесят седьмой год.*)

Я. А житья нет от пархатых... тилигенция... начать за здравие... Знаю, проходили...

К. И. (*доволен, что я не лезу в бутылку*). Ну так как наш самурай?

Я. Наш самурай мне никогда не тесен.

К. И. (*одновременно с профывающимся полусмехом*). «Когда я в нем, всегда цветет весна...»*

Я. Вишня, К. И., вишня... (*срываюсь на японский акцент: он действительно точь-в-точь такой, как у блестящего Свердлина в «Волочаевских днях»*). Ниппонсукий императорский цветок... (*Неожиданный японский смех.*) Хай!

У К. И. вид рыболова, подсекающего налима, он ждет, чтобы я втянулся, и тогда...

...Японское между тем словоизвержение продолжается.

Я. Я осеннуно (*неожиданные акценты на неожиданных словах*) рюбрю... Васу фауну и... фулору (*повторяю*)... фурору...

Я заметил, что японцы отлично умеют произносить «л», видимо, им просто лень... вот как мне (или К. И.) следить за своим английским прононсом. Понимают, и ладно.

К. И. (*тоном берущего интервью репортера*). И вот потому-то вы к нам приехали, не так ли?

Я (*отрывисто-офицерски*). Да. На каникулы – собирать незабудки. (*К. И. наслаждается. Я тоже.*) Каникулы будут пуростираться (*милитаристски задумываюсь*)...

К. И. (*вкрадчиво*). Докуда же?

Я. До Урала. Каникулы будут пуростираться... согуласно пожеланиям... Хо!

К. И. И можно узнать чьим?

Я. Согуласно искуренным пожеланиям рюдей это... доброй (*показываю как можно больше зубов в улыбке*) воли...

К. И. И ваша специальность, если не секрет?

Я. У меня секуретов нет... Исукуренность и суфера совместного пуорцветания... вот все, чего мы хотим...

К. И. (*вкрадчиво, настойчиво*). Да, но вы все-таки еще ничего не сказали о своей специальности?

Я (*нагло*). Ботаник.

К. И. Я благодарю вас за это содержательное и интересное интервью (*и как-то особенно незаметно ввертывает*), полковник...

Я (*как бы не замечая*). Ву-се в свое время... Банзай?..

Мы вылезаем из-за стола и раскланиваемся друг перед другом. При чудовищной разнице в росте это как-то особенно кстати...

Он погружается в свои выписки, я – в книги; душ Шарко принят...

Часа через два, видимо отработав намеченное, К. И. поднимает голову:

– So... and may I ask you, colonel? (Так... можно спросить вас, полковник?)

– I am at your service, general... well? (Я к вашим услугам, генерал... итак?..)

К. И. Да... он, наверно, был действительно очарователен, если произвел на вас такое впечатление... интересно, как вы его купили... впрочем, догадываюсь... наскребли что-нибудь в своей чудовищной памяти на японские темы...

Я. Акутагава Рюноскэ, Басё, Керай, Бусон...

К. И. Боже мой, что это? Вы произносите заклинания... Проклятый бонза совратил вас... Что вы такое говорите?

Я. Имена японских писателей (*грубо; надо же расщитаться за мою «проньрливостъ»*)... надо знать литературу... мой почтенный

наставник не должен пренебрегать моими убогими черепицами, чтобы покрыть ими Золотой Дом Своей Мудрости... *(Киваю головой, как соответствующая игрушка.)*

К. И. *(тоже кивает).* Только не говорите мне, что и это экспромт — не поверю! *(Кивает.)*

Я. Ваш безупречный вкус, естественно, не мог подвести вас и в этом случае — это обращение в одном японском письме... Кстати, насчет вишен — это тоже не я придумал; в письме от него насчет вишен я прочел следующее. *(Читаю с легким акцентом.)* «У нас уже цветут вишни. Большой привет Вашей уважаемой бабушке...»

К. И. Для меня все это как послание с Сириуса... все иначе...

Я. До мелочей. Вот, например, когда он узнал, что я не женат, знаете, как он выразился? «Да, но у вас есть женщина, которая вас понимает?» А? Каково?

К. И. Удивительно!

Я. Чужая культура... Вы представляете, я думаю, как бы этот вопрос мог быть поставлен в ином месте?

К. И. Без особого труда... *(И с профессионализмом лингвиста он тут же воспроизводит нечто соответствующее, обращая внимание лишь на грамматические особенности.)*

Я *(даже с некоторым удивлением).* Вот именно...

К. И. *(оживленно).* Но вам я вот что скажу: ваши лучшие годы — еще в будущем... Когда вы будете катать мемуары. Представляю, сколько наслаждения вы получите, только одно — никто не поверит... Я-то знаю, вы можете говорить правду, но при этом вносите невольно нечто, что, даже если вы скажете «дважды два — четыре», никто не поверит...

Я. Ну и черт с ним!

К. И. Правильно, только так и можно сделать что-то путное... Вы знаете, это у Репина был пункт — не отстать от жизни...

Я. И какими шедеврами мы обязаны этому его свойству... «Отойди от меня, Сатано».

К. И. *(мягко).* Это действительно не лучшая из картин Ильи Ефимовича. Но ведь вы его и вообще не любите...

Я. С чего вы взяли: «Далекое — близкое» — прекрасная, живая книга!*

К. И. *(смеясь).* От этаких похвал... *

Я. Нет, это я так, для шика. Но серьезно — на мой взгляд, «Государственный совет», особенно этюды к нему, — вот вещь!

К. И. (*глядя в сторону, коварно*). А как вы думаете, почему?

Я. А потому, что умничать было некогда... (*Торжественно цитирую.*) «Как много мучений избежали бы наши художники, если бы знали, что великое произведение, как правило, создается быстрее и легче, чем посредственное...»

К. И. Я уж догадываюсь — Рескин. Да. И он таки мучился над своим бедным «Сатаной»...

Я. А неясность концепции, Корней Иванович, простите за выражение...

К. И. Что-то тут есть... Ну, хорошо, а как же Леонардо с его вечными переделками?

Я. А кто сказал, что то, что он похерил, было хуже? Притом вспомните его натуру — экспериментатор...

К. И. Вам попадались варианты Толстого?

Я. Кое-что видел; и, по-моему, несколько не хуже того, на чем он в конце концов остановился.

К. И. (*без всякого негодования по моему адресу*). Но он искал, значит...

Я. К. И.! Это, мне кажется, нечто другое... представьте, что вам предстоит провести время с одной из двух одинаково привлекательных дам (К. И.: «Ну, ну!»), но одна блондинка, другая — брюнетка... Кого вы выберете?

К. И. Шатенку!

Я. Прекрасно! Вот и пишете третий вариант, но ведь при этом вы знаете, что первые две — несколько не хуже, ведь так?

К. И. А позвать всех троих? Это ведь тоже не исключено, или...

Я. Иногда это очень... но в жизни; но, кажется, в искусстве это вряд ли пройдет — разве триптих намазать... А так — нет; пишете новый роман, новую статью... Да вам ли этого не знать! «Искусство потому и искусство, что не натура».

К. И. Ну, а это-то кто?

Я (*веско*). Гёте.

К. И. Кажется, крыть нечем. (*Помолчав.*) Мне нравится, что у вас есть свои взгляды и вы готовы их отстаивать... (*Это как некий приговор, и, кажется, не обвинительный.*)

Я. Только перед вами, К. И. А так — проще согласиться.

К. И. Да, вы правы... О, если бы вовремя создать себе реноме дурака!..

Я. А ничего не выйдет, К. И. Покушение с негодными средствами... да и надоедает...

Поднимаюсь, чтобы попрощаться; он провожает меня до двери: «Спасибо за японца...»

Я. Если бы я не побоялся задержать вас еще на минуту...

К. И. Ничего, не бойтесь!

Я. Цитата, заставившая его проникнуться ко мне, была уж и в самом деле сугубая... Хотите?

К. И. Вы меня губите — валяйте!

Я. Средневековый эпос. Вендетта. Когда мститель заносит над головой виновного свой тесак, тот неожиданно оборачивается — о ужас, это друг детства. Но долг, вы понимаете, прежде всего, а потому «плача и плача, я отрубил ему (*с легким акцентом*) голову...».

ТОЧКИ ОТСЧЕТА

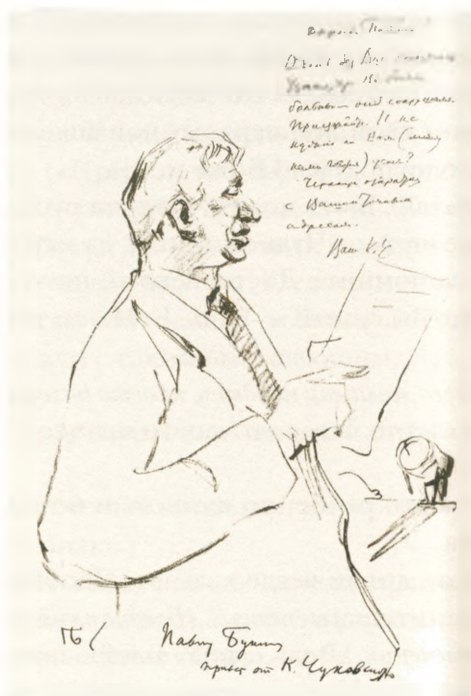
Шестидесятые годы. Сидим молча; он работает, я читаю его раннюю книгу о Блоке. Тут же новое ее издание — «исправленное и дополненное», на мой взгляд, им и подпорченное. Мне кажется, он и сам это чувствует... Вдруг, обращая ко мне, совершенно точно выражает мою мысль:

— Вам не нравится...

При его удивительном богатстве модуляций это одновременно и вопрос и утверждение.

...Неужели это правда? Читаю: «Случалось не раз с сокрушением видеть, как отчаянно он топил свое горе в ВИНЕ... НЕТВЕРДОЙ ПОХОДКОЙ... С ОКОСТЕНЕВШИМ ЛИЦОМ...» Как это? Ведь еще далеко не старый человек... сорока нет... Ведь я понимаю — это правда... но, черт возьми! Ведь у него мать, он ее любит, какая-нибудь балда, наконец, если не жена... Что это? И невольно у меня вырывается: «Какая мерзость!..»

К. И. (*задумывается*). Да... тут многое можно сказать... (*С печальной лаской*.) Я понимаю... вы тут же примерились, да, может



К. Чуковский читает перед микрофоном. Эскиз работы П. Бунина.
В верхнем правом углу записка К. И. к Бунину

быть, и бессознательно, но, конечно, примерились, подумали об Ольге Николаевне...

Это совершенная правда — я именно об этом и подумал, вернее, проремелькнуло.

Я. К. И.! Но это для меня действительно непонятно. Долг — большое слово, но хоть обязанность; хоть признательность-то к близким — ведь они только им и дышали... Ну как же это... Предстать перед матерью с «окостневшей рожей»...

К. И. (печально). Свою азиатской рожей* — вы не представляете себе — как он был красив...

Я. Но ведь и это бредятина... Россия не Азия. Пушкин — не азиатский талант... Ничего не понимаю... Чего моя левая нога хочет...

К. И. (тихо напоминает). «И пса голодного от двери...»*

Я (раздраженно). Мне действительно даже на долю секунды страшно подумать, что меня могут пьяным приволочь к О. Н. Тем

более трупом. К ней, к одинокой, такой могучей и такой слабой... Или я не понимаю, что ее мощь, ее опора мне — это другая сторона медали ее опоры на меня? И тот же Мишель — «Дорогая бабинька!». И подставляет свой лоб первому попавшемуся остолопу? Да что же он о ней-то не подумал! Боже мой!»

К. И. (*размышляя*). Быть может, широта русской природы... (*Печально.*) Нет... я не шучу... «Чудь начудила, да меря намерила...»*

Я. Но ведь вы помните Достоевского, на эту же тему — «широк человек... надо бы сузить...» Ведь, К. И., он тоже не китаец, кажется!

К. И. (*без всякого желания поддеть, просто раздумывая*). Вы еврей, вам это, наверно, легче. У вас это как-то иначе...

Я. Да. Иначе.

Он сегодня как-то особенно одинок, и потому я немедленно слезаю с котурнов.

Я. Да, Господи, дряни везде хватает. Обобщение — вам ли не знать? — такая сомнительная вещь... (*Бледно улынувшись, вспоминая свои английские увлечения.*) Ведь еще У. Блейк сказал: «Обобщать — значит быть идиотом». Нет! Я только хочу сказать, для меня это невозможно и непонятно.

К. И. (*заглянув мне в глаза*). Да? Ваше счастье.

ТЕКУЩЕЕ (1)

К. И., согнувшись над столом, вгрызается в бумаги, вдруг что-то записывает, потом тем же карандашом чешет лоб, косо поглядывает на меня невидящим взглядом. Я растянулся на ковре среди целой баррикады из книг. Это мое наслаждение — читаю сколько хочу, что хочу и откуда хочу, иногда особенно увлекательно читать с конца...

К. И. (*вдруг*). Скажите, Павлик, вам действительно приятно это бессистемное безобразие?.. Ведь (*тут он не без одобрения смеется*) вы ведете себя как заправский пьяница...

Я. Вот вы в обществе нескольких интересных людей — неужели вы будете говорить только с одним?.. Ведь это было бы даже невежливо?..

К. И. Нет, вы все-таки (*отпускает комплимент, который я, естественно, очень хорошо помню, но не приведу*)... хорошо... но вот вы читаете справа налево, ведь, сколько я понимаю, вы еще не...

Я. Что за беда... Всякий уважающий себя — ну, вы помните — «Devoted Friend» («Преданный друг») — рассказчик начинает с конца и — как там? — завершает серединой... Кто потом будет меня пилить за срыв работы? Не уползти ли мне на террасу?

К. И. Как это на вас похоже! Отвлек меня от трудов праведных своей проклятой болтовней — и бежать? Ну нет! Рассказывайте, что вы там читали с таким вызывающим сладострастием?

Я рассказываю.

К. И. Итак, эта достаточно занудная статья может вызвать у вас...

Я. Ну да! Интересные ситуации, интересные люди... да и эпоху эту я несколько знаю...

К. И. Кокет! Вы знаете ее как свои пять пальцев!

Я. Нет, по счастью... ведь знание пальцев и их возможностей все-таки достаточно ограничено... хотя...

К. И. (*хохочет*). Мне нравится этот ваш подход... он какой-то гастрономический...

Я. Ваш ученик... если есть хоть малейший живой интерес... ну, возьмите хоть Дюма — ведь дикая дребедень, но что-то пробуждает... Ришелье... Кромвель... Эшафот... Да мало ли что... Потом, разве хоть кому-нибудь плохо, что я принимаю этот гашиш?

К. И. А зачем?

Я. А ни за чем — просто интересно, и хочется узнать про них еще...

К. И. (*очень серьезно*). Вы правы — гашиш... (*И углубляясь опять в свои гранки.*) Я не думал, что вы это понимаете...

Насчет телефона. Приношу ему куклу (баба в сарафане, из тех, что надевают на чайник).

Я. К. И., глядите! (*Нахлобучиваю ее на телефон.*) Шабаш негодяю!

Баба, сколько помню, долго служила верой и правдой. В другой раз я приволок ему титанического размера булыжник (нес его в портфеле и не мог отказать себе в скверном удовольствии ронять его время от времени — в метро, например...)

К. И. Но как вы его доволокли? И зачем? (*Пробует на вес.*) Нет... это бессмысленно...

Я. Не нахожу... Носите его за пазухой... для того и доставлен... Он потом всем рассказывал это... Был очень доволен...

ТЕКУЩЕЕ (2)

К. И. Работать надо!

Я. Успеется. (*Листаю книгу.*)

К. И. (*смеясь и негодуя*). Вы знаете, как работал Репин? Все время!

Я. И вы, конечно, помните результаты этого постоянства, не правда ли? Кто мне жаловался на то, что он замучил его портрет?

К. И. Предатель! Это было стремление к совершенству, вот это что было! Он — не — мог — не — рабо — тать!

Я. А вот Леонардо мог... Тоже ведь, кажется, не последний из художников... Опять-таки, Гёте...

К. И. (*как бы неуверенно*). Сейчас скажет какую-нибудь гадость... (*В предвкушении замолкает, склонив голову несколько набок и глядя по-куриному одним глазом сбоку.*)

Я. Как раз наоборот.

Вы мне разрезали живот, и вот
в моей душе переворот...*

К. И. (*доволен — это шансонетка-эпиграф одной из его ранних статей*)*. Не уходите в кусты!

Я. Нет, зачем же... Так Гете... он годами занимался чем угодно, только не тем, что по недосмотру окружающих считалось его прямым назначением... Минералогия, френология, гравюры... и ничего...

К. И. (*то ли норовя меня обуздать, то ли провоцируя*). Долг художника...

Я. Прежде всего человека... Назначение человека — быть человеком... И его первый долг — сделать собственную жизнь как можно шире, интересней и человечней... Как — это дело десятое...

К. И. (*не без печального поощрения*). Как я понимаю, у вас за этим дело не станет... Но, Бунин, берегитесь...

Я. Ничего, ничего... Mit Gottes Hilf...*



Корней Чуковский. 1960-е годы. Публикуется впервые

Ник. Корн. Все в порядке, папа... Надо смотреть вперед (*делает указующий жест назад*), а не назад (*указующий жест вперед*). Надо смотреть вверх (*жест вниз*), а не вниз (*жест вверх*)... Ты знаешь, папа, в том, что говорит Павлик, что-то есть...

К. И. Коленька, ты при нем-то хоть этого не говори!

Я. Николай Корнеич, спасибо! Опять же Пушкин: «И среди детей ничтожных мира...»*

К. И. (*прокурорским жестом указывает на меня*). «БЫТЬ МОЖЕТ, ВСЕХ НИЧТОЖНЕЙ – ОН!» Коля, заberi его... он подрывает устои!

Я. Чьи это?

К. И. Мои! Пре-кра-тить!

THE FRIEND IN NEED*

К. И. Что с вами, Павлик, на вас лица нет (*серьезно*). Что-то случилось?

Я. Маменька... умерла...

К. И. Да, да... (*Выдвигает ящик стола, достает деньги, что-то тысяч восемь-девять*). Этого хватит... пока?

Я. К. И., через несколько дней... я...

К. И. Перестаньте... бегите скорее к Ольге Николаевне... я уж не спрашиваю – как она?

Я. Она... моя Нерушимая стена... но... Ах, что говорить!

К. И. Идите. Не оставляйте ее одну. Если что понадобится, звоните, приходите...

«НЕ ТОТ ФОРМАТ»

Оставшись вдвойне один (и без О. Н., и без Корнея Ивановича), встречаю как-то Катаева...

Он. Ну, нет больше вашего шефа...

Я молчу.

Он (*вполне дружески и без подвоха*). Хотите – я буду вашим шефом?

Видимо, я не уследил, и на моей физиономии нечто прорезалось... Собеседник машет рукой и молча уходит...

«Формат не тот», — говорила одна моя знакомая дама по совершенно другому поводу...

А ведь меж тем Катаев — писатель (иногда даже не без некоторого шика, К. И. говорил: «Бандитский шик»). А К. И. все-таки нечто иное. Не тот формат.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

Почему я не звал его на свои выставки? Не знаю.

Нет, знаю, но не скажу.

К. И. просматривает принесенную мной прессу — статьи о моих работах...

— И вы придаете значение всей этой ерунде?

— Как и вы: не меньше и не больше. (*Указываю на полку*). Вот в той папке — ваши первые, еще одесские скальпы, не так ли?

Сидящий тут же Нилин одобрительно мычит:

— Но это же понятно, К. И. Ясно, что у него всюду сидят свои люди...

К. И. (*неодобрительно брюзжит*). Кто бы мог подумать... да... вот как...

Я. К. И.! Нельзя же строить жизнь на займах, хотя бы и с отдачей. Тем более — вы ведь знаете... как они иногда ненадежны.

Смотрю ему в глаза. Нам обоим нетрудно вспомнить некий вполне жуткий эпизод... Нилин недоумевает — о чем речь?

Я. Да о цитате из Шевченко... «Не надейтесь на князей земных»*.

Нилин (*успокоенно погружаясь в журнал*). А...

К. И. (*помолчав*). Вы правы, Павлик... да... та самая цитата... У него лицо светлеет, и, хочу надеяться, у меня тоже...

К. И. (*глядя в окно*). Чего ТАМ! Так и надо — правильно, Бунин!.. (*И нормальным голосом.*) Позовите, пожалуйста, Кларочку...

А эпизод был тот, что, когда по независящим от меня обстоятельствам наступил действительно крайний момент и для моих

близких, и для меня, тот самый человек, который выручал меня столько раз... (У него была одна очень странная черта; если я приходил к нему, с тем чтобы одолжить, положим, 2418 руб. 18 коп., то, как правило, не успевал я еще и рта открыть, как слышу: «Бунин, мне что-то кажется, что на известный срок вам не помешает 2418 руб. 18 коп. — прошу вас...») Но то, как он оставил меня ни с чем, как я с этим справился, как решил, что не увижу его больше, и как он... но это уже другая история.

У него была постоянная готовность живого и жадного восприятию жизни и юмор, с которым он, кажется, не всегда трудился справляться.

После одной его лекции перед несколько специфической аудиторией, в ответ на действительно дурацкий вопрос, он проронил:

— Это они выпустили самого умного...

Эти его насмешки, я уверен, происходили чаще всего не от желания съязвить, а от острого чувства комизма ситуации, и когда он тренировал и изощрял свою наблюдательность на мне (а благодаря долгому с ним общению — с 1944 года — я научился смотреть на себя со стороны, что вовсе не способствует самолюбованию; думаю даже, что это самое серьезное, что он мне дал), реакцией с моей стороны было восхищение перед его умением видеть и часто неудержимый смех.

Я только старался по возможности не отставать, разумеется не выходя из рамок почтительности (это было тем легче, что будучи воспитан своей бабушкой, также вполне незаурядным человеком, я привык с любовью и вниманием относиться к людям намного старше меня), и отвечать в том же ключе.

Он, кроме прочего, был и мужественный человек. Вот это слово само и написалось, и, наверно, это и есть самое лучшее — он был человек. Яркий, талантливый. И среди его талантов был и очень редкий — в моих глазах едва ли не важнейший — талант жизни. Он настолько связан для меня с живой жизнью, что, зная о происшедшем и отнюдь не впадая в мистику, я говорю: *ни минуты бы не удивился*, услышав его голос, увидя его лицо, пожимая его большую руку.

1972–1997

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПАСТЕРНАКА

23.X.58 г. Сегодняшний день я должна описать для истории. Утром приехала Клара и сказала, что Борису Леонидовичу дали Нобелевскую премию. Я почувствовала такую радость, что кинулась ее обнимать и целовать. Он на хорошем взлете насыпал им соли на хвост. Клара рассказала, что в Союзе замешательство, все начальство разбежалось, несчастной секретарше звонят из Нью-Йорка и говорят, что хотят говорить с Пастернаком, а он на даче, и там нет телефона.

Я говорю: «Дед, давай пошлем Борису Леонидовичу поздравительную телеграмму». Он: «Зачем, мы лучше сами пойдем и поздравим его».

В час идем. У ворот две иностранные машины. Я предлагаю Деду вернуться, так как не люблю незнакомого общества, и к самому-то Пастернаку насилу заставила себя идти, а тут еще гости.

— Как я ненавижу в тебе эту боязнь людей! Идем.

Входим. К нам навстречу поднимается Пастернак, веселый, победоносный. Целует Деда и меня. Мы что-то бормочем. Кругом вспышки магния. В комнате находятся Зинаида Николаевна, знакомая мне дама, трое мужчин, которых Пастернак представляет нам как корреспондентов «Пари матч», нью-йоркской газеты и МИДа.

Пастернак увлекает нас в маленькую комнатку, где очень возбужденно рассказывает, что ни один из наших писателей, кроме Ивановых, не поздравил его и не был у него, а что вчера приходил Федин и сказал, что он даже не может поздравить Бориса Леонидовича, так как по поручению властей пришел предложить ему отказаться от премии. Пастернак отказался отказаться.



Борис Пастернак и Корней Чуковский на совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ. Фотография Б. Игнатовича. Январь 1936 года

Входим в гостиную. Корреспонденты беспрерывно снимают Деда с Пастернаком, как потом выясняется — для кино. Разговор странный. Вчера целый день у них были гости — французы, итальянцы, англичане. Зинаида Николаевна вдруг начинает говорить что-то конфиденциально Деду по-русски, махнув рукой на корреспондентов, — мол, они ничего не понимают, хотя они прекрасно говорят по-русски. Больше всего ее занимает вопрос, пустят ли ее в Швецию, и она много раз к нему обращается: «Корней Иванович, как вы думаете — меня-то пустят? Ведь должны пригласить с женой».

Пастернак показывает пачку телеграмм — все из-за границы. Из Советского Союза — ни единой. З. Н. несколько раз повторяет, что Нобелевская премия — это не за «Живаго» и не имеет политической окраски, так как ее хотели дать тогда, когда «Живаго» еще не был написан.*

Минут через пятнадцать, когда все уже ослеплены вспышками магния, корреспонденты благодарят и уходят. Мы сидим еще ми-



Дача Пастернака в день объявления о присуждении ему Нобелевской премии.
Слева направо: Е. Ц. Чуковская, К. И. Чуковский, Б. Л. Пастернак, Э. Н. Пастернак

нут пятнадцать, пока Пастернак наверху пишет благодарность в Швецию и затем выходит опять.

— Зина, я когда говорю что-нибудь, то говорю метафизически, а ты так прямо и брякаешь, так нельзя.

Оказывается, еще до нас корреспонденты спросили его, есть ли у него приветствие от советского правительства, и он сказал, что вся корреспонденция идет на московскую квартиру и он еще не знает, а жена прямо ляпнула — ну конечно, нет, думаете, они нас поздравят?!

Идем гулять. Борис Леонидович выходит с нами. Он говорит что-то об облаках, о том, что для него роман — это не политика, не выпады, а что-то совсем другое. Не хочет брать Зинаиду Николаевну с собой в Швецию. Расстаемся на углу...

Брожу по аллее, как вдруг меня догоняет Дед. Он идет к Федину и просит зайти за ним минут через десять. Я отказываюсь. Все это происходит часов в пять вечера. Долго болтаюсь на улице, делать ничего не могу. Все время думаю, что будет дальше, и произношу в уме разные речи.

Шесть часов, семь, восемь, девять. Деда нет. Так как еще ни разу за последние годы не было случая, чтобы он лег спать позже девяти часов и пришел домой позже восьми, то у нас дома страшное волнение. Катя звонит в разные места, разыскивая Деда, мы с Сашей идем к Федину. Там все заперто со всех сторон, и Деда, по-видимому, нет.

Приходим домой в смятении. Наконец около десяти он приходит, страшно возбужденный, и сразу начинает рассказывать. Он зашел к Федину и стал его уговаривать: «Ведь у вас же есть литературное имя, не пятняйте его, ставя свою подпись под таким документом» (Федин сообщил ему, что завтра Пастернака в 12 часов дня будут исключать из Союза писателей за нарушение Устава и опубликование своих произведений за рубежом). Федин сказал, что уже ничего нельзя сделать. Дед предлагал ему завтра с утра ехать вместе к Фурцевой, но тот отказался.

Оказывается, против Пастернака уже страшное негодование, так как Поликарпов приезжал к Федину, и когда Федин пошел к Пастернаку, то в это время Поликарпов ждал у него на даче ответа и самого Бориса Леонидовича, а тот либо не понял, либо не пожелал понять, но, в общем, не пришел разговаривать. Это переполнило чашу терпения.

Узнав все это, Дед пошел опять к Борису Леонидовичу и предложил ему написать объяснительное письмо Фурцевой и изложил его примерный план. Пастернак взошел наверх и написал нечто обратное тому, что предлагал ему Дед: что «нельзя рубить топором. Смирение». Как сказал Дед — гениально, но совершенно противоположно тому, что нужно. Дед сказал, что этого отправлять нельзя, и ушел*.

Да, кроме того, за это время приходил Кома и сказал, что премия дана за «Живаго» и за продолжение традиций русских классиков.

Я доказывала, что если бы вместо истерических и подстрекательских статей издали бы своевременно книжку стихов Пастернака, то было бы гораздо больше пользы для России.

26. X. В «Правде» продажная статья Заславского, от которой просто воняет*. Говорят, что в городе демонстрации перед Союзом писателей: «Долой Иуду Пастернака». Люди, которые, как я уверена, не читали его ни строчки и, во всяком случае, того романа, против которого они, вернее, их настроили. Мне омерзителен сам метод. Это и есть фашизм. Хлебников: «Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти»*.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей — сдавать с грехом пополам сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы, — я выполнял еще обязанности «эмиссара» своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой. В каждую свою поездку в Москву я получал от нее «спецзадание». То отвезти В. Бонч-Бруевичу — редактору сборников «Звенья» — ее мемуары (несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через тридцать лет*), то зайти к Н. К. Крупской, с которой она работала в свое время в Наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости (об этом визите есть несколько строк в «Минувшем», где я называюсь «мой племянник»), то посетить вдову В. П. Ногина или разыскать в Москве дореволюционного теткинго друга С. В. Андропова, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольск, и так далее.

Году в тридцатом или тридцать первом получил я очередное задание — повидать Корнея Ивановича Чуковского и передать ему письмо.

Открывшая мне дверь немолодая женщина спросила, как передать — кто пришел. Я сказал:

— Доложите, что пришел Некрасов.

Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый, молодой хохот:

— Неправда, неправда... Некрасов давно умер. Это я знаю точно. — И опять хохот. — А ну-ка, введите этого самозванца.

Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на карикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любят у нас теперь говорить, — озорные, глаза.

— Ну, так что вас ко мне привело, юный мистификатор?

Я передал письмо.

Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал:

— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам... — и отложил письмо в сторону.

Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и язвительный характер. Не сомневаюсь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то его просила, было несколько шпилек по его адресу.

Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами.

— Ну а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?

— Архитектурой...

— О-ля-ля... Архитектор, значит?

— В недалеком будущем.

— А где же птичница?

Я не понял:

— Какая птичница?

Корней Иванович в свою очередь удивился:

— Как «какая»? — и продекламировал своим неожиданно высоким голосом — теперь он благодаря радио и записям всем знаком:

Раз архитектор с птичницей спознался,

И что ж? — в их детище смешались две натуры:

Сын архитектора — он строить покушался,

Потомок птичницы — он строил только «куры».

Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Пруткову, тогда же спросить постеснялся и, в общем-то, не понял, остроумно это или нет.

На этом наша беседа кончилась. Чуковский сказал, что непременно ответит, но по почте, велел передать привет, и я раскланялся.

Ощущение было странное. «Хохмач» какой-то... Слова этого, правда, тогда не существовало, но было какое-то другое, не помню уж какое, означавшее приблизительно то же самое.

Прошли годы... Десять, двадцать, тридцать. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-Цокотухи», но познакомиться с ним самим все не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые, остроумные письма и очень мило поздравил ее с «Минувшим». Не могу не похвастаться его отзывом:

«Дорогая одноклассница, София Николаевна! Здорово! В Москве только и разговора что о Вашем “Минувшем”. Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как вы целовались в кустах с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати (да еще в какой!), в “Новом мире”, все это зазвучало по-новому молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить Вас с их напечатанием.

25 янв. 1964.

Ваш К. Чуковский.

Жаль, что не напечатали о Сергееве-Ценском. Картинная фигура».

Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами, но бурно негодовала по поводу поцелуев в кустах с Альбиным (С. В. Андроповым):

— Никогда, никогда этого не было! Откуда это он взял? И еще писать мне об этом...

Я понял, что это очередная «шпилька» Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь ее.

Потом уже, при встрече, он говорил мне, что вместе с Софьей Николаевной ушел какой-то оказавшийся очень существенным кусок его жизни (кстати, виделись они только раз, и то мельком, на Первом съезде писателей), что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко, весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться.

Я спросил его, между прочим, о столь возмущившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он, хитро взглянув на меня, сказал:

— Неужели я такое написал? Ай-ай-ай... Нехорошо.

Я окончательно понял, что это был обмен «шпильками».

Встреча, о которой я говорю, произошла почти через сорок лет после первой. Было это летом 1969 года, в Переделкине.

Мы с приятельницей зашли к нему на дачу. Он сидел на веранде второго этажа в уютном, завешанном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и сорок лет назад, завален был книгами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги («Ничего, подождут») и тут же очень оживленно и молодо стал о чем-то рассказывать.

Я говорю «о чем-то», не уточняя. Не потому, что не хочу об этом рассказывать, а потому, что в эти полтора-два часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом как человека пусть знаменитого (лауреата и доктора Оксфордского университета*), но в общем-то как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покори́л.

Есть разряд этаких молодящихся старичков. Они и на лыжах в ярких цветных свитерах, и на пляже, подтягивая животы, и с рюкзаком, отставая от всех, куда-нибудь на Валдай, и шарады ставят где-нибудь в Коктебеле, и «я не пропускаю ни одного концерта», «вы не были вчера на Огдоне, побойтесь Бога» ну и т. д. Среди писателей эта категория лиц окружает себя юными талантами, подающими надежды поэтами и прозаиками, пропускает с ними по стаканчику доброго, старого бургундского и больше всего мечтает, чтобы говорили о них: «Посмотрите, шестьдесят (семьдесят, семьдесят пять...) лет, а как молод душой. Все его интересу́ет, все читает, на всех литературных вечерах бывает, даже выступает...»

Чуковскому, когда я с ним встретился, было восемьдесят семь лет. На лыжах, по-моему, он не ходил, на пляже не загорал, насчет вина не знаю как, он просто сидел на диванчике в своем закутке и говорил. И говорил со мной молодой человек, не молодящийся, а именно молодой. Он тоже всем интересовался, и все читал, и рассказывал интересное, не злоупотребляя воспоминаниями («Как сейчас помню, мы сидели с NN»), и все это было не фальшивым, поддельвающимся, а настоящим. Настоящим и веселым. По-настоящему веселым. Ему весело было показывать собственные книги, вышедшие Бог знает на скольких языках мира, так же как какого-нибудь надувного крокодила, или Бармалея, или Айбо-

лита, присланного то ли из Японии, то ли с Цейлона, или пускать по комнате гудящий, свистящий, пускающий дым игрушечный паровоз. И мне было в это время так же весело и интересно (может быть, потому, что я тоже люблю заводные паровозики), как когда я слушал его рассказы о проделках Куприна или последней поездке в Англию*.

Теперь модно жаловаться на склероз. Все все забывают — «простите, склероз». Нет, Чуковский пожаловаться на это никак не мог. Он все помнил — и прошлое, далекое и близкое, и сегодняшнее, вчерашнее. И с юношеским увлечением, с юмором (в какой раз убеждался я, как нужен, необходим он, особенно тому, кто прожил столько лет и навидался всякого) рассказывал о людях, книгах, событиях, забавных и незабавных встречах. Он жестикулировал, размахивал длинными, опять-таки «карикатурными» руками, и глаза его, о чем бы он ни рассказывал, все улыбались, смеялись.

Мы вспомнили (вернее, я вспомнил, а он сделал вид, что тоже) мой первый визит к нему. И вот тут-то он заговорил о тете Соне.

— Да, — сказал он, и на секунду исчезла улыбка из его глаз, — уходят зубры, уходят зубрихи... Кстати, есть такое слово — зубриха? А ну, спросим Даля.

Даль ответил, что есть. «Зубр — вид дикого быка с лохматой шеей. Зубриха — корова этого же вида. Зубря — зубриный теленок».

И вдруг, не отрываясь от словаря, расхохотался.

— А как вы думаете, что такое «зуб»? Ну, быстро отвечайте. Не знаете. А я вот теперь знаю. «Зуб — косточка, вырастающая из ячейки челюсти для укуса и размола пищи». Прелестно... Кстати, не пойти ли нам чего-нибудь укусить и перемолоть? Как вы на это смотрите?

Увы, мы торопились к поезду. Прощаясь, тряся его большую, с длинными пальцами руку, я предвкушал радость последующих встреч. Но им не суждено было осуществиться. Через месяц случилось невероятное, неожиданное, потрясшее всех давно и недавно знавших его, — он умер. В голове это не укладывалось. Не верилось. При чем тут возраст, восемьдесят семь лет, вероятные болезни — нет, казалось нам, он всех нас переживет...

На память от него осталось у меня только коротенькое письмецо, написанное после появления в «Новом мире» моего рассказа

зала «Дедушка и внучек», в котором упоминается моя тетка и рассказывается о некой глупой ленинградке Нинели, которая из псевдопатриотических побуждений несла всякую околесицу.

Письмо так и начинается:

«Да здравствует Софья Николаевна, воскрешенная Вами, и да сгинет гнусная Нинель!» Далее несколько теплых строчек по поводу самого рассказа и последний абзац:

«Эту бумагу я берег для новогодних приветов, но пусть она приветствует Вас в ноябре».

Приветственный этот листок бумаги, желтоватый, плотный, с изящной виньеткой сверху, спровоцировал меня на ответный не менее красивый листок и даже конверт, если я не ошибаюсь, взятый в брюссельском отеле.

Вот так — всего две встречи с разрывом в сорок лет и одно письмо, но в дружбу нашу, чуть-чуть наметившуюся только пунктиром, я верю до сих пор, что она закрепилась бы, наверно. Бог ты мой, почему я раньше не приехал к нему в Переделкино? И вообще почему я не ездил в Переделкино? Ведь там не только отдыхающие и творящие в Доме творчества писатели, с которыми можно встретиться в Москве, не только летняя резиденция Патриарха всея Руси, с которым, правда, нигде не встретишься, — там жили и работали, по-разному, каждый по-своему, Чуковский и Борис Пастернак. С Пастернаком меня судьба не свела, с Чуковским свела, но почему так поздно?

ЮРИЙ КОВАЛЬ

СЛУШАЙ, ДЕРЕВО

Корней Иванович был в огромных валенках. Я таких никогда не видывал. Валенки, наверно, валяли на заказ, специально для него.

— У вас, Корней Иванович, валенки сотого размера, — сказал я. — Я таких никогда не видывал.

— Восемьдесят четвертого, — сказал Чуковский. — Мне сейчас как раз восемьдесят четыре года, а я на валенки в год по размеру набавляю.

Была зима 1966 года. Корней Иванович шагал впереди меня по узкой тропинке, пробитой в глубоком снегу. Я семенил за ним. Вдвоем на тропинке уместиться мы никак не могли.

— Прочитайте же свои стихи, — сказал Корней Иванович, не оборачиваясь.

Положение для чтения стихов было не самым выгодным, даже незавидным. Но другого случая почитать Чуковскому свои стихи могло и не представиться, и я начал:

Жили-были лилипуты,
Лилипуты-чудаки!

— Что-что? — оборотился Чуковский.

— Лилипуты!

— Ага, лилипуты. Ну и что они делали?

— Жили.

— Хорошо, — сказал Корней Иванович, шагая вперед. — Давайте дальше. И погромче.

Ели, пили лилипуты,
Примеряли пиджаки, —

продолжал я, стараясь угнаться за Чуковским, —

Лили, лили лилипуты,
Лили, лили лимонад!

— Лимонад? А вы знаете, какой хороший лимонад пил я в Тбилиси?

Чтение стихов несколько прервалось. Я слушал про тбилисский лимонад, по-прежнему семеня за Корней Ивановичем. Наконец он сказал:

— Продолжайте.

— Может, начать сначала?

— Зачем же. Я все помню. Жили лилипуты, пили лимонад.

— Все-таки начну сначала, чтоб ритм не прерывался.

— Ну, пожалуйста, — сказал Чуковский. По узкой снежной тропинке Корней Иванович уходил от меня, и я, догоняя, кричал ему в спину:

Жили-были лилипуты.

Почему-то меня это смешило, что я читаю в спину огромному Чуковскому, и я орал весело. Но дальше лимонада все-таки не двинулся — Чуковский вдруг остановился. Перед нами стоял на тропе человек. Это был изумительный писатель Борис Владимирович Заходер. Он поклонился Чуковскому. Корней Иванович поклонился в ответ. Они разговорились. Я стоял за спиной Чуковского, не зная, что делать с лилипутами.

— А вот смотрите-ка, — сказал Корней Иванович, оборачиваясь ко мне. — Вот — юный поэт. Он про лилипутов написал.

— Знаю, знаю, — сказал Борис Владимирович. — Добрый день, читал, читал.

К чести Бориса Владимировича надо сказать, что в те времена он не читал ни одной моей строчки. Не печатали.

Прогулка обрастала людьми.

Вышли с тропы на широкую расчищенную дорогу. Здесь оказалось несколько бородатых литераторов с палками в руках. Сре-



К. Чуковский с говорящим игрушечным львом.
Фотография Н. Носова. Переделкино. Февраль 1966 года

ди них самым бородатым и, так сказать, самым палкастым был Лев Зиновьевич Копелев. Копелев приветственно замахал палкой, Корней Иванович махнул своей палкой в ответ.

Скоро уже небольшая толпа ходила вокруг Корней Ивановича, а сам Корней Иванович двигался то к своему дому, то к дому творчества писателей. Я шел чуть сбоку, чуть сзади. Лилипуты откипели во мне.

— Ташкент! — громко рассказывал Корней Иванович. — Там в баню рвались, как на концерт Шаляпина. Вставали в очередь за семь часов до открытия...

— Корней Иванович, — прервал его кто-то, — сегодня мороз. А ведь врачи вам запретили много говорить на морозе.

— Ну и что? — сказал Чуковский. — Я не вижу здесь врачей.

— Но все-таки... надо побережься!

— Да ведь и рассказать кому-нибудь надо! Ну вас, лучше я дереву расскажу.

Он остановился и, слегка поклонившись заваленной снегом сосне, густо сказал:

— Слушай, Дерево!

Сосна дрогнула. С веток ее посыпался сухой снег.

Литераторы с палками отсеялись, разошлись, отпрощались.

Мы с Корней Ивановичем остановились у крыльца его дома.

Здесь, на деревянных столбах, выросли пуховые шапки снега.

— Вот смотрите, — сказал он и поднял палку.

Мне показалось, что он сейчас ударит по снежной шапке, но он неожиданно ловко ткнул палкою в шапку.

— Это глаз, — сказал он. — А вот и второй. — И ткнул второй раз. — А уж это рот, нос, ухо.

Корней Иванович рисовал палкою и одновременно палкою же лепил из снега неведомую рожу. Все это напоминало детскую работу в стиле «точка, точка, огуречик...», пока Корней Иванович не сказал:

— Это ваш портрет.

— Как то есть мой?

— А так — вылитый вы! Ну ладно, не хотите — не надо. Вот сейчас усечем немножко этот снежный череп и добавим лукавства. Лакированная черная палка легко рассекала ком, и откуда-то действительно явились лукавство в снежной роже и сказочность.

Мы вернулись в дом.

В прихожей Корней Иванович снял пальто, шапку-пирожок, вернее целый островерхий каракулевый пирог, уселся в кресло и, кряхтя, попытался снять валенки. Валенки не снимались. Корней Иванович и так и сяк подцеплял носком пятку, но носок с пятки соскальзывал.

— Позвольте помогу.

— Не выйдет. Тут сноровка нужна. Есть у вас сноровка?

— Сноровки нету. Но позвольте попробовать.

— Извольте, пожалуйста, пробуйте.

Я схватился за валенок, дернул и чуть не свалил Чуковского на пол.

— Нет сноровки, — поморщился Корней Иванович. — Да вы полегче.

Чтобы половчей ухватить валенок, мне пришлось встать на колено.

— Вам не противно? — спросил Корней Иванович.

— Что такое?

— Да ведь вы стоите передо мной на коленях.

— На одном, — уточнил я. — И не перед вами, а перед валенками. Валенки слезали туго.

— Спасибо, — сказал наконец Чуковский. — А все-таки не каждый может похвастаться, что валенки с Чуковского снимал.

В доме Корней Ивановича всюду на стенах висели рисунки и картины знаменитых и замечательных художников. И я рассматривал их, иногда угадывал автора, иногда — нет. Заприметил я и лубочную картину на тему стихотворения Н. А. Некрасова «Что ты жадно глядишь на дорогу...».

— Откуда у вас лубок, Корней Иванович?

— Это — Всеволод Иванов. Добрейший был человек. Он и подарил мне лубок. Он принадлежал к числу усердных коллекционеров и оставил бы после себя замечательную коллекцию, если бы не раздаривал все друзьям. Он всегда говорил мне: «Заходите почаще. За каждый ваш визит я подарю либо книжку, либо картину». И я стал ходить к нему ежедневно. — Корней Иванович засмеялся.

Я уже понял, что Корней Иванович любит подсмеиваться и над собой, и над окружающими, и поэтому очень его стеснялся, разговаривал с ним невпопад.

— Извините, — сказал я. — Вы странно смеетесь — и зло, и добродушно.

Корней Иванович нахмурился. Оглядел меня, сомневаясь, что перед ним такой уж великий знаток разных видов смеха. Потом улыбнулся:

— Говорят, что у меня резкий ум критика и доброе сердце сказочника. Понимаете?

Я не знал, понимаю ли я, но кивнул, что понимаю. К словам Чуковского надо прислушиваться внимательно. В них всегда скрыта ирония. Кажется, хвалит кого-то, а нет — ругает, вот поругал, а нет — похвалил.

— Пойдемте-ка обедать. Хотите есть?

Есть я не хотел, но сказал:

— Хочу.

Конечно, мне было не до еды. Но — обед! Обед у Чуковского! Только дурак, наверное, откажется. Но и трудно, невероятно трудно мне было, друзья, обедать у Чуковского, стеснялся я страшно. А дело, в сущности, простое — бульон с пирожком. Не помню,

к сожалению, ни вкуса бульона, ни начинку пирожка. Помню, что только и думал за столом — на втором этаже, — как бы тарелку не опрокинуть. Бульон и пирожок съел я мгновенно, чтоб ликвидировать опасность опрокидывания и спокойно посидеть, поглядеть на Корнея Ивановича.

— Наснимался валенок — проголодался, — заметил Чуковский. — Клара Израилевна, дайте ему еще пирожок.

Мне дали пирожок номер два. Я быстро его съел.

— Все правильно, — сказал Корней Иванович, — два валенка — два пирожка. Может, хотите третий?

— Валенок, что ли?

Корней Иванович глянул на меня. Глянул странно. Можно бы сказать «зорко», но не совсем так. Он глядел на меня, как будто уже точно, наверняка знал, на что я способен, и даже предвидел всю мою будущую судьбу, даже вот до этого момента, когда я через 20 лет напишу эти строчки.

Я был чрезвычайно напряжен. Никогда в жизни я не ел бульон с писателем, да еще с Корнеем Чуковским. От напряжения захотелось третьего пирожка, и я уже открыл рот, чтоб попросить его, но тут Корней Иванович сказал:

— Так дочитайте же про лилипутов. Самое время. Бульон. Пирожки.

Я начал читать. Сбивался. На аллее читалось легче. Выслушав меня, Корней Иванович доел бульон и сказал:

— Лучше быть юным поэтом, подающим надежды, чем старым, не оправдавшим их.

К Корнею Ивановичу пришла медицинская сестра. Она должна была взять кровь на анализ. Из пальца. Пока она готовила пробирки и пальцеукальыватель, я показывал Чуковскому свои рисунки. Корней Иванович хмыкал, кивал, иногда говорил: «Ах вот оно что!»

Медсестра прочистила пальцеукальыватель и всадила его тупую иглу в палец Чуковского. Корней Иванович не поморщился, а я слегка содрогнулся. Это у меня был жест соперничества, инстинктивная помощь, дружеская поддержка.

— Вы, кажется, боитесь крови? — спросил меня Корней Иванович. — По-моему, вы вздрогнули.

— Да нет, — сказал я. — Просто не очень-то приятно, когда в палец тупой иглой тычут.

Медсестра выдавливала кровь и размазывала ее по стеклянным дощечкам.

— Нельзя бояться крови, — продолжал Корней Иванович. — Кровь — это естественно. Смотрите, как она выдавливает мою кровь, поверьте, мне это безразлично.

— Старики легче переносят боль, — сказала вдруг медсестра. — Молодые больше боятся крови.

Вот тут Корней Иванович поморщился. Кажется, ему был не слишком приятен этот намек на его возраст.

— А вы, оказывается, не только берете кровь, — сказал он сестре, — вы ее еще и портите... Так вот, насчет крови, — продолжал он, повернувшись ко мне. — В некоторых ваших рисунках она есть, а в некоторых ее нет.

Разобраться, в каких рисунках кровь есть, а в каких ее нет, мы не стали.

Корней Иванович снял со шкафа оранжевого льва, сделанного скорей всего из поролона или чего-нибудь в этом роде. На груди у льва висел шнурок.

— Вот смотрите, какая штука, — сказал Чуковский и тут же дернул льва за шнурок, лев зарычал. И вдруг сказал по-английски:

— Ай эм э риал лайон. Ай эм зе кинг оф джанглз.

— Я настоящий лев! Я царь джунглей! — перевел Корней Иванович. И тут у Чуковского сделался такой вид, как у царя джунглей, львиный вид. И я окончательно увидел, с кем имею дело. Передо мной был действительный царь джунглей, и джунгли эти назывались Переделкино — дачный городок писателей. Невиданные сверхсплетения времени и судьбы окружали Корнея Ивановича, а уж он-то был царь этих джунглей, и если выходил пройтись — лев в валенках, — ему приветливо махали палками. И я возгордился, что однажды — зимой 1966 года — случайно оказался спутником льва — царя переделкинских джунглей.

— Царь — не совсем точный перевод, — заметил я. — Кинг — это все-таки скорее «король». Король джунглей.

Корней Иванович не стал отвечать. Он одобрительно осмотрел меня и, кажется, порадовался, что я знаю по-английски хотя бы одно слово. Он снова дернул льва за шнурок, и лев проревел по-английски:

— Хотите со мной подраться? Я — очень грозный лев!

Из моих рисунков Корней Иванович выбрал для себя один. Рисунок, без всякого сомнения, был дурацким. Он назывался — «Нюхатель цветков». Человек, изображенный мною, имел в жизни только один смысл: он жаждал нюхать цветы. Для этой цели я ему приспособил внушительный вдумчивый нос. Полный идиотизм!

— Я знаю здесь в Переделкине одного такого нюхателя. У вас то на рисунке — добродушный, а этот — нюхатель с большой дороги. Награбит цветов и нюхает.

— Извините, Корней Иванович, — некстати, совершенно некстати сказал вдруг я, — а нельзя ли мне сделать ваш портрет?

— Что-нибудь вроде этого нюхателя? — спросил Чуковский, кивнув на рисунок.

— Что вы, нет, конечно. Серьезный портрет.

— Не стоит, — сказал Корней Иванович, — не нужно вам так перенапрягаться.

— А помните, вы сделали мой портрет? Из снега. Теперь моя очередь.

— Ну что ж... око за око, понимаю...

Волнуясь, принялся я за набросок, и он неожиданно заладил-ся. Чуковский получался значительным, было сходство. Я решил дома довести этот портрет в акварели или пастели и с натуры расписал цвет, как это делают иногда художники. На лбу написал «охра», на носу — «белила» и т. п. Рисунок этот показывать Корнею Ивановичу не хотелось. Ну какой дурак-художник покажет портрет, в котором на лбу написано «охра», а на носу — «белила»?

Время оставалось, и я принялся за второй набросок. Второй пошел странно. К сожалению, Чуковский выходил на нем каким-то «сердитым». Этого эффекта я никак не добивался, эффект вылезал сам по себе. Показывать рисунок тоже было нельзя.

Я принялся за третий, который пошел корявей всех, нервно пошел. И уж очень он был «старательный». Я знал, что рисунок обязательно придется показать. Должна же модель в конце концов увидеть, что там чиркает художник.

А вдруг это что-нибудь вроде «нюхателя»?

— Все? — спросил Корней Иванович. — Покажите.

Я показал третий набросок. Он все-таки получился и мне чем-то нравился.



К. Чуковский. Фотография Л. Радищева. Переделкино. 24 мая 1968 год

— Это надо уничтожить, — твердо сказал Чуковский, посмотрев на рисунок.

Я растерялся. Такого могучего подхода к делу я от модели никак не ожидал. Царь джунглей!

— Жалко, — сказал я.

— А все-таки надо.

— Что — не похож? Или в нем нет крови?

— Слишком много.

— Ладно, — сказал я, — я потом рисунок выброшу.

— Да ведь кто-нибудь подберет.

— Никто не подберет, я хорошенько выброшу.

— Обязательно кто-нибудь подберет.

Я разорвал рисунок и осколки его выбросил в корзину для бумаг.

— Вот это правильно, — сказал Чуковский.

Он совершенно не заметил, что я уношу в клюве, то есть в папке, еще два рисунка. Он-то думал, что я все эти полчаса рисовал

одну картинку. Конечно, в 1966 году я был глуп самым серьезным образом, но не до такой же степени!

Нет, у меня оставалось кое-что в запасе, и особенные надежды возлагал я на портрет, где на лбу было написано «охра», а на носу – «белила».

– А помните, как я сказал: «Слушай, Дерево»? Заметили, какое это дерево?

– Сосна.

– Это – необыкновенная сосна. Это – переделкинская сосна. Ее любят все писатели. Не только я, а вот и Катаев. Но от Катаева она только принимает поклонение, а мне отвечает взаимностью.

– Еще бы, ведь вы – царь джунглей.

– Царь джунглей этот лев, – сказал Корней Иванович, кивнув на английскую игрушку.

– Вряд ли, настоящий царь не скажет: «Я – царь джунглей», он скажет: «Слушай, Дерево».

– Вам не нравится мой лев?

– Хороший лев, но он слишком из двадцатого века, из поролонового времени.

– Да это истинное чудо! Смотрите: он движет челюстями, как двигал бы ими живой лев, если бы он стал говорить.

– «Слушай, Дерево» небось не скажет.

– Да что вы привязались к этому дереву?

Корней Иванович слегка на меня рассердился. Львиные возможности обозначились в его взоре. Пора мне было откланяться.

– А о рисунке не жалеете, – сказал Корней Иванович, пожимая мне руку. – Он не получился.

– У меня есть еще два, – сказал все-таки я.

Чуковский задумался. Оглядел меня и мою папку.

– Запасливый, – сказал наконец он, но не стал требовать, чтоб я раскрыл папку. – Что ж... Художник должен что-то иметь в папке, в записной книжке, а главное, здесь. – И он стукнул пальцем в поролоновый лоб английского льва.

На этом я хочу закончить рассказ о Корнее Чуковском, которого слушал однажды вместе с деревом. Я рассказал, что мог. Есть, конечно, еще кое-что в папке, да ведь глупо все из нее вынимать.

31 октября 1969 года

ПРОЩАНИЕ



К. И. Чуковский. Портрет работы Ю. П. Анненкова. Петроград. 1921 год

ДМИТРИЙ ЧУКОВСКИЙ

КАК ХОРОНИЛИ МОЕГО ДЕДА

На следующее утро после смерти Деда позвонили из Союза писателей, сообщили, что уже создана Комиссия по похоронам во главе с С. В. Михалковым и пригласили кого-нибудь из семьи прийти срочно для обсуждения. Со мной поехала Наталия Иосифовна Ильина, близкий нам человек, к тому же хорошо знающий писательскую среду.

Сергей Владимирович ждал нас в тесном кабинете В. Н. Ильина в кресле хозяина, а Виктор Николаевич присел рядом на стульчике у приставного столика с телефонами. Он предложил нам сесть напротив, пока Михалков говорил по «вертушке». При нашем появлении Сергей Владимирович сразу же перешел на односложные ответы, давая понять незримому собеседнику, что в кабинете посторонние. Закончив разговор, передал трубку Ильину, и тот почтительно положил ее на аппарат — разговор был с кем-то важным. Началось рутинное обсуждение церемонии, изредка прерываемое звонками. Ильин брал трубку, коротко отвечал или передавал Михалкову. По разговору ничего понять было нельзя, Сергей Владимирович отвечал только «да» и «нет», лишь однажды проговорился: «К-как Маршак...» По этим двум словам я мог угадать, что давались какие-то указания о соблюдении только им понятной иерархии.

Я сразу же вспомнил Дедов рассказ о том, как изменялись со временем упоминания его имени в официальных докладах: «Основоположники советской детской литературы Чуковский, Маршак», потом — «Маршак, Чуковский», затем — «Маршак, Михалков, Барто, Чуковский», а после войны — «Михалков, Барто, Маршак и др.»



К. Чуковский с внуком Митей на мотоцикле. Переделкино. 1964. Публикуется впервые

По звонкам и настороженности хозяев чувствовалось желание узнать у нас, приедет ли на похороны Солженицын и будет ли он выступать. Ни единым намекон они не выдали своих намерений, но эта проблема волновала их и во время этой встречи и весь последующий ритуал.

Поддержка Солженицына Корнеем Ивановичем, выступления и письма Лидии Корнеевны в его защиту, Люшино участие в его делах — все те сведения, которые стекались к ним из доносов, радиоперехватов, сводок, словом, из определенных источников, давали им основания опасаться, что А. И. может выступить на похоронах, и требовалось этого не допустить.

Раньше был человек, которого они, по меткому определению Павла Нилина, еще «стеснялись» — Корней Иванович. Как показали дальнейшие события, операция по расправе с Солженицыным, во всяком случае ее первая часть, была уже разработана. Поджидали смерти Чуковского, который мог помешать или по меньшей мере подпортить задуманное.

Через несколько дней после похорон Корнея Ивановича Солженицын был из Союза писателей исключен.

Но я забежал вперед, а пока перед нами в кабинете Ильина лежал уже готовый список выступающих, состоящий из министров, замов (как говорили «союзного и республиканского значения»), партийных и комсомольских секретарей разного калибра, разбавленный Прилежаевой и Алексиним. Расчет был точен — два часа, отпущенные на гражданскую панихиду, эти люди должны были «заговорить», не дав возможности для какого бы то ни было незапланированного неожиданного выступления.

«Если на моих похоронах, — шутил Дед, — кто-нибудь скажет: «Путь покойного был сложный и противоречивый», — разрешаю дать ему по морде».

Началась реальная «торговля» с Михалковым. Например, сопротивление с его стороны вызвало наше требование убрать из списка Алексина, заменив его на Пантелеева. Подобные споры шли и по другим именам. Нам приходилось бороться, чтобы дать как можно больше времени для выступления друзьям Корнея Ивановича и хоть как-то смягчить чувство стыда перед пришедшими за читаемые мятыми словами казенные заготовки. К этому надо добавить постоянную настороженность с их стороны; вопросы, не имеющие отношения к делу, которые по их расчетам должны были помочь что-либо выведать у нас. Но все же нам, особенно благодаря знанию и опыту Ильиной, удалось добиться, чтобы среди чиновничьего хора прозвучали человеческие искренние голоса.

Как я понял по всему, Михалкову и Ильину ставились разные задачи, а посему на следующий день вместе с Ильиным, еще неким молчаливым человеком и директором Литфонда Елинсоном я должен был проехать по намеченному маршруту завтрашней похоронной процессии. Виктор Николаевич должен был обеспечить безостановочный проезд кортежа на переделкинское кладбище, чтобы на дороге не возникло задержек, могущих спровоцировать выступления.

Приехали в Переделкино, поднялись от пруда на горку и хорошо знающий свою территорию Елинсон, явно подыгрывая Ильину, предложил короткий вариант пути, который отсекал бы возможность проезда мимо дачи Корнея Ивановича. Я встретил сильный отпор с их стороны, настояв на том, чтобы процессия сделала круг по поселку и могла на несколько минут задержаться у ворот дачи. В мою пользу сработал довод о существующем обычае проститься с домом. Спорили о

минутах остановки, а о заезде во двор не могло быть и речи. Молчаливый человек делал записи и набрасывал планы местности в блокноте.

Когда приехали на кладбище, Елинсон распорядился положить настилы из досок на размокшую осеннюю землю, чтобы не возникло препятствий при пронесении гроба, чем заслужил одобрение Ильина. Заносить решили снизу, от моста через Сетунь, чтобы вытянуть процессию, не дать ей сгруппироваться. Как я сообразил, если нести гроб по дороге сверху, от церкви, на месте остановки могла возникнуть толпа, которой было где поместиться, а как раз этого и надо было по их плану избежать. Возникло впечатление, что Ильин по секундомеру пытается перекрыть рекорд скорости похорон писателя.

Молчаливый человек пошел обходить все кладбище, вернулся, кивком показал Ильину, что он все сделал, и они уехали разрабатывать «операцию» похорон уже без моего участия. Мне же надо было привезти скульптора для маски и слепка руки и вывезти с дачи к себе домой рукопись «Чукоккалы», письма и документы, уже собранные Люшей. Это делалось из предосторожности. Памятны были рассказы о том, как архив Алексея Толстого был опечатан и вывезен из его дома как раз во время похорон.

В Центральный дом литераторов на Никитской я пришел еще до того как из морга кремлевки привезли гроб. Все было готово, замдиректора Шапиро инструктировал служащих, все входы были закрыты, но уже собирался народ, и милиция расставляла ограждения на улице. Чувствовалась напряженность. Полно было молодых людей в черных костюмах, они стояли у дверей, в холле, на лестнице, в зале, на сцене. Группа стояла у входной двери, где ими руководил маленький Семиженев, постоянно выкрикивая: «по членским билетам!», «по членским билетам!». Не разрешили раздеваться в гардеробе, сидеть в зале, а надо было медленно пройти мимо сцены, на которой был установлен гроб, и, главное, сразу выйти снова на улицу. Буфеты были закрыты. Шапиро повторил мне распоряжение: «Как Маршака...», что, по его мнению, должно было меня немного утешить.

Когда в редакции Корнея Ивановича спрашивали, а как же с вами расплачиваться, по каким ставкам, он скромно отвечал: «Как Маршаку...» Рассказывая, он неизменно радовался своей находчивости, и ему казалось, что он не прогадает.

Началась панихида, а я стоял у входа и должен был «отбивать» близких и знакомых Деда для прохода. Я слышал по трансляции как

отговорил председатель Михалков, начались бубнящие речи министров и секретарей и вдруг вижу, как бежит вниз по лестнице из своего кабинета Шапиро и приказывает Семижену: «Открыть двери! Пропускать! Венок от Косыгина». Честно говоря, я так и не понял, какая была связь между венком и доступом публики, но что-то явно изменилось. Разрешили сесть в зале Шостаковичу, ему было трудно стоять из-за болезни, и он положил тяжелое пальто рядом. Осмелев, начали рассаживаться и остальные. Послышались человеческие слова и оказалось, что для выступлений записалось вдвое больше писателей, чем предполагалось. Тогда Сергей Владимирович ловко подвел процесс к концу, сказав, что родственникам надо дать попрощаться с покойным, а против такого довода никто не мог возражать. Тем самым он отсек добрую половину выступающих. Ильин выстроил коридор из молодых людей в черном, автобус подогнали вплотную ко входу, чтобы не подпустить людей, запрудивших все начало Никитской улицы и не попавших в зал, вынесли гроб и под крики «Быстрее! Быстрее!» процессия с милицескими мигалками повернула на Садовое по дороге в Переделкино.

Ильин ехал в передней машине с мигалкой и быстро оторвался от группы машин, прокладывая дорогу ритуальному автобусу. Не рассчитали, что выстроится такой длинный хвост из машин. Но когда въехали в Переделкино, то пришлось замедлить скорость движения из-за людей вдоль дороги, переделкинских жителей и приезжих, желающих проститься с Корнеем Ивановичем. У дачи собрались люди, рассчитывая, что будет короткая остановка, о которой заранее договорились. Наш сосед, Евгений Борисович Пастернак, был среди собравшихся, видел приближающуюся процессию и услышал из усилителя: «Кортеж приближается, приготовиться ко всему!» После этого все машины проехали мимо дома Чуковского, не останавливаясь. Головные машины выехали на дорогу к кладбищу, а конец процессии, огибающей весь поселок, еще находился на мосту через пруд, — так много собралось и людей, и машин.

На кладбище подтаяло, была грязь, да еще пошел мокрый снег. Второе действие повторяло первое по форме, только ранг обязательных выступавших был пожиже. Сергей Владимирович не изменил проверенному приему. Затянул речугу секретарь местного райкома, затем начальница местного просвещения, учитель, библиотекарь... Для меня, как местного жителя, заметны были

фигуры, расставленные по кладбищу и равнодушные к происходящему. Этой фальши не выдержал наш сосед, Павел Филиппович Нилин, он как-то по медвежьей приблизился по грязи к Михалкову, левую руку приложил к своей груди, а правой ручищей отодвинул Сергея Владимировича со словами: «Сережа, отойди...» Я никогда не видел Нилина, обычно саркастичного и насмешливого, таким взволнованным. И Михалков, шепча: «П-паша, П-паша...» — стал пятиться, загоразиваясь папочкой со списком. Короткая речь Нилина, искренняя, сказанная с чувством, к счастью, сохранилась...

Засыпали могилу, еще укладывали венки, я подошел к Михалкову: «Сергей Владимирович, поминки здесь, на даче...» Он не ответил, подбадривающе провел рукой по моей спине и пошел быстро вниз, по натопанной грязи, не ища дороги по настилу, к ожидавшим черным машинам. За ним, как по сигналу, по побелевшему склону поспешили Ильин и стая в темных пальто.

После похорон с оказией было получено письмо от Солженицына, написанное в Рязани 29 октября, на следующий день после смерти Деда. Он писал:

«Я непременно собирался ехать на похороны Корнея Ивановича, он так был добр ко мне. Но почему-то я представлял себе вроде похорон Пастернака: соберутся друзья и почитатели на даче и вокруг и отнесут на переделкинское кладбище (место он мне показывал в первое же наше знакомство).

Когда же от Люши я узнал, что это будет долгий официальный обряд на ул. Воровского (я никогда не присутствовал и из головы вон) — во мне как оборвалось: я представил себе этих официальных ораторов, Суркова или Маркова или даже хуже — и почувствовал, что нет моих сил там присутствовать, что просто страшно умирать неопальным.

Простите же мой неприезд! Хочу надеяться, что и Корней Иванович со своим острым чувством красивого и безобразного меня бы тоже простил.

Я с Вами душевно. Понимаю Ваше горе и внезапную пустоту.

Корней Иванович так свежо держался, что казался уже вечным и как бы занимал престол литературного патриарха — а кто ж другой?

Мне он много и бесстрашно помог в самые тяжелые для меня месяцы. И многим помогал. Добрая ему память!»

НА ПОХОРОНАХ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО

31 октября 1969 года

Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись. В комнате почетного президиума за сценой в ЦДЛ — многолюдная очередь. Стоим в ожидании, когда нас выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В основном тут — незнатные. Лишь незадолго до конца прощания появляются те, кто по традиции завершает ритуал, кто попадает потом на ленты кино и фото хроники: Полевой, Федин. Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в Правление московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны. Вероятно, поэтому не видно Арк. Васильева и других черносотенцев от литературы. Прощаться пришло очень мало москвичей: в газетах не было ни строки о предстоящей панихиде. Людей мало, но, как на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции — тьма. Кроме мундирных, множество «мальчиков» в штатском, с угрюмыми, презрительными физиономиями. Мальчики начали с того, что оцепили кресла в зале, не дают никому задержаться, присесть. Пришел тяжело больной Шостакович. В вестибюле ему не позволили снять пальто. В зале запретили садиться в кресло. Дошло до скандала.

Гражданская панихида. Заикающийся С. Михалков произносит выпренные слова, которые никак не вяжутся с его равнодушной, какой-то даже наплевательской интонацией: «От Союза писателей СССР...», «От Союза писателей РСФСР...», «От издательства "Детская литература"...», «От Министерства просвещения и Академии педагогических наук...». Все это произносится с глупой значительностью, с какой, вероятно, швейцары прошлого века во время

разъезда гостей вызывали карету графа такого-то и князя такого-то. Да кого же мы хороним, наконец? Чиновного бонзу или жизнерадостного и насмешливого умницу Корнея? Отбарабанила свой «урок» А. Барто. Кассиль исполнил сложный словесный пируэт для того, чтобы слушатели поняли, насколько он лично был близок покойному. И только Л. Пантелеев, прервав блокаду официозности, неумело и горестно сказал несколько слов о гражданском лике Чуковского. Родственники Корнея Ивановича просили выступить Л. Кабо, но когда в переполненном помещении она присела к столу, чтобы набросать текст своего выступления, к ней подошел генерал КГБ Ильин (в миру — секретарь по оргвопросам Московской писательской организации) и корректно, но твердо заявил ей, что выступать ей не позволит. Причина? «Записалось на выступление много народу, а время не ждет. К. И. надо похоронить засветло...»

Старая песня! Точно так же спешили закопать Пастернака (один из руководителей Литфонда, некто Елинсон, выхватил тогда лопату у слишком медлительного могильщика и сам начал забрасывать гроб землей); на похоронах Эренбурга выдавались пропуска для «узкого круга», в результате большинство друзей покойного не попали на Новодевичье кладбище, где Б. Слуцкому из-за спешки отказали в праве произнести прощальную речь; в минувшем июле, когда хоронили Паустовского, снова не получили слова его близкие и друзья — надо было торопиться в Тарусу, зато потом, на шоссе Москва—Таруса, те же «торопильщики» на полчаса остановили похоронный кортеж, чтобы помешать молодежи добраться до могилы К. Г. Тот же провокационный трюк повторился у гроба Анны Андреевны Ахматовой. Сначала людей заставили больше часа толочься в полной неизвестности возле морга больницы им. Склифосовского. Потом вдруг — скорее, скорее! — десятиминутное прощание под непрерывное понукание милицейского и литфондовского начальства.

Откуда этот страх перед покойниками? Да ведь традиция! Уже двести лет без малого вот так хоронят русских литераторов. Через поколения жандармов и литературных сексотов дошел сей подлый и трусливый ритуал и до нас. По цепочке, как говорится, от Бенкендорфа и Булгарина к Ильину и Михалкову. Литературные охранники всегда остро чувствуют опасность прорыва подлинных человеческих чувств, прорыва, вызванного острой болью утраты. У гроба большого писателя неизменно возникает электрическое поле общественно-

го протеста. Интеллигенты, в обычные дни рассеянные, задавленные трудностями жизни, возле дорогих могил вдруг видят себя сообществом единомышленников, единоверцами. В такие часы для них особенно невыносима официальная ложь. Люди хотят правдивого слова. Даже молчаливники становятся ораторами. Власти — прежние и нынешние — от века не утруждали себя диалогом: они просто высылали к Литературным мосткам дополнительные наряды полиции.

...Тело Корнея Ивановича выносят из зала. При жизни он был на голову выше большинства своих собеседников. Теперь его тело кажется огромным. Автобусы и легковые машины направляются в Переделкино. Траурный митинг на косогоре переделкинского кладбища. Грязь. Вязнем в раскисшей глине. На обнаженные головы падает мокрый снег. Толпа растет. Сбегаются местные жители Переделкина в ватниках и сапогах. Странная толпа: не поймешь, кого больше, — обывателей, интеллигентов или чинов милиции. В центре человеческого клубка поставленная стоймя черно-алая крышка гроба и вынесенный на двух столбах радиорепродуктор. Из репродуктора равнодушный голос Михалкова звучит еще более мертво и фальшиво. Избитые истины о том, что Чуковского знают и любят дети и взрослые. Потом такая же избитая, прочитанная по бумажке речь председателя райисполкома, в ведение которого входит поселок Переделкино. Мягкие слова, ни одной живой интонации, ни одного искреннего личного воспоминания. «Родина не забудет... встречи с ним всегда радовали...» В двух шагах от трибуны — сосны, под которыми лежит гений российской словесности Борис Пастернак. Хороним великолепного знатока русского языка Корнея Чуковского. В толпе десятки русских писателей, мастеров слова. А чиновники на трибуне бубнят своим скудным и нищим языком многотиражки.

Но вот в группе «начальства» возникло какое-то беспокойство. Пожелал выступить Павел Нилин. Ильин и Михалков не впускают его на трибуну, но с упрямым Нилиным спорить трудно. Вот он уже на помосте, огромный, косолапо переступающий на шатких досочках. Поднял большую руку. Люди замерли. Прислушались. Над грязным косогором впервые зазвучала человеческая речь. Нилин вспоминает: всего месяц назад они с Корнеем Ивановичем гуляли вот тут по полям, и К. И. мечтательно говорил, что только бы ему перетянуть эту осень, а там уж видно будет. Нилин отвечал ему, что перетянет К. И. и эту, и много других осеней и весен: при бодрости духа его и тела еще за-

кроет он глаза многим нынешним молодым. Чуковский смеялся. Ему было приятно, что Нилин не верит в его, Чуковского, близкую смерть.

И мы, стоящие рядом с оратором, живо представляем себе, как на пустой полевой дороге, опираясь на свою мощную трость, смеется Корней Иванович. Ведь все, кто знали и не раз видели эту картину: Корней смеется, жестикулирует, а то и озорно, как мальчишка, горланит. Нилин говорил: мы еще сейчас до конца не понимаем, кого потеряли. Должно пройти какое-то время, чтобы те, кого пока так мало в нашей стране, те, кто составляет ничтожно тонкий слой народа — интеллигенция, — поняли, кого оставили они на переделкинском погосте в этот хмурый октябрьский день. Нилин хотел сказать еще что-то, но вдруг осекся, всхлипнул и, махнув рукой, сошел с трибуны.

Глухо застучали молотки по дереву, толпа стала подаваться на вершушку холма, поближе к вырытой могиле. Пролезаем между оград, продираемся через голые кусты. Человеческие толпы заполнили могилу Пастернака. Отсюда хорошо виден последний акт похорон.

Они были очень разными: одухотворенный, идущий по жизни как корабль под полными парусами Борис Леонидович и прочно стоящий на земле, мудрый и хитрый мужичок Корней Иванович. Дружбы между ними не было, хотя в душе каждый не мог не уважать другого. Смерть стерла внешнее, случайное в отношениях двух наших наибольших, наших наставников. Осталась память о людях, само существование которых делало этот мир более человечным, более надежным и справедливым. Теперь им лежать рядом и оставаться в нашей памяти! Заложив руки в карманы, хозяйски позыркав по сторонам, идут к своим машинам милицейские «мальчики». Медленно, неохотно откатывается от кладбищенского холма людской поток. Люди останавливаются, сбиваются в группы. Сейчас, когда рассыпалась толпа, видны те, кто составляли истинное ядро ее, те, кому действительно дорог Чуковский: полтора десятка писателей и ученых, среди них И. Грекова, Л. Кабо, Б. Ямпольский, П. Нилин, Г. Свирский, Э. Герштейн, О. Чайковская, старые библиотекари, университетская молодежь.

Да, не хочется покидать этот холм. За суетой обряда, за словесной шелухой для каждого начинает проступать сам факт — нет больше Корнея и без него трудно представить нашу жизнь.

Р. КОМИЯМА

ПАМЯТИ ЧУКОВСКОГО

Памяти К. Чуковского,
нашего учителя жизни!

Журнал «Кирин» («Жираф») — это Ваш цветочный сад!
Издательство «Рирон-ша» — это Ваша твердыня на Востоке!

28 октября 1969 года. Вы ушли навсегда от нас на 88-м году своей жизни. Тот день стал для меня вечно памятной датой.

Вы были крупный гуманист и занимали заметное место среди всех гуманистов, но одна черта отличала Вас от других людей. Многие из гуманистов поставили себе задачу искать мысли и действия, которые приблизили бы несовершенных людей к своим идеалам посредством показа идеального образа человека. Такой идеализм казался бы пессимистическим подходом к действительному человеку, если мы стали бы на эти позиции.

Ваша посылка была прежде всего «человек сам по себе», как совершенное и замечательное существо, а не идеальный образ, как будущий человек. Всю свою жизнь Вы изучали человека, которого мы сами рожаем, обнимаем в руках и взглядываем восхищенно.

Для Вас дети не были незрелыми цыплятами, а скорее всего были совершенным творением и прототипом человека. Нельзя повредить его никаким образом! Дети были самыми одаренными работниками ума, вместе с тем двигательной силой, обеспечивающей человечеству созидательную способность, а не были беспомощным существом или объектом пристрастия для взрослых. Они были настолько свободными, оптимистическими, прогрессивными мыслителями, что моментальный бросок взгляда на них

дал бы нам чувство мира и радости. Вы всегда указывали, что у детей можно научиться многому, чем учить их.

Вы стояли на стороне детей, а они стали больше Вас Вашими сторонниками. Благодаря поддержке малых друзей Вы смогли строить великолепный оптимизм, посвященный «человеку» и нести высоко свободное и веселое знамя даже в дни, когда бушевала буря. Честные люди всего мира видели в этом знамени крепкую твердыню, где они черпали много сил.

Мне не посчастливилось видеть Вас раньше. Это лишило меня возможности отблагодарить Вас за благородное влияние с Вашей стороны. Но я уверен, что я шел все время под Вашим руководством и всегда жил вместе с Вашими чаяниями, а наша связь с Вами укрепитя именно впредь. И наш журнал «Кирин» («Жираф»), и наша работа над изданием детских книг, как стебель, посаженный Вами на почву нашей страны, будут скоро распускаться. Прошу, Корней Иванович, следить, как пышно расцветает Ваш цвет в Японии!

Директор издательства «Рирон»
и главный редактор журнала «Кирин» («Жираф»)

Р. Комьяма

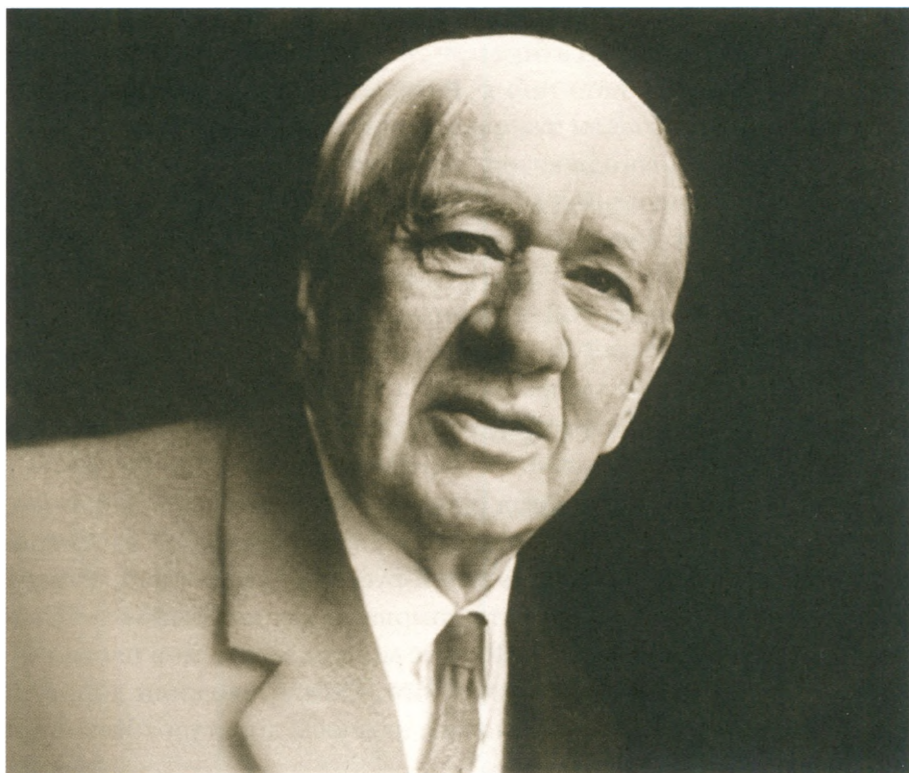
А. БОРЩАГОВСКИЙ

РЕЧЬ НА КРЫЛЬЦЕ

Несколько лет тому назад одна русская женщина — она родилась за границей — мать двух мальчиков, написала мне из Америки о том, как трудно ей учить детей русскому языку. «Но, — писала она, — слава Богу, у меня есть помощник, а у детей школа. Школа эта — Корней Чуковский. Чего не могла сделать моя настойчивость, то удалось сказкам Чуковского. Они проложили дорогу и Пушкину, и Лермонтову, проложат, надеюсь, дорогу и к Чехову, и к Достоевскому, и к Толстому».

Мы редко задумываемся над истинным значением и могуществом слова. Я имею в виду слово *высокое*, гражданственное, сказанное не второпях, не в расчете на мгновенную оплату. Порой нас, пишущих и издающих свои книги, охватывает тревога, а то и отчаяние. От спасительного этого отчаяния избавлены только безнадежные ремесленники. Твоя книга напечаталась, поплыла в безбрежное море других книг — и что же: оставила она хоть малый след в сознании читателя, отложились какой-то крупницей в нем, или все мимо, мимо, мимо?!

Память народа не восковая пластинка, на которой любому до сужему литератору можно оставить след, хотя бы легкую царапину. Эта память — еще неизвестный технике тугоплавкий состав, который не поддается и острию алмаза. На ней трудно сделать отметину, но, однажды нанесенная, она никогда не сотрется. Мы помним великих рыцарей слова, их мысль и дело. Но их жизнь, даже изученная в мельчайших подробностях, труднопредставима, она отчасти — легенда, отчасти — предмет спора и всегда — недосыгаемая вершина.



К. Чуковский. Фотография М. Окушко.
1963 год

Другое дело опыт человека, которого ты знал живым, видел блеск его глаз, слышал разговорную интонацию. Его опыт приложим, он учит прямо и непосредственно. Этот опыт индивидуален и вместе с тем является частицей общественного опыта нашего времени. Его лучшей частицей.

Этот маленький, разрисованный дом помогает нам лучше понять опыт Корнея Чуковского. Он был работником, который вышел на пожизненную работу. Всегда дело, всегда работа мысли, собирательства, живого просвещения. Я подчеркиваю: *живого* просвещения, без унылых прописей, без хмури и без важничанья. Поразительное совмещение масштабов – глобус и карта-трехверстка, дела вселенские и так называемые частные, местные вроде этой библиотеки, как бы имеющие отношение к одному поселковому



К. Чуковский на пороге детской библиотеки. Переделкино. Июнь 1964 года.
Публикуется впервые

совету. Книги, прочитанные десятками миллионов людей, и эта вот пядь земли, так заполнившая ежедневную жизнь Корнея Ивановича. Она стала для него во сто крат притягательнее и дороже, когда вырос этот дом и наполнился детскими голосами. Это как опытное поле, где удесятерились урожаи.

Тут и обнаруживается секрет характера и личности: никакого зазора, щели или средостения между тем, как пишется свой Некрасов, свой Чехов, Оскар Уайльд, или Уитмен, или сказки, и тем, как задумывается этот вот дом или очередной пионерский костер.

Представляю себе, сколько кривых улыбок, сколько язвительных замечаний, — а наш брат горазд на них! — сколько их было в те дни, когда сюда свезли первые бревна и кирпич под фундамент! Меценат! Меценат! Как удобно отгородиться от многих сложно-

стей жизни иронически произнесенными словами *меценат!* Дескать, теперь не время меценатства, наш труд вливается в труд республики, а уж республика позаботится. Она сделает. Она обеспечит. Удобно спрятаться за огромные цифры, вызывающие удивление и гордость, удобно сказать: что я рядом с этими цифрами?!

Корней Иванович не верил в это хитроумное ханжество. Он знал, что и отдельным усилиям нет цены на земле, что отдельных, личностных усилий требует не только литература, но и всякое человеческое дело. Не сделаешь ты, и что-то не родится, чего-то попросту не будет.

Корней Иванович, наш молодой, превосходный современник, не просто вписавшийся в эпоху, а бывший в большой мере ее украшением, принес в современность все обаяние и силу личности, характера старого русского интеллигента. Того, кто не просто *сострадал* голодным, но отправлялся в телеге или в седле *на голод*, как на войну. Кто не сокрушался за чистым и сытым столом об эпидемии холеры, а уезжал *на холеру*, на оспу, на любую беду.

Как-то в Малеевке мне попали в руки старые разрозненные номера «Отечественных записок» 1872 года, то есть столетней давности и за десять лет до рождения Корнея Ивановича. Там напечатаны и отчеты Литературного фонда российских писателей. Еще этот фонд молод, еще у него нет миллионов, — это была организация, созданная *имущими* писателями для поддержания нуждающихся. В отчетах только два раздела — взносы, добровольные взносы именитых литераторов, и расход: на помощь чахоточным, на переписку рукописи, но чаще всего и более всего на детей. По сто, по двести и даже по четыреста весомых рублей 1872 года на завершение гимназического или университетского образования осиротевших сыновей и дочерей литераторов.

Нравственно Корней Иванович вышел оттуда, принес с собой все лучшее, что знало, поняло и умело то время. Ему выпала великая трудность и честь: связать, соединить своей жизнью и своим трудом ту эпоху и нашу, стать новым человеком, не потерявшим и крупницы благородного старого. Благодарные ему, мы все еще долго будем думать над этим.

ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ



К. Чуковский. Рисунок Вл. Маяковского. «Чукоккала». Июнь 1915 года.
Слева перефразированная цитата из стихотворения Саши Черного: «Спи, мой кролик, / Спи, мой чиж, / Мать уехала в Париж. С нами скушно / Так-то, брат»

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ

20 июля 1910

Сегодня День св. Ильи, поэтому я отправился в Куоккала, чтобы навестить именинника Репина. Но сперва зашел к Чуковскому (дом Анненкова, в котором некогда жил Чириков, напротив бывшей дачи Горького). Чуковский сказал, что Репин, по его мнению, даже в день своих именин не отступит от правила — принимать только по средам; он почти ежедневно позирует ему, вчера тоже состоялся сеанс*, но Репин и словом не намекнул на то, что нынче ожидаются гости; и поэтому будет верней, если мы не станем рисковать и воздержимся от прогулки в «Пенаты», до которых все же не близко.

Несколько недель тому назад Чуковский в третий раз стал отцом (сын Борис). Когда я пришел, он сидел за столом и писал; радостно поспешил мне навстречу (босиком). Из скромности он ничего мне не дал для «Первых литературных шагов». Тем не менее рассказал о себе следующее. Это было в год освобождения*. Голодный и без гроша в кармане он слонялся по Невскому проспекту как раз в тот момент, когда возле Казанского собора начались волнения. У ресторана «Доминик» какой-то казак занес над его спиной нагайку. Чуковский зашел к Руманову, который был тогда литературным сотрудником Телеграфного агентства, и рассказал о том, что происходит. Руманов попросил его сесть, записать все, что он видел, и потом сразу выдал пять рублей*. «Таким образом, своим первым литературным гонораром я обязан казацкой нагайке». Ему с женой приходилось тогда очень плохо: не было даже самого необходимого. Еще до этого Чуковский принес в редакцию «Нивы» тетрадь стихов, переведенных им с английского, и



К. И. Чуковский и Ф. Ф. Фидлер. Фотография К. Буллы. Петербург. 8 февраля 1914 года

отправился туда в робкой надежде, что хотя бы некоторые из них будут приняты и он получит несколько рублей. В редакции он застал А. М. Федорова, который пообещал ему свое содействие. Но тут появился Розинер, вернувший Федорову его стихотворение: мол, слишком политическое, поэтому не можем его напечатать. Разочарованный, Федоров удалился. Однако Чуковскому Розинер сообщил, что все его стихи приняты*, и выдал ему немедленно более ста рублей. Не помня себя от счастья, Чуковский помчался домой; ему даже не пришло в голову взять извозчика: «Извозчики существовали в то время для кого угодно, только не для меня».

Вместо того чтобы идти к Репину, Чуковский предложил мне зайти к Короленко: он уже около месяца живет в Куоккала в доме, который снял Н. Ф. Анненский, и ведет дела «Русского богатства». Но в ближайшие дни он уезжает к себе в Полтаву, поскольку Анненский вернулся позавчера из-за границы (лечился в Наугейме).

8 февраля 1914

Сегодня встретил Чуковского. Мы отправились к фотографу Булле, чтобы увековечить себя на *одном* снимке. Перед тем как

сфотографироваться, я спросил его, не желает ли он пригладить свои космы. «Нет, потому что тогда я буду не я». Когда мы сидели перед аппаратом, фотограф посоветовал ему чуть спрятать руки, иначе на снимке они получатся слишком крупными. Но он ответил со смехом: «Руки — это лучшее, что у меня есть!» Он вообще много шутил. И одновременно жаловался, что здесь, в городе (он приехал сюда на несколько дней и остановился в «Пале-Рояль»), он не может ни работать, ни спать. Многократно заверял меня в своей любви и преданности. Купил для меня свой портрет (с работы Репина) и надписал его: «С завистью и негодованием». «Почему же с негодованием?» — спросил я. «Ну, потому что вы остаетесь предметом моей зависти — ведь ваш музей не принадлежит мне!» Я предложил ему вместо «глубокоуважаемому» написать «глубоконеуважаемому», но он сказал: «Лучше я поставлю это слово в кавычки». И поставил кавычки.

19 марта 1915

Отправился вчера с Венгеровым к Репину в Куоккала. Вместе с нами в поезде ехал Чуковский. Репин, в шиллеровом воротничке, выглядит помолодевшим. Затем, после чая, Чуковский повел меня и Венгерова к себе. У него собственный домик недалеко от залива, стоивший ему более девяти тысяч рублей (четыре тысячи он еще должен Репину). Показывал нам, к великому удивлению Венгерова («Откуда это?»), множество ненапечатанных рукописей Некрасова.

29 апреля 1915

...Мы гуляли по берегу, и Чуковский показывал мне укрепления, возведенные, чтобы защититься от разлива речки, на берегу которой находится его владение, и приливов моря. Затем мы обедали, причем он проявил себя как нежный отец и довольно властный супруг. Рассказывал про последний «поэзовечер», устроенный в прошлую субботу Игорем Северяниным: попасть на этот вечер было труднее, чем на концерт или выступление Шаляпина. Почти исключительно — девицы; при появлении явно подвыпившего поэта они пожирали его такими сладострастно восхищенными взглядами, что, «наверно, могли забеременеть от одного созерцания».

А. Ф. Кони — К. И. Чуковскому

XII.18 <1921>

Дорогой мой Корней Иванович.

Придя домой, я оставил всякую работу и принялся за Вашу книжку о жене Некрасова* — и не мог оторваться от нее. Говорить о Ваших оригинальных и высокоталантливых выступлениях, попадающих, как сказал бы Горбунов, «прямо в центр», о Вашей эрудиции в литературно-общественной области — не приходится, — это признано всеми. Но во мне говорит старый судья и я просто восхищаюсь Вашим чисто судебским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим «руководящим напутствием», Вашим «*resumé*» дела о подсудимых — *Некрасове и его жене*. Ваша книга — настоящий судебный отчет, и Ваше «заключительное слово» дышит «правдой и милостью». Давно не читал я ничего до такой степени удовлетворяющего нравственное чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно-доверчивым обвинениям.

Сердечно жму Вашу руку.

Ваш А. Кони.

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — К. И. Чуковскому

14 февр. 26 г.

Дорогой Корней Иванович!

Получил, наконец, Ваши деткнижки. Большое спасибо!.. Ну, конечно, еще по таким вещам, как «Загорелою толпою», можно было предсказать*, что Вы напишете со временем «Мухину свадьбу», «Муркину книгу» и проч. Вы — ясно — поэт ритма, а для детей — это самое важное. Ваши стихи для пенья речитативом во время скаканья, верченья, круженья. Очень важно, что Вы часто меняете метр. Известная старая хорватская песня:

— Как у наших у ворот

Стоит озеро воды... —

дает Вам тему для «Чудо-дерева»; старинное «говорит» встречается в «Мойдодыре». (Я, когда мне было лет семь, бывший в библиотеке отца роман «Чудодей»* и до сего дня помню оттуда:

Знаешь, что говорит,
Что она говорит?
В Петербург, говорит
Как Ликург, говорит.
Как Солон, говорит,
Как Дракон, говорит

и т. д.

И Ликургов и Солонов я тогда еще не знал*, но на всю жизнь запомнил это.)

Есть ритм пушкинского «Царя Салтана» и много других, — но все они — большой динамики. Это — огромный плюс Ваших книжек. Пусть унылые дамы пишут что угодно: Ваши подлинные критики — сами дети, из которых Вы наплодите со временем множество поэтов ритма á la Чуковский. Гиперболы — это отлично: каждый ребенок к ним склонен в высокой степени.

Привет Марье Борисовне и чуковьятам, Вас вдохновившим и вдохновляющим! Пишите.

Ваш С. Сергеев-Ценский.

Н. А. РУБАКИН — К. И. ЧУКОВСКОМУ

На бланке:

«Institut International Psychologie Bibliologique. Швейцария.
Лозанна. Директор»

16.III.1929

Дорогой Корней Иванович,

Давно хотел я послать Вам самый сердечный привет и выразить наше искреннее восхищение Вашими работами — во-первых, Вашими детскими книгами, в основе которых Вы положили принцип чисто библиопсихологический, — принцип изучения психологии читателя; во-вторых, Вашими трудами по исследованию

детского языка, в-третьих, Вашей критикой критиков, смешивающих свои собственные суждения о книгах с суждениями о них всяких других читателей — иных психических и социальных типов. Что писать — это вопрос общечеловеческий, но *как* писать, — это вопрос и психологии того, для кого книжка предназначается. Вот этот принцип Вы и стали проводить в детской литературе чуть ли не раньше всех других детских писателей, и он и вдохнул в Ваши детские книжки, как и Ваш талант, непреоборимую силу. Без «Крокодила» теперь никак нельзя обойтись. <...>

Лозанна, 30. XII. 1935

Дорогой Корней Иванович,

Чем больше мы вникаем во все Ваши работы, как для детей, так и о детях, тем больше приходим в настоящий восторг от них.

Их замечательные, тончайшие психологические качества, я думаю, гораздо виднее со стороны, чем самому автору.

Я только что беседовал о Ваших работах с моим другом проф. А. Феррьером, имя которого Вам, надо полагать, известно, как президента и основателя Международного Общества Новых Школ, и сделал ему нечто вроде краткого доклада о Вашей поразительной чуткости к детской душе. Это не только вдумчивость, и не только вчувствование, а настоящее перевоплощение в детскую душу. По всем правилам библиопсихологии, для которой читатель и слушатель — все, а говорящий и пишущий — только орудие, имеющее значение лишь постольку, поскольку они способны ЭКФОРИРОВАТЬ (т. е. возбуждать, провоцировать такие-то переживания) и вообще психические явления в таком-то перципиенте, Вы прямо-таки великий мастер экфории. Когда мы читали вслух Ваши книжки (вплоть до сказок включительно), мы прямо-таки переживали переживания детства собственного. Это значит, что Вы умеете действовать на предельно глубокие слои человеческой мнемы.

Таково наше мнение о Ваших трудах, — мнение фанатиков читательства и книжного влияния.

Пусть будет это письмо нашим приветом Вам на Новый год. Многая лета тому писателю, психика которого до сего дня не менее чутка, чем детская.

Уважающий Вас *Н. Рубакин.*

Из доклада Н. Н. АСЕЕВА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА»

Ну, хорошо. Выходной день ответственного работника. Но ведь в этом и существует риск твой, как поэта. Надо дать молодость, веселье, человек защищает страну и он чувствует себя ответственным за то, что он делает и как развлекается. Такое стихотворение написано. Я написал стихотворение о счастье двух людей. «Двое неизвестных»*. Я написал такое стихотворение и был очень им доволен. Написал его в меру своего таланта и достоинств. У каждого такое чувство бывает. Написал я такое стихотворение, иду по бульвару и встречаю Чуковского. Медоточивая фигура Корней Иванович мне кланяется. Должен сказать, что вообще Корней Иванович мне не нравится, но все-таки этот человек переводил Уитмена, написал «Мойдодыра». Я считал, что такой человек может быть судьей. И вот я, встретясь с ним, с бухты-барухты прочитал этих «Двое неизвестных». По мере чтения я завядал и в конце концов подумал: какой я дурак!

Корней Иванович смотрел по сторонам, смотрел на трамваи, наконец порывлся в портфеле, вынул листочек и сказал: вот послушайте, я вам стихи прочту. И начал читать стихотворение — высокое парнасское стихотворение, очень благородное, вроде розового ногтя на мизинце, очень отшлифованного и не очень нужного на руке.

Когда я спросил его, чьи же это стихи, он мне сказал: вот теперь так не умеют писать, Николай Николаевич, а написал это Осип Эмильевич*.

Я, конечно, не мог спорить и ушел от него не с пощечиной, а с подзатыльником.

Т. А. БОГДАНОВИЧ — К. И. ЧУКОВСКОМУ

12 сентября 1940

Дорогой Корней Иванович, пишу Вам под влиянием раздражения, какое вызвала во мне книжка Шкловского о Маяковском, не вся книжка, а то, что он пишет о Вас*. Мне так живо вспомнилась Куоккала, Ваша дача, Ваши воскресенья, на которых неизменно бывал Маяковский. Ваша Чуоккала. Помните, как Репин, при-

шел в страшное негодование, что Маяковский нарисовал что-то не на той стороне страницы, на какой следует. И тут же оказалось, что сам Репин совершил однажды такой же проступок. Помните, как Вы с Маяковским приходили к нам есть пирог с черникой и играть в крокет? Играл, впрочем, только он. Помните, как Вы во время прогулок по берегу моря заставляли Маяковского читать свои стихи. Как прекрасно он читал и как Вы восхищались его стихами. Ведь вы один из первых почувствовали, поняли и оценили его, когда вокруг он встречал враждебное непонимание и бессмысленное высмеиванье. И вы не только сами оценили его, вы его пропагандировали, вы деятельно помогали ему на первых шагах. Кто, живший в то время, может поверить, что вы «заглушали его голос», превращали его в «анекдот», относились к нему «снисходительно».

Злонамеренно надерганными цитатами можно доказать что угодно читателям, которые не знают сами ни времени, о котором идет речь, ни людей, о которых говорится. Но Шкловский-то сам тогда жил и знает все прекрасно, значит, он понимает, что он делает, и это стыдно, так как по существу то, что он пишет, явная и несправедливая неправда, рассчитанная на то, что громадное большинство современных читателей того времени не знают. И еще при этом он все время упоминает о вашей «талантливости», прикрывая этим свое пристрастное отношение к Вам, а в то же время это должно в глазах читателей усугубить Вашу мнимую вину перед Маяковским.

Ну вот, теперь я облегчила свое сердце, хотя боюсь, что причинила Вам несколько неприятных минут, напомнив о том, что хочется поскорее забыть. Я не сомневаюсь, что это и забудется, как и все нехорошее и несправедливое, что пишется.

Черкните мне, как Вы себя чувствуете, как здоровье Марии Борисовны и когда Вы собираетесь в Кисловодск. — Евг. Викт. <Тарле> придет в Москву 25-го или 26-го сентября и остановится, как всегда, в «Метрополе». Он был там в конце августа и звонил вам, но не застал.

До свиданья, дорогой Корней Иванович, передайте мой большой привет Марии Борисовне. Неужели Вы совсем разлюбили Ленинград и мне так и не придется показать Вам своих внуков, пока они в любимом Вами возрасте — «от 2-х до 5-ти»?

Жму вашу руку. *Т. Богданович.*

Е. В. ТАРЛЕ — К. И. ЧУКОВСКОМУ

9 августа 1951 г.

Милый Корней Иванович,

Всякий раз, когда счастье приводит меня в Питер, на мою настоящую квартиру, я перечитываю разных моих «вечных спутников», например Герцена, книгу Чуковского о Некрасове* etc.

И каждый раз мне кажется, что в этой книге Вы дали то, что долго Вас переживет, что это Ваша, может быть, неосознанная Вами — кульминация (как не сознавал Горький, что его кульминация — это его воспоминания о Льве Толстом, которые переживут все, что он сделал, и останутся навеки). Я снова пережил то умственное наслаждение — и такое же живое, как и в первый раз, когда покойница Танюша* мне это дала (Ваш ей подарок с надписью) и когда я ей сказал потом, что я 1) отдал эту книгу в хороший переплет и 2) никогда и никому (в том числе ей) не отдам ее, — а буду давать ей только почитать на 2–3 дня. Она поспорила, но примирилась.

В этой книге Вы дали себе простор. Вас никто и ничто не стеснял, и Вы сами себя не стесняли. И тот, кто не читал Вашей книги, не знает Некрасова и величия Некрасова с чисто эстетической стороны. Эту книгу нужно читать и брать en bloc*, как целое, и мне ничуть не мешает, что я решительно не согласен с Вами в оценке, например, «Русских женщин»* etc. Секрет таких книг, как Ваша, в их уме, в их аналитической глубине, но и в самом настоящем чувстве, которое их проникает. Сложное чувство: тут и непосредственная, целомудренно скрываемая любовь к поэту, и обида за него, и раздражение, и нетерпение не только к добротному, непроницаемому пахидерму Антоновичу*, но и к умному, учнейшему, талантливому, благородному Владимиру Соловьеву* (ни аза в глаза — увьи! — не смыслившему в поэзии, почему так охотно и писал он свои стихи, и почему М. М. Стасюлевич с таким удовольствием их печатал*. Это большое чувство сказывается и в чисто биографических экскурсах (прелестное «Вуй! Вуй!» — доктору «спекулятору» мужу Воронцовой-Дашковой etc.*)

Вот и все, что я захотел Вам написать (шут меня знает почему). Даже не знаю, в Москве ли Вы? Черкните, как Ваше здоровье? Как здоровье и самочувствие Марии Борисовны и Лидии Корне-

евны? Буду рад получить от Вас весточку. До 1 сентября буду в Питере (Ленинград 41. Дворцовая набережная, д. 30, кв. 4). А когда dokonчу работу в здешних двух архивах — вернусь в Москву. Жена Вам кланяется. Ваш Е. Т.

А. А. ТАРКОВСКИЙ — К. И. ЧУКОВСКОМУ

25/1 1960

Дорогой и глубокоуважаемый Корней Иванович!

А все-таки — я напишу Вам о «Чудо-дереве», потому что по телефону я набормотал Вам нечто нечленораздельное, и мне стыдно, боюсь получить от Вас двойку за косноязычие.

Для меня ваша книга — открытие, хотя и раньше я знал, что Ваши стихи для детей хороши, но мне казалось, что они уж не для меня: слишком давно я вышел из детского возраста. Книгу я купил ради «Крокодила», который у меня был в детстве, и прочитал «Чудо-дерево» от корки до корки, прочитал и обрадовался особенной радостью присутствия при чуде настоящей, для всех возрастов, поэзии.

Особенно — русский язык среди языков богат спрятанной чуть ли не в каждом слове метафорой, и подлинная, большая русская поэзия сильнее и смелее, чем поэзия на других языках, умеет пользоваться этим свойством так, что слова начинают светиться, загораясь одно от другого, и чем этот взаимосвет (что за дикое слово!) ощутимей, тем стихотворение мне больше по сердцу. У Блока было:

и военною славой заплакал рожок...*

у Пушкина:

Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке...*

у Некрасова:

Понапрасну ты кутала в соболь*
Соловьиное горло свое...

Сила этих примеров не только в сопряжении взаимоотдаленных смыслов, а и в том, что в словах, вошедших в стихи, как в коробках, лежат метафоры, как египетские фараоны в гробницах, и при соприкосновении гробниц фараоны просыпаются и начинают разговор. Это свойство я открыл в Ваших стихах, якобы предполагаемых только для детей:

Золоченое брюхо поглаживает...

Вдруг откуда-то летит
Маленький комарик;
И в руке его горит
Маленький фонарик...

В моем сравнении с классикой нет натяжки. Какая это блестящая поэзия!

Ваши сюжетные выдумки поразительно общечеловечны, это Шекспир для детей в лучшей интерпретации: вот силы зла, вот силы добра, вот их битва и кода судьбы.

Если бы дети по-взрослому умели объяснять свои симпатии, они бы много наговорили о классической неоспоримости Вашей поэзии, а взрослые, если бы они могли отречься от своего взрослого высокомерия, переставили бы Вас с детской полки на полку поэзии для всех возрастов.

Я теперь могу говорить о Вашей книге часами, как заведенный, и лучше меня остановить, о чем я и прошу Вас, дорогой Корней Иванович, мне трудно замолчать, когда я говорю о «Чудо-дереве». У меня есть все поводы для восхищения, Вы и сами должны это знать, Вы так на лету улавливаете все в поэзии своим оценивающим чутьем, что и своей поэзии (с наибольшей буквы) не можете не оценить по достоинству.

Спасибо Вам, что еще в моем детстве я был с Вашим «Крокодилом»: он ждал меня на моем восьмом году. Мне и теперь удивительно хорошо с Вашей книгой, где, кроме «Крокодила», так много изумительнейших стихотворений.

От всего сердца желаю Вам всего доброго.

Искренно уважающий и любящий Вас

А. Тарковский.

Э. КАЗАКЕВИЧ — К. И. ЧУКОВСКОМУ

3.III 1962 г.

Дорогой Корней Иванович!

Люди моего поколения, даже те, которые занимаются литературой, всегда несколько недооценивали ее. Она казалась им делом не совсем определенным и уж во всяком случае второстепенным, в отличие от посева ржи и прядения льна. С течением времени выяснилось, что эта странная надстройка, эта неточная наука, это самое вроде бы общедоступное и не требующее особой школы искусство не менее важно для людей, чем хлеб и штаны.

Вы — один из тех немногих людей, у которых мы учились и научились ценить и понимать свое призвание, свое великое ремесло. От вас мы узнали, что слово, написанное пером, влиятельнее, чем приказы и тюрьмы, долговечнее, чем гранит и медь; что тихое сидение у письменного стола — более захватывающее дело, чем самые чудесные путешествия и самые удивительные приключения. Потому мы и смотрели на Вас всегда как на великого седого путешественника и следопыта, сильного и хитрого, прошедшего через все бури и широты для того, чтобы нам про это рассказать.

Старость — не добродетель, она становится добродетелью, когда побеждает себя, когда сохраняет очарование молодости. У Вас такая старость.

Будьте здоровы.

Эм. Казакевич.

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН — К. И. ЧУКОВСКОМУ

16.11.65

Дорогой Корней Иванович!

Отчего же Вы никогда не дали мне прочитать Вашу книгу «От Чехова до наших дней»? Такой подарок ждал меня дома — жена достала ее здесь, в Рязани, и на время, разумеется, в издании 1908 года*.



К. И. Чуковский и А. И. Солженицын. Фотография Н. А. Решетовской.
Перedelкино. 15 июня 1969 года

Я прочел ее *с восхищением*, всякое другое слово было бы недостаточным. Я никогда не представлял себе, что в опыте нашей отечественной критики есть такое! Книга написана с блеском, при малом объеме статей она очень содержательна и чрезвычайно убедительна.

Почти все они сделаны в одном приеме: обнажается и вытягивается главный нерв автора (это достигается как будто — на взгляд — экономными средствами), а увидев его, мы, собственно, уже и не нуждаемся осматривать всю остальную массу мускулатуры. Очень здорово, очень! С опозданием в пятьдесят семь лет мне хочется Вас поздравить!!

Лично для меня эта книга объяснила и многое, чего я не знал о той литературе вовсе или не знал отчетливо. Особенно мне понравились статьи о Мережковском, Брюсове, Зайцеве, Горьком, Арцы-

башеве, Сологубе, об Андрееве, конечно, и о Чехове. И вся литературная эпоха, мне кажется, схвачена и объяснена в главном и ярко.

Спасибо!

Обнимаю Вас крепко!

Я буду рад, если это письмецо принесет Вам немножко удовольствия в это мрачное для Вас время*.

Искренне Ваш *Солженицын*.

Наталья Алексеевна шлет Вам самые добрые пожелания!

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

...Я стою в этом доме с совершенно особенным волнением, потому что именно здесь я получил, по меньшей мере четырежды, щедрый и надежный приют и защиту. Корней Иванович открыл мне свой дом в самые тяжелые дни, когда мой криминальный архив был захвачен КГБ* и очень реальна была возможность ареста. Вне его дома меня можно было смахнуть, как муху, а вот здесь не возьмешь.

Он повторно звал меня сюда еще в начале 66-го и в момент, когда я писал письмо съезду*, которое тоже могло в то время обернуться по-разному.

Трижды звал он, а в четвертый раз — в самые тяжелые предвысильные месяцы, последние четыре месяца, Лидия Корнеевна позвала меня, чтобы я имел тут приют для работы. Если я четыре месяца перед высылкой работал*, то только благодаря ей.

11 февраля 1996

Переделкино. Дом Чуковского

СЭР ИСАЙЯ БЕРЛИН — МАРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ ЧУКОВСКОЙ

10 января 1970

...Благодарю Вас за Ваше письмо о кончине Корнея Ивановича. Я познакомился с его трудами еще давно, до войны: хотя я русской литературой никогда «профессионально» не занимался, но



Корней Чуковский – в мантии доктора литературы Оксфордского университета.
Перedelкино. Лето 1960 года

как-то случайно прочел что-то его – вероятно, о Некрасове – в London Library, я сделался рабом его на жизнь: и очень обрадовался, когда опять-таки случайно меня ему представили «на каком-то официальном англо-советском обеде» – на банкете в Москве в 1945 году. И как вы знаете, очень мы были рады – я и жена моя – видеть его в Оксфорде – а ему как будто было в этом городе приятно – и англичан он понимал, и бывших, и теперешних – и писателей, и публику – как – из иностранцев – никто. И юмор его, и ирония, и отзывчивость на малейшие нюансы английского характера – все это, помимо его чисто творческой работы, было совершенно исключительно. А репутация его, несмотря и на теперешнюю ее высоту, поднимется со временем: не только потому, что соперников мало... и я помню и покупку шляпы, и All Souls*, и ужин наш с Оболенским, и лекцию в мантии* – и обожанье, которое он вызвал в душе главы моего тогдашнего колледжа...

Л. ЛЕВИЦКИЙ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ДНЕВНИКА

30 ноября 1995 года

Третьего дня дочитал дневник Чуковского. Точнее, второй том. Первый по разгильдяйству проморгал. <...> Может быть, лучшее, что написал Корней Иванович, — это дневник, который он вел изо дня в день. Встает время, и не на фоне его, а как тесно зависимое и порою (в самые лютые годы) производное от него мыслящее существо. Самое поразительное в том, что человек этот — не бесстрашный герой, готовый ради торжества излюбленной идеи поставить на карту свою собственную судьбу, судьбу своих близких, а простой смертный, отличающийся от себе подобных большим воображением и сильно развитым артистизмом. Сколько бед выпало на его долю. Сначала умерла дочка, едва ли не самая любимая. Потом на фронте погиб сын, внутренне, быть может, ему самый близкий из детей. Он пережил жену и своего первенца, старшего сына. Это по части того, что называют у нас «личной жизнью». Его шпыняли, ругательски ругали во всех газетах, призывали искоренить «чуковщину». А сколько раз прямехонько над его головой висел «дамоклов меч». Арестовали мужа его дочери Матвея Бронштейна. Один за другим исчезали люди, с которыми его связывали дружеские отношения. Он начинал в одесской прессе одновременно и вместе с Владимиром Жаботинским, а тот возьми да и окажись яростным сионистом, основателем и душой партии Бейтар. Он тесно приятельствовал с Леонидом Андреевым, который сразу же после переворота написал один из самых злых памфлетов против большевиков, в котором призывал к интервенции в Россию западных стран. Он души не чаял в Репине, а Илья Ефимович стал эмигрантом и не скрывал, что к новым хозяевам России не испытывает ничего, кроме отвращения. Чуковский чем дальше, тем лучше понимал, что никто это ему не забыл, что в любую минуту эти и многие другие подобные факты могут быть предъявлены ему как система обвинений. Страх, и без того с возрастом набиравший силу, становился все могущественнее, придушая естественные человеческие чувства и побуждения. Услышав по радио, что Пастернаку присуждена Нобелевская премия, он с внучкой рванулся к Борису Леонидовичу, чтобы одним из первых поздравить лауреата. Но когда вскоре выяснилось, что

власти не только не в восторге от решения Шведской академии, но считают его враждебной государству акцией, он не на шутку перепугался и возмущался поведением тех, кто сфотографировал его во время этого поздравления. Дневник Чуковского — это зеркало состояния нашей интеллигенции, независимой поначалу, теряющей потом голову и боящейся даже попытки осмыслить то, что происходит в стране и в ее культуре, возвращающейся к самой себе и заново обретающей свойства, какие казались уничтоженными. Начиная с шестидесятых годов Корней Иванович ведет себя все независимее. Он дает приют Солженицыну. Он защищает своим именем то, что без его поддержки вряд ли сумело бы устоять. Но даже в эти последние годы его долгой жизни страх не покидает его бесповоротно. Он лишь уменьшается в размерах. Только бессовестные персонажи и невежественные идиоты бросят за это камень в его репутацию. Он был из лучших. Виногато время, забиравшееся под ребра и вынуждавшее даже стойких гнуться.

Как он любил детей. Как умел с ними разговаривать. Самые тяжкие душевные недуги врачевались общением с детьми. А ведь это не просто факт биографии. За этим стоит психологическая реальность. Потребность в естественности. В противостоянии криводушию, фальши, лжи.

Вдобавок к этому Чуковский обладал тонким художественным чутьем. Литература была для него не только выразительницей идей, но самоценностным миром. Оттого-то столько значили для него стихи. Высокий профессионализм, литературная искусственность, знание тайн и механизмов словесного ремесла не убили в нем непосредственности восприятия. Он умел радоваться чужим текстам, восхищаться ими, то и дело читал их вслух заглядывавшим к нему посетителям. Кто-то из моих знакомцев, от которых лет через тридцать и следа не останется, с трудом скрывают скуку, когда говорят о других, и наливаются, как нарыв, переходя на собственную персону. У одних хватает ума держать это при себе и делать вид, что они не претендуют на роль литературных Колумбов, каковыми, несмотря на дипломатический камуфляж, ощущают себя. Другие настолько переполнены собой, что не в силах сдержать это внутри себя. А ведь они в сравнении с Чуковским, как лилипуты рядом с Гулливером.

ЕЛЕНА ЧУКОВСКАЯ. ТЕНЬ БУДУЩЕГО

В книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» есть глава под названием «Тараканище». Там рассказано, как Евгения Семеновна читает эту сказку дочке. Дело происходит в бараке для ссыльно-поселенцев в начале 1953 года, еще при жизни Сталина. «Всех нас поразила второй смысл стиха», — замечает автор, цитируя строки: «...покорилися звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому».

Лев Копелев, вспоминая свои тюремные годы, пишет: «В Марфинской спецтюрьме мой приятель Гумер Измайлов доказывал, что Чуковского травили и едва не посадили за сказку «Тараканище», потому что это сатира на Сталина — он тоже рыж и усат»*.

В наши дни посетители переделкинского Дома-музея Чуковского часто спрашивают: «Как он решился такое написать и как ему удалось после этого выжить?»

Газета «Господин народ» — есть и такая! — даже напечатала статью И. Андроникова «Не может быть», где уже сам Чуковский доверительно сообщает автору, что Таракан — это Сталин. Правда, очень быстро выяснилось, что Андроников такой статьи никогда не писал, а значит, и Чуковский ему ничего подобного не говорил, да и не мог говорить. Однако газета пока от опровержения воздерживается.

Живуча легенда. И жалко с ней расставаться. Но, увы, придется это сделать.

Сказка Корнея Чуковского «Тараканище» писалась в 1921–1922 годах (рукопись см. в Литературном музее, дневниковые записи о работе над «Тараканищем» в 1922 году см. в журнале «Новый мир», 1990, № 8) и была опубликована в 1923 году. Вряд ли в те годы Чуковский, далекий от партийных дел, даже слышал о Сталине, чье имя начало громко звучать лишь после смерти Ленина и загрохотало в сознании каждого в конце двадцатых годов.

«Таракан» — такой же Сталин, как любой другой диктатор в мире.

Попытки приписать сказкам Чуковского тот или иной политический смысл постоянно предпринимались в двадцатые и тридцатые годы. Вульгарно-социологическая критика убеждала читателя, что в «Крокодиле» показан мятеж генерала Корнилова, а «Муха-Цокотуха» — это прославление нэпа и кулацкого накопления.



К. Чуковский в уборе индейского вождя. Фотография Т. Золотухиной.
Переделкино. Январь 1961 года

Не переставая удивляться этим обвинениям, Чуковский писал в 1928 году: «...как беззащитна детская книга, и в каком унижении находится детский писатель, если имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика, и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл». И еще: «...не есть ли вообще Крокодил переодетый Деникин? Да, да, это высказывалось вслух — и на таких основаниях мои книги запрещались, изымались из обращения, урезывались»*.

Чуковский пытался объяснить своим прокурорам, что его сказки — не политиканские пасквили, что у него совсем другие задачи.

Но, пожалуй, этих простых объяснений недостаточно.

Нельзя не задумываться об удивительной способности искусства воплощать действительность и предугадывать будущее, нельзя не сказать о такой неуловимой субстанции, как интуиция художника.

Приведу еще одну цитату из Чуковского, которая наглядно демонстрирует мою мысль:

«Придумал сюжет продолжения своего «Крокодила». Такой: звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди – в Зоологическом саду, а звери ходят и щекочут их тросточками»*.

Это – строки из дневника 1921 года. Автор не осуществил своего замысла, не написал продолжения «Крокодила».

А если бы написал тогда же, в 1921 году?

Эта сказка могла бы впоследствии обернуться рассказом о Колыме и Магадане, которых тогда еще не было, но уже возникло многое, что их предвещало, делало их возможными.

На этих примерах видно, какие непростые связи определяют понятия реализм – фантастика, сказка – быль, прошлое – настоящее – будущее, как они переплетаются и переходят одно в другое.

Очевидно, будущее бросает свою тень на настоящее. И искусство умеет проявить эту тень раньше, чем появился тот, кто ее отбрасывает.



Корней Чуковский. Фотография М. С. Наппельбаума. 1950-е годы

КОММЕНТАРИИ

Принятые сокращения:

СС-15, № тома, год издания – *Корней Чуковский*. Собрание сочинений: В 15 т. М.: Терра–Книжный клуб, 2001–2009.

Дневник-11. – *СС-15*. Т. 11: Дневник. 1901–1921, 2006.

Дневник-12. – *СС-15*. Т. 12: Дневник. 1922–1935, 2006.

Дневник-13. – *СС-15*. Т. 13: Дневник. 1936–1969, 2007.

Письма-14. – *СС-15*. Т. 14: Письма. 1903–1925, 2008.

Письма-15. – *СС-15*. Т. 15: Письма. 1926–1969, 2009.

ИЕР–КИЧ – И. Е. Репин – К. И. Чуковский. Переписка: 1906–1929. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

КЧ–ЛЧ – Корней Чуковский – Лидия Чуковская. Переписка: 1912–1969. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

ЛП–ЛЧ – Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Чукоккала – Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2007.

ПАМЯТИ ДЕТСТВА

Лидия Чуковская. Памяти детства

Печатается по изданию: Памяти детства: Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Моск. рабочий, 1989. Отдельные главы печатались под заглавием: На морском берегу: Главы из книги «Памяти моего отца» / Предисл. Л. Пантелеева. Рис. В. Маяковского //

Семья и школа. 1972. № 9. С. 44–48; № 10. С. 46–47. Впервые отдельным изданием (без главы XVII) под заглавием «Памяти детства» — Нью-Йорк: Chalidze Publications, 1983. В России начиная с 1989 г. «Памяти детства» переиздано несколько раз.

Свои воспоминания Лидия Корнеевна начала писать вскоре после смерти Корнея Ивановича в начале 1970-х гг. Держала всегда около себя листочки, на которых отрывочно записывала без всякой системы все, что могла вспомнить о своем детстве и о своем отце. Постепенно сложилась книга. Главным в этой книге — о чем неоднократно говорила и писала Лидия Корнеевна — для нее были те главы, где рассказано, как Корней Иванович читал своим детям стихи Баратынского и Тютчева, Пушкина и Некрасова.

«Чем хороша эта книга? — писал Л. Пантелеев в предисловии к журнальной публикации. — Хороша она, на мой взгляд, прежде всего своей несомненной подлинностью, достоверностью, интимностью. Книгу написал один из самых близких Чуковскому людей. На страницах ее мы видим Корнея Ивановича не только в окружении литераторов и художников, но и в обстановке домашней, в кругу семьи. Видим его в роли отца, наставника и товарища своих детей. Видим во всей сложности его характера, во всей его прелести и со всеми изъянами. И может быть, самое главное — в книге присутствует время, десятилетия нашего века, время, которое увидели и запомнили глаза маленькой девочки» (Семья и школа. 1972. № 9. С. 44).

С. 24. *«Ведь я вам несколько сродни...»* — Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (слова Фамусова: «Ведь я ей несколько сродни...»).

С. 25. *...в приданое Вашей новорожденной дочери.* — Письмо не сохранилось, переписка Брюсова с Чуковским опубликована А. В. Лавровым в кн.: Контекст-2008. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 275–405.

«Близ медлительного Нила, там, где озеро Мериды...» — Из стихотворения В. Брюсова «Встреча».

С. 30. *...из пятого класса гимназии по дяляновскому указу о «кухаркиных детях».* — Л. К. придерживается той версии, которую Чуковский излагал в своей биографии и в автобиографическом романе «Серебряный герб» (первоначальное заглавие «Гимназия») однако циркуляр министра народного просвещения И. Д. Делянова, получивший в народе название циркуляра «о кухаркиных детях»,

был принят 18 июня 1887 г. (см.: Начальное и среднее образование в Санкт-Петербурге. XIX — начало XX века. Сборник документов. СПб., 2000. С. 162), очевидно, что Чуковский поступил в гимназию уже после его издания.

С. 31. *Семья Бориса Житкова... с которой он встретился в жизни.* — Об отношениях с Житковым см.: К. Чуковский. Детство // Жизнь и творчество Б. С. Житкова. М.: Детгиз, 1955. С. 245–264.

Я не знал ничего ни о чем. — Там же. С. 248.

Я с остервенением сажусь за свои книги... — Из письма к М. Б. Чуковской от 28 марта (10 апр.) 1904 г. (Письма-14. С. 38).

Боже мой... читать эту «Vanity Fair». — Там же.

С. 33. *...рядом с серым венгеровским Пушкиным.* — Имеется в виду издание: А. С. Пушкин. Сочинения. В 6 т. СПб., 1907–1915 (Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова).

С. 35. *...ставит пьесы (одну написал специально для нас: «Царь Пузан»).* — Пьеса была написана для домашнего театра и поставлена летом 1916 г. Пьеса не сохранилась. В 1917 г. сказка «Царь Пузан» была опубликована в журнале «Для детей» (№ 8. С. 237–244), который выходил приложением к «Ниве» и его редактором был Корней Чуковский. В середине 1960-х гг. Корней Иванович задумал заново написать эту пьесу вместе с Александром Галичем, но замысел этот не был осуществлен.

С. 37. *...в письме к приятелю он мстительно обозвал однажды «фабрикой пошляков».* — Письмо к Л. П. Гроссману от 1(14) июля 1909 г. (Письма-14. С. 191).

С. 38. *...ненавижу безделье в столь организованной форме.* — Дневник-11, 2006. С. 12. (Запись от 25 февраля 1922 г.)

С. 39. *Акцизный чиновник* — чиновник, контролировавший поступление в казну акцизов (т. е. налогов на товары широкого потребления). Непрестижность должности сделала ее в литературе XIX в. синонимом мелкого, незначительного персонажа.

С. 42. *«Частью по глупой честности...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Филантроп» (1853).

С. 45. *Никогда не забуду, как... он стал учить меня гребле...* — К. Чуковский. Детство // Жизнь и творчество Б. С. Житкова. М., 1955. С. 250–251.

С. 46. *«Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!..»* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное...» (1865).

С. 47. *...любят поэзию... дает она тем, кто умеет наслаждаться ею.* — Из статьи «О стиховом воспитании» (СС-15. Т. 2. С. 301).

С. 48. *Не обязаны ли мы передать его детям?* — Там же. С. 302.

«Дикою, грозною ласкою полны...» — Из стихотворения Е. А. Баратынского «Пироскаф» (1844).

С. 51. *«Но час настал и ты ушла из дому...»* — Из стихотворения А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).

С. 52. *«Горе горькое по свету шлялося...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Похороны» («Меж высоких хлебов затерялося...», 1861).

...в деревню под Порховом, я попала... — Имеется в виду колония для членов петроградского Дома искусств, которую весной—летом 1921 г. организовал Чуковский в имениях Холомки и Бельское Устье недалеко от г. Порхова Псковской губернии. Писатели и художники уехали тогда на лето из голодного Петрограда, что для многих стало спасением. Подробнее об этом см. главу «Холомки» в воспоминаниях Н. Чуковского (с. 259 наст. изд. и примеч. к ней).

С. 53. *«Все рождь кругом, как степь живая...»* — Из поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» (1856—1857).

С. 54. *«Сентябрь шумел, земля моя родная...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Возвращение» (1864).

«Ночи текли — звезды трепетно в бездну лучи свои сияли...» — Из стихотворения Я. П. Полонского «В день пятидесятилетнего юбилея А. А. Фета» (1889).

...высказано было Блоком в пушкинской речи... — Имеется в виду речь А. Блока «О назначении поэта», написанная в феврале 1921 г. и произнесенная впервые в Доме литераторов в 84-ю годовщину со дня смерти Пушкина.

С. 55. *«Ель рукавом мне тропинку завесила...»* — Начало стихотворения А. Фета (1891).

С. 57. *«Фонарики-сударики...»* — Из стихотворения И. Мятлева «Фонарики» (1841).

«Как яблочко румян...» — Начало стихотворения Беранже в переводе В. Курочкина (1856).

С. 58. *«Я был престранных правил...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Балет» (1866).

Бокль Генри Томас — английский историк и социолог-позитивист, двухтомный труд которого «История цивилизации в Англии» стал настольной книгой для поколения 1860-х гг.

«У царя у нашего...» — Из сатирического послания неизвестного автора «Из Москвы в Петербург».

А. Е. Тимашев (1819—1893) — в 1860—1861 гг. управляющий III Отделением «Собственной Его Величества канцелярии», резиденция которого и находилась в «Здании у Цепного моста», в д. 16 по набережной Фонтанки; в ведении III Отделения находилось расследование политических преступлений.

С. 60. «Ты в гостях у детей...» — Глава «Морской мятеж» из поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» (1926).

С. 61. ...очень «нежный» и «ребячливый отец». — Цитаты из письма к Чуковскому М. Шагинян от 9 июля 1909 г. См. с. 211 наст. изд.

С. 65. «Незнаю я предпочитаю...» — Из стихотворения Е. А. Баратынского «Девушке, которая на вопрос: как её зовут? отвечала: не знаю» (1820).

С. 66. ...встречу с ним я ощущаю как событие. — *Дневник-13*. С. 155.

С. 67. «И бо-о-оги не ведают — что он возьмет!» — Из стихотворения О. Мандельштама: «“Мороженоно!” Солнце. Воздушный би-сквит...» // *О. Мандельштам. Стихотворения*. М.; Л.: ГИЗ, 1928.

С. 70.

С. 69. На меня искусство так действует... — Из письма к М. Б. Чуковской, написанного весной 1905 г. (*Письма-14*. С. 68.)

...он написал статью «Толстой как художественный гений». — См.: *СС-15*. Т. 7. С. 350—368.

...припасть к этой старческой руке... и покрывать ее благодарными слезами. — Там же. С. 368.

В последней своей статье... — Статья «Признания старого сказочника» (*СС-15*. Т. 2. С. 364—388).

С. 70. Почему изнасиловать восьмилетнюю девочку... — Из письма В. Я. Светлову 1915 г. (*Письма-14*. С. 374).

С. 72. ...побольше благоговения к детям... — Из статьи «О детском языке» в кн. «Матерям о детских журналах» (1911). (*СС-15*. Т. 2. С. 600.)

...детская шалость — это святее всего. — Там же. С. 586.

С. 74. «Как друг, обнявший молча друга...» — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Прощание» (1830).

С. 76. Корней Иванович побывал на «Потемкине»... — См. мемуарный очерк Чуковского «1905, июнь» (*СС-15*. Т. 4. С. 523—539),

а также его более ранний вариант: К годовщине потемкинских дней: Воспоминания очевидца // Биржевые ведомости. 1906. 15 и 16 июня, утр. вып.

... сделался редактором сатирического журнала «Сигнал»... — См. мемуарный очерк Чуковского «Сигнал» (СС-15. Т. 4. С. 540–573).

С. 82. «Россия без Пушкина». — Из письма Н. В. Гоголя к П. А. Плетневу от 27 сент. 1839 г. (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР. 1952. Т. 11: Письма 1836–1841. С. 255).

«Русское богатство», «Мир искусства», «Русская мысль», «Весы», «Аполлон» — журналы начала XX в.

С. 83. «Любо василёчки / Видеть вдоль межи...» — Из стихотворения В. Брюсова «Венок из васильков», входившего в неизданный сборник «Девятая камена» (стихи 1915–1917).

С. 84. «Пасхально лжуем... Не сон ли? Репин». — См.: Художественное наследство. Репин: В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1948–1949. С. 370.

...уйду в «мурью», больше никого мне не надо. — А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 239.

С. 85. «29 апреля... писать «под спудом»». — Там же. С. 245–246.

Скромная квадратная тетрадь... — Рисунок А. Арнштама и запись Б. Садовского факсимильно воспроизведены в издании: Чукоккала. С. 15. См. также с. 86 наст. изд.

С. 87. «Веселость едкая литературной шутки...» — Из стихотворения А. Ахматовой «Да, я любила их, те сборища ночные...».

С. 89. ...портреты Корнея Ивановича и Марии Борисовны. — Портрет К. И. Чуковского работы И. Е. Репина (1910) был отдан Чуковским на выставку Репина в Италии и по ошибке продан устроителями выставки по цене страховки. После долгих и безуспешных попыток Чуковского вернуть портрет он был на одном из зарубежных аукционов куплен Г. Вишневской и М. Ростроповичем и в настоящее время входит в их собрание, приобретенное для дворца в Стрельне. Акварельный портрет М. Б. Чуковской (1909) хранится в семье Чуковских. См. также с. 193 и 252 наст. изд.

С. 93. «Так на людей из-за огады...» — Из стихотворения А. Блока «Сердитый взор бесцветных глаз...» (1914).

«А знаете, все-таки жаль перуанца... великолепный хвост!» — Из стихотворения В. Маяковского «Гимн судье» (1915).

С. 102. ...такая цитата из Карлейля... — Эту цитату по-английски Чуковский в 1915 г. привел в письме к А. Ф. Кони (*Письма-14*. С. 354).

«Под насыпью, во рву некошеном...» — Из стихотворения А. Блока «На железной дороге» (1910).

С. 103. «...нелепый, безобразный / В однообразьи перерыв...» — Из стихотворения А. Блока «Авиатор» (1912).

С. 105. ...в статье, озаглавленной «О духовной безграмотности». — Литературная Россия. 1965. 12 июля.

С. 106. «Бедная, бедная курица!» — Из статьи Чуковского «О детском языке» в кн. «Матерям о детских журналах» (*СС-15*. Т. 2. С. 599).

С. 107. Не знают... ни судья, ни прокурор. — *Дневник-12*. С. 256. (Запись 24 января 1926 г.)

...Как было бы чудесно нам обоим... — Из письма Чуковского С. Я. Маршаку конца апреля 1929 г. (*Письма-15*. С. 163).

С. 108. ...и вдруг во мне сказалось... — Из письма Я. П. Гребенщичкову от июля 1922 г. (*Письма-14*. С. 522–523).

...и знаете ли вы, что в общем настроении жизни... — Цитата из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за декабрь 1876 г. (Гл. 1, раздел 4. «Кое-что о молодежи».)

С. 109. ...излагать чужое я не мог бы. — *Дневник-13*. С. 208. (Запись 13 декабря 1955 г.)

...открываю нечто новое, чего никто не говорил. — Там же. С. 310. (Запись от 11 февраля [марта] 1961 г.)

С. 116. Бессонница травила всю мою жизнь... — *Дневник-12*. С. 17. (Запись от 15 марта 1922 г.)

...бегал по комнате и выл часами. — *Дневник-13*. С. 93. (Запись от 13 октября 1946 г.)

С. 117. ...дурацкий череп, переменить бы — о! о! о! — *Дневник-12*. С. 143. (Запись от 17 июня 1924 г.)

С. 120. ...привык купаться «в океане стихов»... — Неточная цитата из статьи Чуковского «Признания старого сказочника» (*СС-15*. Т. 2. С. 376).

С. 121. ...статья «Литература и школа». — Здесь и далее автор цитирует и пересказывает эту статью (*СС-15*. Т. 2. С. 391–414).

С. 124. ...литература, не таблица... нужно не зубрить, а любить. — Там же. С. 405.

...предлагать... архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор. — Там же. С. 401.

С. 125. «И французы ненавидят...» — Из стихотворения А. Пушкина «Бонапарт и черногорцы» (Песни западных славян. 9).

С. 125—126. ...они достигли своей цели блистательно. — «Литература и школа» (СС-15. Т. 2. С. 402).

С. 126. «Маленькая принцесса» (1905) — повесть для детей английской писательницы Ф. Бёрнет; «Голубая цапля» — сентиментальная повесть американской писательницы Ц. В. Джемисон «Леди Джейн, или Голубая цапля» (1891, рус. пер. 1892) о детях-сиротах; «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) — роман для детей Ф. Бёрнет; «Маленькие женщины» (1869) — автобиографический роман для детей американской писательницы Л. М. Олкотт.

С. 136. «Фея пьет кофёя» — Из рассказа А. П. Чехова «Герой-барыня».

«Есть тайный порок у “Маяка”...» — Из статьи «Матерям о детских журналах» (СС-15. Т. 2. С. 585—586).

С. 138. ...В письме к поэту Петру Семьинину... — См.: Неизданные письма Корнея Чуковского: Письма к поэту Петру Андреевичу Семьинину // Стрелец. № 2. С. 219 (Париж; Москва; Нью-Йорк: Изд-во «Третья волна»).

«В мыслях моих проходя по Вселенной...» — Уолт Уитмен. Листья травы. См.: СС-15. Т. 3. С. 461.

С. 141. «А нынче все косится в сторону...» — Из стихотворения М. И. Цветаевой «Попытка ревности».

С. 142. Шевченко, Уитмен, воздухоплаваньё... — Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Сцена из исторической картины “Всемирная литература”» (1919), которое он написал для «Чукоккалы». Блок перечислял все многообразные работы, которые приходилось в это время выполнять Чуковскому, чтобы кормить семью (см.: Чукоккала. С. 236—240).

«Я смотрю добрей и безнадежней...» — Из стихотворения А. Блока «Перед судом» («Что же ты потупилась в смущеньи...», 1915).

С. 143. «Иль перечти “Женитьбу Фигаро”...» — Слова Моцарта из маленькой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

«Сам хозяин на крыльцо...» — Неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Колокольчики мои...» (1840-е).

С. 144. *«И, содрвав гонорар неумеренный... альпийских вершин!..»* — Из поэмы Н. А. Некрасова «Современники» (1877).

С. 145. *...получив оскорбительное письмо от одного литератора...* — Вероятно, имеется в виду переписка с В. Б. Шкловским после его оскорбительного выступления на лекции Чуковского о Маяковском в клубе МГУ в начале 1939 г.; Шкловский тогда обвинил Чуковского в искажении истории его отношений с Маяковским. Подробнее об этом см. в переписке К. И. Чуковского с Л. К. Чуковской от июня 1940 г. и комментарии (КЧ–ЛЧ. С. 263–264.), а также письмо К. И. Чуковского В. Б. Шкловскому конца февраля 1939 г. и комментарии (Письма-15. С. 297–298).

С. 147. *...держу себя в тисках.* — Дневник-15. С. 422. (Запись от 5 ноября 1965 г.)

...это веселье чувствуется в каждой Вашей строке. — Письмо к В. Н. Непомнящему от 21 сентября 1966 г. (Письма-15. С. 603).

Есть ли кто счастливее меня... — Дневник-11. С. 154. (Запись от 8 мая 1909 г.)

С. 154. *«Виноват!»* — *порядком струся, говорит Иван...* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Эй, Иван!» («Тип недавнего прошлого», 1867).

«Мы будем с тобой молчаливы...» — Из стихотворения А. Плещеева «Молчание» (1861).

«Старика разорит на подарки...» — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» (1846).

С. 157. *Особенно мучительно читать те письма...* — Дневник-12. С. 209. (Запись от 3 февраля 1925 г.)

С. 164. *...пошел в дети», как другие «уходили в народ.* — Перефразирована запись в дневнике: «...по-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу — и заняться детьми — читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни, а без этого — одна раздача книг — бесполезна». (Дневник-15. С. 254. Запись 26 февраля 1958 г.)

С. 165. *...отдыхать я могу только в среде детей.* — Дневник-13. С. 21. (Запись от июня 1936 г.)

...созвать к себе детей и провести с ними часов пять, шесть, семь. — Там же. С. 227. (Запись от 6 января 1957 г.)

С. 166. *...с изумлением смотрел на этот припадок стариковской ревности.* — Там же. С. 92. (Запись от 26 сентября 1946 г.)

...эти два часа я вспоминаю, как самые счастливые в Киеве. — Там же. С. 26. (Запись от 13 августа 1936 г.)

...влезали на деревья, девчонки не хуже мальчишек. — *Дневник-13*. С. 300. (Запись от 10 октября 1960 г.)

С. 168. ...одна раздача книг — бесполезна. — См. примеч. к с. 164.

Редко встречал человека... — Цитируется по: *И. Репин. Избранные письма*: В 2 т. Т. 2. М.: Искусство. 1969. С. 307—308.

С. 169. ...основное мое призвание — характеристики, литературные портреты... — Письмо к С. Я. Маршаку от декабря 1941 г. (*Письма-15*. С. 321.)

...как добросовестно и старательно я работал. — Письмо к Л. К. Чуковской от 30 октября 1968 г. (*КЧ-ЛЧ*. С. 521.)

Репин написал однажды... «...искусство я люблю... больше...» — Цитируется письмо В. В. Стасову от 27 июля 1899 г. (*И. Е. Репин, В. В. Стасов. Переписка*. Т. 3. М.; Л.: Искусство, 1950. С. 36).

«Нужно уважать детскую душу...» — Из статьи «О детском языке». Цит. по: *К. Чуковский. Лица и маски*. СПб.: Шиповник. 1914. С. 325.

С. 170. «Лекцию дописывал в поезде...» — Из письма С. М. Боткину от 22 сентября 1913 г. (*Письма-14*. С. 313).

«На самых скучных лицах меньше скуки...» — Из оды «Чуковскому» слушательницы студии Дома искусств О. Дьячковой (*Чукоккала*. С. 332).

С. 171. «Импрессионизма бояться не нужно...» — Из письма к Т. Г. Габбе от февраля 1939 г. (*Письма-15*. С. 295).

С. 171—172. «Я изучаю излюбленные приемы писателя...» — Из письма М. Горькому конца 1920 — начала 1921 г. (*Письма-14*. С. 446—447).

С. 172. «Сколько забот о стиле...» — Из письма к М. А. Стакле от 24 января 1923 г. (*Письма-14*. С. 533).

...поиски этих названий... — Далее перечисляются названия нескольких сборников статей К. Чуковского: «Критические рассказы» (1911), «Рассказы о Некрасове» (1930) и «Портреты современных писателей» (правильно — «Книга о современных писателях», 1914).

С. 174. *Папина лекция в зале Тенишевского училища...* — Если ориентироваться на время года (сравнительно теплое) и скандальный резонанс — это могла быть лекция «Искусство грядущего дня»: русские поэты-футуристы». Тенишевское училище, 5 окт. 1913.

С. 183. «*И клетчатые панталоны, / Рыдая обнимает дочь...*» — Из стихотворения О. Мандельштама «Домби и сын» (1913/1914).

С. 190. *Корней Иванович разрешил бывшему мужу одной художницы...* — Имеется в виду Николай Александрович Перевертанный-Черный, подробнее о его роли в разгроме дачи и архива Чуковского в Куоккале см. в кн: *ИЕР-КИЧ* (по именному указ.), а также записи в дневнике Чуковского (*Дневник-12*. С. 197 и по указателю имен).

С. 190–191. «*Вас тут все знают и вспоминают...*» — Из письма И. Репина К. Чуковскому от 2 (15) июля 1923 г. (*ИЕР-КИЧ*. С. 164).

С. 191. «*Я не люблю вещей...*» — Из дневниковой записи января 1925 г. о пребывании в Куоккале и у Репина в «Пенатах» (*Дневник-12*. С. 197).

С. 192. «*... Сижу один и встречаю Новый год...*» — Запись в дневнике в ночь с 31 дек. 1922 на 1 янв. 1923 г. (Там же. С. 68.)

С. 194. «*Шехерезада*», «*Киоск*», «*Храм Изиды*» — название беседок в репинских «Пенатах».

...Помните лекции?.. читали Тарханов, Леонид Андреев, А. Свирский. — Из того же письма И. Репина от 2 (15) июля 1923 г. (*ИЕР-КИЧ*. С.163).

«*Да, если бы Вы жили здесь...*» — Из письма И. Репина К. Чуковскому от 24 марта 1925 г. (Там же. С. 197.)

«*Куоккала – моя родина, мое детство...*» — Из письма К. Чуковского И. Репину от июля 1923 г. (Там же. С. 167.)

ЧУТЬЕ ЭПОХИ

Бенедикт Лившиц. Чуковский и футуристы

Отр. из кн.: *Бенедикт Лившиц, Полутораглазый стрелец*. Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. Гл. 6. С. 176–178.

С. 199. *...лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочтенные им в Петербурге и в Москве.* — 24 октября 1913 г. Чуковский прочел в Москве лекцию «Искусство грядущего дня», где сравнивал российских футуристов и американского поэта Уолта Уитмена. 5 октября в Петербурге в зале Тенишевского училища (по нашим предположениям — именно на ней и присутствовала Лида Чуковская, см. гл. XI ее воспоминаний) он еще раз повторил эту лекцию, после чего у него сложились те специфические отношения с футу-

ристами, которые описывает Лившиц и которые можно назвать «дружбой-враждой».

Чуковский принял участие в нескольких выступлениях футуристов: 3 ноября он выступал на курсах Лесгафта с лекцией при участии Д. Бурлюка (см. отчеты: *Е. Адамов «На Бурлюке» // День. 1913. 4 нояб. С. 2* и в том же номере заметку без подписи «Лекции К. И. Чуковского». С. 3). Чуковский присутствовал на премьере постановки трагедии «Владимир Маяковский» в театре «Луна-парк» 2 или 4 декабря и поместил две сочувственные рецензии в самой популярной тогда газете «Русское слово»: «Заметки читателя (1913. 3 (16) дек.) и «К. Чуковский о “футуристическом действе”» (Там же. 4 (17) дек.). Отметим, что он был тогда единственный среди известных критиков, кто всерьез писал о футуристах.

Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр. – О футуристах тогда писали едва ли не все критики, поэтому список Б. Лившица в данном случае составлен достаточно произвольно; наряду с настоящими именами критиков в нем присутствуют псевдонимы: Е. Берендеев – псевдоним Конст. Авг. Тарановского, Е. Адамов – псевдоним Евг. Ал-др. Френкеля, И. Накатов – псевдоним критика И. М. Василевского, в основном печатавшегося под псевдонимом Не-Буква.

...приговоздали к позорному столбу, обзывали и паяцем и копрофагом... – см., например, статью Б. Лившица «Дубина на голове русской критики», где о лекции Чуковского было сказано: «Очередное паясничанье г. Чуковского на Тенишевской эстраде – явление слишком заурядное и пресное, чтобы стоило говорить о нем серьезно, без обычной веселости, невольно овладевающей всяким при воспоминании о резвом би-ба-бо российской критики, не будь последний трюк его отмечен чертою, показательной для нашего «сегодня» – и об этом несколько слов. Казалось бы, не литературная честность, так профессиональный навык должен был бы подсказать милому мальчику необходимость полагать грань между лозунговыми выступлениями футуризма и его художественными достижениями, – единственный канон деятельности г. Чуковского на поприще просвещения обывателя, а посему последнему без зазрения совести преподносится крученыховский «белиматокий» под видом альфы и омеги футуристического искусства» (*Бенедикт*

Лившиц. Дубина на голову русской критики: Разоблачение клеветы // Футуристы. Первый журнал российских футуристов. М., 1914. № 1–2. С.103–104).

Копрофаг, копрофагия (от греч. *κόπρος*) – поедание животным собственных или чужих экскрементов. Упомянутая статья Лившица имела подзаголовок «Копролитический монумент». В том же номере журнала была помещена статья: *Д. Бурлюк.* Позорный столб российской критики. (Материал для истории русских литературных нравов», в нем приводился список «пригвожденных к позорному столбу» критиков, среди которых был и Чуковский.

...*Соляной Городок...* – квартал в центре Петербурга (между ул. Пестеля и наб. р. Фонтанки), где устраивались публичные лекции. Упоминание о «большом демократическом зале Соляного Городка» и описание его аудитории см. в статье В. В. Розанова «К. И. Чуковский о русской жизни и литературе» (с. 201 наст. изд.).

В. В. Розанов. К. И. Чуковский о русской жизни и литературе

Печ. по: Журнал Театра Литературно-художественного общества. Театр им. А. Суворина. 1908/1909. Вторая половина. № 8. С. 9–12.

Статья Розанова в его отношениях с Чуковским имеет некоторый подтекст: дело в том, что сам Розанов никогда не читал лекций и не выступал публично, даже в камерной аудитории Религиозно-философских собраний начала 1900-х гг. его доклады читались другими лицами в его присутствии. Еще об одном отклике Розанова на лекцию Чуковского см. далее в комментариях к очерку М. Шагинян «На лекции Чуковского».

Статья Розанова задела Чуковского, который писал ему 25 марта 1909 г. из Куоккалы: «Многоуважаемый Василий Васильевич. Откуда вы взяли, что о человеке по удовольствиям судить нельзя? Разве это случайно, что греки создали Олимпийские игры, англичане футбол, русские лапту, городки и т. д. И в чем же сказываются люди больше всего, как не в игре, развлечении? Вы говорите: в работе. Но в работе многое делается насильно, а игра, развлечение для проявления душевных особенностей дает, как говорят кадеты, «полнейший простор». Да и зачем же тогда изучать народные обряды, игры, песни, если о людях судить по развлечениям нельзя. Ну и так дальше... Я только что познакомился с Вашей ста-

тьей о Пинкертоне, видимо написанной давно, и она меня взволновала, обрадовала и замучила. Как вы счастливы, что умеете так писать» (*Письма-14*. С. 180).

Речь идет об одном из выступлений Чуковского с лекцией «Нат Пинкертон и современная литература», впервые прочитанной 8 (20) октября 1909 г. в Литературно-художественном кружке в Петербурге. Эту лекцию Чуковский повторял неоднократно в Москве и Петербурге, но даты и место последующих выступлений не зафиксированы, на одном из них в Соляном Городке и присутствовал Розанов. В 1908 г. вышло отдельное издание лекции: «Нат Пинкертон и современная литература» (СПб., 1908), спустя два года — дополненное издание: I. «Нат Пинкертон и современная литература». II. «Куда мы пришли?» (СПб., 1910). См. также: *СС-15*. Т. 7. С. 25–64.

Своим заглавием лекция и ее последующие издания обязаны имени сыщика Ната Пинкертона, серию приключенческих книжек о нем выпустил в конце XIX в. английский писатель Д. Р. Корнуэлл. В России романы о Нате Пинкертоне не столько переводились, сколько пересказывались и переписывались неизвестными авторами и выпускались отдельными сериями.

Французский фильм «Бег тещ», о котором идет речь в лекции Чуковского, в некоторых отношениях стал классикой немого кино, в нем «великий немой» опробовал новые пути в искусстве. Французский историк кино Жорж Садуль в своей «Всеобщей истории кино» атрибутирует фильм как «Состязание тещ», относя его к продукции фирмы «Гомон» производства 1907 г. (*Ж. Садуль. Всеобщая история кино*. М., 1958. Т. 1. С. 576.)

Другой историк мирового кино Жан Митри считает, что это был фильм актера и режиссера раннего французского кино Ромео Бозетти: «Его дебют в кино датируется 1905 г. Вместе со своими друзьями из мюзик-холла, среди которых были Андре Дид, Леон Мато, Грэн, Гастон Модо, он снимает преимущественно “гонки с преследованиями”, в частности “За париком”, “Бега тещ” (“La course des belles-meres”), “Бег полицейских”, которые снимались в Венсанском лесу для фирмы братьев Патэ. Эти “гонки с преследованиями” были фактически не только способом вывода фильмов из павильонов с декорациями с рисованными холстами, но и попыткой создания наибольшей площадки натурального действия с

переменной планов и быстрыми перебивками, стремительность которых была зерном собственно кинематографического ритма» (“Gaumont” – 90 ans du cinema”. “Ramsay”, “La Cinémathèque française”, 1986, p. 63). [Сообщено архивистом Госфильмофонда России Валерием Босенко, которому принадлежит и перевод].

С. 204. *Савонарола* Джироламо (1452–1498) – итальянский доминиканский священник и политический деятель, прославившийся аскетической жизнью и обличавший своих современников за греховную жизнь, потакание собственным слабостям и любовь к роскоши.

С. 205. «*Так говорит Заратустра*» – заглавие наиболее известной книги Ф. Ницше (1844–1889), где пересматривались ценности гуманистической культуры, предсказывалось рождение сверхчеловека и новой системы моральных ценностей для избранных. Розанов иронизирует над проникновением аристократических идей Ницше в обывательскую среду.

С. 206. «*Толпу ругали все поэты...*» – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

Да не говорил ли уже и Христос о том, что некоторая земля бывает «каменистая»... – Розанов имеет в виду притчу о сеятеле из Евангелия от Луки: вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, не успев взойти, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю, взошло и принесло плод сторицей (Лк. 8: 5–8). Под семенем подразумевается Слово Божие, которое проповедовал Христос, и там, где сердца были зачерствевшие («каменистая земля»), Слово Божие не дало всходов.

С. 207. ...*наподобие Иеремии*: «*Погиб народ мой, погиб Иерусалим!*» – Ветхозаветный иудейский пророк Иеремия обличал пороки своего народа и его царей накануне и в период вавилонского нашествия и разрушения Иерусалима. История его жизни и деяний изложена в «Книге пророка Иеремии» и книге «Плач Иеремии»; обе входят в состав Ветхого Завета.

С. 208. ...*известный картежник, Тимофей Николаевич Грановский...* – Выдающийся русский историк, Т. Н. Грановский, представитель блестящей плеяды профессоров Московского университета, авторитетный общественный деятель 1840-х гг., по воспомина-

ниям А. Я. Панаевой, страдал наследственной страстью к картам: «Отец Грановского имел страсть к картам и проиграл все свое состояние» (А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания / Вст. ст., ред. текста и коммент. К. Чуковского. М., 1956. С. 138). Зная это, Грановский долго удерживал себя от азартных игр, но в конце жизни пристрастился к картам и проигрывал большие суммы. (Там же. С. 191–192.)

...современный Петрушка... — персонаж народных кукольных представлений.

С. 209. ...царевич Налъ, муж благородной Дамаянти, проиграл свое царство в кости. — Герои одного из эпизодов древнеиндийской эпической поэмы «Махабхарата», русскому читателю более известные по сказке В. А. Жуковского «Налъ и Дамаянти» (1837–1841). Имеется в виду один из главных эпизодов: злой бог Кали, желая отомстить царевичу Налю за то, что Дамаянти выбрала его в мужья, предпочтя его богу Кали, вселился в Дамаянти, имевшего пристрастие к игре в кости, и заставил его проиграть все царство, так что он вынужден был покинуть вместе с Дамаянти дворец и уйти странствовать нищим и нагим.

С. 210. *Водопад Виктория* — самый большой в мире водопад на реке Замбези в Южной Африке.

Мариэтта Шагинян. Чутье эпохи

Печатается впервые по оригиналам: ОР РГБ. Ф. 620. К. 73. Ед. хр. 9.

Переписка Чуковского и Шагинян началась в 1909 г., после того как Шагинян послала Чуковскому свой первый сборник стихов «Первые встречи: Стихи 1906–1908» (М., 1909), Чуковский откликнулся письмом от 2 (15) июня 1909 г., ответом на которое и стало письмо Шагинян от 9 июня. Письма Чуковского к Шагинян опубликованы, см.: (*Письма-14*).

С. 211. ...как это Вы можете читать «дамские английские романы»... — Из письма Чуковского от 1 (14) июля 1909 г.: «Я теперь скучаю, читаю от тоски дамские английские романы» (*Письма-14*. С. 191).

... «мальчик Коля и дочь Лиды»... — Цитата из того же письма Чуковского.

...когда читала Ваши негодования по поводу детских журналов. — Имеются в виду статьи Чуковского о детских журналах, которые

печатались в течение нескольких лет: «Детские журналы» (Речь. 1907. 23 дек. (5 янв. 1908); «Спасите детей» (Речь. 1909. 19 янв. (1 февр.); «Бог и Дитя» (Речь. 1909. 1 (14) янв.). В 1911 г. статьи были собраны в книгу: «Матерям о детских журналах» (см.: СС-15. Т. 2. С.543–600).

С. 212. ... *О Вашем «секрете»... несколько легкомысленный Ваш отзыв о «Чуковском»...* — В письме от 18 июля (1 августа) Чуковский писал: «Вы обо мне пишете как о писателе, и даже, пожалуй, хорошо. Но, милая, ведь это неверно, ведь я еще ни *одной* строчки не написал, т. е. очень хочу, но до того знаю, что не напишу, — что уж даже и не хочу. Я только притворяюсь перед другими, будто я “писатель” и будто “Чуковский” — это что-то такое. Но перед собою, перед своими — Вами, Зинаидой Николаевной <Гиппиус>, Философовым, зачем же я стану притворяться! Пусть это будет наш секрет» (*Письма-14*. С. 194).

... *от Пинкертоне до Иоганна Мюллера...* — О Пинкертоне см. в примечаниях к статье Розанова; *Иоганн Мюллер* — немецкий ученый-физиолог, создатель концепции, согласно которой органы чувств обладают особым рода энергией.

С. 214. ... *идет к... Гаршину и Короленко.* — Свою лекцию о Гаршине, прочитанную в Куоккале в присутствии Розанова, Чуковский упоминал в цитированном выше письме от 18 июля (1 августа); статья «О Владимире Короленко» опубли.: Русская мысль. 1908. № 9 С. 126–139.

Мариэтта Шагинян. На лекции Чуковского

Отр. из кн.: *Мариэтта Шагинян*. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1: Человек и время. М.: Худож. литература, 1986. (Гл. 4. Петербург. 5. С. 360–361).

Книга М. Шагинян имеет вид дневника, но записи явно дополнялись, поскольку упоминаются литературные явления последующих лет. Несмотря на свою краткость, эта запись и примыкающие к ней отрывки из писем («Чутье эпохи» в наст. изд.) являются едва ли не единственной попыткой дать историко-литературную оценку критическому наследию Чуковского.

С. 214. ... *3 октября в «Новом времени»... появилась статья Розанова о Корнее Чуковском.* — Имеется в виду статья В. В. Розанова «Обидчик и обиженные»: «... Чуковский все возвращается как-то в мелочах, в

истинных, но мелких частях писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертывает фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда, что и “торчит прорешка”, и даже торчит предательский уголок рубашки через нее. Все это так. Но ведь суть... не в пуговицах. Роковую сторону Чуковского составляет то, что он никак не может коснуться важного в писателях. Точно тут ему Господь положил “предел”. В Чуковском есть что-то полицейски-надзирательское, роющееся в “документах”... Но пока роль Чуковского представляется мне очень утилитарною: не навечно, а на некоторые годы... Дело в том, что у нас действительно развелось очень много “бла-а-родных литераторов”, сделавшихся таковыми оттого, что есть существо чернил и есть существо бумаги. “От сочетания чернил и бумаги выходит литература”. Это не совсем так. Словом, есть много писателей, и *состоящих* только из пуговиц, нашивок, кантиков и вообще всей сбрауи литературы. “Мундир” есть, а под мундиром души нет. Об этом думалось годы, об этом плакалось годы. Но так как “мундир” был в исправности, то даже не приходило на ум, как же справиться с этим горем, как его вытравить, как его убить. Не приходило самой формулы дела на ум. Все так “безукоризненны”, а уже давно одни “мундиры”... Чуковский с каким-то специальным даром, специальною лупою пришел, чтобы сделать это крайне нужное в литературе дело отделения “настоящего” от “ненастоящего”... Тут может быть играют и чудную роль даже его отрицательные, антипатичные дары, без которых он не мог бы ничего сделать. Да, я люблю документ. Да, где я копаюсь — нехорошо пахнет. Это моя судьба, и, наконец, мой горб. Но чтобы съесть труп, нужна гиена. Благодарите, люди, что около вас бродит она: иначе вы погибли бы от чумы. Условия нашего здоровья. И все должны оглянуться с благодарностью на черный путь Чуковского» (Новое время. 1909. 3 (16) окт.).

С. 215. ...с изюминкой одесского юмора... вскормил авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца»... — В данном случае Шагинян ошибается, хотя Чуковский и провел детство и юность в Одессе (он родился в Петербурге), но Одессу и одесский юмор не любил, о чем сказано в воспоминаниях Л. К. Чуковской.

Из парадоксальности молодого критика... позднее возникли и оформились многие литературные течения. — Это наблюдение заслужи-

вает внимания, далее Шагинян говорит о связи критического метода Чуковского и русских формалистов, которые стали изучать форму произведения (в ее формулировке «как») в противовес революционно-демократической критике, которая занималась исключительно его содержанием (в ее терминологии «что»). Но при этом сами формалисты не только отрицали свою связь с Чуковским, но и нападали на его критические приемы.

С. 216 ...*фаллический прием критики... характерен только для самого Розанова.* — Одна из центральных тем Розанова — проблема пола. Он сам писал о себе: «Ведь сочинения мои замешены не на воде и даже не на крови человеческой, а на *семени человеческом*». (Опавшие листья. Короб первый // В. В. Розанов. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 273).

Вячеслав Иванов. «Чуковский, Аристарх прилежный...»

Впервые: Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Искусство, 1979. С. 252–254.

Чуковский писал об этом экспромте: «...Как известно, в Древней Греции существовало два типа критиков: Аристарх и Зоил. Аристарх был благодушен, справедлив, работающ. Зоил, напротив, отличался мелочной и недоброй придирчивостью. Язвительность экспромта Вяч. Иванова в том, что, назвав меня в первой строфе Аристархом, он в последующей приравнял меня к Зоилу» (Чукоккала. С. 324).

НЕКОМНАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ИЛИ БЕЛЫЙ ВОЛК

Евг. Шварц. Некомнатный человек

Печатается по: Нева. 1957. № 3. С. 202–203.

Забытая статья Шварца «Некомнатный человек» на самом деле очень важна для понимания очерка «Белый волк»: она оставляет впечатление конспекта этого **неопубликованного** тогда еще очерка, в котором все плюсы изменены на минусы. Очевидно, что Шварц в обоих случаях опирается на одни и те же эпизоды и описывает одни и те же черты характера и образа жизни Чуковского, но описывает как бы с обратным знаком. В «Некомнатном человеке», как и в «Белом волке» упоминается студия Дома искусств, вы-

ступление М. Зошенко с докладом о Надсоне (здесь его имя не раскрыто), исключительная трудоспособность Чуковского, работавшего сразу над несколькими сюжетами, бесконечная правка собственных статей, мучительный творческий процесс. Но в «Некомнатном человеке» все эти сюжеты упоминаются бегло, а главное — все кончается во здравие. Тем удивительнее, как все те же качества в «Белом волке» вырастают чуть ли не в обвинительный акт.

Как представляется, объяснение надо искать не в лицемерии Шварца, не в каком-либо давлении, ведь он мог отказаться писать юбилейную статью, в то время в Ленинграде еще было кому прийти на смену. Несовпадение оценок связано с тем, что Шварц прежде всего художник, и в «Белом волке» перед нами художественный персонаж, сконструированный на основе опыта работы у Чуковского, и не случайно единственная известная на сегодняшний день машинописная копия имеет подзаголовок «рассказ». Этот очерк гораздо больше говорит о самом Шварце начала 1920-х гг., чем о Чуковском. Написав «Белого волка», он неожиданно столкнулся во время одной из поездок с самим Чуковским, который предстал перед ним в совершенно ином свете, и, возможно, чувство вины за ту карикатуру, которая уже была написана, заставило его согласиться на эту своеобразную «работу над ошибками». Поэтому нет смысла снабжать «Некомнатного человека» отдельными комментариями, они, по существу, будут повторены в примечаниях к статье «Белый волк».

С. 223. ...как познакомился некогда в Англии с автором книги. — Чуковский познакомился с Конан Дойлом в 1916 г. во время визита в Англию в составе делегации писателей. 9 (22) февраля 1916 г. он писал жене: «...вчера в Refoqm Club — русско-английское общество давало нам обед сверхъестественный. Рядом со мною сидел Конан Дойль, автор Шерлока...» (*Письма-14*. С. 385). Подробнее о встрече Чуковского с Конан Дойлом см.: *Чукоккала*. С. 183–184. (На С. 185 сохранился автограф Конан Дойла.)

Евг. Шварц. Белый волк

Впервые: Память: Исторический сборник. Вып. 3. Москва; Париж: YMCA-Press, 1978. С. 290–325. С разночтениями впервые в России в составе дневниковых записей в кн.: *Евг. Шварц. Живу*

беспокойно... Из дневников. Сов. писатель, Ленинградское отделение, 1990. С. 270–281. Также в кн.: *Евг. Шварц*. Позвонки минувших дней. М.: Вагриус, 2008. С. 145–154, где дневниковые подневные записи Шварца превращены в связный текст. Печатается по машинописной копии из архива Е. Л. Шварца, предоставленной Н. Н. Заболоцкой, которой приносим свою благодарность. Имевшийся в ее распоряжении оригинал в настоящее время хранится в ленинградском архиве «Двадцатый век». Машинопись не имеет помет автора, на отдельном листе машинописное заглавие: «Белый волк. Рассказ». После смерти Е. Л. Шварца 15 января 1958 г. очерк попал в самиздат, кто передал его в альманах «Память», точно установить не удалось, есть предположения, что вместе с воспоминаниями Л. Пантелеева «Две встречи» его передали И. Серман и его жена Р. Зернова. В сборники воспоминаний о Корнее Чуковском «Белый волк» не включался. Здесь использованы комментарии Д. Зубарева, опубликованные в альманахе «Память» под псевдонимом В. Воронин.

С. 224. *Когда в 1922 году наш театр закрылся...* – Шварц прибыл в Петроград вместе с ростовским театром «Театральная мастерская», который выступал в Петрограде в сезон 1921–1922 гг. Шварц подробно описывал в дневнике закрытие театра весной 1922 г.

С. 225. *...статья для «Всемирной литературы»... пьесы Синга... примечания к воспоминаниям Панаевой... детские стихи.* – Чуковскому как единственному кормильцу большой семьи приходилось работать в самых разных жанрах. Он заведовал англо-американским отделом в издательстве «Всемирная литература», где печатались и его переводы. В данном случае речь шла скорее всего об издании О. Генри: в издательстве «Всемирная литература» в переводах Чуковского вышли сборники «Короли и капуста» (1923) и «Рассказы жулика» (1924), а также пьеса Д. Синга «Герой» (1923); «Воспоминания» А. Я. Панаевой-Головачевой впервые напечатаны в 1927 г. в издательстве «Академия»; в 1923 г. в издательстве «Радуга» опубликованы детские сказки «Мойдодыр» и «Тараканище».

Он людей ненавидел... И к первенцу Коле, и к Лиде... – после публикации двух сборников воспоминаний о К. Чуковском, его переписки с дочерью Л. К. Чуковской (КЧ–ЛЧ) и ее воспоминаний «Памяти детства», переписки с Н. К. Чуковским и его воспоминаний (в кн.: *Н. Чуковский*. О том, что видел. М., 2005), воспоминаний вну-

ков, в том числе и в настоящем издании, трудно понять, что хотел этим сказать Шварц.

Самум – горячий, сухой, насыщенный пылью ветер в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова.

С. 226. ...с письмом, что послал он за границу Алексею Толстому... – Писатель Алексей Толстой с 1919 г. жил в эмиграции, заведовал литературным приложением к газете «Накануне», которая издавалась группой «Смена веx» при содействии Наркомата иностранных дел СССР. Газета пропагандировала идеи сближения с советской Россией, а сам А. Толстой выражал готовность в нее вернуться. Чуковский в частном письме к писателю, написанном в мае 1922 г., горячо поддержал идею его возвращения на родину и довольно язвительно охарактеризовал многих своих коллег по Дому искусств, с которыми находился в затяжном конфликте. Толстой это письмо опубликовал без разрешения Чуковского в литературном приложении к «Накануне» (1922. 4 июня). О положении, в котором оказался Чуковский, Вс. Иванов писал А. Толстому: «А с письмом Чуковского... – переполох и вздохи. Чуков<ский> трус, бегаёт, даёт объяснения, и вообще тоскливая ерунда. А ведь хуже всего, что *все почти* соглашаются, что всё правда...» («Я глубоко верю в Россию...»). Письма Всеволода Иванова Алексею Толстому / Вст. ст., публ. и коммент. Е. Погорельской // Вопросы литературы. 2007. № 2. С. 18.)

Дом искусств и Дом литераторов. – О Доме искусств см. в примеч. к воспоминаниям Н. Чуковского. Дом литераторов объединял главным образом журналистов, как и Дом искусств, имел общежитие и столовую, находился по адресу: Бассейная (ныне ул. Некрасова), 11.

С. 227. *Андреев жаловался на него в письмах...* – На самом деле Чуковский был мастером разгромного фельетона, фельетона-карикатуры, и его статьи задевали тех, кому они были посвящены, и редко кто способен был выслушать правду о себе. В воспоминаниях о Л. Андрееве Чуковский привел одно из его писем: «Ваш сегодняшний фельетон «Устрицы и океан» очень опечалил меня. Конечно, не за себя я опечалился... и т. д.» (СС-15. Т. 5. С. 124). Что касается упомянутого далее якобы вызова на дуэль М. Арцыбашевым, то это вымысел. На самом деле после публикации статьи Чуковского о романе Арцыбашева «Санин» друг Арцыбашева

писатель А. Каменский обвинил Чуковского в том, что он выдумал сам ту фразу, над которой издевался в своем фельетоне. Но Чуковский указал ему на страницу, и Каменский пристыженно умолк (см. об этом: *СС-15*. Т. 6. С. 6). А. Аверченко, возмущившись статьей Чуковского «Современные Ювеналы» о журнале «Сатирикон», написал в ответ статью «Печальная история. (Воспоминания Аркадия Аверченко)» в виде некролога Чуковскому. (Сатирикон. 1911. № 48. 25 нояб.)

И всегда Корней Иванович добивался того, что хотел, и дела его шли средне. — Любопытно, как это утверждение трансформируется в «Некомнатном человеке»: там Чуковский проявляет способность хлопотать за других, что полностью соответствовало реальности.

... что у него куда меньше врагов, чем ему это чудится. — На самом деле Шварц в этот момент только вступал в литературу и очень слабо представлял себе литературные нравы. Не будем говорить о сложном отношении к Чуковскому в «Доме искусств», основателем которого он был. Но в 1922 г. Н. Пунин отобрал у него ту самую комнату в «Доме искусств», о которой упоминает далее Н. Чуковский, а после того как писатели провели лето в Холомках, они устроили Чуковскому третейский суд и т. п. В 1922 г. можно указать и на вполне официальное проявление враждебности: осенью в «Правде» появилась статья всесильного тогда Л. Троцкого, где была подвергнута уничижительной критике книга Чуковского о Блоке и не только эта книга (см. в отдельном издании: *Л. Троцкий. Литература и революция*. М., 1923 и 1924); О реакции Чуковского на эту статью см. переписку с критиком В. Полонским (*Письма-15*. С. 526–528).

Может быть, Блока (вскоре после его смерти). Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все. — Эта фраза, как и слова Шварца о якобы ненависти Чуковского к собственным детям, можно оставить на совести Шварца, который, по существу, не имел ни малейшего понятия об отношениях Чуковского с писателями, о благоговейном отношении его к Льву Толстому, А. Ф. Кони, М. Альбову. Что касается Блока, то Чуковский его буквально боготворил, перед Репиным благоговел и служал ему всеми доступными способами — писал за него воспоминания и не брал за это никаких денег, приходил читать ему книги во время сеансов, развлекаая тех, кто ему позировал, и т. д.

С. 228. *«Корней Белинский»*. – В стихотворении Саши Черного «Корней Белинский» (1909–1911) были строки: «Иногда Корней Белинский / Сечет господ, цена которым грош! / Тогда гремит в нем гений исполинский / И тогой с плеч спадает макинтош!..» Действительно, Чуковский чаще всего писал о писателях не самого высокого уровня, но писал о них тогда, когда они оказывались незаслуженно вознесены критикой, когда они находились в зените славы. Но эта эпиграмма не может считаться оценкой Чуковского-критика, как и сложных отношений Саши Черного к Чуковскому, которым посвящена статья: *Ан. Иванов. Переписка Саши Черного с К. Чуковским // Новый журнал. Кн. 245. Нью-Йорк, 2006. С. 104–130.*

Что это за критик, не открывший ни одного писателя. – Справедливость этой оценки Маршака можно оспорить: Чуковский открыл, например, Л. Добычина, который даже называл его своим единственным читателем (А. Петрова. «Вы мой единственный читатель...» О письмах Л. Добычина к К. Чуковскому // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 123–142), кстати, он же первый убедил Б. Житкова записывать свои рассказы, другое дело, что он никогда не выступал в той роли «литературного наставника», каковым для многих детских писателей, в том числе и для Е. Шварца, был С. Я. Маршак.

С. 228–229. *...а пародия Измайлова на Скитальца.* – Пародия Измайлова на Скитальца впервые была опубликована в «Альманахе молодых» (СПб., 1908).

С. 229. *...рисунки к какой-то детской книге.* – Художник В. Д. Замирайло оформлял книжку: Джек, покоритель великанов: народная валийская сказка в пересказе К. Чуковского (Рис. В. Замирайло. Пг.: Эпоха, 1922).

С. 230. *...речь о графине Орловой, старой деве, замаливающей грехи отца.* – Графиня Орлова в «Воспоминаниях» А. Панаевой не упоминается, но упоминается граф Орлов, поклонник певицы Бозио. Что касается Н. О. Лернера, которого Чуковский знал еще по одесской гимназии, то он также не был филологом-профессионалом, так как окончил юридический факультет Новороссийского университета.

...легкомысленным журналистом, взявшим ношу не по плечу. – Действительно, в 1922 г. Чуковский начинал свою карьеру литературо-

веда, приступая к изучению биографии и рукописей Некрасова и «Воспоминаний» А. Панаевой, тогда он много хуже знал XIX век, чем Лернер. Но, например, Ю. Г. Оксман называл дилетантской книгу Лернера «Труды и дни Пушкина» (СПб., 1910), отмечал ее «методологическую несостоятельность» (Ю. Г. Оксман. Николай Осипович Лернер / Публ. С. И. Панова // Пушкин и его современники. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 185), и при этом высоко ценил работы К. Чуковского о Некрасове, Слепцове и др. (см.: Ю. Г. Оксман – К. И. Чуковский. Переписка. М., 2001).

С. 232. *«Журнал журналов» хвалил его...* – «Журнал журналов» выходил в 1915–1917 гг., Чуковский поместил в нем рецензию на сборник стихов С. Городецкого (1915. № 1), редактором журнала был приятель Чуковского И. Василевский (псевд. Не-Буква).

С. 234. *Тот ли это артист, о котором я читал в чеховских письмах...* – Выдающийся русский актер Владимир Николаевич Давыдов (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов, 1849–1925), ведущий актер Александринского театра в 1880–1924 гг., был одним из первых, кто признал драматургический талант Чехова, он – первый исполнитель главной роли в пьесе Чехова «Иванов» в Театре Корша, позднее в Александринском театре Давыдов исполнял роль Сорина в «Чайке» и в этой связи упомянут в письмах Чехова.

...бывшей «Квисисаны»... – «Квисисана» – ресторан на Невском проспекте, ныне в его здании находится кафе «Север».

Прошли века с тех пор, как закрылся «Новый Сатирикон». – «Новый Сатирикон» издавался в 1913–1918 гг., большинство его авторов (А. Аверченко, Н. Тэффи, О. Дымов и др.) эмигрировали.

Лева Лунц уезжал. – Один из участников группы «Серapiионовы братья» Лев Лунц уехал в середине июня 1923 г. на лечение за границу, где через год скончался (9 июня 1924 г.). Шварц не выполнил поручения Чуковского – собрать автографы всех, кто пришел в день проводов Лунца попрощаться с ним, как он объяснял тогда, потому что оставил «Чукоккалу» дома. Об этом он написал в шуточном стихотворении «Отрывок из трагедии “Секретарь XV”. Монолог секретаря», которое его патрон «приобщил» к «Чукоккале». В этом монологе Шварц посреди пира восклицает: «Чукоккала лежит в моей квартире / Нечаянно покинутая... / И трудно / Служить безукоризненно. И я / Обычно аккуратный – опозорен!» (Чукоккала. С. 412).

С. 235. ...и вот остались они на даче в Финляндии. – Драматическая судьба архива Чуковского, и в том числе – его дневников, оставшихся на даче в Куоккале, которая отошла к Финляндии, – тема особого разговора. Достаточно привести запись из дневника Чуковского от 18 мая 1923 г., времен секретарствования Шварца: «Вести о том, что разгромлена моя дача, не ужасают меня... Мне гораздо больнее, что разгромлена моя жизнь, что я не написал и тысячной доли того, что мог написать» (*Дневник-12*. С. 97).

...но лжи от всего сердца. – Поскольку во время поездки в Финляндию в 1925 г. Чуковскому удалось спасти и вывезти большую часть своего архива, в том числе – дневники, и они в настоящее время изданы, читатель имеет возможность убедиться, как ошибался Шварц в своих предположениях.

...товарищей Корнея Ивановича по работе. – Кого в 1923 г. Шварц мог называть «товарищами по работе» Чуковского – определить трудно. Дело в том, что после смерти Блока и расстрела Гумилева, в издательстве «Всемирная литература» не осталось ни одного человека, которого можно было бы назвать этим именем. Отзывы, подобные тем, которые приводит Шварц, не могли относиться к Е. Замятину, так как Чуковский неоднократно был свидетелем его романов, не могли они относиться и к А. Н. Тихонову. Мережковский, о котором идет речь дальше, никак не мог быть назван «товарищем по работе» – он был уже в эмиграции. Возможно, речь шла как раз о писателях, которыми начинал тогда заниматься Чуковский, – Некрасове, Чернышевском и др.

С. 236. ...чернеет кнопка электрического звонка. – Эта фотография Мережковского, сидящего под католическим распятием, конец которого упирается в кнопку электрического звонка для вызова услуги, неоднократно становилась причиной насмешек.

...приход «седого мальчика с душою нежной». – Неточная цитата из стихотворения З. Гиппиус «В раю земном» (1919), написанного для «Чукоккалы», где есть строки: «Голодный, безнадежный, и в Манежный, / Влачась по стыди снежной, заходил, / К седому мальчику с душою нежной... / Увы, и он меня не утолил!» (*Чукоккала*. С. 294).

...стала обливаться нас, оставшихся, грязью. – Действительно, Чуковский помогал Мережковским в трудные послереволюционные годы, о его хлопотах и исполнении их поручений целый ряд запи-

сей в дневнике 1919 г. В публицистических статьях, написанных сразу после прибытия в Польшу и последующего переезда в Париж, Мережковские обо всех, кто остался в России, отзывались враждебно.

...сегодня ему исполнилось сорок лет. – Тут, возможно, искажение памяти Шварца: в декабре 1923 г. широко отмечалось 50-летие со дня рождения В. Брюсова, и К. Чуковский послал ему поздравление (Переписка В. Я. Брюсова и К. И. Чуковского. Вст. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова // Контекст-2008. М., 2009. С. 405).

С. 237. *...слесарь в рассказе «На богомолье».* – Рассказ В. Г. Короленко называется «За иконой» (1887). В рассказе – не слесарь, а сапожник Андрей Иванович, который «за правду готов помереть во всякое время»; описано путешествие за иконой, которое Короленко совершил вместе с А. И. Богдановичем, так что о том, что слесарь Андрей Иванович наделен его чертами, было известно давно.

...ведь это Ангел Иванович Богданович. – А. И. Богданович, критик и публицист народнической ориентации, ведущий сотрудник журнала «Мир Божий». Вдова Богдановича Татьяна Александровна была воспитанницей публициста Н. Ф. Анненского, друга В. Г. Короленко. Анненские были соседями Чуковских по даче в Куоккала, и у них Чуковский близко познакомился с Короленко.

...по поводу статьи его о Блоке. – В 1922 г. вышла «Книга об Александре Блоке» (Пг.: Эпоха, 1922), материалы к которой Чуковский собирал, в том числе имея возможность задавать вопросы самому поэту во время совместной работы в издательстве «Всемирная литература» и в других культурных учреждениях этих лет. После смерти Блока в 1921 г. Чуковский написал о нем воспоминания «Последние годы Блока» (Записки мечтателей. 1922. № 6). Вместе с книгой 1922 г. они были изданы под названием «Александр Блок как человек и поэт: Введение в поэзию Блока» (Пг., 1924). Эта книга до сегодняшнего дня остается одной из лучших, написанных о поэзии Блока.

...заслуживает более сложного разбора. — Можно представить себе реакцию К. Чуковского на подобные высказывания своего молодого секретаря, если о «Книге об Александре Блоке» мать Блока А. А. Кублицкая-Пиоттух писала автору: «...в книге Вашей, по-моему, много ценного и хорошего: о «Двенадцати», о ветре, о Душе, о Серафиме, об “отъединенности”. Все эти определения

притом исключительно Ваши. Ни у кого я еще этого не встречала, не говоря уже об общей яркости, живости, талантливости, сопровождающих всякое Ваше печатное и словесное выступление (простите, что так прямо это выражаю)» (подробнее см.: *Е. Иванова*. «Торные пути» к «заморским песням» Блока // *К. Чуковский*. А. Блок как человек и поэт. М.: Русский путь, 1910. С. 4).

С. 238. ...от Саша Черного до Евгения Шварца. — Действительно, детская литература на некоторое время оказалась тогда единственным убежищем для поэтов, которые не укладывались в стандарты советской литературы, но стихи Хармса, Олейникова, как и самого Шварца, и многих из тех, кого собрал С. Маршак в издательстве «Детская литература», не всегда были детскими, хотя писать об этом в то время было невозможно. Что касается Саша Черного, то, как следует из его переписки с Чуковским, писать детские стихи он впервые начал, когда Чуковский пригласил его в журнал «Для детей», который выходил приложением к журналу «Нива» (подробнее см.: *Ан. Иванов*. Переписка Саша Черного с К. Чуковским // Новый журнал. Кн. 245. Нью-Йорк. 2006. С. 104–130).

...вражде его с Маршаком неточны. — Действительно, ни о какой враждебности Чуковского к Маршаку не могло быть и речи, но он не одобрял тот путь развития детской литературы, на который направлял ее Маршак. Историю своих отношений с Маршаком Чуковский изложил в дневниковой записи 1929 г.: «Когда я привел к Клячко, <владельцу издательства «Радуга» — Е. И.> Маршака, тогда же, в самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как долгожданного друга, издал томик его пьес и был очарован его даровитостью. Весь 1922 и 1923 г. мы работали у него с Маршаком необыкновенно дружественно, влияя друг на друга, — потом отчасти эта дружба замутилась из-за всяких злобных наговоров Бианки и отчасти Житкова... и я не то чтобы поддался их нашептываниям, но отошел от детской литературы и от всего, чем жил тогда Маршак» (*Дневник-13*. С. 279).

...вы так этого добивались! — Чуковский иронически относился к разного рода общественной деятельности Маршака, неизбежной для него как руководителя издательства «Детская литература». По предположению Д. И. Зубарева, речь шла о приеме 26 декабря 1954 г. в Большом Кремлевском дворце после окончания Второго съезда советских писателей.

С. 239. ...к старику Гладкову... — Федор Семенович Гладков, советский писатель, автор романа «Цемент» (1925). После развала Пубалта (Пубалт — Политическое управление Балтийского флота), Н. Чуковский работал в газете «Победа». Письмо от него Шварц привез, вероятно, в начале 1943 г., когда Чуковский только что вернулся в Москву после эвакуации в Ташкент. К этому времени он уже твердо был убежден, что Борис погиб. И независимо от тех слов, которые запомнил Шварц, К. Чуковский телеграфировал Н. Чуковскому 12 февраля 1943 г.: «...вызов послан, Марине хлопочу» (*Н. Чуковский. О том, что видел. С. 636*). Вероятно, хлопоты за Николая не имели успеха, но в марте 1943 г. в Москву к Чуковским перебрались жена Н. Чуковского Марина Николаевна и двое их детей — Тата (Наталья) и Гуля (Николай), в июне родился третий сын — Дмитрий. Все они жили у К. Чуковского.

...к тому времени уже погиб на фронте. — О судьбе Бориса Корневича Чуковского см. в воспоминаниях Л. К. Чуковской и Е. Б. Чуковского.

...слушая доклад Суркова на совещании о детской литературе... — А. А. Сурков в 1952 г. был заместителем Генерального секретаря ССП. Вероятно, речь идет о его докладе на Всесоюзном совещании по вопросам детской литературы 14 апреля 1952 г., с сокращениями опубл. в: Литературная газета. 1952. 15 апр.

Л. Пантелеев. О «Белом волке»

Печатается впервые по рукописи, полученной летом 1980 г. от А. И. Пантелеева. 29 июля 1980 г. Л. Пантелеев писал Л. Чуковской: «Посылаю то, что у меня написалось о “Белом волке”. Написалось не то, что хотелось, и не так, как хотелось. Не очень связано и вяловато. Без адреса. А это всегда сказывается на почерке, на голосе... Если будет оказия — сообщите, пожалуйста, Ваши замечания» (*Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 461*). В те годы Пантелеев не хотел ссылаться на заграничную публикацию воспоминаний Шварца и сам опасался печататься за границей.

С. 243. ...стол с корректурами переводов Конрада. — Чуковский написал предисловие к книге Д. Конрада «Каприз Олмейера» (Пг.; М., 1923).

ТАЛАНТ ЖИЗНИ

Николай Чуковский. Из воспоминаний

Впервые: *Н. Чуковский. Литературные воспоминания*. М., 1989. Перепечатано под загл. «Воспоминания» в кн.: *Н. Чуковский. О том, что видел*. М.: Мол. гвардия, 2005. С. 15–366). Печатается по машинописи из архива Н. Чуковского в РГАЛИ: Ф. 2541, оп. 1. Ед. хр. 96.

Николай Корнеевич Чуковский — писатель, старший сын К. Чуковского. Воспоминания начал писать в 1960-е гг., они посвящены в основном его друзьям и литературным знакомым 1920–1930-х, которые большей частью погибли в ходе репрессий 1930-х гг. Работа над воспоминаниями была прервана внезапной смертью в 1965 г., сохранились планы продолжения и неосуществленных глав. Специальных глав об отце в воспоминаниях нет, но жизнь Н. К. Чуковского в 1920-е гг. самым тесным образом связана с Домом искусств, колонией в Холомках и всеми литературными и организационными начинаниями К. Чуковского этих лет. Мы публикуем отрывки из воспоминаний Н. Чуковского, относящиеся к Корнею Ивановичу.

С. 248. *В те времена Горький был председателем правления Дома искусств...* — Дом искусств (ДИСК) — объединение писателей и художников, созданное в конце 1919 г. в Петрограде по инициативе К. Чуковского по образцу Дворца искусств в Москве. Дом искусств был создан как коммуна, периодически выдававшая своим членам продуктовые пайки, имевшая отапливаемое общежитие для его членов и столовую. При Доме искусств существовало несколько литературных студий, устраивались и художественные выставки и аукционы. Номинально председателем правления был Горький, поскольку только под его авторитет большевики выделяли разного рода блага, но практически деятельностью ДИСКА руководил избранный Высший совет.

...а членами правления были и Блок, и мой отец. — Блок и Чуковский входили в состав Высшего совета ДИСКА.

В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной... — По дневнику К. Чуковского, скарлатиной Коля заболел в конце декабря 1920 г., и тогда же его переселили в ДИСК. К. Чуковский в этот период упоминает о своих встречах с Блоком и Горьким, но все они происходили в издательстве «Всемирная литература»,

никаких упоминаний о заседании редколлегии журнала «Дом искусств» в дневнике К. Чуковского нет.

В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца. — В январе 1921 г. первый номер журнала «Дом искусств» уже вышел, и редактировали журнал Горький (номинально), Чуковский и Замятин.

Им удалось выпустить всего два номера журнала... — Оба номера журнала вышли в 1921 г., т. е. «затевались» гораздо раньше.

С. 249. *«Сарынь на кичку, / Ядреный лапоть!»* — Из поэмы Вас. Каменского «Степан Разин» (первая редакция — 1914). *Сарынь на кичку* — восклицание из жаргона волжских ушкуйников (разбойников) синонимичное «на абордаж!».

С. 250. *«Облако в штанах»* — поэма В. Маяковского (1915).

С. 251. *Отец никогда не любил Джека Лондона, считал его писателем механическим и пошловатым.* — О своем отношении к Джеку Лондону К. Чуковский написал в статье «Джек Лондон» (первоначальное заглавие «Дешевка», 1913. — *СС-15*. Т. 7. С. 219–227).

Похищение Леонардовой Джииоконды из Лувра... — В 1911 г. картина Леонардо да Винчи «Портрет Моны Лизы» («Джииоконда») был похищен из Лувра итальянцем В. Перуджа, только спустя два года картина была изъята при попытке похитителя продать ее в галерею Флоренции.

...в связи с нападением сумасшедшего на репинскую картину «Иван Грозный...». — В 1913 г. иконописец-старообрядец А. Балашов нанес три удара ножом картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая находилась в собрании Третьяковской галереи. Репину пришлось потом переписывать лицо Грозного.

С. 252. *«Мистерию-буфф», «150000000», «В сто сорок солнц закат пылал»...* — упоминаются пьеса «Мистерия-буфф» (1918), поэма «150000000» (1921), стихотворение «Необычайное приключение...» (1920) В. Маяковского.

Матчиш — матросский танец.

С. 253. *...на спектакле пьесы «Клоп» в Выборгском Доме культуры...* — Возможно, речь идет о спектакле «Клоп» 25 ноября 1929 г. в филиале Большого драмтеатра, в постановке В. Лютце (В. А. Катанян. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М.: Сов. писатель, 1985. С. 472). По записи Л. Ю. Брик, Маяковский ушел со спектакля, не досмотрев до конца (Там же. С. 587).

С. 254. *Дом искусств, Клуб Дома искусств, Литературная студия Дома искусств... основанные по инициативе Горького...* — Инициатором создания этих объединений был К. Чуковский, но поскольку в те годы они могли создаваться исключительно под авторитет М. Горького, он и согласился быть председателем ДИСКА. Точно так же и в годы, когда писал свои воспоминания Н. Чуковский, вспоминать подобные объединения было возможно, только если они были осенены именем Горького.

С. 255. *...прием, устроенный петроградскими литераторами во главе с Горьким в честь приехавшего в Советскую Россию Герберта Уэллса.* — Прием в честь посетившего Россию по приглашению М. Горького английского писателя Герберта Уэллса состоялся в Доме искусств 30 сентября 1920 г., на приеме выступали М. Горький, К. Чуковский, С. Ольденбург, В. Шкловский, А. Амфитеатров и др. (Литературная жизнь России 1920-х гг., Москва и Петроград 1917–1920 гг. М., 2005. Т.1. Часть 1. С. 626).

Уэллс приехал в Петроград вместе с сыном, юношей девятнадцати лет. — Уэллса сопровождал его сын — Джорж Филипп Уэллс, домашнее имя Джип.

...отцу проще всего было свести их к нам, в бывшее Тенишевское училище... — Тенишевское коммерческое училище основано в 1898 г. кн. В. Н. Тенишевым, до 1917 г. здесь обучались только мальчики, после революции преобразовано в 15-ю единую трудовую школу.

С. 256. *Петросовет* — Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, после Октябрьской революции высший руководящий орган управления городским хозяйством.

С. 257. *...стол был накрыт в большой елисеевской столовой со всей пышностью елисеевской обстановки.* — Дом искусств занимал здание бывшего особняка купца Елисеева по адресу: Мойка, 59.

Помню только, что среди говоривших был и правый эсер Питирим Сорокин. — Присутствие, а тем более выступление известного социолога Питирима Сорокина не зафиксировано ни в одном из отчетов. Н. Чуковский перепутал его с писателем А. Амфитеатовым, который действительно выступил с речью, о чем присутствовавшая на приеме переводчица А. Оношкович-Яцына записала в дневнике: «Амфитеатров сказал чудную речь, которую Горький предпочел даже не переводить для Уэллса («...вы попали в лапы доминирующей партии и не увидите настоящую жизнь, весь ужас нашего положе-

ния, а только бутафорию»... Шкловский, *enfant terrible* (ужасный ребенок — *франц.*), ругал Антанту...» (А. И. Оношкович-Яцына. Дневник: 1919—1927 / Публ. Н. К. Телетовой // Минувшее. Ист. альманах. М.: СПб., 1993. Вып. 13. С. 385).

Не помню, говорил ли он сам что-нибудь. — Согласно записям А. И. Оношкович-Яцыной, «Уэллс говорил о нашем *bad government* (плохом правительстве — *англ.*), что М. И. Бенкендорф дипломатично пропустила, переведя... как “великий опыт”» (Там же). В отчеты выступление Уэллса не попало.

...отец показал мне книжонку Уэллса «Russia in the dark»... — Книга Г. Уэллса «Россия во мгле» (1921).

...отец был оскорблен этой книгой. Уэллс не поверил ему, не поверил ничему, что видел. — По поводу посещения Тенишевского училища Г. Уэллс писал: «Как только я приехал в Петроград, я попросил показать мне школу, и это было сделано на следующий день; я уехал оттуда с самым неблагоприятным впечатлением. Школа была исключительно хорошо оборудована... дети казались смыслеными и хорошо развитыми. ...Я решил, что мне показали специально подготовленную для моего посещения школу ... Человек, сопровождавший нас во время этого визита, начал спрашивать детей об английской литературе и их любимых писателях. Одно имя господствовало над всеми остальными. Мое собственное. Такие незначительные персоны, как Мильтон, Диккенс, Шекспир, копошились у ног этого литературного колосса. Опрос продолжался, и дети перечислили названия доброй дюжины моих книг. Тут я заявил, что абсолютно удовлетворен всем, что видел и слышал, и не желаю больше ничего осматривать — ибо, в самом деле, чего еще я мог желать? — и покинул школу с натянутой улыбкой, возмущенный организаторами этого посещения. Через три дня я внезапно отменил всю свою утреннюю программу и потребовал, чтобы мне немедленно показали другую школу, любую школу поблизости. ...Все в этой школе производило несравненно лучшее впечатление. Под конец мы решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса среди русских подростков. Никто из этих детей никогда не слышал о нем. В школьной библиотеке не было ни одной его книги. Это окончательно убедило меня в том, что я нахожусь в совершенно нормальном учебном заведении. Теперь я понял, что в первой школе меня вовсе не хотели ввести в заблуж-

дение относительно состояния обучения в России, как я решил в гневе, а все произошло потому, что мой литературный друг, критик г. Чуковский, горячо желая показать мне, как меня любят в России, подготовил эту невинную инсценировку, слегка позабыв о всей серьезности моей миссии». Чуковский неоднократно пробовал возражать против этих слов Уэллса. В разное время миф Уэллса о якобы подготовленной для него инсценировке пробовали опровергнуть присутствовавшие на встрече с Уэллсом школьники – С. Я. Дрейден, В. С. Познер, Е. Н. Лунц, но и их голоса не смогли заставить Уэллса отказаться от своих слов. Подробно эту историю Чуковский изложил в статье «Фантазмагория Герберта Уэллса» (Литературная Россия. 1964. 25 сент. С. 10).

... в доме Мурузи на Литейном... – Доходный дом кн. А. Д. Мурузи находится по адресу: Литейный просп., 24.

С. 258. *...лучшим был признан сонет Миши Слонимского.* – См.: М. Слонимский. На встрече Нового года. (Буриме) «Для нас Чуковский – Новый год / Его мы радостно встречаем...» (Чукоккала. С. 334).

С. 259. *Холомки.* – Основатель Петербургского политехнического института князь А. Г. Гагарин в 1911 г. вместе с женой М. Д. Гагариной организовали в Петербурге художественные мастерские, некоторых из участников объединения Гагарины приглашали на лето в Холомки. Чаще других там бывал М. В. Добужинский с семьей, автор нескольких семейных портретов Гагариных и окрестных пейзажей. Князь Гагарин имел какие-то заслуги перед революционерами, и ему была выдана охранная грамота за подписью В. И. Ленина, запрещающая выселять его из имения. Однако после его кончины в декабре 1920 г. попытки выселить его семью из Холомков приняли более настойчивый характер. М. В. Добужинскому пришла мысль организовать в Холомках колонию для членов ДИСКА, и он поделился своими планами с Чуковским. Первая поездка с Добужинским в Холомки с 15 февраля по 4 марта подробно описана в дневнике Чуковского (*Дневник-11*. С. 321–325). Однако когда в Холомки весной 1921 г. приехала семья Чуковского, вместо дома их поселили во флигель и оказалось, что весь дом Гагариных занят художниками, членами их семей и прислугой. Тогда Чуковский добился выделения им полуразрушенного дома князей Васильчиковых в Бельском Устье, сделал кое-какой ремонт, и

приезжающие писатели стали селиться там. Однако инициатива Чуковского оказалась наказуемой, и ему пришлось нести на себе все хозяйственные хлопоты (см. записи в дневнике с 3 июля и до возвращения в Петербург осенью 1921 г., *Дневник-11*. С. 351–366). В частности, он добился выделения писателям продуктов, в том числе молока, круп и яблок.

...меняя вещи на продукты. — Чуковский подробно описал, как во время своей первой поездки пытался обменять вещи на продукты (*Дневник-11*. С.321–325).

С. 260. *...мешок гвоздей и четыре стальные косы.* — По записям в дневнике Чуковского, гвозди были использованы для ремонта дома в Бельском Устье.

Холомки были открытием художника Добужинского. — Действительно, идея открыть колонию в Холомках, чтобы защитить Гагариных от выселения, принадлежала Добужинскому, но хозяйственная деятельность по организации колонии оказалась полностью на плечах Чуковского.

...А.В. Луначарского, который выдал им охранную грамоту. — Охранная грамота, выданная кн. А. Г. Гагарину, была подписана Лениным.

Старый князь уже умер, а старшие сыновья были в бегах за границей. — А. Гагарин умер в декабре 1920 г., его сын был арестован ГПУ, но сумел сбежать из тюрьмы и эмигрировать. Позднее к нему присоединились кн. М. Д. Гагарина и ее дочь София.

С. 261. *С... Волошиным я познакомился осенью 1922 года во время его первого после революции и Гражданской войны приезда в Петроград.* — Первая поездка М. А. Волошина в Петроград (Ленинград) состоялась в апреле 1924 г.

...именно как фельдшерница... ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой. — Мария Степановна познакомилась с Волошиным в Феодосии, и только сблизившись с ним, стала ухаживать за его больной матерью.

С. 262. «Аполлон» — литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1909–1918 гг., на страницах которого печатались поэты-символисты и акмеисты.

Марья Степановна запела, и пение ее привело отца в восторг. — К. Чуковский познакомился с пением М. С. Волошиной раньше, когда в конце лета 1923 г. отдыхал в Доме поэта в Коктебеле, где

прожил почти весь сентябрь. В его дневниковых записях неоднократно с иронией упоминается о стремлении М. Волошина читать всем свои стихи, которые не слишком нравились Чуковскому (*Дневник-15*. С. 100–102, 104–106).

«*Зарю-заряницу*» — стихотворение Ф. Сологуба, К. Чуковский услышал в исполнении М.С. Волошиной тогда же в Коктебеле и писал об этом в дневнике: «она поет стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил ее спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю» (*Дневник-15*. С. 105).

С. 263. *Однако он получил приглашение пожить у них...* — Ошибка памяти автора: К. Чуковский был в Коктебеле до приезда Волошиных в Петроград (Ленинград).

Я познакомился и подружился с ним сразу после его приезда в Петроград в 1922 году... — О приезде Шварца в Петроград см. примеч. к с. 224. Шварц писал в воспоминаниях «Белый волк», что секретарем К. Чуковского он стал весной 1922 г. (см. наст. изд. С. 224).

С. 264. *Он сразу появился и у серапионов, и у Наппельбаумов, и в клубе Дома искусств.* — Перечислены объединения, сложившиеся вокруг литературных студий ДИСКА. Серапионы — участники объединения «Серапионовы братья», в него входили К. Федин, М. Слонимский, Вс. Иванов, В. Каверин и Л. Лунц, Н. Никитин. Первый вечер «Серапионовых братьев» состоялся 19 октября 1921 г. в Доме искусств, но заседания с чтением произведений проходили и до этого (подробнее см.: *Е. Р. Обатнина*. «Серапионовы братья»: Хроника творческой деятельности (1921–1926) // «Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома. Материалы. Исследования. Публикации. СПб., 1998. С. 111–146). В доме семьи известного фотохудожника М. С. Наппельбаума собирались друзья его дочерей Иды и Федерики, поэтесс и участниц студии «Звучащая раковина» при Доме искусств, которой руководил Н. С. Гумилев. В воспоминаниях Н. Чуковского этим собраниям посвящена глава «Салон Наппельбаумов» (*Н. Чуковский*. О том, что видел. С. 113–125).

Клуб Дома искусств — собирательное название студийных кружков и вечеров, которые устаивались в Доме искусств.

С. 265. *Серго Курткидзе, говорившего: «Архидерей такой интеллигентный человек — префрасно ко мне относится».* — Н. Чуковский писал:

«Серго Курткидзе был сосед Стенича по коммунальной квартире, и Стенич создал о нем один из своих блистательнейших мифов» (Н. Чуковский. О том, что видел. С. 253). Приведенные слова — образец подобного мифотворчества.

Л. Пантелеев. Седовласый мальчик

Впервые см.: Звезда. 1973. № 6. С. 201–205. Из-за упоминания имени Л. К. Чуковской, которое автор отказался снять, воспоминания не входили в сборники о Чуковском. Заглавие отсылает к уже упоминавшемуся стихотворению З. Гиппиус «В раю земном» (см. примеч. к с. 236 наст. изд.).

С. 272. ... *пишет в далекую заморскую Италию, Алексею Максимовичу Горькому...* — «Слыхали ли Вы о “Республике Шкид”, которая выйдет на днях в Госиздате? — писал Чуковский Горькому. — Если хотите, я пришлю Вам эту книгу. “Шкид” — это Школа имени Достоевского для нравственно дефективных детей, то есть для мазуриков, карманников и пр. Двое из этих «дефективных» написали великолепную книгу для юношества о своем пребывании в Шкиде. Написали весело и ярко. По-моему, эту книгу непременно надо перевести на все языки. Книга в своем роде потрясающая и, как человеческий документ, не имеет себе равных... Если книга понравится Вам и Вы посоветуете перевести ее на английский язык, я могу найти переводчика: англичанина, знающего советский быт (*Письма-15*, 2009. С. 96–97. Письмо от 14 декабря 1926 г.)

... *говорит о «щедром подарке» более горячо, чем в письме.* — Запись в дневнике Чуковского: «10 апреля 1960. От Пантелеева — шоколад и три ящика игрушек для библиотеки. Какой щедрый и горячий человек. А когда смотрел библиотеку, был сумрачен и могильно-молчалив. Я был уверен, что ему не понравилось...» (*Дневник-13*, 2007. С. 311).

С. 277. «... *это должно быть вкрадчивое и любезное уничтожение нашего деревянного Мити.*». — *Письма-14*. С. 335 (март 1914.)

Л. Пантелеев. Две встречи

Впервые см.: Память: Исторический сборник. Вып. 3. Москва; Париж: YMCA-Press, 1978. С. 311–325.

Рукопись воспоминаний была скопирована, передана редакции альманаха и опубликована без ведома автора. Об этой публи-

кации Л. К. Чуковская 30 мая 1980 г. писала Пантелееву: «Передал Ваши два отрывка (вместе с «Белым волком») в журнал «Память» — И. Серман. Вы знали его? Я знала, хотя и не видела лет 20. Он — муж Р. А. Зерновой. Когда я спросила редактора (очень мною, впрочем, уважаемого), как они смели напечатать что-либо без воли автора, — он ответил, что им и в голову не приходило, что Ваша работа попала к ним без Вашего ведома. Вы вместе с Элико <жена Л. Пантелеева> дивились, почему я ничего не пишу Вам о Ваших отрывках, посвященных К. И. ...Единственная причина молчания: никогда не читала, прочла только теперь. Очень, очень сожалею, что так поздно. 1) Я раньше прочла бы Вашу превосходную характеристику времени, 2) услышала бы живой голос К. И., 3) остерегла бы Вас от ошибок, которые вы совершаете в датах. Сообщаю: МПБ <ронштейн> был арестован 6 августа 1937 г. (в день Люшиного рождения; не дома, а в Киеве; пришли же за ним ко мне в ночь с 31 июля на 1 авг.); Т. Г.<Габбе>, Ал. Иос.<Любарская> и Серг. Конст. <Безбородов> — 4 сентября 37 г.; Майслер — недели через 2 или даже через месяц после них; Серебрянников, Лебеденко, Матвеев — не помню когда. Рая Васильева — в 35 г. Вот и сравните с Вашим текстом. Конечно, по существу это не меняет дела... Но все-таки, проверьте с этой точки зрения абзац, начинающийся словами «Лето 1936 года мы...», и мои даты Вам пригодятся» (Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка. 1929—1987. М., 2011. С. 457—458). При составлении комментариев используются комментарии Д. Е. Зубарева, опубликованные в альманахе «Память» под псевдонимом В. Воронин.

С. 279. ... в большом сером здании на одной из центральных улиц города. — Имеется в виду так называемый Большой дом на Литейном (Литейный просп., д. 4—6, угол Шпалерной), построенный в 1931—1932 гг., где разместилось управление НКВД. В годы массовых репрессий 1930-х и последующих годов сюда привозили арестованных, здесь же происходили расстрелы.

Олейников Николай Макарович — детский поэт, редактор журналов «Чиж», «Еж», «Сверчок» и «Костер», в которых сотрудничал Е. Шварц. Арестован в конце июня 1937 г. На заседании Ленинградского отделения Союза писателей Шварц заодно со всеми проголосовал за исключение Олейникова из Союза писателей. Пантелеев вряд ли догадывался о сложности отношения Шварца к Олей-

никову, которого Шварц в воспоминаниях назвал «мой друг и злейший враг и хулитель», и нарисовал такой его портрет, на фоне которого очерк «Белый волк» меркнет: «Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное — страстен. ...И был поэтому могучим разрушителем. И в страсти и трезвости своей он был заразителен. И ничего не прощал. Если бы, скажем, слушал он музыку, то в требовательности своей не простил бы музыканту, что он перелистывает ноты и в этот миг не играет. Он возвел бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы над ним — и нашел бы множество сторонников. Был он необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело» (*Е. Шварц*. Позвонки минувших дней. М., 2008. С. 184).

Белых Григорий Георгиевич — писатель, журналист, в соавторстве с которым была написана книга «Республика ШКИД» (1927). Арестован в начале 1937 г., умер в тюремной больнице от туберкулеза. Пантелеев вспоминал об итогах своих хлопот за Белых: «Мы собирались писать Сталину (И написали, просили, чтобы осужденного перевели из ленинградской тюрьмы в концлагерь. Ответ пришел уже после смерти Белых: отказать)» (*Л. Пантелеев*. Из Ленинградских записей // *Новый мир*. 1965. № 5. С. 155). После ареста Белых Пантелееву неоднократно предлагали переиздать «Республику Шкид» без упоминания имени соавтора, но он категорически отказывался.

Тамафа Григорьевна Габбе, Александра Иосифовна Любарская, Матвей Петрович Бронштейн, Сергей Безбородов, Рая Васильева, А. Лебеденко, А. Серебрянников, Матвеев, Миша Майслер. — Уточнения о датах арестов детских писателей см. выше в письме Л. К. Чуковской к Пантелееву на с. 464 наст. изд.

... *угодить в те годы на улицу Воинова, на Константиноградскую, на Нижегородскую, в «Кресты»*. — На углу ул. Воинова и Литейного находилось управление НКВД, при котором была следственная тюрьма; Константиноградская и Нижегородская (ныне ул. академика Лебедева) — улицы, на которых находились ленинградские тюрьмы (на первой из них — пересылка); «Кресты» — главный следственный изолятор в Ленинграде. Сейчас в здании тюрьмы на Нижегородской — психоневрологическая больница, на Константиноградской — тюремная больница, на Воинова и в «Крестах» по-прежнему тюрьмы.

С. 282. ...ваша прелестная повесть «Часы». — Повесть «Часы» (1928) Чуковский называл «вершиной раннего творчества» Пантелеева» (*К. Чуковский. Пантелеев // Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 618*).

С. 283. *По расчетам этих голубых мундиров...* — аллюзия на стихотворение М. Лермонтова «Прощай, немытая Россия...» («И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ»). Во времена Лермонтова голубые мундиры носили жандармы, занимавшиеся политическим сыском.

...знаменитое постановление ЦК о ленинградских журналах. Били Зощенко, Ахматову, Мурадели, Хазина, еще кого-то. — В Постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» критике подвергли творчество А. Ахматовой, М. М. Зощенко и А. А. Хазина, а в Постановлении ЦК ВКП(б) 1948 г. об опере «Великая дружба» — композитора Ваню Мурадели. После каждого постановления начиналась длительная кампания по «проработке» каждого из названных лиц в печати и на разного рода общественных собраниях.

С. 284. ...статью о «Бибигоне» напечатала «Правда». — Через неделю после появления Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», опубликованного в «Правде» 21 августа 1946 г., там же появилась статья С. Крушинского «Серьезные недостатки детских журналов», где был учинен разнос журналу «Мурзилка» за публикацию сказки Чуковского «Бибигон». В этой сказке автор статьи усмотрел «дань плохим образцам — жанру западного детективного романа». Статья заканчивалась утверждением, которое на несколько лет стало приговором всем детским стихам Чуковского: «...нельзя печатать в журнале стихотворение ли, рассказ ли, очерк ли, если это произведение не отвечает целям и методам коммунистического воспитания детей...» (Правда. 1946. 29 авг.).

За фантастический рассказ «Приключения Макара Телятникова». — Рассказ «Удивительное путешествие Макара Телятникова» (1946).

...«Литературная газета» поместила статью... «Воинствующий обыватель». — В «Литературной газете» была опубликована статья: Б. Емельянов. Искаженная действительность // Лит. газета. 1946. 7 сент., а в передовой статье про рассказ было сказано, что от него несет «обывательским душком» (Лит. газета. 1946. 21 сент.)

...покаянное письмо за подписью всех членов редколлегии. — Письмо в редакцию «Литературной газеты», где признавалась ошибочной публикация «путаного и неправильно ориентирующего читателей рассказа», подписали от имени редколлегии и коллектива редакции журнала «Дружные ребята» Д. Ситников, В. Катаев, С. Григорьев, Г. Ершов (Лит. газета. 1946. 5 окт.).

С. 286. ...историю всех своих злоключений, начиная с 1929 года... — Началом травли Чуковского стала статья Н. К. Крупской «О "Крокодиле" Чуковского» (Правда. 1928, 1 февр.), где говорилось, что «вместо рассказа о жизни крокодила <дети> услышат о нем невероятную галиматью» и т. д. Подробнее о последующих публикациях и переписке см. раздел «Борьба с чуковщиной» (СС-15. Т. 2. С. 601–630).

С. 287. *Скоро дуракам скажут «довольно».* — По предположению Д. Зубарева, разговор Пантелеева с Фадеевым произошел в сентябре—октябре 1946 г., а в феврале 1947 г. в «Литературной газете» (№ 6) появилась положительная рецензия на книгу Пантелеева «Первый подвиг».

...что написал в своей записке Фадеев, но написал он что-то хорошее, доброе. — Письма Фадеева к Чуковскому опубликованы: см.: А. Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977. С. 193 и 195). Из них выясняется, что Фадеев рекомендовал к публикации главы из книги Чуковского о Н. А. Некрасове (Новый мир. 1946. № 12. С. 242–256), статьи Чуковского появились в том же году в «Литературной газете» и в «Огоньке». Но детские книги не печатались до 1948 г.

Наталья Костюкова. Вспоминая Деда

Печатается впервые.

С. 289.... прочитал мне «Сон советника Попова» — стихотворение А. К. Толстого.

С. 290. «Старика разорит на подарки...» — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» (1846).

С. 293 ... прочитал наизусть свою поэтическую сказку о Медведе. — Т. е. сказку «Топтыгин и Луна» («Как задумал Медведь на Луну полететь...») (СС-15. Т. 1. С. 65–67).

Знаменитый «подвал» Юдина в «Правде»... — 1 марта 1944 г. в «Правде» появился большой подвал под вызывающе грубым названием «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского». В своей разнос-

ной статье П. Ф. Юдин — крупный партийный начальник, академик, в 1938–1944 гг. директор института философии АН СССР писал: «К. Чуковский перенес в мир зверей социальные явления, наделив зверей политическими идеями “свободы” и “рабства”... Понятно, что ничего, кроме пошлости и чепухи, у Чуковского из этой затеи не могло получиться, причем чепуха эта получилась политически вредная».

Статья состояла из потока политических обвинений и завершилась угрожающим выводом: «Сказка К. Чуковского — вредная стряпня, которая способна исказить в представлении детей современную действительность».

С. 294. ... *«сеять разумное, доброе, вечное»*... — Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876).

Евгений Чуковский. Про Деда

Отр. из интервью Евгения Чуковского Майе Окушко: Бездельников Дед просто презирал // Веч. Москва. 1992. 16 ноября. С. 6. См. также: Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Сов. писатель, 1977. С. 214–248. Печатается по 2-му изд. сб-ка (М., 1983. С. 142–152).

С. 297. *«Едва увидел я сей свет...»* — Г. Р. Державин. На смерть князя Мещерского.

Павел Бунин. Талант жизни

Впервые: К. И.: Из воспоминаний о Чуковском // Дружба народов. 1997. № 9. С. 186–216. Печатается по этому изданию.

Художник Павел Бунин (1928–2008) познакомился с Чуковским в 1944 г., когда он был 16-летним школьником. Исключительная одаренность и поразительная память мальчика привлекли Чуковского, которому было тогда 62 года, и Бунин сделался на долгие годы своим человеком в доме, пользовался домашней библиотекой писателя и, как следует из воспоминаний, стал постоянным и благодарным собеседником Чуковского, сумевшим спустя многие годы донести до нас его живой голос. Удивительной может показаться дружба людей с такой большой разницей в возрасте. Ключ к ней дает одна фраза, вложенная П. Буниным в уста Чуковского, задумывавшегося над природой их отношений: «Меня это занимает... несмотря на ваш вид... я иногда воспринимаю вас как из со-

всем другого времени». Интересы Бунина были в том времени, из которого был Чуковский. Поэтому не только Бунин нашел в Чуковском Учителя с большой буквы, но и Чуковский нашел в нем талантливого собеседника с близким кругом интересов, в котором так нуждался. Ну, кому в конце 1940-х Чуковский мог рассказать сказку о том, как встретил Сесила Рода на лестнице Уотса или премьер министра, военного министра и министра иностранных дел Великобритании в лондонской подzemке? А главное, с кем еще он мог так свободно перебрасываться цитатами из любимых поэтов. Мы потому так постарались, по возможности, раскрыть все явные и скрытые цитаты в комментариях, что их обилие и разнообразие лучше всяких слов характеризуют кругозор собеседников, показывают, насколько по своим пристрастиям Чуковский и в советское время продолжал жить в том культурном пространстве, которое сформировало его. Выслушивать бойкие и самонадеянные суждения юнца Бунина о Блоке Чуковскому было гораздо интереснее, чем беседовать с иными обитателями Переделкино с литературными именами и чинами.

В 1972 г. Бунин написал воспоминания о Чуковском для готовящегося тогда сборника. Эта первая редакция воспоминаний тоже называлась «Талант жизни», хотя была намного короче. Из-за отъезда Бунина в эмиграцию (1978) сборник «Воспоминания о Корнее Чуковском» (М.: Советский писатель, 1978) вышел без его работы. Текст сохранился в архиве Е. Ц. Чуковской.

В 1987 г. Бунин вернулся в Россию. У него состоялось около шестидесяти персональных выставок и выступлений за границей и в различных городах России. Книга Лидии Чуковской «Памяти детства», которую он неоднократно упоминает в тексте, заставила его заново обратиться к воспоминаниям о Чуковском, сильно их расширив. Новая редакция была опубликована в 1999 г. в журнале «Дружба народов». В предисловии к публикации А. Эбаноидзе писал о Буине: «Многие годы мы знали его как замечательно-го художника, иллюстрировавшего мировую классику — Шекспира и Пушкина, Хайяма и Лермонтова, Уайльда и Кипплинга... Но мы не знали, что помимо исторической и этнографической эрудиции, которыми он мастерски делился с нами, у него есть свой остров сокровищ — К. И., Корней Иванович Чуковский — один из блестящих русских литераторов XX столетия, человек неот-

разимого обаяния, по прихоти души или “по праву избирательного сродства” одаривший шестнадцатилетнего Павлика своей дружбой... В студенческие годы мне доводилось слышать Корнея Ивановича Чуковского, и я свидетельствую поразительную точность воссозданного образа. При профессиональной цепкости глаза у Бунина оказался не менее цепкий слух, позволяющий воспроизвести как облик и жест К. И., так и разнообразнейшие интонации его “неизменно привлекательного, в доску фальшивого, крепко-накрепко сделанного голоса”...» (Дружба народов. 1999. № 9. С. 186). В 2002 г. воспоминания Бунина вошли в его книгу «Не славы ради...» (М.: Орбита-М).

О биографии П. Бунина известно лишь, что воспитывала его бабушка Ольга Николаевна, которую он неоднократно упоминает в воспоминаниях как О. Н.

С. 309. *...после книги Л. К. вижу...* — Имеется в виду книга Л. К. Чуковской «Памяти детства».

... «душа моя уязвлена стала»... — Неточная цитата из вступления к «Путешествию из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева («Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала»).

... «забавляло иногда»... — Из стихотворения А. Блока «Последнее напутствие» (1914).

«Все это, братец, только так, а ты поверил и размяк!» — Слова Мефистофеля из трагедии И.-В. Гёте «Фауст» в переводе Б. Л. Пастернака.

«Вот за что тебя люблю я...»... — Вероятно, неточная цитата из «Мойдодыра» К. Чуковского («Вот теперь тебя люблю я...»).

С. 310. *«...ежели бы все рыбы...»* — Здесь и далее Бунин цитирует сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист» (1884).

... «он всюду кричал, что он культурен — он действительно был культурен...» — Неточная цитата из книги А. Рэнсома «Оскар Уайльд», приводится Чуковским в его очерке «Оскар Уайльд» (СС-15. Т. 3. С. 393).

...вплоть до «замка Смальгольм»... — Речь идет о балладе Вальтера Скотта «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» в переводе В. Жуковского.

С. 311. *«Боль проходит понемногу...»* — Начало стихотворения А. Блока «Последнее напутствие» (1914).

... он только где-то в это время стал подлинным... — т. е. А. Блок около 1914 г.

С. 312. «От Чехова до наших дней» — заглавие самого известного дореволюционного сборника критических статей и литературных портретов Чуковского (1908).

... сразу все тома Дружинина... англоман!)... — Имеется в виду русский критик А. В. Дружинин, автор статей об английских писателях — С. Ричардсоне, О. Гольдсмите, Р. Шеридане, Ч. Диккенсе и др. Единственное собрание сочинений Дружинина в 8 т. вышло в 1865—1867 гг.

... блестящая разносная статья о кино «Бега тещ». — Здесь и далее П. Бунин цитирует статью Чуковского «Нат Пинкертон и современная литература», где описывается фильм «Бег тещ» (о фильме см. примеч. к статье В. В. Розанова «К. И. Чуковский о русской жизни и литературе» в наст. изд.).

«Свежо и нервно». — Цитата из шуточной пьесы А. Блока «Сцена из исторической картины “Всемирная литература”», написанной для «Чукоккалы». Слова отнесены к стилю Чуковского: «Чуковский сочинит свежо и нервно» (Чукоккала. С. 239).

С. 313. ... взорванном Парфеноне... — Парфенон — древнегреческий храм в Афинах, один из наиболее известных памятников античной архитектуры, в 1687 г. во время осады Афин венецианцами был сильно поврежден в результате взрыва.

С. 314. ... и о лилиях полевых... — См. в Евангелии: *Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них...* (Мф. 6: 28—30).

... «лучше горсть покоя, чем пригоршни труда и томленье духа». — Неточная цитата из Екклесиаста: *Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа* (Екк. 4: 6).

«Ты ведь тоже — человек!..» — Из стихотворения И.-В. Гёте «Всем и каждому».

С. 315. ... корсиканское чудовище ... под Ваграмом... — Имеется в виду Наполеон Бонапарт и Ваграмская битва 1809 г.

«Ты сам свой высший суд...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

«Человек волнист и разнообразен» — изречение Аристотеля.

Он совершил самый трудный шаг: из мещанства в интеллигенцию. — Цит.: Л. Чуковская. Памяти детства. См. с. 31 наст. изд.

«*Вы уронили кисть, пфальцграф*», – сказал повелитель мира... – Эпизод из жизни итальянского художника Тициана. Испанский король Карл V, крупнейший европейский монарх, объединивший под своей властью большую часть Европы, носивший официальный титул Император Священной Римской империи и неофициальный – «повелитель полумира», назначил Тициана придворным художником и пожаловал титул пфальцграфа (разновидность графского титула); однажды художник уронил кисть, Карл V поднял её со словами: «Услужить Тициану почетно даже императору».

С. 316. ...*так любившему их Брюсову... «мой кнут тяжел», и не требовать от нее результатов.* – Поэт Валерий Брюсов любил античную культуру, и особенно римскую. Образы римской истории возникают в ряде его стихов, а также в исторической прозе: повестях «Алтарь Победы» (1911–1912), «Рея Сильвия» (1914), «Юпитер поверженный» (1918, осталась незавершенной). Бунин цитирует известное стихотворение В. Брюсова «В ответ» (1902), обращенное к своей музе: «Вперед, мечта, мой верный вол! / Неволей, если не охотой! / Я близ тебя, мой кнут тяжел, / Я сам тружусь, и ты работай!»

Дж. Рескин того же мнения – этому не научишь... все пишут и читают. – Возможно, имеется в виду изречение Дж. Рёскина: «Жизнь без труда – воровство, труд без искусства – варварство».

«...*уши ваших понежней*». – Из басни И. А. Крылова «Квартет».

«*Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце*», – читаем мы в одной великой книге. – Библия. Ветхий Завет (Екк. 11: 7).

«*Если б какой человек... прожил и многие годы... но душа его не наслаждалась бы... то я сказал бы: выкинь счастливей его*». – Там же (Екк. 6: 3).

С. 317. *Папийон – бабочка (франц.)*

...*вот хоть роман «Тиски»*. – Подразумевается роман в четырех книгах Ф. Панферова «Бруски» (1928–1937) о коллективизации.

«*К Ираклию!*» – Имеется в виду писатель и литературовед Иракий Луарсабович Андроников, сосед по Переделкину.

«*I've a neater, sweeter maiden in a cleaner, greener land...*» – Из стихотворения Р. Киплинга «Мандалей»: «Знаю девушку милее в дальней солнечной стране» (пер. Е. Полонской).

С. 318. *Крокодил (1-е издание) – дивные рисунки...* – Первое издание вышло в 1919 г., с иллюстрациями художника-сатириконца Ре-Ми. Иллюстрации воспроизведены в СС-15. Т. 1.

«*Маленькие школьницы*» – автобиографический роман для детей американской писательницы Л. М. Олкотт (1869).

С. 319. ...*чудесные иллюстрации Ватагина*... – Рисунки художника-анималиста В. А. Ватагина к книге Р. Д. Киплинга «Маугли» считаются классикой книжной иллюстрации.

...Людей вообще... – Цитируется роман Д. Фурманова «Чапаев» (гл. VII).

...*как стал в тупик с «Опанасом»*. – Речь идет о поэме Э. Багрицкого «Дума про Опанаса».

С. 320. «...и мысли и дела...» – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».

...*dear teacher! and nothing else...* – ...дорогой учитель! и ничего более (англ.).

Элиза Дулитл – героиня из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

Китченер... Strong man... – Чуковский встречался с военным министром Великобритании Китченером, когда по приглашению британского правительства посетил Англию в 1916 г. в составе делегации журналистов и писателей как представитель газеты «Речь». В письме из Лондона от 28 февр. 1928 г. к жене Чуковский писал: «Меня принимал король, сэр Эдвард Грей, лорд Китченер и сэр Джон Джеллико, мне показывали все тайны, недоступные самим англичанам – какие строятся теперь суда, аэропланы и проч., я был в стоянке Главного флота, куда с самого начала войны не мог проникнуть никто...» (*Письма-14*. С. 386); Э. Грей – министр иностранных дел, Джон Джеллико – командующий британским флотом). *Strong man* – сильный человек (англ.) Впечатления от поездки изложены в книге: К. Чуковский. Англия накануне победы. Пг.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркс, 1917.

Поднимаюсь как-то по лестнице, к Уотсу... – Чуковский действительно посетил выдающегося английского художника Уотса в 1904 г. во время своего первого пребывания в Англии в качестве корреспондента газеты «Одесские новости» незадолго до смерти художника и опубликовал два некролога, посвященных его кончине: Джордж Уотс (Одесские новости. 1904. 24 июня), и символистский журнал «Весы» (1904. № 7. С. 41–44).

С. 321. *Сесил Родс*. – По словам Марка Твена, английский политический деятель С. Родс был в то время «самым известным англичанином за пределами Англии». Эпизод является мистификацией

либо Бунина, либо Чуковского, поскольку Сесил Родс умер в Южной Африке и его тело было перевезено в Англию и похоронено там еще до того, как в Лондон приехал Чуковский.

...еду в подземке и вдруг... вошла целая куча портретов: Асквит, Грей, Балфур... — Неизвестно насколько и этот эпизод в подземке является вымыслом, но упомянуты крупнейшие политические деятели Великобритании времен Первой мировой войны: Герберт Асквит во время визита Чуковского в Англию в 1916 г. был премьер-министром Великобритании, сэр Эдвард Грей — министр иностранных дел в 1905—1916 гг., Артур Бальфур — министр иностранных дел в 1916—1919 гг. О них говорится в книге Чуковского «Англия накануне победы».

...он был в «Англии в дни войны». — Речь идет о книге К. Чуковского «Англия накануне победы» (Пг., 1917).

Я был на его митинге (с гордостью) в Кардиффе... — Кардифф является столицей Уэльса, где расположен крупнейший порт, через который вывозили добытый здесь уголь. Ни в письмах Чуковского из Англии, ни в книге «Англия накануне победы» о его пребывании в Кардиффе не упоминается.

Коо! — англ. coal — уголь.

«Иной имел мою Аглаю...» — здесь и далее цитируется эпиграмма А. С. Пушкина «На А. А. Давыдову» (Иной имел мою Аглаю / За свой мундир и черный ус, / Другой за деньги — понимаю, / Другой за то, что был француз, / Клеон — умом ее страшая, / Дамис — за то, что нежно пел. / Скажи теперь, мой друг Аглая, / За что твой муж тебя имел?).

С. 322. *...блоковскую эпитафию Липпи... «В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий... не Медичи».* — Эпитафия на могиле художника Фра Филиппо Липпи была высечена по повелению Лаврентия Великолепного (У Блока: «В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий / Медичи, прежде чем я в низменный прах обращаюсь»). П. Бунин намекает на Лаврентия Берия.

«Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем...» — Начало стихотворения Анны Ахматовой.

...переводы Бальмонта и Брюсова — «Рэдингскую тюрьму». — Точность приводимых мнений Чуковского вызывает сомнения, либо за этим стоит какая-то сложная мистификация. Перевод Бальмонта вышел впервые в 1904 г. в символистском издательстве «Скор-

пион», но Чуковский отрицательно относился к переводам Бальмонта, о чем писал неоднократно, см. хотя бы его статью «Бальмонт и Шелли» (СС-15. Т. 6. С. 171–172). Перевод «Баллады Рэдингской тюрьмы» В. Брюсова был выполнен по просьбе Чуковского для редактируемого им Полн. собр. сочинений О. Уайльда, издававшегося как приложение к журналу «Нива». 24 ноября 1911 г. он писал Брюсову: «И мне хочется Вас умолять, чтобы вы перевели «Балладу Рэдингской тюрьмы», испакощенную Бальмонтом» (Переписка В. Я. Брюсова и К. И. Чуковского. Вст. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова // Контекст 2008. М., 2009. С. 378). Перевод Брюсова вышел в этом издании в 1912 г.

... так безутешная вдова повадилась таскать мне в «Лит. наследство» такую тучу автографов покойного... – Здесь все плод чистого вымысла, скорее всего, П. Бунина: вдова Брюсова Иоанна Матвеевна никогда не участвовала в его литературной деятельности, никогда не подделывала его почерк, Чуковский никогда не работал в «Литературном наследстве» и она не могла «таскать» ему автографы Брюсова.

С. 323. *A propos...* – кстати (англ.).

«*M<истер> Блетсуорси на острове Рэмполь*» – заглавие романа Г. Уэллса (1928), который цитируется далее.

... очень интересную книгу Галеви «Англия эпохи империализма». – Имеется в виду книга: Э. Галеви «История Англии эпохи империализма» (М.: Соцэкгиз, 1937).

... о серебряном юбилее Виктории... – Виктория, королева Великобритании в 1837–1901 гг., в 1887 г. праздновался 50-летний, а в 1897 г. – 60-летний юбилей ее пребывания на троне.

«*Recessional*» – поэма Р. Киплинга, написанная для торжеств по случаю 60-летия правления королевы Виктории. *Recessional* – песнопение, исполняемое в конце богослужения.

«*Lord God of Hosts, be with us yet, Lest we forget – lest we forget!*» – Господи сил, с нами пребудь / Чтоб не забыли праведный путь!» (Пер. с англ. К. Атаровой).

С. 326. «*Упадок лганья – катастрофа для искусства*», – утверждал наш любимец. – Цитата из эссе О. Уайльда «Упадок лжи» («Искусство упадка лжи», 1889).

... по словам Киплинга, мы вложили «надежду, и веру, и гордость». – Из стихотворения Р. Киплинга «Туземец» (в пер. Б. Брика).

«*Это кровь, говорит, проливается, – кровь моя – ты дурак!*» – Из стихотворения Н. А. Некрасова, входящего в цикл «О погоде» (1858–1865).

С. 327. ... «*не стучись же напрасно у плотных дверей*». – Из стихотворения А. Блока «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...» (1916).

С. 328. ...*несколько удушливая, но отчасти и завлекающая атмосфера Jugend Stil*. – Югендстиль – стиль немецкого искусства эпохи модерна, то же что французский стиль арт-нуво.

С. 329. *Это Эдуард... Мы познакомились с ним... в ночном клубе...* – Эдуард VII – король Великобритании в 1902–1910 гг., с которым Чуковский, разумеется, не был знаком.

Театр для себя. Евреинов. – Имеется в виду теория театрализации жизни, изложенная в кн.: Н. Н. Евреинов. Театр для себя. Ч. I–III. СПб., 1915–1916.

С. 331. ...*подобно мингеру Пепперкорну...* – Упоминается персонаж романа Томаса Манна «Волшебная гора».

...*он принадлежит к редкой, вымирающей породе дилетантов...* – Неточная цитата из статьи Т. Манна «Фантазия о Гёте. Введение к американскому изданию его избранных сочинений» (1948), у Т. Манна: «Он был одним из самых всеобъемлющих, самых всесторонних дилетантов, когда-либо существовавших на свете...» (Т. Манн. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Статьи 1929–1955. М., 1961. С. 413).

...*страшноватый опус «Сколько человеку земли нужно...»*. – Речь идет о рассказе Л. Толстого «Много ли человеку земли нужно» (1886), герой которого Пахом умирает от собственной жадности, и выясняется, что ему нужно всего три аршина для могилы.

...*Чехов... немедленно откликнулся...* – По поводу финала рассказа Толстого Чехов писал в записной книжке: «Человеку нужно только 3 аршина земли. – Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1987. Т. XVII. С. 57).

С. 332. *Но фон Шлиффен правильно поймал суть дела...* – А. фон Шлиффен – выдающийся германский полководец и военачальник, в России издавались его книги «Современная война» (СПб., 1904) и «Канны» (несколько изданий).

... «*от сих – и до сих!*», как *закричал у Щедрина Угрюм-Бурчеев...* – Персонаж романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», одним из деяний которого была попытка обуздать реку.

«*Некрасов, Шевченко ... Воздухоплаванье...*» — Из стихотворения А. Блока «Сцена из исторической картины “Всемирная литература”», где перечислялись разнообразные литературные работы, которые Чуковский выполнял в 1919 г. (Чукоккала. С. 239).

«*Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум...*» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

С. 333. «*Раз был пир... то пир был граций!..*» — Из стихотворения А. Н. Майкова «Алквиад» (1853).

...в своей блистательной статье-поэме об О. Уайльде... — Речь идет о статье: К. Чуковский. Оскар Уайльд: Этюд // Нива. 1911. № 49. С. 910–914, позже расширенной до отдельной книги: Корней Чуковский. Оскар Уайльд. Пб.: 9-я Гос. тип., 1922.

С. 334. «*Определить – значит ограничить*» — Цитата из романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».

«*Мчались омнибусы, кебы и автомобили...*» — Из стихотворения В. Брюсова «Конь блед» (1903–1904), которое далее обсуждается. Стихотворению предпослан эпиграф из Апокалипсиса (Откровение Иоанна Богослова): *И се конь блед и сидящий на нём, имя ему Смерть (Откр. 6: 8)*, оно рисует картину обыденной городской жизни, которую застигает врасплох появление апокалипсического всадника, знаменующего наступление конца света. Спор Бунина с Чуковским идет о подлинности этих мистических переживаний Брюсова, которого, ориентируясь на некоторые высказывания мемуаристов (например, И. Бунин писал о «тугой гостинодворческой физиономии» Брюсова) его однофамилец П. Бунин и называет далее «замоскворецким магом» (кстати, Брюсов жил на Цветном бульваре и его семья относилась совсем к другому поколению купцов, совсем непохожих на героев А. Н. Островского).

С. 335. «...а “памятник” себе?..»; «*Не то чтоб разумом моим я дорожил... Да вот беда – сойдешь с ума... цели нет передо мною... Куда ж нам плыть...*» — Цитируются стихотворения А. С. Пушкина «Памятник» (1836), «Не дай мне Бог сойти с ума» (1833), «Дар напрасный, дар случайный...» (1828), «Осень» (1833).

«*Барсы... парсы...*» — Из стихотворения Н. Гумилева «Северный раджа»: «...Там, во мгле / Дрожали зябнувшие парсы / И, обессилен, на земле / Валялись царственные барсы...»

«*Румб... Колумб...*» — Цитата из одного из самых известных стихотворений Н. Гумилева «Капитаны»: «Вы все, паладины Зе-

леного Храма, / Над пасмурным морем следившие румб, / Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама, / Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!»

«*Песни весенней намек...*» ... совершенно точное изображение следующей строки. – Цитата из стихотворения А. Блока «Ветер принес издалека...» (1901), следующая строка: «Где-то светло и глубоко / Неба открылся клочок».

«...мне грустно и легко...» – Из стихотворения А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

Его книга о Блоке. – Имеется в виду книга К. Чуковского «Александр Блок как человек и поэт» (1924); см. также *СС-15*. Т. 8.

С. 336. «...Вплоть до колен текли ботинки»; ... «И что ему пощады – нет...» – Цитируется стихотворение А. Блока «Скользили мы путем трамвайным», написанное для альманаха «Чукоккала», текст которого впервые был приведен в книге «Александр Блок как человек и поэт» (1924. С. 34, см. также *СС-15*. Т. 8. С. 98).

...могли хорошо сказать по-французски... – Беседу Блока и Гумилева Чуковский приводит там же (с. 106).

«*Приближается звук... и подобно щемящему звуку, молодеет душа...*» – Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Приближается звук. / И, покорна щемящему звуку...» (1912).

«*Зачатый в ночь я в ночь рожден!..*» – Начало стихотворения А. Блока (1907).

«*Май жестокий с белыми ночами...*» – Начало стихотворения А. Блока (1908).

«*Тяжелый плуг... топор...*», он еще его к тому же «широко размахнул»...» – Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Сольвейг» (1906): «Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул / Я топор широко размахнул...»

С. 337. *Елагин мост...* – Из стихотворения А. Блока «На острове» (1909): «Вновь оснежённые колонны, / Елагин мост и два огня».

«*Твой звериный взгляд, мой звериный взгляд...*» – Неточная цитата из стихотворения А. Блока «В дюнах» (1907): «Скрестила свой звериный взгляд / С моим звериным взглядом».

Неужели Гамсун всех так клоннул? – Речь идет о влиянии на поэтов Серебряного века норвежского писателя Кнута Гамсуна, в творчестве которого проявлялась нелюбовь к технократической

цивилизации, проповедовался возврат к природе, естественный человек.

«*Ночь, улица, фонарь, аптека*». – Начало стихотворения А. Блока (1912).

«*Эх, опустишь, да занавеска линялъя...*» – На цыганский манер исполняется стихотворение А. Блока «Опустишь, занавеска линялая...» (1908).

«*Ты ушла... .. Я молчу!*» – На цыганский манер исполняется стихотворение А. Блока «Зимний ветер играет терновником...» (1903).

«...*Без милости карай...*» – Из монолога царя Бориса из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

«...*вонзай же, мой ангел вечерашний...*» – Из стихотворения А. Блока «Унижение» (1911).

Дуйте «Капитанов!» – Стихотворение Н. С. Гумилева «Капитаны», которое дальше цитируется («На полярных морях и на южных...», «...ударами трости / Ключья пены...»).

С. 338. «*А шинель-то ведь моя!*» ... «*За что вы меня обижаете... я брат ваш...*» – Неточные цитаты из повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842).

А что, Дельмасиха действительно была так уж?.. – Вопрос относится к возлюбленной А. Блока, певице Любви Александровне Дельмас, к которой обращены стихи третьего тома.

...*сенегамбии, дифирамбии...* – Отсылка к стихотворению Н. С. Гумилева «Капитаны» (см. примеч. к с. 335 и 337).

С. 339. «*Был он только литератор модный... слов кощунственный творец...*» – Неточная цитата из стихотворения А. Блока «За гробом» (1908).

«*Со многим я не согласен... лишь одну из возможных точек зрения...*» – Неточная цитата из статьи О. Уайльда «Истина о масках. Заметки об иллюзии» (1885).

С. 339–340. «...*Подошла к Никите и говорит*» ... «*с лицом чрезвычайно похожим на лопату...*» – Неточные цитаты из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835).

«*Кобзарь*» – сборник поэтических произведений Т. Г. Шевченко на украинском языке (1840), который был любимым чтением Чуковского. Украинский был родным языком его матери.

...*инстанция веет, где хочет...* – Отсылка к евангельскому слову: *Дух дышит, где хочет* (Ин. 3. 8).

С. 341. «В черных сучьях деревьев обнаженных... Поведут на закате таком». — Из стихотворения А. Блока «Унижение» (1911).

С. 342. «Она пришла с мороза раскрасневшаяся...» — Начало стихотворения А. Блока (1908).

С. 343. *What I did it matters not, for my knowledge of life is too poor, but such Master as you...* — Что делал я, не имеет значения, потому что я слишком плохо знаю жизнь, но такой мастер как Вы... (англ.).

Если это безумие, в нем есть система. — Слова Полония из трагедии У. Шекспира «Гамлет» («Though this be madness, yet there is method in it»).

С. 345. «И говор пьяных мужичков...» — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина» (1841).

С. 346. «Я возносил мольбы Астарте и Гекате...» — Из стихотворения В. Брюсова «Я» («Мой дух не изнемог в борьбе противоречий...»).

С. 346–347. *И Северянина тоже влечет к детям... «...стань скорей на цыпочки...»* — Отрывок из статьи К. Чуковского об Игоре Северяnine (Футуристы. Пг., Полярная звезда, 1922).

С. 347. «Ты так весел, так светла твоя улыбка...» — Из стихотворения Н. Гумилева «Волшебная скрипка».

С. 348. «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц...» — Слова Городничего в финале комедии Н. Гоголя «Ревизор».

С. 349. «Закрыв глаза и перышком играя... и блюдет баланс...» — Цитата из стихотворения Саши Черного «Корней Белинский (Посвящается К. Чуковскому)» (1909–1911): «Закрыв глаза и перышком играя, / Впадая в деланный холодно-мутный транс, / Седлает линию... Ее зовут кривая — / Она вывозит и блюдет баланс...» К этому стихотворению и относится фраза Бунина: «Уверен, что вы на него не рассердились».

«Кончено время игры...» — Из стихотворения Н. Гумилева «В пути» (1908).

С. 350. *All in good time* — всему свое время (англ.).

«Изысканный бродит жираф...» — Из стихотворения Н. Гумилева «Жираф».

«Давай поговорим, — сказал Наг, — ты ешь птиц?» — Из сказки Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».

С. 350–351. «*Beg pardon sir, may I ask you...*». — «*I am a Crocodile, — said the Crocodile. — Come here Little One. Why do you ask me such things?*» —

Извините, пожалуйста, можно вас спросить... — Я и есть Крокодил, — сказал Крокодил. — Подойди сюда, моя крошка. Тебе, собственно, зачем это надобно? — Из сказки Р. Киплинга «Слоненок» (перев. с англ. К. Чуковского).

С. 351. «*I am sure to catch you*». — «*Little Fool, look at me!*» — «Я же тебя догоню». «Дурачок, погляди на меня!» (англ.); из сказки Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».

...выкрикивая стихи о Деларю — т. е. строки из «Баллады о камергере Деларю» А. К. Толстого.

«Частью по глупой честности... пресмыкаюсь в нищете». — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Филантроп» (1853).

С. 352. «*Когда я в нем, всегда цветет весна...*» — Неточная цитата из романа «Уголок» на стихи В. А. Мазуркевича.

С. 354. «*Далекое — близкое*» — прекрасная, живая книга! — Речь идет о книге воспоминаний И. Е. Репина «Далекое — близкое», в создании которой Чуковский принимал большое участие.

...От этих похвал... — Часть крылатого выражения из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (полностью: «не поздоровится от этих похвал»).

С. 357. «Своею азиатской рожей...» — Из стихотворения А. Блока «Скифы» (1918).

«И пса голодного от двери...» — Из стихотворения А. Блока «Грешить бесстыдно, непробудно...» (1914).

С. 358. И тот же Мишель — «Дорогая бабинька!» ... Да что же он о ней-то не подумал! Боже мой! — Речь идет об отношениях М. Ю. Лермонтова с его бабушкой и о дуэли, окончившейся его смертью.

«Чудь начудила, да меря намерила...» — Из стихотворения А. Блока «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..»

С. 360. «Вы мне разрезали живот, и вот...» — это шансонетка-эпиграф одной из его ранних статей. — Эпиграф к статье Чуковского «Джек Лондон» (1914), подпись под ним: «Из оперы Ц. Кюи».

Mit Gottes Hilf... — С Божьей помощью (нем.)

С. 362. «И средь детей ничтожных мира...» — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

The friend in need. — Друг в беде (англ.)

С. 363. Не надейтесь на князей земных. — Из Библии: Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения... Блажен... у кого надежда на Господа Бога его (Пс. 145:3, 5).

Елена Чуковская. Нобелевская премия Пастернака

Печатается по сб.: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М.: Слово, 1993. С. 286–288.

С. 366. ...*ее хотели дать тогда, когда «Живаго» еще не был написан.* — Впервые Пастернак был выдвинут на Нобелевскую премию в 1947 г.

С. 368. ...*сказал, что этого отправлять нельзя, и ушел.* — События этого дня подробно описаны в дневнике Чуковского (см.: *Дневник-13*. С. 267–270. Запись от 27 октября 1958 г.).

В «Правде» *продажная статья Заславского...* — Речь идет о статье Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» (Правда. 1958, 28 окт.). Письмо Чуковского к Заславскому по поводу этой статьи см.: *Письма-15*. С. 476–479.

«*Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти*». — Из статьи В. Хлебникова «Ранней весной 1917 года...».

Виктор Некрасов. Две встречи

Впервые: Новый мир. 1970. № 6. С. 93–97.

С. 369. ...*мемуары появились в «Новом мире» только через тридцать лет.* — См. С. Мотовилова. Минувшее. 1963. № 12.

С. 372. ...*лауреата и доктора Оксфордского университета...* — Чуковский ездил в Англию в мае 1962 г. по приглашению Оксфордского университета на церемонию присуждения ему почетного звания доктора литературы *honoris causa*.

Юрий Коваль. Слушай, Дерево

Печатается по сб.: *Юрий Коваль. Опасайтесь лысых и усатых*. М.: Книжная палата, 1993. С. 258–267.

ПРОЩАНИЕ

Дмитрий Чуковский. Как хоронили моего деда

Печатается впервые. Отрывок из письма А. И. Солженицына также печатается впервые, оригинал в собрании Н. Д. Солженицыной.

Ю. Оксман. На похоронах Корнея Чуковского

Печатается по: Ю. Г. Оксман — К. И. Чуковский. Переписка / Предисл. и коммент. А. Л. Гришунина. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 141—145.

Р. Комияма. Памяти Чуковского

Печатается впервые по автографу недавно переданому в РО РГБ. Ф. 620 (находится в обработке).

А. Борщаговский. Речь на крыльце

Печатается впервые по машинописной копии из архива Е. Ц. Чуковской.

31 марта 1972 г. по решению Совета Министров СССР состоялось открытие мемориальной доски на детской библиотеке им. Корнея Чуковского в Переделкине. На крыльце библиотеки выступали дети, учителя, библиотекари, писатели. Среди других выступил писатель А. Борщаговский.

ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ

Ф. Ф. Фидлер. Из мира литераторов

Отр. из кн.: *Ф. Ф. Фидлер. Из мира литераторов* / Изд. подготовил Константин Азадовский. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 535—536, 627.

Ф. Ф. Фидлер — переводчик и преподаватель немецкого языка в гимназиях Петербурга конца 1880-х — 1910-х гг., деятельный участник литературной жизни тех лет, близко знакомый со многими деятелями культуры. Он собрал большую коллекцию портретов и автографов русских писателей своего времени. На протяжении многих лет методично вел дневники, опубликованные К. М. Азадовским, из которых мы приводим наиболее интересные записи, относящиеся к Чуковскому.

С. 405. ...он почти ежедневно позирует ему, вчера тоже состоялся сеанс. — Репин писал в это время портрет Чуковского (см. с. 193 наст. изд.).

Это было в год освобождения. — В 1905 г., во время Первой русской революции.

Руманов попросил его сесть... сразу выдал пять рублей. — Этот эпизод подробно описан Чуковским в мемуарном очерке «Сигнал» (СС-15. Т. 4. С. 343–345). Аркадий Руманов в тот момент заведовал отделом хроники в газете «Биржевые ведомости», и поскольку ни телеграф, ни телефон не работали, собирал информацию от очевидцев.

С. 406. ...сообщил, что все его стихи приняты... — Речь идет о юношеских переводах Чуковского, напечатанных в «Ниве». См.: *Р. Браунинг. Любовь* («Там, где тает, улыбаясь, вечер синий...») // *Нива*. 1906. № 36. С. 567; *Патриот* («Розы, розы, розы, розы, как безумные метались...») // *Нива*. 1906. № 44. С. 702.

А. Ф. Кони — К. И. Чуковскому

Печ. по: РО РГБ. Ф. 620. К. 66. Ед. хр. 5.

С. 408. ...я... принялся за Вашу книжку о жене Некрасова. — Речь идет о брошюре: *Корней Чуковский. Жена поэта* (Авдотья Яковлевна Панаева). Пг.: Эпоха, 1922.

С. Н. Сергеев-Ценский — К. И. Чуковскому

Печатается впервые по: РО РГБ. Ф. 620. К. 72. Ед. хр. 46.

С. 408. ...еще по таким вещам, как «Загорелою толпою», можно было предсказать... — Упомянуто раннее стихотворение Чуковского «Загорелою толпою» (Сигнал. 1905. № 1. С. 2).

С. 409. ...бывший в библиотеке отца роман «Чудодей». — Вероятно, имеется в виду роман А. Ф. Вельтмана «Чудодей» (1852).

И Лихургов и Солонов я тогда еще не знал. — *Ликург* — афинский законодатель и оратор (IV до н.э.) и *Солон* — афинский политик (I в. до н.э.).

Н. А. Рубакин — К. И. Чуковскому

Печ. по: РО РГБ. Ф. 620. К. 70. Ед. хр. 48. Полностью письмо 1935 г. печатается впервые.

Из доклада Н. Н. Асеева «Политическая лирика»

Печатается впервые по: ИМЛИ ОР Ф. 401.1.7 ВСП. С. 16–17. Доклад сделан на общегородском собрании поэтов 16 февраля 1936 г.

С. 411. ...написал стихотворение о счастье двух людей. «Двое неизвестных». — Поэт рисовал картину: «Он руками обнял стан ей, / са-

мый близкий, самый свой. / А вокруг зари блистанье, / запах ветра, шелест хвой». Кончалось стихотворение политически выверено: «А вокруг Москва в нарядах, / а вокруг весна в цвету, / Красной Армии порядок, / и — планеры в высоту».

...а написал это Осип Эмильевич. — О. Э. Мандельштам.

Т. А. Богданович — К. И. Чуковскому

Печатается впервые по: РО РГБ. Ф. 620. К. 47. Ед. хр. 14. Сокращения в именах раскрыты без оговорок.

С. 411. ...вызвала во мне книжка Шкловского о Маяковском... то, что он пишет о Вас. — Отклик на книгу: В. Шкловский. О Маяковском. М., 1940, в которой глава «О критике» (С. 59–66) была посвящена нападкам на Чуковского и на некоторые его мемуарные очерки о Маяковском и Репине. По поводу этой книги Чуковский в июне 1940 г. писал Л. К. Чуковской: «О Шкловском скажу: неожиданный мерзавец. Читая его доносы, я испытывал жалость к нему. То, что напечатано, есть малая доля того, что он написал обо мне. По требованию Союза выброшено несколько страниц» (*Письма-15*. С. 308).

Е. В. Тарле — К. И. Чуковскому

Печатается по: Е. В. Тарле и К. И. Чуковский. Переписка / Подг. текста и коммент. Е. Н. Никитина // Вопросы истории. 2006. № 1. С. 92–94.

С. 413. ...я перечитываю разных моих «вечных спутников»... книгу Чуковского о Некрасове. — Речь идет о сборнике: Некрасов: Статьи и материалы. Л., Кубуч, 1926. В книгу входили статьи Чуковского о Некрасове: «Поэт и палач»; «Панаева», «Кнутом иссеченная муза» и др. На титульном листе книги надпись автора: «Татьяне Ал. Богданович от верного старого друга. К. Ч. Февраль 1927».

Танюша — Т. А. Богданович.

...*en bloc* — в целом (*франц.*).

... я решительно не согласен с Вами в оценке, например, «Русских женщин». — Имеется в виду поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» (1872–1873.)

...и раздражение, и нетерпение не только к добротному, непроницаемому пахидерму Антоновичу... — Критик М. А. Антонович в соавторстве с Ю. Г. Жуковским издал книгу «Материалы для характеристики современной русской литературы. Литературное объясне-

ние с Н. А. Некрасовым» (СПб., 1869), где Некрасов обвинялся в спекуляции на передовых идеях. Чуковский в своей книге о Некрасове опровергал их нападки. *Пахидермы* – толстокожие животные.

...к умному, ученейшему, талантливому, благородному Владимиру Соловьеву... – Владимиру Соловьеву принадлежало известное стихотворение «Поэту-отступнику: по прочтении «Последних песен» Некрасова», где были такие строки: «Восторг души – расчетливым обманом, / И речью рабскою – живой язык богов, / Святыню мирную – крикливым балаганом / Он заменил и обманул глупцов». Эти строки привел Чуковский в своей книге.

...М. М. Стасюлевич с таким удовольствием их печатал... – М. М. Стасюлевич – издатель либерального и авторитетного журнала «Вестник Европы», где печатался Вл. Соловьев.

«Вуй! Вуй!» – доктору «спекулятору» мужу Воронцовой-Дашковой *etc.* – Имеется в виду концовка первой главки статьи Чуковского «Кнутом иссеченная муза»: «Вуй, вуй, – твердил он <Некрасов> проходимцу-французу, когда тот, задетый его стихотворением «Княгиня», приехал вызвать его на дуэль» (СС-15. Т. 8. С. 401). В стихотворении Некрасова «Княгиня» (1856) отразилась нашумевшая в России история графини А. К. Воронцовой-Дашковой, по второму мужу баронессы Пуалли. Ее муж-француз назван в стихах «доктор-спекулятор». В 1859 г., после того как Дюма-отец перевел стихотворение на французский, вдовец Пуалли приехал в Петербург, чтобы вызвать Некрасова на дуэль (Там же. С. 624).

А. А. Тарковский – К. И. Чуковскому

Печатается впервые по: РО РГБ. Ф. 620. К. 112. Ед. хр. 59.

С. 414. «...и военною славой заплакал рожок...» – Из стихотворения А. Блока «Петроградское небо мутилось дождем...» (1914).

«...Облатка розовая сохнет...» – Из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

«...Понапрасну ты кутала в соболь...» – Из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде» (1858–1865); строки, обращенные к скончавшейся от чахотки итальянской певице Анджолине Бозио.

Э. Казакевич – К. И. Чуковскому

Печатается по: Наш Корней Иванович // Неделя. 1982. № 12. С. 9.

А. И. Солженицын — К. И. Чуковскому

Печатается по: Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским (1963–1969) / Подг. текста, вст. и коммент. Е. Ц. Чуковской // Новый мир. 2011. № 10. С. 146.

С. 416. ...*Вашу книгу «От Чехова до наших дней» ... в издании 1908 года.* — Упомянут первый сборник критических статей Чуковского «От Чехова до наших дней» (СПб., 1908). См. также примеч. к с. 312.

С. 418. ...*это письмоцо... в это мрачное для Вас время.* — Письмо написано через несколько дней после того, как внезапно и скоропостижно скончался старший сын Корнея Ивановича — Николай.

А. Солженицын. Слово прощания

11 февр. 1996 г. [Отр. из выступления на гражданской панихиде по Л. Чуковской] // Русская мысль. Париж. 1996. 15–21 февр. С. 13.

С. 418. ...*мой криминальный архив был захвачен КГБ.* — 11 сентября 1965 г. на квартире у Теушей был захвачен хранившийся у них архив Солженицына, в том числе роман «В круге первом» и пьеса «Пир победителей». 21 сентября Чуковский отмечает в дневнике: «Сейчас ушел от меня Солженицын — борода, щеки розовые, ростом как будто выше. Весь в смятении... Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий — ждет, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме» (*Дневник-13*. С. 418). По приглашению Корнея Ивановича Солженицын после этой встречи прожил около месяца у него на даче в Переделкине, ожидая ответа на свое требование вернуть конфискованные рукописи.

...*в момент, когда я писал письмо съезду...* — 22 мая 1967 г. в Москве проходил IV съезд писателей СССР. Солженицын не был делегатом съезда, но разослал по двумстам писательским адресам свое знаменитое письмо, в котором потребовал отменить цензуру на литературные произведения и рассказал о преследованиях, которым его подвергали. Письмо имело мировой резонанс. 20 мая накануне съезда Солженицын приехал в Переделкино и прожил там около двух недель, встречаясь с писателями, которые поддержали его письмо.

...*четыре месяца перед высылкой работал...* — По приглашению Лидии Корнеевны с конца октября 1973 г. до высылки в феврале 1974-го Солженицын работал на переделкинской даче Чуковского.

Сэр Исая Берлин — Марине Николаевне Чуковской

Печатается впервые. Оригинал в архиве Д. Н. Чуковского.

Марина Николаевна Чуковская (жена Н. К. Чуковского) сопровождала Корнея Ивановича в его поездке на церемонию присуждения ему в Оксфорде звания доктора литературы.

С. 419. ... *и я помню... All Souls...* – Колледж Олл Соулз, т. е. Колледж Всех Святых, один из 38 колледжей Оксфордского университета, где проходила церемония.

Л. Левицкий. Впечатление от дневника

Печатается по: *Л. Левицкий. Термос времени: дневник, 1978–1997*. СПб.: Изд-во Сергея Ходова, 2006. С. 334–337.

Елена Чуковская. Тень будущего

Печатается по: Независимая газета. 1991. 9 июля.

С. 422. «...*сатира на Сталина – он тоже рыж и усат*». – Из кн.: Раиса Орлова. Лев Копелев. Мы жили в Москве. 1956–1980. М.: Книга, 1990. С. 304.

С. 423. ...*мои книги... изымались из обращения, урезывались*. – Из писем Чуковского в защиту сказки (1928). См.: *СС-15*. Т. 2. С. 621, 623.

С. 424. «...*звери ходят и щекочут их тросточками*». – *Дневник-11*. С. 300 (Запись от 28 июня 1920 г.).

УКАЗАТЕЛЬ

Лица, упоминаемые в тексте
(не включены фамилии из комментариев)

- АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич (1881–1925, умер за границей), писатель, редактор журнала «Новый сатирикон» 227
- АДАМОВ Е. (Френкель Е. А., 1881–?), журналист, впоследствии ученый-востоковед 199
- АКУТАГАВА Рюноскэ (1892–1927), японский писатель, классик новой японской литературы. Известен своими рассказами и новеллами 353
- АЛЕКСАНДР II (1818–1881, убит), российский император с 1855 г. 176
- АЛЕКСАНДР III (1845–1894), российский император с 1881 г. 78, 174
- АЛЕКСИН Анатолий Георгиевич (р. 1924), писатель 389
- Алонкина Мария Сергеевна (Муся), (1903–1939), секретарь литературной секции Дома искусств 258
- АЛЬБИН, см. Андропов С. В.
- АНДЕРСЕН Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель 126, 164, 270, 318
- АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871–1919, умер за границей), писатель 70, 78, 87, 88, 97–99, 171, 185, 191, 194, 227, 277, 418, 420
- АНДРОНИКОВ Ираклий Луарсабович (1908–1990), писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий 422
- АНДРОПОВ Сергей Васильевич (псевд. Альбин, 1873–1956), революционер, агент ленинской «Искры» 369, 371
- АННЕНКОВ Павел Семенович (1859–1920), владелец дачи в Куоккала, отец художника Ю. П. Анненкова 19, 117, 120, 200, 405
- АННЕНСКИЙ Николай Федорович (1843–1912), публицист, статистик 46, 78, 406
- АНТОНОВИЧ Максим Алексеевич (1835–1918), критик, публицист, сотрудник журнала «Современник» 413
- АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769–1834), государственный и военный деятель 73
- АРНШТАМ Александр Мартынович (1881–1969, умер за границей), художник 85, 86

- АРЦЫБАШЕВ Михаил Петрович (1878–1927, умер за границей), писатель 70, 227, 417
- АСЕЕВ Николай Николаевич (1889–1963), поэт 411
- АСКВИТ Герберт Генри (1852–1928), британский государственный и политический деятель 321
- АХМАТОВА Анна Андреевна (1889–1966), поэт 50, 78, 82, 84, 87, 99, 100, 108, 189, 264, 283, 394
- БАБОЧКИН Борис Андреевич (1904–1975), актер, режиссер театра и кино, педагог, сыграл роль Чапаева в одноименном фильме (1934) 319
- БАЙРОН Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт 32, 52
- БАКСТ Лев Самойлович (1866–1924, умер за границей), художник 82
- БАЛФУР Артур Джеймс (1848–1930), премьер-министр Великобритании в 1902–1905 гг. 321
- БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867–1942, умер за границей), поэт 322
- БАРАТЫНСКИЙ Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 33, 49, 50, 52, 70, 72, 106, 126
- БАРТНЕРЫ, соседи Чуковских по Куоккале 250
- БАРТО Агния Львовна (1906–1981), поэтесса 171, 387, 389, 394
- БАСЁ Мацуо (псевд.; наст. имя—Дзинситиро, 1644–1694), японский поэт, теоретик стиха 353
- БАТЮШКОВ Константин Николаевич (1787–1855), поэт 33
- БЕЗБОРОДОВ Сергей Константинович (1903–1937, расстрелян), журналист, полярник, автор детских повестей, организатор детского литобъединения при Ленинградском отделении Детиздата 279
- БЁКЛИН Арнольд (1827–1901), швейцарский живописец, график, скульптор 350
- БЕЛОВ Геннадий Матвеевич (р. 1926), шофер К. Чуковского 150, 302, 337
- БЕЛЫЙ Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934), писатель 258
- БЕЛЫХ Григорий Георгиевич (1906–1938, погиб в заключении), писатель, журналист. В соавторстве с Л. Пантелеевым написал знаменитую книгу «Республика ШКИД» (1927) 267, 272, 279
- БЕНЕДИКТОВ Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт 206
- БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович (1783–1844), государственный деятель, шеф жандармов 73, 76, 394
- БЕРГГОЛЬЦ Ольга Федоровна (1910–1975), поэт, прозаик 50
- БЕРЕНДЕЕВ – этим псевдонимом подписана статья о футуризме «Забавники» («Новое время», 1912, 30 декабря) 199
- БЕРЕСТОВ Валентин Дмитриевич (1928–1998), поэт, литературовед 3, 4
- БЕРЛИН (де Гинзбург) Алина Элизабет, жена И. Берлина (см.) 419

- БЕРЛИН Исайя (1909–1997), английский славист, историк, адресат ахматовских стихов 418, 419
- БЕРНС Роберт (1759–1796), шотландский поэт 33
- БЕТХОВЕН Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор 122
- БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (1857–1927), невропатолог, директор Психоневрологического института 113
- БЛЕЙК Уильям (1757–1827), английский поэт 107, 358
- БЛОК Александр Александрович (1880–1921), поэт 33, 50, 54, 69, 70, 82, 84, 85, 87, 88, 92, 108, 121, 142, 154, 185, 189, 224, 227, 234, 237, 247, 248, 249, 254, 264, 335, 336, 339, 340, 350, 356, 414
- БОБА, см. Б. К. Чуковский
- БОГДАНОВИЧ Александра Аньоловна, Шура (1898–1938, расстреляна), дочь А. И. и Т. А. Богданович 94
- БОГДАНОВИЧ Ангел Иванович (1860–1907), публицист и критик, редактор журналов «Мир Божий» и «Современный мир» 237
- БОГДАНОВИЧ Владимир Аньолович, Володя, сын А. И. и Т. А. Богданович 94
- БОГДАНОВИЧ Софья Аньоловна, Соня (1900–1987), детская писательница, дочь А. И. и Т. А. Богданович 94
- БОГДАНОВИЧ Татьяна Александровна (1873–1942), писательница 46, 78, 94, 411–413
- БОГДАНОВИЧ Татьяна Аньоловна, Таня, дочь А. И. и Т. А. Богданович 94
- БОКЛЬ Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист 58
- БОНДИ Сергей Михайлович (1891–1983), литературовед, пушкинист 66
- БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (1873–1955), литературовед 70, 369
- БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич (1757–1825), художник 78
- БОРЩАГОВСКИЙ Александр Михайлович (1913–2006), писатель, критик 8, 399–402
- БОУР Родион Христианович (1667–1717), российский военачальник, генерал от кавалерии, сподвижник Петра I 74
- БРАУНИНГ Роберт (1812–1889), английский поэт 32
- БРИК Лили Юрьевна (1891–1978), жена О. М. Брика, любимая женщина и муза Владимира Маяковского 251
- БРОДСКИЙ Иосиф Александрович (1940–1996, умер за границей), поэт 50
- БРОНШТЕЙН Матвей Петрович (1906–1938, расстрелян), физик-теоретик, профессор ЛГУ; автор научно-художественных книг для детей; зять К. И. Чуковского 279, 420
- БРЮЛЛОВ Карл Павлович (1799–1852), художник 78, 174, 182, 188

- Брюс Яков Вилимович (1669–1735), российский государственный деятель и учёный, сподвижник Петра I 74
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт 25, 70, 82, 224, 236, 261, 271, 316, 322, 371, 417
- Брюсова Иоанна Матвеевна (1876–1965), переводчица, жена В. Я. Брюсова 322
- Булгарин Фаддей Бенедиктович (1789–1859), журналист, писатель 394
- Булла Карл Карлович (1853–1929), фотограф, владелец известного фототелье на Невском проспекте в С.-Петербурге 81, 406
- Бунин Иван Алексеевич (1870–1953, умер за границей), писатель 70, 78, 224
- Бунин Павел Львович (1927–2008), художник-иллюстратор, мемуарист, поэт-переводчик 7, 309–364
- Бусон Танигути (1716–1783), японский поэт жанра хайку 353
- Васильев Аркадий Николаевич (1907–1972), писатель, сценарист, с 1929 года — работник ОГПУ; в 1960-х гг. — член редколлегии журналов «Крокодил», «Москва», «Огонёк», секретарь парторганизации Союза писателей 393
- Васильев Петр Васильевич (1899–1975), художник 294
- Васильева Раиса Родионовна (1902–1938, расстреляна), детская писательница 279
- Ватагин Василий Алексеевич (1883/1884–1969), график и скульптор-анималист, народный художник РСФСР (1964), действительный член АХ СССР (1957) 319
- Введенский Александр Иванович (1904–1941, погиб в заключении), поэт 50, 171
- Введенский Иринарх Иванович (1813–1855), общественный деятель, переводчик 110
- Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы, критик, библиограф 407
- Венгров Натан (наст. имя Моисей Павлович, 1894–1962), поэт, зав. отделом детской и юношеской литературы московского Госиздата, зав. Центральным методическим бюро ГУСа 121
- ВЕРБИЦКАЯ Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница 70, 273
- Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965), писательница 138
- Виктория Александрина (1819–1901), королева Великобритании 323
- Владимир I Святославич (ок. 960 – 1015), киевский великий князь, при котором произошло Крещение Руси 74
- Волконская Мария Николаевна (1805–1863), княгиня, жена декабриста С. Г. Волконского, дочь генерала Н. Н. Раевского. Одна из первых среди жён декабристов последовала в 1827 за мужем в Сибирь 99, 101

- Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932), поэт, переводчик, художник-акварелист 261–263
- Волошина Мария Степановна (1887–1976), вторая жена М. А. Волошина 261–263
- Воронцова-Дашкова Александра Кирилловна (1818–1856), светская знакомая А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. После смерти мужа уехала в Париж, вышла замуж за барона де Пуалли и скончалась через полгода после свадьбы 413
- Врубель Михаил Александрович (1856–1910), художник 82
- ГАББЕ Тамара Григорьевна (1903–1960), детская писательница, драматург, критик; в 1930-е гг. – редактор Ленинградского отделения Детгиздата; в 1937–1939 была в заключении 171, 279
- ГАГАРИН Андрей Григорьевич (1855–1920), князь, директор Политехнического института, владелец имения Холомки 259–261
- ГАГАРИН Петр Андреевич (1904–1938, расстрелян), князь, инженер, сын А. Г. и М. Д. Гагариных 259–261
- ГАГАРИНА Мария Дмитриевна (1864–1946, умерла за границей), княгиня, вдова А. Г. Гагарина 259–261
- ГАГАРИНА Софья Андреевна (1892–1979, умерла за границей), княжна, дочь А. Г. и М. Д. Гагариных 259–261
- ГАЛЕВИ Иегуда (ок. 1075–1141), еврейский поэт и философ, жил в Испании 323
- ГАМСУН Кнут (1859–1952), норвежский писатель 337
- ГАРШИН Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель, поэт, художественный критик 147, 214
- ГЕЙНЕ Генрих (1797–1856), немецкий поэт 289, 315
- ГЕННАДИЙ, см. Г. М. Белов
- ГЕРЦЕН Александр Иванович (псевд.: Искандер, 1812–1870, умер за границей), писатель, философ 11, 105, 413
- ГЕРШТЕЙН Эмма Григорьевна (1903–2002), историк литературы, мемуаристка 396
- ГЁТЕ Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт 314, 355, 360
- ГИНЗБУРГ Евгения Семеновна (1904–1977), писательница («Крутой маршрут»), узница сталинских лагерей, мать Василия Аксенова 422
- ГИППИУС Василий Васильевич (1890–1942), литературовед 265
- ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869–1945, умерла за границей), поэт, критик, жена Д. С. Мережковского 236
- ГЛАДКОВ Федор Васильевич (1883–1958), писатель 239
- ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809–1852), писатель 82, 106, 126, 335, 338
- ГОНЧАРОВ Иван Александрович (1812–1891), писатель 275, 292, 293
- ГОРБУНОВ Николай Петрович (1892–1938, расстрелян), академик,

- управделами Совнаркома, с 1935 г. непреременный секретарь АН СССР 408
- ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт 25, 194, 234, 350
- ГОРЧАКОВ Александр Михайлович (1799–1883), дипломат, канцлер, лицейский товарищ А.С. Пушкина 74
- ГОРЬКИЙ Максим (наст. имя и фам.: Алексей Максимович Пешков, 1868–1936), писатель 7, 78, 84, 87, 90, 171, 172, 189, 194, 224, 234, 242, 248, 249, 254–256, 272, 318, 328, 405, 413, 417
- ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, общественный деятель 208, 209
- ГРЕЙ Эдвард (1862–1933), в 1905–1916 годах министр иностранных дел Англии 321
- ГРЕКОВА И. (наст. имя и фам. Елена Сергеевна Вентцель, 1907–2002), писательница, доктор технических наук 396
- ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич (1886–1939, умер за границей), художник 82, 179
- ГРУЗДЕВ Илья Александрович (1892–1960), критик, литературовед 258
- ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886–1921, расстрелян), поэт 50, 86, 189, 253, 254, 335, 336, 349
- ГЮГО Виктор Мари (1802–1885), французский писатель 126, 127
- ДАВЫДОВ Владимир (наст. имя и фам.: Горелов Иван Николаевич, 1849–1925), петербургский драматический актер 234
- ДАЛЬ Владимир Иванович (1801–1872), лексикограф и писатель 373
- ДАНТЕС Жорж Шарль (1812–1895), французский офицер-кавалергард, в 1830-е годы жил в России. Известен как человек, смертельно раненный на дуэли А. С. Пушкина 77
- ДАР Давид Яковлевич (1910–1980, умер за границей), писатель, муж В. Ф. Пановой 275
- ДЕЛЬВИГ Антон Антонович (1798–1831), поэт 74
- ДЕЛЬМАС Любовь Александровна (по мужу Андреева, 1884–1969), оперная артистка (меццо-сопрано), камерная певица, педагог, адресат стихотворений А. Блока 338
- ДЕНИКИН Антон Иванович (1872–1947, умер за границей), генерал 423
- ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (1743–1816), поэт 297
- ДЖЕЛИКО Джон Рашуорт (1859–1935), английский адмирал, командующий флотом (1914–1916) 321
- ДИККЕНС Чарльз (1812–1870), английский писатель 34, 35, 126, 127, 130, 132–134, 210, 290
- ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав Валерианович (1875–1957, умер за границей), театральнй художник, живописец 82, 260
- ДОЙЛЬ Артур Конан (1859–1930), английский писатель 126, 329

- Доре Поль Гюстав (1832–1883), французский гравёр, иллюстратор и живописец 230
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель 108, 212, 358, 399
- Дрейден Симон Давыдович (1906–1991), театральный критик, в 1920-е гг. был секретарем К. Чуковского 265
- Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), писатель, критик 312, 351
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862), начальник штаба корпуса жандармов 73
- Дюма Александр (1802–1870), французский писатель 359
- Евреинов Николай Николаевич (1879–1953, умер за границей), режиссер и драматург 82, 87, 88, 329
- Елинсон Николай Львович (1921–2007), с 1955 по 1977 г. руководитель Литфонда СССР 389, 390, 394
- Емельянов Николай Александрович (1871–1958), рабочий. В 1917 г. укрывал Ленина и Зиновьева в Разливе. Был арестован со всей семьей в 1935 г. Освобожден не позднее 1954 г. 279
- Ершов Петр Павлович (1815–1869), поэт 121
- Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт 50
- Жаботинский Владимир Евгеньевич (1880–1940), писатель, переводчик, журналист, сионистский деятель, один из основателей государства Израиль 420
- Женька, см. Чуковский Е.Б.
- Житков Борис Степанович (1882–1938), писатель 31, 45, 78, 171, 267
- Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), актер, артист эстрады, педагог, режиссер 50
- Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958), поэт 50
- Зайцев Борис Константинович (1881–1972, умер за границей), писатель 417
- Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–1939), художник 229, 230, 232
- Замятин Евгений Иванович (1884–1937, умер за границей), прозаик и драматург. Сотрудничал с Чуковским во «Всемирной литературе» в редакциях журналов «Современный Запад», «Русский современник». В 1932 уехал за границу, жил во Франции, сохранив до конца жизни советское гражданство 189, 226, 258
- Зарахани Валерия Иосифовна (1908–1997), секретарь А. А. Фадеева, сестра его жены актрисы А. И. Степановой 302
- Заславский Давид Иосифович (1880–1965), партийный публицист 368
- Заходер Борис Владимирович (1918–2000), поэт, детский писатель, переводчик 376

- Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936, расстрелян), партийный и государственный деятель 294
- Зошенко Михаил Михайлович (1895–1958), писатель 171, 189, 258, 283
- Иванов Вячеслав Всеволодович, Кома (р. 1929), филолог, переводчик, сын Т. В. и Вс. В. Ивановых 368
- Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949, умер за границей), поэт, критик 109, 217
- Ивич Александр (наст. имя и фам.: Игнатий Игнатьевич Бернштейн, 1900–1978), писатель 244
- Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921), критик, пародист 199, 228
- Измайлов Гумер, работал с А. И. Солженицыным в марфинской шарашке, после своего освобождения хранил рукописи заключенных А. Солженицына и Л. Копелева 422
- Ильин Виктор Николаевич (1927–1990), секретарь Правления Московского отделения СП РСФСР по оргвопросам, генерал-лейтенант КГБ 387, 389–392, 394, 395
- Ильин М. (наст. имя и фам. Илья Яковлевич Маршак, 1895–1953), детский писатель, брат С. Я. Маршака 171
- Ильина Наталия Иосифовна (1914–1994), писательница, фельетонистка 387, 389
- Иоанна, см. Брюсова И. М.
- Кабо Любовь Рафаиловна (1917–2007), писательница, педагог, журналист 394, 396
- Казакевич Эммануил Генрихович (1913–1962), писатель 416
- Каменский Василий Васильевич (1884–1961), поэт, драматург, беллетрист 129, 249, 250
- Каплан Дуся (Ида Исааковна, 1903–1939), жена писателя М. Л. Слонимского 258
- Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк 73
- Карлейл Томас (1795–1881), английский философ, историк 31, 102
- Кассиль Лев Абрамович (1905–1970), писатель 389, 394
- Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель 171, 362, 363, 386
- Качалов Василий Иванович (1875–1948), театральный актёр 50, 51
- Квитко Лев Моисеевич (1890–1952, погиб в заключении), поэт 50, 78
- Кёрай Мукаи (1651–1704), японский поэт, ученик и друг Мацуо Басё 353
- Керенский Александр Федорович (1881–1970, умер за границей), адвокат, министр-председатель Временного правительства 254
- Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936), английский поэт, писатель 316–318, 323, 324, 326, 346, 347, 350
- Китс Джон (1795–1821), английский поэт 32
- Китченер Горацио Герберт (1850–1916), в годы первой мировой войны –

- военный министр Великобритании, погиб на подорванном немцами корабле, направлявшемся для переговоров в Россию 320
- Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869), государственный деятель 76
- Клюев Николай Алексеевич (1884–1937, расстрелян), поэт 50
- Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк 73
- Коваль Юрий Иосифович (1938–1995), детский писатель, а также сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник и скульптор, автор и исполнитель песен 375–384
- Колумб Христофор (1451–1506), испанский мореплаватель, открывший Америку 335, 421
- Коля, см. Чуковский Н. К.
- Кома, см. Иванов Вяч. Вс.
- Комияма Рионей, глава японского издательства «Рирон-ша» 8, 397, 398
- Коммиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910), актриса 82, 109
- Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, писатель, общественный деятель 78, 83, 99, 102, 109, 168, 408
- Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997, умер за границей), критик-германист, правозащитник 377, 422
- Корнейчукова Екатерина Осиповна (1856–1931), мать Корнея Чуковского 30, 157
- Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002), поэт 50
- Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), российский военачальник, генерал от инфантерии 422
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель 37, 46, 70, 78, 82, 84, 99, 108, 109, 191, 214, 224, 237, 406
- Костюкова (урожд. Чуковская) Наталья Николаевна, Тата (р. 1925), внучка К. Чуковского 6, 289–294
- Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980), Председатель Совета Министров СССР (1964–1980) 391
- Кромвель Оливер (1599–1658), деятель английской буржуазной революции 359
- Крупская Надежда Константиновна (1869–1939), председатель научно-педагогической секции ГУСа, председатель Главполитпросвета, зам. наркома просвещения (с 1930 г.) 369
- Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт 200
- Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец 125
- Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт 50, 189
- Кузьмин Николай Васильевич (1890–1987), художник–иллюстратор, ученик С.В. Чехонина 75, 76
- Кульбин Николай Иванович (1866–1917), военный врач, художник, критик 82, 249

- КУПЕР Джеймс Фенимор (1789–1851), американский писатель 126
- КУПРИН Александр Иванович (1870–1938), писатель 78, 224, 234, 373
- КУРОЧКИН Николай Степанович (1830–1884), поэт 289
- КУРГИКИДЗЕ Серго, сосед Валентина Стенича по коммунальной квартире 265
- КУШНЕР Александр Семёнович (р. 1936), поэт 50
- КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт 74
- ЛАПЛАС Пьер-Симон (1749–1827), французский математик, физик и астроном; известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей 332
- ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич (1891–1967), художник 267
- ЛЕБЕДЕНКО Александр Гервасьевич (1892–1975), писатель и журналист. Чл. КП с 1919. Для детей писал о полярных исследованиях. Арестован в начале 1935 в «кировском потоке». До 1955 находился в лагерях и ссылках. В 1956 — снова в Ленинграде, избирался членом правления Ленинградского отделения ССП. В 1950–60-е гг. написал много рассказов о лагерях. Некоторые из них были опубликованы в альманахе «Двадцатый век» (1977. № 2) 279
- ЛЕВИЦКИЙ Лев Абелевич (1929–2005, умер за границей), критик 8, 420, 421
- ЛЕНИН Владимир Ильич (1870–1924), советский политический и государственный деятель 279, 294, 422
- ЛЕОНАРДО да Винчи (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер 251
- ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт 33, 52, 54, 66, 69, 75–77, 106, 125, 176, 319, 399
- ЛЕРНЕР Николай Осипович (1877–1934), историк литературы, пушкинист 230, 232
- ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831–1895), писатель 75
- ЛЕТКОВА-СУЛТАНОВА Екатерина Павловна (1856–1937), писательница 113
- ЛИВШИЦ Бенедикт Константинович (1886–1938, расстрелян), поэт, переводчик 6, 7, 199, 200, 249
- ЛИКУРГ, легендарный спартанский законодатель (9–8 вв. до н. э.) 409
- ЛИППИ Фра Филиппо (ок. 1406–1469), итальянский художник 322
- ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ (1863–1945), английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг. 321
- ЛОЗОВСКАЯ Клара Израилевна (1924–2011), секретарь К. И. Чуковского 3, 116, 149, 151, 154, 342, 363, 365, 382
- ЛОНДОН Джек (1876–1916), американский писатель 251
- ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875–1933), нарком просвещения, историк литературы, критик 260

- Лунц Лев Натанович (1901–1924, умер за границей), прозаик, драматург, один из «Серапионовых братьев». Уехал за границу (в научную командировку) 1 июня 1923 г. 234, 258, 259
- Львов-Рогачевский В. (псевд. Василия Львовича Рогачевского, 1874–1930), литературовед 199
- Любарская Александра Иосифовна (1908–2002), детская писательница, фольклористка. В 1930-х – редактор Ленинградского отделения Детиздата 279
- Люша, см. Чуковская Е. Ц.
- Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт 74
- Майн Рид Томас (1818–1883), английский писатель, автор приключенческих романов и произведений для детей и юношества 126
- Майслер Михаил Моисеевич (1903–1942), журналист и писатель, политэмигрант из Польши, зам. директора ЛенДетгиза, был в заключении (1938–39) 279
- Максимович Алексей Яковлевич (1908–1942), литературовед, некрасовед, архивист 265
- Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938, погиб в лагере), поэт 50, 189, 200
- Манн Томас (1875–1955), немецкий писатель, эссеист 316, 331
- Мария-Антуанетта (1755–1793, казнена), королева Франции, супруга короля Франции Людовика XVI 328
- Марков Георгий Мокеевич (1911–1991), секретарь Правления Союза писателей СССР 392
- Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт, переводчик. С 1922 – организатор советской детской литературы. В разные годы – председатель секции детских писателей ССП, председатель комиссии по детской литературе ССП и т. д. В 1924–37 – главный консультант (фактически руководитель) детского отдела Госиздата в Ленинграде («маршаковская редакция») 50, 78, 107, 136, 151, 228, 238, 239, 267, 274, 285, 286, 332, 333, 387, 390
- Матвеев Владимир Павлович (1897–1940), журналист и детский писатель. Участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Его повести «Комиссар золотого поезда» и «Конец Хлябинского Совнаркома» в печати назывались «явно троцкистскими и клеветническими» («Детская литература». 1937. № 14. с. 7) 279
- Матюшкин Федор Федорович (1799–1872), адмирал, лицейский товарищ А. С. Пушкина 74
- Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт. 4, 50, 69, 78, 82, 89–94, 101, 185, 189, 191, 194, 199, 224, 227, 249–253, 264, 289, 411
- Медичи Лаврентий Великолепный (1448–1492), флорентийский правитель, покровитель художников, поэтов, ученых 322

- Межиров Александр Петрович (1923–2009, умер за границей), поэт и переводчик 50
- Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940, расстрелян), режиссер, театральный деятель 82, 109
- МЕРЕЖКОВСКИЕ (З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский) 236
- МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866–1941, умер за границей), поэт, прозаик, публицист и религиозный философ 236, 273, 277, 417
- Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт 321
- Мильтон Джон (1608–1674), английский поэт 32
- Михалков Сергей Владимирович 1913–2009), детский поэт, сатирик. Автор текстов Гимна Советского Союза (1943, 1977). С 1940-х – постоянно один из руководителей ССП 239, 387, 389, 391–395
- Моравская Мария Людвиговна (1889–1947, умерла за границей), поэт 121
- Мотовилова Софья Николаевна (1881–1966), мемуаристка, сестра матери В. П. Некрасова 369
- Мурадели Вано Ильич (1908–1970), композитор 283
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец 128
- Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор 104, 105
- Мюллер Иоганн (1752–1809), швейцарский историк 212, 214
- Мятлев Иван Петрович (1796–1844), поэт, автор «Сенсаций и замечаний г-жи Курдюковой...» 289
- Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт 257, 258
- Накатов И. (Василевский И. М., 1882–1938) – публицист и беллетрист 199
- НАПОЛЕОН I (Наполеон Бонапарт, 1769–1821), французский император 125, 332
- НАППЕЛЬБАУМЫ – фотограф-художник Моисей Соломонович Наппельбаум (1869–1958) и его дочери Ида (1900–1992), Фредерика (1902–1958) и Ольга (1905–1982). В их доме собиралась поэтическая студия «Звучащая раковина», которой руководил Н.Гумилев. 233, 248, 260, 264, 285
- Наталья Борисовна, см. Нордман Н. Б.
- НЕВЕДОМСКИЙ (псевд. Михаила Петровича Миклашевского, 1866– 943), партийный деятель, публицист 199
- НЕКРАСОВ Виктор Платонович (1911–1987, умер за границей), писатель 7, 369–374
- НЕКРАСОВ Николай Алексеевич(1821–1877), поэт 33, 35, 52, 53, 69, 75, 99, 101, 102, 109, 143, 154, 172, 196, 264, 326, 327, 332, 379, 401, 407, 408, 413, 414, 419, 276, 223, 228

- Ник. Корн., см. Чуковский Н. К.
- Николай I (1796–1855), рос. император с 1825 г. 73, 176
- Николай II (1868–1918, расстрелян), рос. император (1894–1917 г.) 76
- Нилин Павел Филипович (1908–1981), писатель, переделкинский сосед Чуковского 363, 388, 392, 395, 396
- Ногин Виктор Павлович (1878–1924), профессиональный революционер, советский партийно-государственный деятель, философ-марксист 369
- Нордман (псевд. Северова) Наталья Борисовна (1863–1914), писательница, жена И. Е. Репина 51, 81
- Носов Николай Николаевич (1908–1976), писатель 326, 344, 379
- ОБАРА Куниёси, основатель токийского детского театра 275
- Облонская Раиса Ефимовна (1924–2010), переводчица 147
- Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1918–2001, умер за границей), историк, литературовед 419
- Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970), историк литературы, председатель Пушкинской комиссии, участвовал в подготовке Полного академического собрания сочинений А.С. Пушкина. В 1936 г. Оксман был арестован (ему инкриминировались «попытки срыва юбилея Пушкина, путем торможения работы над юбилейным собранием сочинений»). Отбывал срок на Колыме (Севвостлаг), работал банщиком, бондарем, сапожником, сторожем. В 1941 г. получил новый срок (5 лет) за «клевету на советский суд». Передавал на Запад не опубликованные в СССР тексты поэтов «серебряного века» – Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой – и свои воспоминания о них, помогая Г. П. Струве в издании собраний сочинений этих авторов. Летом 1963 г. Оксман анонимно опубликовал на Западе статью «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых». У него провели обыск, исключили из Союза писателей (октябрь 1964), вынудили уйти из ИМЛИ на пенсию, вывели из состава редколлегии «Краткой литературной энциклопедии», одним из инициаторов издания которой он был 8, 393
- Олейников Николай Макарович (1898–1937, расстрелян), сатирический поэт, детский писатель, редактор журналов «Чиж», «Еж», «Сверчок», «Костер». Чл. КП с 1920 г. В 1936–1937 г.г. Олейников регулярно выступал на собраниях партгруппы Ленинградского отделения ССП с обличениями «врагов народа». Арестован в конце июля 1937 г. 2 августа 1937 г. на заседании правления Ленинградского отделения ССП. В печати Олейников обвинялся в

- «беззастенчивом искажении и осквернении действительности», в «клевете на ребенка» путем подбора рисунков в журнале для дошкольников «Сверчок» и т. п. (См.: Л. Кон. Клеветнический журнал // Литературная газета. 1937, 15 сент., с. 4) 267, 279
- Ольга Николаевна, бабушка П. Л. Бунина. 317, 325, 329, 330, 357, 362
- Орлова-Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848), графиня, камер-фрейлина, единственная дочь Алексея Орлова, сподвижника императрицы Екатерины II, и наследница его многомиллионного состояния. Дала обет безбрачия и занималась благотворительностью 230
- Осоргин Михаил Андреевич (1878–1942, умер за границей), писатель 199
- ПАНАЕВА Авдотья Яковлевна (1819–1893), писательница, мемуаристка, гражданская жена Н. А. Некрасова 222, 225, 230, 243
- ПАНТЕЛЕЕВ Л. (наст. имя и фам. Еремеев Алексей Иванович, 1908–1987), писатель 7, 165, 171, 241–244, 267–288, 389, 394
- ПАНТЕЛЕЕВА Элико Семеновна (1914–1983), жена А. И. Пантелеева 275
- ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890–1960), поэт 6, 8, 50, 59, 60, 365–368, 374, 392, 394–396, 420
- ПАСТЕРНАК Евгений Борисович (р. 1923), сын Б. Л. и Е. В. Пастернак 391
- ПАСТЕРНАК Зинаида Николаевна (1897–1966), вторая жена Б. Л. Пастернака 365–367
- ПАСТЕРНАК Леонид Борисович, Леня (1938–1976), сын Б. Л. и З. Н. Пастернак 165
- ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892–1968), писатель 171, 393, 394
- ПЕТРОВЫХ Мария Сергеевна (1908–1979), поэт, переводчица 50
- ПЛЕТНЕВ Петр Александрович (1792–1865), критик и поэт. В течение 20 лет Плетнев был одним из самых близких друзей Пушкина: ему принадлежит издание почти всех собраний сочинений Пушкина, который посвятил Плетневу своего «Евгения Онегина». После смерти Пушкина, с 1838 по 1846 г., Плетнев был редактором – издателем «Современника» 82
- Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867), критик и журналист 393
- ПОЛИКАРПОВ Дмитрий Алексеевич (1905–1965), в 1955–1965 гг. заведующий отделом культуры ЦК КПСС, секретарь правления СП СССР 368
- Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт 33, 54, 55
- Прутков Козьма (коллективный псевдоним Алексея, Александра и Владимира Жемчужниковых и Алексея Константиновича Толстого) 370
- Пуни Иван Альбертович (1894–1956), живописец, график, художник театра, иллюстратор, автор статей по искусству 82

- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 33, 35, 52, 54, 59, 66, 71–77, 82, 94, 106, 108, 120, 122, 124–126, 176, 191, 209, 236, 319, 321, 332, 335, 357, 362, 399, 414
- Пушкин Иван Иванович (1798–1859), декабрист; мемуарист, лицейский товарищ А. С. Пушкина, который посвятил ему ряд стихотворений («Мой первый друг, мой друг бесценный» (1826) и др.) 74, 75
- Радаков Алексей Александрович (1879–1942), художник, один из основателей журналов «Сатирикон» (1908) и «Новый Сатирикон» 234
- Райкин Аркадий Исаакович (1911–1987), эстрадный и театральный актёр, режиссёр, сценарист, юморист 274
- Райкин Константин Аркадьевич (р. 1950), актёр театра и кино, руководитель московского театра «Сатирикон», сын А. И. Райкина 274
- РЕМБРАНТ Ван-Рейн (1606–1669), голландский художник 315
- РЕ-МИ (наст. фам. Ремизов) Николай Владимирович (1887–1975, умер за границей), художник, постоянный карикатурист журнала «Сатирикон», первый иллюстратор сказки К. Чуковского «Крокодил» 109, 267
- РЕПИН Илья Ефимович (1844–1930, умер за границей), художник 21, 22, 37, 46, 51, 78, 80–85, 87, 89, 90, 94–96, 98, 99, 104, 109, 113, 120, 168, 169, 189–192, 194
- РЕПИНА Вера Ильинична (1872–1948, умерла за границей), актриса, дочь И. Е. Репина 89
- РЕПНИН Аникита Иванович (1668–1726), военный деятель, сподвижник Петра I 74
- РЕСКИН Джон (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства 316, 331, 343, 345, 355
- РИШЕЛЬЕ (Арман Жан дю Плесси), прозвище «Красный герцог» (1585–1642), кардинал Римско-католической церкви, аристократ и государственный деятель Франции, государственный секретарь с 1616 г. и глава правительства («главный министр короля») с 1624 г. года до своей смерти 359
- РОБЕСПЬЕР Максимилиан (1758–1794, казнен), один из лидеров Великой Французской революции, глава радикального революционного движения – якобинцев. Фактически возглавив в 1793 г. революционное правительство, способствовал казни короля Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты, развернул массовый террор против «врагов революции». 27 июля 1794 г. был свергнут и на следующий день вместе с ближайшими соратниками казнён на гильотине термидорианцами 328, 332
- Родс Сесил Джон (1853–1902), английский политический деятель, один из создателей английских колоний в Южной Африке, и инициа-

- тор англо-бурской войны 1899–1902 гг., а также один из богатейших людей, основатель «алмазной» и золотодобывающей империи 321
- Розанов Василий Васильевич (1856–1919), публицист, философ 6, 109, 201–211, 214–216
- Розинер Лазарь (Александр) Евсеевич (1880–1940), зав. конторой журнала «Нива» 406
- Рокотов Фёдор Степанович (1735?–1808), художник, портретист 78
- Рубакин Николай Александрович (1862–1946), библиограф и популяризатор знаний 409, 410
- Рубенс Питер Пауль (1577–1640), фламандский художник 78
- Рузвельт Франклин (1882–1945), президент США в 1933–1945 гг. 310
- Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960, умер за границей), журналист. Заведовал отделением газеты «Русское слово» в СПб. После 1917 г. в эмиграции 405
- Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973), художница и поэтесса, первая жена М. А. Волошина 261
- Савонарола Джироламо (1452–1498, казнен), итальянский доминиканский священник, бывший монах, диктатор Флоренции с 1494 по 1498 г. 204
- Садовской Борис Александрович (1881–1952), поэт 85, 190
- Саитов Владимир Иванович (1839–1938), библиограф и историк, заведующий русским отделом Публичной библиотеки 232
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд.: Николай Щедрин, 1826–1889), писатель 310, 332
- Самойлов Давид Самойлович (1920–1990), поэт, переводчик 50
- Саути Роберт (1774–1843), английский поэт 127
- Свердлин Лев Наумович (1901–1969), актёр, лауреат сталинской премии (1947, 1949, 1951) 352
- Свирский Алексей Иванович (1865–1942), прозаик, эссеист 194
- Свифт Джонатан (1667–1745), английский писатель 345
- Северянин Игорь (псевд. Игоря Васильевича Лотарева, 1887–1941, умер за границей), поэт 199, 346, 407
- Семиженов, сотрудник Центрального дома литераторов 390, 391
- Сенека Люций Анней (ок. 4 н. э.–65), римский философ и поэт 313
- Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958), писатель 37, 194, 371, 408, 409
- Серебрянников Абрам Борисович (1909–1937, расстрелян), с 1936 – по май 1937 г. был секретарем секции детских писателей Ленинградского отделения ССП. На собраниях в ССП заявлял, что «в детской литературе нет врагов», за что, видимо, и поплатился. Арестован 5 сентября 1937 г. 279

- СЕРОВ Валентин Александрович (1865–1911), художник 78, 82, 84
- СИНГ Джон Миллингтон (1871–1909), ирландский драматург 222, 225, 243
- СКИТАЛЕЦ (псевд. Степана Гавриловича Петрова, 1869–1941), поэт и прозаик из окружения Горького 194, 228
- СКОТТ Вальтер (1771–1832), английский писатель 126, 127, 340
- СЛЕПЦОВ Василий Алексеевич (1836–1878), писатель 264
- СЛОНИМСКИЙ Михаил Леонидович (1897–1972), писатель 258, 265
- СЛУЦКИЙ Борис Абрамович (1919–1986), поэт 50, 394
- СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (1918–2008), писатель 388, 392, 416–418, 421
- СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист 413
- СОЛОВЬЕВА (псевд. Allegro) Поликсена Сергеевна (1864–1924), поэт 121
- СОЛОГУБ (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), поэт 82, 185, 191, 234, 418
- СОЛОН (между 640 и 635–около 559 до н. э.), афинский политик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции 409
- СОРОКИН Питирим Александрович (1889–1968, умер за границей), русско-американский социолог 257
- СОФЬЯ Андреевна, см. Гагарина С. А.
- СТАНИСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич (1863–1938), режиссер и актер 84, 85
- СТАСКОЛЕВИЧ Михаил Матвеевич (1826–1911), историк общественный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» 413
- СТЕНИЧ Валентин Осипович (1898–1938, расстрелян), переводчик, критик 281
- СУИНБЕРН Алджернон Чарлз (1837–1909), английский поэт 32
- СУРКОВ Алексей Александрович (1899–1983), поэт, в 1952 г. – заместитель Генерального секретаря ССП 239, 392
- ТАНЕЕВ Владимир Иванович (1840–1921), адвокат, литератор, библиофил, брат композитора С. И. Танеева 371
- ТАРКОВСКИЙ Арсений Александрович (1907–1989), поэт 414, 415
- ТАРЛЕ Евгений Викторович (1874–1955), историк, публицист, академик 78, 109
- ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович (1910–1971), поэт, главный редактор «Нового мира» (1950–1954, 1958–1970) 50, 283
- ТВЕН Марк (1835–1910), американский писатель 126, 307
- ТЕККЕРЕЙ Уильям Мейкнис (1811–1863), английский писатель 31
- ТЕРЕЩЕНКО Михаил Иванович (1886–1956), предприниматель, сахарозаводчик, министр иностранных дел Временного правительства 254

- Тимашев Александр Егорович (1818–1893), русский государственный деятель. Генерал-адъютант, член Государственного совета с 1867 г. В 1856–1861 гг. управляющий «Третьим отделением» 58
- Тициан (Тициано Вечеллио, 1480/90–1576), итальянский живописец эпохи Возрождения 78
- Толстая Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого 82
- Толстой Алексей Константинович (1817–1875), поэт 74
- Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), писатель 73
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель 35, 58, 69, 70, 81, 82, 89, 125, 331, 332, 355, 371, 399, 413
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 292, 293
- Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), писатель, литературовед 78
- Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт 33, 37, 70, 72, 106, 107, 126
- Уайльд Оскар (1854–1900), английский писатель 34, 118, 224, 310, 322, 323, 333, 334, 343, 401
- Уитмен Уолт (1819–1892), американский поэт 31, 32, 37, 107, 118, 138, 142, 144, 147, 152, 276, 313, 401, 411
- Уланд Людвиг (1787–1862), немецкий поэт, представитель так называемой «швабской школы» — группы поздних немецких романтиков 127
- Уотс Джордж Фредерик (1817–1904), английский художник, скульптор 320, 321
- Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель 255–257, 323
- ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901–1956, покончил с собой), писатель и общественный деятель. В 1938–1944 гг. и 1946 г. (после постановления ЦК), 1954 г. — руководитель ССП (ответственный секретарь, первый секретарь, Генеральный секретарь, председатель Правления) 285–288
- Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель 365, 367, 368
- Федоров Александр Митрофанович (1868–1949, умер за границей), беллетрист, драматург, поэт, переводчик. После 1917 г. — в эмиграции 406
- ФЕРРЬЕР Адольф (1879–1960), швейцарский педагог, теоретик педагогического течения «новое воспитание» 410
- Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт 33, 54, 55, 107, 126
- ФИДЛЕР Федор Федорович (1859–1917), переводчик, коллекционер 8, 405–407
- Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940, умер за границей); публицист, критик 199
- ФИНА, см. Хавкина Ж. О.
- ФУРЦЕВА Екатерина Алексеевна (1910–1974), в 1954–1957 гг. первый секретарь МГК КПСС, в 1960–1974 гг. министр культуры 368

- Хавкина Любовь Борисовна (1871|1949), библиотековед, библиограф 371
- Хазин Александр Абрамович (1912–1976), писатель, поэт, сценарист, драматург, сатирик 283
- Хармс Даниил Иванович (1905–1942, погиб в заключении), поэт, прозаик, драматург. В конце 1920-х гг. — член группы ОБЭРИУ. В 1930-е г. публиковал только детские произведения. Арестован в августе 1941 г., умер в ленинградской тюрьме от голода 50, 171, 238, 286
- Хейг Дуглас (1861–1928), граф, британский фельдмаршал (1917) 321
- Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович, 1885–922), поэт 97, 199, 200, 249, 368
- Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939, умер за границей), поэт 50, 189
- Цветаева Марина Ивановна (1892–1941, покончила с собой), поэт, писательница 50
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.), римский диктатор, полководец 332
- Цявловская Татьяна Григорьевна (1897–1978), литературовед, специалистка по творчеству А. С. Пушкина 349
- Чайковская Ольга Георгиевна (р. 1918), журналистка 396
- Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор 288
- Чапаев Василий Иванович (1887–1919), командир 25-й стрелковой дивизии Красной армии, герой одноименного фильма 319
- Чарская Лидия Алексеевна (1875–1937), писательница 70, 191, 273
- Черный Саша (псевд. Александра Михайловича Гликберга, 1880–1932, умер за границей), поэт 121, 228, 238, 349
- Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), общественный деятель, издатель, друг Л. Н. Толстого 371
- Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель 67, 85, 108, 118, 136, 144, 151, 196, 312, 331, 399, 401, 416, 418
- Чириков Евгений Николаевич (1864–1932, умер за границей), прозаик, публицист, драматург. С 1920 г. — в эмиграции 405
- Чуковская Елена Цезаревна, Люша (р. 1931), внучка К. Чуковского 3–8, 276, 292–294, 365–368, 388, 390, 392, 422–424
- Чуковская Лидия Корнеевна, Лида (1907–1996), редактор, писательница, старшая дочь К. Чуковского 3–5, 7, 9–196, 211, 225, 250, 252, 270, 272, 276, 289, 293, 294, 339, 388, 393, 413, 418.
- Чуковская Марина Николаевна (1905–1993), переводчица, мемуаристка, жена Н. К. Чуковского 116, 151, 238, 418

- Чуковская Мария Борисовна (1880–1955), жена К. Чуковского 12, 19, 24, 25, 31, 44, 51, 63, 68, 81, 86, 89, 91, 98, 110, 115, 117–120, 158, 159, 174, 183, 188, 251–243, 253, 294, 320, 405, 409, 412, 413, 420
- Чуковская Мария Корнеевна, Мура (1920–1931), младшая дочь К. Чуковского 38, 145–147, 163, 225, 259, 289
- Чуковский Борис Корнеевич, Боба (1910–1941), младший сын К. Чуковского, инженер 15, 18, 19, 21–25, 27, 29, 35, 36, 41–43, 55–57, 61, 62, 73, 91, 93, 95, 97, 98, 101, 113–116, 120, 135, 147, 158, 160, 174, 185, 188, 189, 195, 225, 260, 289, 405
- Чуковский Дмитрий Николаевич, Митя (р. 1943), внук К. Чуковского 6, 387–392
- Чуковский Евгений Борисович, Женя (1937–1997), внук К. Чуковского, телеоператор 6, 294–308, 351
- Чуковский Николай Корнеевич, Коля (1904–1965), старший сын К. Чуковского, писатель 14, 17–21, 24–30, 32, 34, 36, 39–45, 49, 51, 54, 57, 61, 62, 64, 72, 73, 76, 80, 83, 89–92, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 114–120, 124, 126, 135, 136, 147, 158–160, 164, 167, 174, 185, 188, 189, 195, 211, 225, 234, 235, 237, 239, 247–266, 276, 292, 293, 362
- Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писательница 6, 211–216
- Шаляпин Федор Иванович (1873–1938, умер за границей), певец 82, 84, 90, 97–99, 224, 315, 324, 377, 407
- Шапиро Михаил Минаевич (1908–1998), зам. директора Центрального дома литераторов 390, 391
- Шарко Жан-Мартен (1825–1893), французский невропатолог 353
- Шварц Евгений Львович (1896–1958), драматург 7, 221–240, 241–244, 263–266, 268, 281
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт 52, 71, 75, 142, 174–176, 186, 332, 340, 363
- Шейнин Лев Романович (1906–1967), следователь и писатель. В 1934–1950 гг. – старший следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР. По слухам, один из главных сценаристов «больших процессов» 1930-х гг. В начале 1950-х гг. находился в заключении (по его словам, за несоответствующее правительственным видам расследование обстоятельств гибели Михоэлса). С середины 1950-х гг. – профессиональный литератор 285
- Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург 32, 319, 415
- Шелли Перси Биши (1792–1822), английский поэт 33
- Шереметев Борис Петрович (1652–1719), граф, фельдмаршал, сподвижник Петра I 74

- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805), немецкий поэт 127, 128
- Шкапская Мария Михайловна (1891–1952), поэт 261, 262
- Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), писатель, литературовед 96, 97, 411, 412
- Шлиффен Альфред фон (1833–1913), граф, прусский генерал-фельдмаршал (1911), начальник немецкого Генерального штаба с 1891 по 1905 год 332
- Шмидт Петр Петрович (1867–1906, расстрелян), революционный деятель, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 г., известен также, как лейтенант Шмидт 77
- Шопенгауэр Артур (1788–1860), немецкий философ 212
- Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор 391, 393
- Щедрин, см. Салтыков–Щедрин М. Е.
- Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952), писательница, переводчица 78
- Эдуард VII (1841–1910), король Великобритании в 1902–1910 гг. 328, 329
- Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель 393, 394
- Юденич Николай Николаевич (1862–1933, умер за границей), генерал царской армии 255
- Юдин Павел Федорович (1899–1968), философ, академик, в 1932–1938 гг. директор Института красной профессуры, в 1938–1944 гг. директор Института философии АН СССР, в 1937–1947 гг. заведовал ОГИЗом РСФСР 293
- Ямпольский Борис Самойлович (1912–1972), прозаик 396
- Яхонтов Владимир Николаевич (1899–1945), артист эстрады, чтец, актёр, мастер художественного слова, создатель жанра «театр одного актёра» 50

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге	3
ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ. ПАМЯТИ ДЕТСТВА	9
ЧУТЬЕ ЭПОХИ	197
Бenedикт Лившиц. Чуковский и футуристы	199
В. В. Розанов	
К. И. Чуковский о русской жизни и литературе	201
Мариэтта Шагинян	
Чутье эпохи	211
На лекции Чуковского	215
Вячеслав Иванов. «Чуковский – Аристарх прилежный...»	218
НЕКОМНАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, или Белый волк	219
Евгений Шварц	
Некомнатный человек	221
Белый волк	224
Л. Пантелеев. О «Белом волке»	241
ТАЛАНТ ЖИЗНИ	245
Николай Чуковский. Из воспоминаний	247
Л. Пантелеев	
Седовласый мальчик	267
Две встречи	277
Наталья Костюкова. Вспоминая Деда	289
Евгений Чуковский. Про Деда	295
Павел Бунин. Талант жизни	309
Елена Чуковская. Нобелевская премия Пастернака	365
Виктор Некрасов. Две встречи	369
Юрий Коваль. Слушай, Дерево	375
ПРОЩАНИЕ	385
Дмитрий Чуковский. Как хоронили моего деда	387
Ю. Оксман. На похоронах Корнея Чуковского	393

Содержание

Р. Комияма	
Памяти Чуковского	397
А. Борщаговский. Речь на крыльце	399
ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ	403
Ф. Ф. Фидлер. Из мира литераторов	405
А. Ф. Кони – К. И. Чуковскому	408
С. Н. Сергеев-Ценский – К. И. Чуковскому	408
Н. А. Рубакин – К. И. Чуковскому	409
Из доклада Н. Н. Асеева «Политическая лирика»	411
Т. А. Богданович – К. И. Чуковскому	411
Е. В. Тарле – К. И. Чуковскому	413
А. А. Тарковский – К. И. Чуковскому	414
Э. Казакевич – К. И. Чуковскому	416
А. И. Солженицын	
К. И. Чуковскому	416
Слово прощания	418
Сэр Исая Берлин – Марине Николаевне Чуковской	418
Л. Левицкий. Впечатление от дневника	420
Елена Чуковская. Тень будущего	422
КОММЕНТАРИИ	427
УКАЗАТЕЛЬ	488

Литературно-художественное издание

Воспоминания о Корнее Чуковском

Составители и авторы комментариев

Чуковская Елена Цезаревна

Иванова Евгения Викторовна

Редактор *Татьяна Стрыгина*

Дизайнеры *Юлия Героева, Алексей Копалин*

Художественный редактор *Анна Носенко*

Макет и верстка *Анна Носенко*

Корректор *Татьяна Медведева*

Цветокоррекция *Михаил Вирсис*

Издательство «Никея»

121471, Москва, ул. Рябиновая, стр. 19

www.nikeabooks.ru

Издательский отдел:

Тел.: (495) 416-80-41; edit@nikeabooks.ru

Отдел продаж:

Тел.: (495) 600-35-10; sales@nikeabooks.ru

Оптовая система закупок «Книгосвод»

Тел.: (495) 600-35-10; www.knigosvod.ru

Розничный интернет-магазин: www.symbooks.ru

Тел.: (495)508-75-55; sales@symbooks.ru

Подписано в печать 03.03.2012. Формат 70×108¹/₁₆

Бумага офсетная. Гарнитура «NewBaskerville»

Печ. л. 32. Тираж 5000 экз. Заказ № 101530

ISBN 978-5-91761 -140-2

Отпечатано: SIA «PRESES NAMS BALTIC», Латвия

Эрнеста Бирзниека-Упиша, 20а/4, Рига, LV-1050.

www.pnbaltic.eu

Корнею Чуковскому 130 лет!

Его стихи, сказки и переводы воспитывают в детских сердцах лучшие чувства. Он был «дедушкой Корнеем» для миллионов детей, и в своей большой семье Корней Иванович был замечательным отцом и дедом.

В этой книге воссоздается выразительная картина его личности на фоне ушедшего двадцатого века.

«Было мило и любопытно думать, какой этот «неистовый» Чуковский нежный и даже как бы ребячливый отец...»

Мариэтта Шагинян

«Самое поразительное в том, что человек этот — не бесстрашный герой... Сколько бед выпало на его долю. Сначала умерла дочка, едва ли не самая любимая. Потом на фронте погиб сын, внутренне, быть может, ему самый близкий из его детей. Он пережил жену и своего первенца, старшего сына. Это по части того, что называют у нас "личной жизнью"».

Л. Левицкий

«Ваши сюжетные выдумки поразительно общечеловечны, это Шекспир для детей ...»

А. Тарковский. Из письма К. Чуковскому